Б.Е.Ефимов

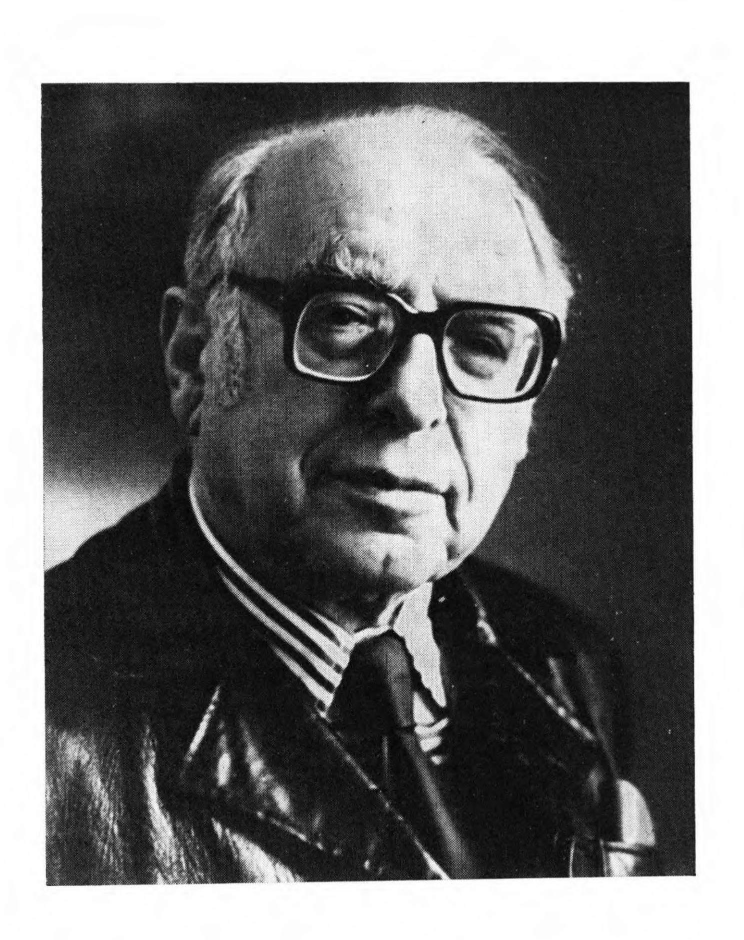
Ровесник века
Воспоминания



Б.Е.Ефимов

Ровесник века

Воспоминания



Б. Е. Ефимов

Ровесник века
Воспоминания

Москва
Советский художник
1987

Е-91
85.153

Е $\frac{4903040000-018}{084(02)-87}$ 56-87

© Издательство «Советский художник», 1987

«Ровесник века» — это воспоминания об отдельных событиях и эпизодах за добрых семь десятилетий, запечатлевшихся в моей памяти и сохранивших, как мне кажется, неповторимые приметы своего времени.

Для читателей, знающих мои книги «40 лет. Записки художника-сатирика» (1961), «Мне хочется рассказать» (1970), «Невыдуманные истории» (1976) или «Рассказы старого москвича» (1981), кое-что в «Ровеснике века» окажется уже читанным и знакомым. Но таких читателей, думается мне, меньшинство.

К тому же то, что уже было в свое время опубликовано, а теперь снова нашло место на страницах данной книги, не потеряло, вероятно, своего интереса, поскольку не потеряли интереса события, факты, впечатления, люди, о которых здесь идет речь.

В своем повествовании я рассказываю только то, что сам видел, слышал, переживал, строго пресекая искушение что-то присочинить, переиначить, домыслить. Это привилегия беллетристов.

А мемуары и беллетристика — жанры хотя и родственные, но отнюдь не совпадающие. Больше того, между ними имеется, как известно, довольно существенное различие: воспоминания рассказывают о том, что было на самом деле, а художественная литература — о том, что могло бы быть. Иными словами, как бы ни было произведение писателя талантливо, ярко и интересно, оно останется талантливым, ярким и интересным вымыслом. А рассказ очевидца, пусть самый бесхитростный и непритязательный, вносит в летопись века свою незаменимую и драгоценную частицу достоверности.

Мемуарист не претендует на писательские лавры. Но приятно, не скрою, быть в числе свидетелей того, что стало достоянием истории, приятно рассказывать об этом и современникам, и потомкам.

Б.Е.Ефимов,
народный художник СССР,
действительный член Академии художеств СССР

Даты жизни и творчества Б.Е.Ефимова

1900	Родился в Киеве 28 сентября
1916	Первая публикация рисунка в печати
1917	Окончил среднюю школу — Киевское реальное училище
1918	Поступил в Киевский университет на юридический факультет. Опубликованы в киевских журналах «Зритель» и «Куранты» дружеские шаржи на артистов и литераторов
1919	С установлением в Киеве Советской власти работает секретарем Редакционно-издательского отдела в Народном комиссариате по военным делам. Впервые напечатаны политические карикатуры в газете «Красная Армия»
1920	Работает в качестве художника-карикатуриста в газетах «Коммунар», «Большевик», «Вісти», а также в политическом плакате. Работает в Одессе в должности заведующего Отделом изобразительной агитации ЮгРОСТА, затем заведующим Изосекции отделения агитпунктов Юго-Западного фронта в Харькове. По возвращении в Киев — начальник художественно-плакатного отдела Киев-УкрРОСТА
1921	Работает в агитационном плакате, а также сотрудничает в газетах «Киевский пролетарий», «Пролетарская правда»
1922	Переезд в Москву. Первые карикатуры напечатаны в «Правде», «Рабочей газете», «Крокодиле», «Известиях»
1923	Начало сотрудничества в журналах «Огонек», «Прожектор», других центральных изданиях
1924	Вышел в свет первый альбом сатирических рисунков «Карикатуры» в издательстве газеты «Известия». Поездка в Германию в качестве спецкора «Известий»
1925	Поездка в Германию и Францию Публикация путевых очерков в «Известиях» и «Прожекторе». Впервые участвует в выставке в Париже: Выставка группы «Л'Аренье» (Паук) с участием советских карикатуристов
1927	Поездка во Францию
1929	Участие в европейском перелете самолета «Крылья Советов» в качестве спецкора газеты «Красная звезда» (Германия, Франция, Италия, Англия, Польша)

1931 Вышли в свет альбомы карикатур «Лицо врага», «Карикатура на службе обороны СССР», «Политические карикатуры»

1932 Вышел в свет альбом сатирических рисунков «Выход будет найден».

Принят в члены МОССХ.

Избран заместителем председателя правления.

Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР»

1933 Участвует в качестве спецкора «Известий» и «Красной звезды» в заграничном плавании военных кораблей Черноморского флота (Турция, Греция, Италия).

Работает в Париже в качестве спецкора-художника «Известий»

1935 Выход в свет альбома «Политические карикатуры»

1937 Выход в свет альбома «Фашизм — враг народов»

1938 Выход в свет альбома «Поджигатели войны» и «Фашистские интервенты в Испании»

1939 Работает в прикладной графике и детской игрушке

1940 Работает в газетах «Труд» и «Комсомольская правда»

1941 Работает в газетах «Красная звезда» и «Фронтовая иллюстрация».

Участвует в работе коллектива «Окна ТАСС»

1942 Работает в различных областях сатирической графики — карикатуры в газетах и журналах, плакаты, открытки, листовки для вражеского тыла.

Подготовка альбома «Гитлер и его свора».

Поездка на Западный фронт

1943 Выход в свет альбома «Гитлер и его свора», переизданного потом за рубежом на английском, болгарском, венгерском, голландском, польском, румынском и сербском языках

1944 Поездка на 1-й Белорусский фронт

1945 Поездка в качестве спецкора «Красной звезды» в Австрию, Чехословакию, Венгрию, Югославию и Болгарию.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Командирован на Нюрнбергский процесс.

Выход в свет альбома «Уроки истории»

1946	Награжден медалью «За оборону Москвы»
1948	Вышел в свет сборник карикатур «Мистер Доллар»
1949	Награжден Почетной грамотой Всемирного Совета мира
1950	Присуждена Государственная премия СССР. Вышел в свет альбом рисунков «За прочный мир, против поджигателей войны»
1951	Присуждена Государственная премия СССР
1954	Избран членом-корреспондентом Академии художеств СССР
1957	Избран членом правления Союза художников СССР
1958	Поездка в Китай по командировке СХ СССР. Присвоено почетное звание «Народный художник РСФСР»
1959	Поездка вокруг Европы (круиз) — Турция, Греция, Италия, Франция, Финляндия
1960	Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Поездка в Италию. Избран членом правления Общества дружбы «СССР — Венгрия»
1961	Вышла в свет книга воспоминаний «Записки художника-сатирика». Поездка в Камбоджу (Кампучию) в составе культурной делегации ССОД. Поездка в Австрию. Поездка в Англию, Данию, Швецию. Поездка в Венгрию в составе делегации деятелей культуры
1962	Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Утвержден членом редколлегии журнала «Крокодил». Избран членом правления Общества дружбы «СССР — Камбоджа». Награжден Почетной грамотой редакции газеты «Правда»
1963	Вышли в свет книги «Работа, воспоминания, встречи», «Основы понимания карикатуры», «Рассказы о художниках-сатириках»
1964	Вторичная поездка в Китай по командировке СХ СССР
1965	Поездка в ГДР на выставку «Интерграфика». Утвержден главным редактором Творческо-производственного объединения СХ СССР «Агитплакат»

1967	Награжден орденом «Знак Почета».
	Поездка в Югославию.
	Присвоено почетное звание «Народный художник СССР».
	Поездка в ГДР для доклада на сессии Немецкой Академии искусств
1968	Поездка в Голландию
1969	Награжден почетной медалью «Борцу за мир» Советского Комитета защиты мира
1970	Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Поездка в ГДР.
	Поездка в Японию по командировке газеты «Известия»
1971	Поездка в ФРГ для участия в открытии выставки советской графики в Киле.
	Посещение Нюрнберга.
	Избран членом правления Общества дружбы «СССР — Япония»
1972	Присуждена Государственная премия СССР.
	Поездка в Данию для участия в праздновании 60-летия Херлуфа Бидструпа.
	Награжден Почетной грамотой Верховного Совета РСФСР
1973	Поездка в Финляндию по командировке ССОД.
	Избран депутатом Моссовета
	Избран секретарем правления СХ СССР
1974	Поездка в Болгарию по командировке СХ СССР
1975	Избран действительным членом Академии художеств СССР.
	Поездка в Венгрию для участия в Днях советской культуры.
	Избран депутатом Моссовета
1976	Поездка в Финляндию на III съезд работников культуры.
	Поездка во Францию для участия в открытии выставки советского плаката в Амьене.
	Награжден орденом Ленина.
	Вышла в свет книга «Школьникам о карикатуре и карикатуристах»
1977	Вышла в свет книга очерков и воспоминаний «Невыдуманные истории».
	Вторично избран секретарем правления СХ СССР. Поездка в Данию в составе делегации ССОД

1978	Персональная выставка произведений в Болгарии (София — Габрово — Видин — Плевен). Поездка в Испанию
1979	Награжден Болгарским орденом Кирилла и Мефодия I степени
1980	Награжден орденом Ленина
1981	Персональная выставка в Москве. Вышла в свет книга воспоминаний и очерков «Рассказы старого москвича»
1982	Персональная выставка в ГДР в Берлине
1983	Избран секретарем правления Союза художников СССР. Председатель оргкомитета и участник Международной выставки «Сатира в борьбе за мир»
1984	Присуждена золотая медаль Академии художеств СССР за серию сатирических агитплакатов Награжден орденом Трудового Красного Знамени

Пережитое и незабытое

Незабываемый Семнадцатый

Есть годы, настолько насыщенные выдающимися историческими событиями, настолько резко возвышающиеся в череде других, менее бурных и более спокойных лет, что целиком с первого и до последнего месяца становятся для нас *незабываемыми*. И мы говорим о них: незабываемый Семнадцатый, незабываемый Восемнадцатый, незабываемый Девятнадцатый, незабываемый Сорок первый, незабываемый Сорок пятый...

В 1915 году Владимир Маяковский возвестил:

В терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.

(«Облако в штанах»)

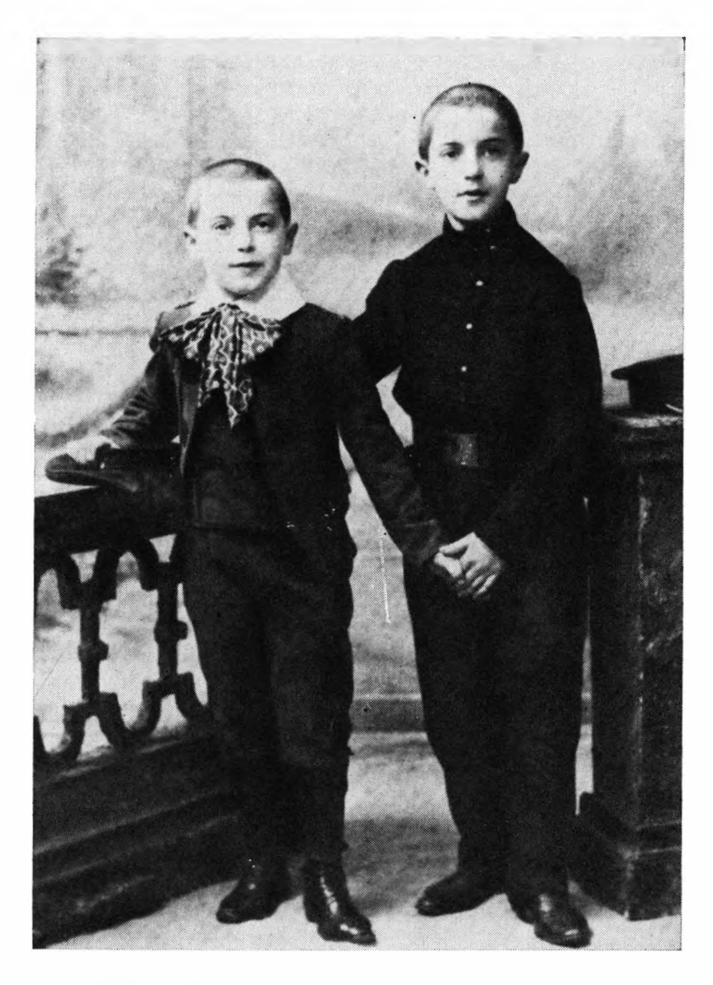
Поэт ошибся всего на один год, но соответствующая поправка в тексте была внесена самой историей и стихийно утверждена читательской массой, которая читала это место замечательной поэмы не иначе как: «...грядет *семнадцатый* год».

Этот знаменитый год я встретил учеником шестого класса Харьковского реального училища. Кстати, будет, пожалуй, не лишним, если я разъясню читателям этот несколько странно звучащий сегодня термин — «реальное училище». Так называлось в дореволюционное время среднее учебное заведение, в котором, в отличие от гимназии, не преподавали древние, то есть греческий и латинский, языки, но зато делали упор на изучение точных наук — математики, физики и других. Предполагалось, что гимназия готовит будущих юристов, педагогов, медиков, в то время как реальное училище выпускает будущих инженеров, строителей, технологов.

Впрочем, для нас, учеников, гораздо более существенным и зримым различием было то, что гимназисты носили форму мышино-серого цвета с синим кантом на фуражке, мы же, реалисты, были одеты в черное сукно с ярко-желтыми кантами. Само собой разумеется, этого было вполне достаточно для глубокого и традиционного антагонизма, сопровождавшегося взаимным задиранием и проверенными временем оскорблениями: гимназистов дразнили «синей говядиной», а реалистам была почему-то присвоена кличка «карандаши».

Но как я, собственно, оказался в Харькове? Это случилось на второй год гигантской европейской битвы. Когда в 1915 году русские армии, полубезоружные по вине бездарной и продажной царской администрации, были вынуждены начать тяжелое и мучительное отступление, город Белосток, где жила наша семья, очутился в пределах театра военных действий. Навсегда запомнились мне сухие, маловразумительные строки очередной военной сводки: «Противник, приблизившись с севера к Осовцу, начал артиллерийский бой с крепостью». В переводе на обычный язык это означало, что германские войска пересекли границу и находятся в нескольких десятках километров от Белостока. В городе был отчетливо слышен рев орудий, а вскоре жители испытали на себе и военную «новинку века» — воздушную бомбардировку.

Хотя техника бомбометания была в ту пору чрезвычайно примитивной: летчик просто-напросто брал бомбу в руки и швырял ее вниз, — разрыв ее не делался от этого менее опасным для жизни. Немецкие бомбы



1. Братья. 1908

полетели на улицы Белостока в утренний час, когда дети шли в школу. Едва не погиб мой старший брат Миша, успевший забежать в подворотню буквально за мгновение до того, как разорвавшаяся бомба убила одного и ранила двух его товарищей. А через несколько дней к нам пожаловал и воздушный мастодонт — дирижабль «цеппелин», сбросивший несколько чудовищно мощных по тому времени бомб.

Белосток был обречен. Мы не хотели оставаться у немцев, и наша маленькая семья, покинув обжитое гнездо, рассеялась в разные стороны: отец с матерью, наскоро распродав небогатое имущество, переселились в Киев, Миша уехал в Петроград, а я почему-то попал в Харьков, где как «беженец из занятых противником областей» был принят в пятый класс местного реального училища.

Харьковский период моей жизни был довольно странным. Снимая «угол» с полным пансионом, я жил совершенно самостоятельно. Учился прилежно, но близко ни с кем из товарищей по классу не сходился, был замкнут и необщителен. Много читал, вплоть до каких-то философских сочинений, которые брал в городской библиотеке, часто ходил в местный

драматический театр и аккуратно читал газету «Южный край», внимательно следя за военными и политическими событиями.

Как и в Белостоке, очень любил рассматривать журнал «Новый Сатирикон» — лучший дореволюционный сатирический еженедельник, завоевавший под редакторством Аркадия Аверченко широкую популярность среди русской интеллигенции. Стоя в стороне от революционного движения в России, журнал тем не менее привлек симпатии читателей своим левым, либерально-прогрессивным направлением. Он фрондировал хлесткими, остроумными выпадами против царской бюрократии, едко высмеивал холопствующих перед самодержавием правых «думских» деятелей, бичевал пошлость, мещанство, обывательщину. Кстати надо сказать, что трудно, мне кажется, придумать лучшее пособие по истории того периода, чем ядовитые и смешные карикатуры, беспощадно, с точным портретным сходством изображавшие в соответствующих ситуациях основных действующих лиц тогдашней российской политической сцены. Такова, между прочим, сила и магия карикатуры: никакие научные труды, никакие подстрочные примечания в учебниках истории не дадут такого выпуклого и живого представления о подобных, исчезнувших с исторической арены фигурах.

Особенно приглянувшиеся мне рисунки из «Нового Сатирикона» я с удовольствием перерисовывал в специально заведенный для этого альбомчик. Все больше нравилось мне необычное, причудливое и обаятельное искусство карикатуры, хотя я и не подозревал, что придет время, когда оно станет моей профессией.

И вместе с тем я постепенно ощутил сильнейшее желание увидеть и какой-нибудь свой рисунок в печати. После длительных размышлений и колебаний я, пользуясь фотографиями из иллюстрированных журналов, смастерил несколько шаржей на известных политических деятелей и отослал их в Петроград брату. Он, в это время студент Психоневрологического института, одновременно делал свои первые шаги в журналистике: писал заметки, обзоры, статьи и даже редактировал в свои 18 лет прогрессивный журнальчик «Путь студенчества».

Конечно, я очень мало надеялся, что мои робкие сатирические опыты могут появиться в столичных журналах, где работают такие олимпийцы карикатуры, как Ре-ми, Радаков, Дени, Лебедев и другие. Каково же было мое потрясение, когда недели через три, развернув свежий номер популярного в свое время роскошного литературно-художественного еженедельника «Солнце России», увидел свое произведение, занимавшее целых полстраницы — шарж на председателя Государственной думы Родзянко. Под рисунком был напечатан юмористический текст. Без конца разглядывал я каждый штрих, каждую черточку своего рисунка, дивясь происшедшему чуду. А в душе уже шевелился червячок авторского тщеславия, требовавший для себя новой пищи...

Однако не так скоро довелось мне снова увидеть в печати свою работу. Неуклонно и грозно нарастали события, которые все отодвигали на задний план. «Распутинщина», непрерывная и скандальная министерская «чехарда», явная неспособность царского правительства руководить страной, опостылевшая кровопролитная война — все это вместе взятое неотвратимо подтачивало прогнивший монархический строй. Все чаще и смелее становятся выступления против властей. На площади у Харьковского университета я вижу, как казаки добросовестно, хотя и без особого усердия, разгоняют студенческую демонстрацию, над которой колышется транспарант с надписью «Полицию и жандармов на фронт!». Из уст в уста передаются «крамольные» анекдоты о придворной камарилье, ходят по рукам сатирические стишки о министре внутренних дел Протопопове, очередном ставленнике «старца» Григория Распутина, имевшего, как известно, совершенно непостижимое влияние на царя и царицу. В этих куплетах, распевавшихся на мотив «Алаверды», были такие слова:

Да будет с ним святой Егорий,
Но интереснее всего —
Какую сумму взял Григорий
За назначение его.

А последний куплет гласил:

Грядущий день нам сер и смутен,
Конца распутью нет как нет.
Вот почему один Распутин
Весь заменяет кабинет.

Политическая атмосфера такова, что этот переписанный мною памфлет я приношу в училище и смело вручаю нашему классному наставнику, преподавателю истории Вадиму Алексеевичу. Он прочитывает и молча возвращает, произнеся только многозначительное «М-да...»

Последние месяцы Шестнадцатого. Убийство Распутина, усилившаяся «чехарда» министерских назначений, растущие антиправительственные настроения в стране, и вот она, весна Семнадцатого.

Все началось в Харькове, как и во многих других городах, со странного и тревожного отсутствия всяких вестей из столицы. Перестали выходить газеты. В течение нескольких дней город питается слухами, на улицах и площадях кучками толпятся люди, взволнованно переговариваясь и делясь неведомо откуда возникающими новостями. Все ждут чего-то неведомого, но неизбежного. С каждым часом нарастает напряжение, воздух как бы заряжен электричеством.

В те дни в Харькове с огромным успехом проходили гастроли прославленного комедийного артиста В. Н. Давыдова. Я старался не пропустить ни одного спектакля и вечером 3 марта тоже был в театре. Во время действия на сцену неожиданно вышел кто-то из администрации с листком бумаги в руке:

— Внимание, господа! Получено исключительной важности сообщение из Петрограда!

Зал замер. Давыдов приложил руку к уху, чтобы лучше слышать.

— В дни великой борьбы с внешним врагом... — доносится со сцены, — господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание...

Тревожно сжалось сердце. Что это значит? О чем речь?

И вдруг:

— ...Признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть.

Царь отрекся от престола!!! Да это же победа революции! Конец самодержавию! Россия свободна! Как во сне!

Все охвачены неописуемым волнением. Буря рукоплесканий и восторженных возгласов. Крики «ура!» Давыдов поднимает руку, просит тишины и старческим, но хорошо слышным голосом запевает «Марсельезу», подхваченную всем залом.

Огненная мелодия бессмертного гимна трогает до глубины души, хотя это не та знаменитая, строго запрещенная революционная русская «Марсельеза», начинающаяся хорошо известными словами «Отречемся от старого мира» с припевом: «Вставай, подымайся, рабочий народ». Слова, которые запевает старый артист, звучат довольно мирно и безобидно:

Друзья, дадим друг другу руки
И смело двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!

Публика поет с воодушевлением. Однако самые ближайшие дни

показали, что далеко не все были склонны «давать друг другу руки», а многие собирались двигаться вперед отнюдь не «под знаменем науки», а под совершенно иными флагами.

Вскоре харьковский период моей жизни закончился — получив документ о переходе в седьмой класс, я уехал в Киев. Там, после длительной разлуки снова встретился с родителями и братом, приехавшим из Петрограда. Он был переполнен впечатлениями о февральских днях в столице, будучи в самой гуще событий и даже принимая участие в составе

2. Керенский. Из серии «Сатирический архив». 1967



студенческой милиции в арестах царских сановников. Часами, раскрыв рот, я слушал его полные наблюдательности и юмора рассказы.

Быстро пролетели летние каникулы. Миша вернулся в Петроград, а я, поступив в киевское «Реальное училище св. Екатерины» — третье по счету после белостокского и харьковского, — приступил к продолжению образования, без особого, признаться, желания и интереса. В самом деле, вокруг совершались необыкновенные события, кипели политические страсти, гремели имена еще вчера никому не известных людей, каждый день приносил новые ошеломляющие сообщения. Хотелось не оставаться в стороне, принять какое-то участие в происходящем, чем-то себя проявить. И ужасно не хотелось снова садиться за парту, готовить уроки, выходить к доске, отвечать на вопросы преподавателей.

Впрочем, надо сказать, учителям тоже было совсем не до уроков,

занятий, экзаменов. Мало кто думал о науках. Киев жил напряженной, лихорадочной жизнью, отражавшей в себе события, происходившие в Петрограде. Приезд Ленина, борьба большевиков против Временного правительства, авантюристическое «июньское наступление» Керенского, разгул контрреволюции в июльские дни, мятеж генерала Корнилова — незабываемый калейдоскоп бурных и грозных событий, ошеломлявших своей неожиданностью и непостижимостью.

Ведь многим наивным людям казалось, что все самые заветные



3. Чернов. Рябушинский. Дан
Из серии «Сатирический архив». 1967

мечты многих поколений осуществились — царский режим свергнут, революция восторжествовала, народ свободен. Чего же еще желать?! Шумным эхом, под овации и аплодисменты разносилось по городам и весям имя Керенского — обаятельного душки-министра в полувоенном костюме и прическе ежиком, ставшего в скором времени министром-председателем и верховным главнокомандующим, не перестававшего ораторствовать и призывать к продолжению войны «до победного конца».

К этим наивным людям, естественно, принадлежал и я, семнадцатилетний парень, выросший в среде хотя достаточно демократической и прогрессивной, но очень мало связанной с революционным движением. Той среде, которую в графе «социальное происхождение» многочисленных анкет, кои впоследствии мне приходилось заполнять, я обозначал «из мещан». Писать эти слова было не очень приятно, поскольку слово «мещан-

ство» давно и, наверное, не без оснований, прочно ассоциировалось с такими понятиями, как «стяжательство», «безвкусие», «пошлость». «Мещанин» было синонимом ограниченного, тупого, самодовольного обывателя. И происхождение «из мещан» отнюдь не давало оснований для гордости.

Вот почему для справедливости мне хотелось бы напомнить о том, что, согласно Большой советской энциклопедии, мещане — это прежде всего «определенная социальная прослойка населения, включавшая в себя разные категории городских жителей — ремесленников, кустарей и т. п.

4. Типы деникинцев. 1919



Из мещан вербуются лица «свободных профессий», интеллигентного труда, разорившиеся мещане становятся мелкими ремесленниками и пролетариями».

Само собой разумеется, поколение ровесников века не было и не могло быть однородным. Оно включало в себя юношей самых различных общественных групп, социальных формаций, воззрений и устремлений, разными глазами смотревших на одни и те же события, по-разному их воспринимавших и понимавших. Не удивительно, что в условиях небывалого исторического и классового разлома пути многих из них круто разошлись, причем в самых неожиданных и, казалось бы, нелогичных ситуациях. Мне

хочется, несколько забегая вперед, рассказать об одной чрезвычайно характерной в этом смысле встрече.

Дело было уже летом 1919 года в захваченном деникинцами Киеве. Я в эти мрачные месяцы редко выходил из дому, а на улице внимательно смотрел вокруг, чтобы случайно не напороться на кого-нибудь, кто мог знать о моей службе в Народном комиссариате по военным делам Украины.

Я читал наклеенную на стене газету, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Я обернулся и невольно вздрогнул: передо мной стоял белогвардейский офицер с трехцветным «добровольческим» шевроном на левом рукаве, с шашкой на боку и револьвером у пояса. В первый момент я решил, что меня арестовали, но тут же узнал в офицерике своего ровесника и одноклассника по белостокскому реальному училищу, взбалмошного и чудаковатого Сережку Бабкина. Он, видимо, был страшно доволен, что предстал передо мной в столь эффектном обличье, всячески рисовался и изображал воинственный пыл.

— До Москвы дойдем! — лопотал он. — Ты знаешь, Борька, какой у нас в армии дух!

— Дух? — осторожно сказал я. — Да, дух чувствуется. Но объясни мне, пожалуйста, Сережка, зачем ты, собственно, пошел в добровольцы? Ты, значит, за то, чтобы опять был царь, полиция, старый режим?

— При чем тут царь? — поморщился Сережка. — Все это чепуха и болтовня. Дело в принципе: я за частную собственность. Моя фабрика, что хочу, то и делаю. Хочу — держу рабочих, не хочу — выгоняю!

Я посмотрел на Бабкина с удивлением.

— Подожди, Сережка, — сказал я, — что ты мелешь? Какая фабрика? Насколько я помню, твой папаша служил в городской больнице, и никакой фабрики я у вас что-то не заметил.

— Это не важно, — ответил он с некоторым раздражением. — Я ведь объясняю тебе, что тут дело принципа. А ты что? Сочувствуешь большевикам?

Я промолчал, и вот два ровесника, два вчерашних товарища, принадлежавших к одной социальной категории, но неизвестно почему оказавшихся по разные стороны баррикады, весьма холодно расстались.

В том, семнадцатом году такой процесс расслоения и размежевания еще только намечался, в головах еще царил порядочный сумбур, и многие, многие люди, в частности, ровесники века были еще очень далеки от ясного понимания того, что через немногие месяцы стало для них очевидной и непреложной истиной, неопровержимой большевистской, советской правдой.

Приведу в пример самого себя. Помню, как с полным недоумением прочел я в газетах о том, что приехавший из-за границы Ленин, необычайно торжественно и радостно встреченный на Финляндском вокзале в Петрограде тысячами рабочих и солдат, поднявшись на броневик, произнес речь, в которой выразил недоверие Временному правительству, заявил, что социал-демократия насквозь прогнила, и закончил словами: «Да здравствует социалистическая революция!» Я ничего не понял. Ленин? Кто такой Ленин? Я впервые услышал это имя. И как можно быть против Временного правительства, сменившего деспота-царя? Как можно быть против очаровательного Керенского? И какая еще такая «социалистическая революция»? Разве недостаточно замечательной, великолепной Февральской революции, так легко, решительно и красиво опрокинувшей трехсотлетний самодержавный строй?

Незачем говорить, что на все эти вопросы дальнейшие события,

история, сама жизнь дали моему поколению четкие, неопровержимые ответы. И приятие лозунгов и свершений Октябрьской революции, ленинских идей и призывов было для ровесников века «мещанского происхождения» если не столь быстрым и простым, то, как показало будущее, необратимым и бесповоротным.

Именно так определился и лично мой путь.

Когда в Киеве после германской оккупации, после опереточно-бандитской конкуренции гетманского и петлюровского режимов, многочисленных переворотов и, как острили киевляне, «недоворотов». восторжествовала Советская власть, я оказался в рядах той молодежи, которая без колебаний и с радостью к ней примкнула.

В 1919 году я стал одним из секретарей редакционно-издательского отдела Народного комиссариата по военным делам Советской Украины. Работа эта, живая и разнообразная, мне очень нравилась. Но однажды, как всегда куда-то торопясь, брат, который к этому времени вернулся в Киев, сказал мне на ходу:

— Да, кстати. Я вот о чем подумал. Вчера у нас в редакции был разговор о том, что газете нужны карикатуры. Почему бы тебе не нарисовать что-нибудь для нашей «Красной Армии»? Я думаю, у тебя получится.

— Карикатуру? — нерешительно сказал я. — Н-не знаю... У нас сейчас столько дел в Редиздате. А осталось всего двое секретарей. Остальные в командировках.

— Секретарей, секретарей... — неодобрительно проворчал брат. — Все это, в сущности, бумагомарание и канцелярщина. А тут живое дело — газета! Твой рисунок увидят тысячи людей. Разве можно сравнивать?

Я, как всегда, послушался брата и через день появился в редакции «Красной Армии» с карикатурой на злобно оскалившегося генерала Деникина. Она была напечатана. За ней последовали другая, третья... Так буднично и просто произошло мое вступление в строй художников советской политической сатиры. Я вначале даже не очень-то и вдумывался в смысл происшедшего — напечатали и напечатали, подумаешь, какое событие. Конечно, мне было приятно видеть номер газеты с моим рисунком в руках у красноармейцев или наклеенным на стене. Но я не сразу понял, что мое давнее, не очень решительное и не очень серьезное влечение к искусству карикатуры обрело смысл, цель и четкие задачи. Не сразу понял, что мое, данное от природы умение «смешно рисовать» перестало быть забавой, баловством, как теперь сказали бы — «хобби», а включилось, пусть бесконечно малой величиной, в могучую систему советской агитации, в борьбу за власть Советов, в богатырские усилия молодой Советской республики отбросить и сокрушить врагов. Оно стало оружием. Оно понадобилось Революции.

Наверное, именно так у нас, ровесников века, и притом у каждого по-разному и при различных обстоятельствах, возникало то замечательное чувство, которое называется *гражданственностью.* Иначе говоря, чувство патриотической сопричастности к борьбе и свершениям страны, в которой мы родились, ко времени, которому мы принадлежим.

Октябрь в январе

Прошло уже больше месяца с того исторического дня, когда в актовом зале Смольного великий Ленин провозгласил победу революции рабочих и крестьян, а в Киеве еще цеплялись за власть разношерстные контрреволюционные своры, бешено враждовавшие между собой и одновременно объединенные смертельной ненавистью к большевикам.

Город бурлил уличными демонстрациями, столкновениями, неред-

кими стали и перестрелки. Политические события нарастали тревожно и грозно. Нетрудно представить себе, что меня, как и моих сверстников, мало интересовали школьные занятия. Вместо этого мы часами простаивали в тесно сгрудившейся толпе уличных митингов, внимательно слушая противоречивые, яростные выступления ораторов.

Громче, вернее сказать, визгливее всех раздавались голоса группировавшихся вокруг Центральной Рады оголтелых националистов-«самостийников», напоенных зоологической ненавистью к «москалям». Уже при-

5. Типы петлюровцев. 1918



обрело зловещую и скандальную известность имя бухгалтера Симона Петлюры, возглавившего маскарадно разодетых «гайдамаков», «вильных козаков», «сичовых стрильцив» и тому подобных бандитствующих вояк, к которым прочно приросла общая кличка «петлюровцы». Скоро, однако, словесные баталии на митингах уступили место вооруженным схваткам. Заговорили пулеметы и пушки. Наконец, после десятидневных кровопролитных боев на улицах и площадях киевские большевики, соединившись с подошедшими отрядами Красной Армии, опрокинули петлюровцев и вышвырнули их из города. Октябрь семнадцатого года пришел сюда в январе восемнадцатого. Древний Киев стал советским.

Но борьба продолжается. Побитый Петлюра снова объявился в Киеве. Он вернулся сюда в обозе германской оккупационной армии, вторгшейся весной восемнадцатого года на землю Украины. «Законным основанием» для этого наглого нашествия послужил комедийный мирный договор, заключенный оккупантами с их марионетками из Центральной Рады.

...Гремят по брусчатке киевских улиц кованые сапоги кайзеровских батальонов. Стальные шлемы-котелки, сменившие, как оказывается, «классические» остроконечные германские каски, снаряжение, оружие — все это зеленовато-серого, какого-то лягушачьего цвета и густо покрыто пылью. Оккупанты бесцеремонно, по-хозяйски располагаются на бульварах и площадях, занимают лучшие здания. В центре города на Думской площади укрепляется огромная вывеска с надписью «Германская комендатура».

И тут же, надуваясь глупой спесью, носятся с победоносным видом опереточные «гайдамаки» с длиннейшими шлыками (хвостами) на шапках. Несут желто-голубой флаг «незалежной» петлюровской державы, на котором красуется герб-трезубец, незамедлительно и непочтительно переименованный киевлянами в «дулю».

В толпе зевак на площади у городского театра я наблюдаю сумбурный парад петлюровских «куреней». В сопровождении разношерстной мордастой свиты перебегает от куреня к куреню суетливая личность с желто-голубым бантом на шинели и здоровенным красным шлыком на папахе. Личность выкрикивает различные приветствия и призывы, в которых часто повторяются слова «незалежнисть», «слава» и «ганьба» («позор»).

Это не кто иной, как сам Симон Петлюра — человек, который вошел в историю гражданской войны на Украине, волоча за собой длиннющий и грязнющий шлейф предательств, авантюр и кровавых погромов.

С любопытством разглядываю я бритое потное лицо «головного отамана», его хитрые, близко посаженные к острому носу глазки, словно предвидя, что мне не раз придется изображать эту богомерзкую физиономию на плакатах и карикатурах.

Вернувшись домой, я под свежим впечатлением набрасываю на бумаге шаржированный портрет Петлюры. Тщательно зарисовываю также наиболее запомнившиеся и колоритные типы его молодчиков.

Мне, конечно, и в голову не приходит, что эти рисунки могут появиться в печати, но я испытываю какое-то внутреннее удовлетворение оттого, что имею возможность, хотя бы для собственного удовольствия, высмеять провинциальную напыщенность и чванство петлюровского воинства, выразить свое отношение к ним.

Это означало, вероятно, что во мне уже начинал шевелиться будущий карикатурист.

Мир хижинам, война дворцам

Ранним морозным февральским утром девятнадцатого года красные бойцы Щорса и Боженко снова подняли над Киевом знамя Советской власти. Еще накануне с противоположного конца города в направлении на Коростень и дальше к польской границе бодро «втикали» последние петлюровские части. Всего только месяц после бегства гетмана Скоропадского (последние часы гетманской державы выразительно и достоверно показаны в пьесе Михаила Булгакова «Дни Турбиных») просуществовало в Киеве правление «директории» под водительством «головного отамана» Симона Петлюры. Всего месяц промаячила над городом и снова сгинула с глаз «жовто-блакитная» петлюровская «дуля». Киев снова советский!

Как будто широко раскрылись двери в большой, интересный, притягательный своей новизной и революционной романтикой мир!

Краснозвездными флагами, яркими красками плакатов и революционных лозунгов расцвели солнечные улицы Киева. Необычные, волнующие слова раздаются с трибун и балконов, печатаются на страницах газет. Ново и увлекательно звучат непривычные для уха названия советских учреждений: Реввоенсовет... Поарм... Агитпроп... Политпросвет...

На углу Крещатика и круто в гору отходящей от него Прорезной

6. Колчак, Деникин, Юденич. Из серии «Сатирический архив». 1967



улицы высится многоэтажный дом. На торцовой стене здания — огромная фигура красноармейца, выполненная в условной кубистической манере. А фасад опоясывают ярко-красные транспаранты: «Мир хижинам — война дворцам! Народный комиссариат по военным делам». И по-украински: «Мир хатинам — війна палацам! Народний комісаріят по війсковим справам».

В бесчисленных комнатах и длиннейших коридорах Наркомвоена УССР постоянное оживление, шум, деловая суета. Целых два этажа занимает Политуправление. В Политуправлении имеется Редакционно-издательский отдел — Редиздат, а в Редиздате — Редакционная часть. Перед кабинетом главного редактора просторная угловая комната с большими окнами на обе улицы. Здесь сидят старший секретарь, два «просто» секретаря и два младших секретаря. Один из последних только что принят на работу. Он полон усердия и священного уважения к своим обязанностям. Старательно выполняет поручения «просто» секретарей, а изредка и старшего, почтительно поглядывает на главного редактора В.Мордвинкина, с интересом смотрит вслед начальнику Редиздата Н.Наумову и за-

мирает от удовольствия, если случайно удается увидеть наркомвоена — Николая Ильича Подвойского. Ведь всем, и в частности младшему секретарю, известна роль Подвойского в легендарном взятии Зимнего дворца.

Этот младший секретарь — я.

Мои обязанности довольно разнообразны. Тут и ежедневные вырезки из печати по целому ряду рубрик (я не очень люблю эту возню с ножницами и клеем), наблюдение за своевременным выпуском листовок и других агитационных изданий — брошюр, воззваний, плакатов (это уже интереснее: хождения в типографию, проверка текстов и т. п.) и всякое другое. Больше всего мне, однако, приходится по душе выпуск печатной стенной газеты «Молот и плуг», предназначенной для расклейки наподобие плаката.

В старинной типографии под сводами здания Присутственных мест на Софиевской площади я священнодействую среди наборщиков и метранпажей, которые под моим «руководством» верстают газету. Декреты Советской власти, приказы военного командования, телеграммы из-за границы, оперативные сводки, различные пропагандистские материалы — все это проходит через мои руки. С самоуверенностью неполных девятнадцати лет я указываю, что́ куда ставить, каким шрифтом, с какими заголовками — и делаю это с неизведанным до сих пор удовольствием. Окончательно осмелев, я начинаю писать нечто вроде коротеньких международных обозрений, решительно предрекая окончательное крушение капиталистического строя в самое ближайшее время.

Удивительно приятное ощущение: видеть, как наспех написанные тобой на клочке бумаги строчки превращаются в ровные, сверкающие ряды металлических литер и, оттиснутые на влажном бумажном листе, становятся частью газетной полосы! Как будто те же слова, те же фразы, а насколько они стали значительней, весомее, убедительнее!..

Говорят, существует память слуха, память обоняния. Возможно, есть и память вкуса. Во всяком случае, для меня (это, наверное, смешно) работа над газетой «Молот и плуг» тесно ассоциируется со вкусом винегрета, которым я после окончания верстки угощался в знаменитом кафе «Семадени» на Крещатике. Мне ужасно понравилось это аппетитное и острое блюдо, ни названия, ни вкуса которого я до той поры не знал. Удивительная вещь! Прошло больше полустолетия, а, вспоминая Киев девятнадцатого года, Наркомвоен, «Молот и плуг», я до смешного отчетливо вижу тарелку со свекольно-красным винегретом и чувствую его пряный вкус.

Некоторые секретарские поручения особенно для меня интересны. Я вспоминаю, например, выпуск воззвания съезда сельских комитетов бедноты под названием «Голос земли украинской». Было решено под воззванием напечатать факсимиле подлинных подписей делегатов съезда. И вот меня с папкой в руках посылают на съезд, где я в течение целого дня собираю подписи делегатов, в том числе, конечно, народных комиссаров и членов ЦК, что дает мне возможность близко видеть и слышать выдающихся деятелей Советской Украины — Г.И.Петровского, В.А.Антонова-Овсеенко, А.С.Бубнова и других. Все это, конечно, не бог весть какая ответственная работа, но мне нравится чувствовать себя винтиком большой машины, управляющей обороной Республики.

Дома, по вечерам, мы видимся с братом. Наши «служебные» линии почти нигде не пересекаются. Он работает в Политуправлении 12-й армии, выезжает на фронты, пишет в газетах. Кроме того, очень заинтересован работой драматического театра под управлением К.А.Марджанова, где с огромным успехом идет пьеса Лопе де Вега «Фуэнте овехуна». Главную роль крестьянки Лауренсии, поднимающей народ против угнетателей, играет известная артистка В.Л.Юренева, ставшая здесь, в Киеве, женой Кольцова.

Этим же «необыкновенным летом», как уже упоминалось, я впервые попробовал свои силы в агитационной сатире: мои рисунки появились на страницах военной газеты «Красная Армия». Именно с этого момента я исчисляю дату своего рождения как политического карикатуриста.

«Дни лета клонились к осени...» Тяжелые свинцовые тучи снова сгущаются над солнечным, оживленным советским Киевом девятнадцатого года.

Зловеще раздуваясь, ползет с юго-востока деникинская орда, с запада угрожает «старый знакомец» Петлюра, уже подкормившийся и подлатавшийся под крылышком пана Пилсудского. Вокруг столицы кишат свирепые банды кулацких головорезов, атаманов с лихими разбойничьими кличками — Тютюнник, Струк, Шакира, Ангел, Шуба, Закусило, Шепель... Они прячутся в приднепровских камышах, врываются на станции и в села, останавливают поезда, предают мучительной смерти коммунистов и мирных жителей. Весь Киев потрясен трипольской трагедией — зверской расправой банды атамана Зеленого над отрядом комсомольской молодежи в селе Триполье.

Немало забот и тревог принес мятеж атамана Григо́рьева — авантюриста, сначала примкнувшего к Советской власти, а потом изменившего ей. Мятеж решительно подавлен, сам Григорьев убит, но военное положение республики остается напряженным.

К концу августа Киев охвачен с трех сторон деникинско-петлюровскими клещами и почти полностью отрезан от Советской России.

События развиваются стремительно и грозно. Промчалось еще несколько дней, и судьба Киева решена: советские власти принимают решение временно оставить город. Последние отряды Красной Армии и руководящие партийные кадры уходят вверх по Днепру на пароходах.

Тревожные, мучительные дни...

Ни у кого из нас — молодежи, искренне примкнувшей к Советской власти, нет никакого сомнения в том, что деникинцам недолго придется хозяйничать в родном городе — слишком тверда наша вера в прочность и несокрушимость Советской власти. И вместе с тем оставаться в Киеве, быть свидетелем хотя бы и временного торжества контрреволюции, черной сотни — невыносимо, немыслимо...

От днепровских пристаней отходят последние пароходы: водный путь на север — пока еще единственный не перерезан врагами. Но, увы, берут далеко не всех: каждое место на счету. Я не теряю надежды. На одном из пароходов, в числе работников Политуправления 12-й армии, уезжает брат. Где он? В суматохе и горячке последних часов кого-нибудь найти или что-нибудь узнать практически невозможно. Пропуска у меня нет. Попытка протиснуться между двумя вооруженными моряками успеха не имеет. Я уныло смотрю, как под винтами отчаливающих пароходов, переливаясь отблесками немногочисленных фонарей, бурлит черная вода.

...Впоследствии оказалось, что в то время, как я был на пристани, у подъезда нашего дома остановилась двухколесная тележка с несколькими чемоданами и узлами. То был нехитрый театральный багаж В.Юреневой и другой актрисы фронтового красноармейского театра, И.Деевой. Тележку толкал Кольцов, обе дамы помогали. Брат заехал домой, чтобы захватить меня с собой, не застал и, не имея права задерживаться, двинулся на пристань. Мы глупейшим образом разминулись... С пристани я возвращался по неосвещенным и уже опустевшим улицам. Впервые после шестимесячного затишья над городом раскатился орудийный гром — это днепровская военная флотилия под командой знаменитого матроса Полупанова, прикрывая отступление красных войск, била по врагу. Мы слышим эту канонаду одновременно с братом, но уже разделенные между собой огненной чертой фронта. Впоследствии он вспоминал:

«...Мы уходим на пароходах, а концы отступления уже лижут де-

никинские языки. Красная флотилия отстреливается — попадает и самому Киеву. Как хорош он сегодня вечером, в лукавой красоте куполов, уходя от нас, от красных, вниз по реке...» *

...Они вошли в Киев одновременно — со стороны Печерска деникинцы группы войск генерала Бредова, со стороны Демиевки — галицийские части Петлюры, одетые в голубую форму австрийской армии.

Однако уже к вечеру того же дня петлюровский шакал отступил с жалобным воем, испугавшись более крупного хищника — деникинского волка. Опять суетливо промелькнула по улицам и исчезла петлюровская «дуля» на желто-голубых флагах. Киев целиком в руках деникинской банды.

Какое-то непреодолимое, болезненное любопытство, желание увидеть своими глазами, что происходит в городе, выгнало меня из дому.

Был чудесный солнечный день — первый день золотой киевской осени, но казалось, что находишься в мрачном, дурном сне. Дико и страшно было видеть на знакомых улицах белогвардейцев-«золотопогонников», вылощенных, надменных. Дико и страшно было видеть, как царский флаг, ставший, казалось, только деталью сатирических плакатов, полощется у здания Наркомвоена, с которого под торжествующее улюлюканье и аплодисменты разодетой по-праздничному публики уже сбрасывали вниз на мостовую и «Мир хижинам» и «войну дворцам».

Как резко, мгновенно изменился облик Крещатика... Все, что при Советской власти запряталось в укромные щели, все, что шипело в бессильной злобе, теперь выползло наружу, захлебываясь от восторга. Невесть откуда взявшиеся нарядные дамы со старомодными кружевными зонтиками, мужчины с крахмальными воротничками и даже в котелках. Я смотрю на зонтики в судорожно сжатых пальцах и невольно вспоминаю рассказы о днях Парижской Коммуны, когда светские дамы зонтиками выкалывали пленным коммунарам глаза, забивали их насмерть. Да, это та же порода...

Зловещая тень контрреволюции ложится на город.

На стенах домов расклеены уже не ядовитые и смешные плакаты с карикатурным Деникой-воином, а осененные лавровыми ветвями портреты Главнокомандующего всеми Вооруженными силами юга России генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина и его же напыщенно-угрожающее «Воззвание к населению Малороссии». Да, да — здесь уже не Советская Украина, и вообще не Украина, а Малороссия — часть «единой, неделимой» царской империи.

Томительно и тревожно потянулись дни деникинской оккупации, тяжелые и душные, как будто кто-то сразу выкачал весь воздух, и нечем стало дышать.

Тошно было читать белогвардейские газетенки, напечатанные по старой орфографии, где статейки с «ятями» и «твердыми знаками» не переставали орать об «ужасах Чека», о «кошмаре большевизма».

Тошно было присутствовать на спектаклях еще недавно преуспевавшей при Советской власти некой театральной труппы, где теперь со сцены преподносились «патриотически» напыщенные идиотские вирши.

Невозможно было спокойно читать «Московскую директиву» Деникина, залихватски-наглые сводки о наступлении белых армий на север, кровожадное смакование предстоящей грандиозной расправы с большевиками и «большевицкими приспешниками». Нехорошо, отвратно было на душе, но в то же время думалось: не может этого быть. Пусть Деникин захватил Украину и весь юг. Но не по зубам ему могучий колосс — Советская Россия. Она устоит!

* *Михаил Кольцов.* Действующие лица. М.— Л., 1931, с. 32

Бо́льшую часть времени я провожу дома, много читаю, «отвожу душу» рисованием. С особым, злорадным удовольствием я запечатлеваю на бумаге типы наиболее матерых белогвардейцев, продолжая свою, начатую еще при немцах серию «завоевателей» — своего рода сатирическую летопись сменившихся в Киеве контрреволюционных властей.

При этом я, естественно, избегаю зарисовок с натуры, справедливо полагая, что вряд ли деникинцы будут мне благодушно позировать. Блокнот и карандаш я стараюсь заменить тренировкой зрительной памя-

7. Опять на родине. 1922



ти. Во время своих редких выходов на улицу я изучаю десяток белогвардейцев, прежде чем одного «типизированного» бандита перенести на бумагу. Иногда я долго и осторожно следую за каким-нибудь корниловским или дроздовским головорезом, чтобы точно запомнить форму нарукавной нашивки или особую расцветку погон.

Я уже рассказывал о встрече с Сережкой Бабкиным. И вот примерно месяца через полтора мне довелось снова его увидеть.

Боже, как он слинял!.. Хотя на его погонах прибавилась намалеванная химическим карандашом звездочка, обозначавшая производство Сережки в подпоручики «Якутского полка Добровольческой армии», но прежнего лихого «принципиального» вояку трудно было узнать.

Угрюмо, вполголоса рассказывал он об омерзительных нравах белогвардейщины, о грабежах и расстрелах, о том, сколько натерпелся он от матерых деникинцев-монархистов, третировавших его как «плебея», и о прочих прелестях, на которые у него открылись глаза.

Он как-то ухитрился выхлопотать себе отпуск и пробирался на юг, в Ростов с твердым намерением «смыться» из разлагающейся «Доброармии».

Сообразительная «крыса» покидала деникинский корабль, хотя он еще не производил впечатления тонущего. Напротив! Огромным пузырем вздувается линия фронта на карте России. Белогвардейская печать полна торжествующего рева и визга. Курск взят. В оперативных сводках белого штаба горделиво появилось «Орловское направление». Деникин идет

8. «1920 год». 1970



на Москву, а Юденич — под стенами Петрограда, падение которого ожидается белогвардейцами с часу на час.

Киев — глубокий и, по-видимому, безопасный тыл Деникина.

И вдруг...

Хорошо знакомые картинки отступления — бледные офицеры с чемоданами в руках бешено подгоняют испуганных извозчиков, куда-то со

страшным топотом мчатся верховые, с лязгом закрываются железные ворота домов, спускаются шторы магазинов, неуклонно нарастая и приближаясь, трещат винтовочные залпы и пулеметные очереди. Что сие означает? Кто наступает на Киев? Откуда? Долго тянется тревожная бессонная ночь. А к утру на улицах появляются... бойцы с красными звездами на фуражках. Но бой не утихает. Он продолжается второй день и вторую ночь, третий день и третью ночь. Наконец все смолкает. Рано утром по мостовой осторожное цоканье копыт. Выглядываем из ворот — деникинцы...

9. «1924». 1970



Что же произошло? Каким образом у Киева очутились красные войска? Как удалось деникинцам так быстро вернуть себе город?

Оказалось, что группа советских войск под командованием И.Якира и Я.Гамарника пробивалась из района Одессы на север, на соединение с главными силами Красной Армии. Совершая этот поистине эпический поход с непрерывными боями, опрокидывая и расшвыривая отряды деникинцев и петлюровцев, южная группа в первых числах октября приблизилась к Киеву и смелым ударом овладела городом.

Как рассказывал впоследствии И.Якир, Реввоенсовет группы предполагал идти от Киева на Полтаву, чтобы там оттянуть деникинские части с Орловского направления. Однако Главное командование Красной Армии решило иначе: группа Якира оставила Киев и направилась под Петроград против Юденича.

Сидя в домах и прислушиваясь к раскатам боя, мы, естественно, не имели никакого представления обо всех этих стратегических соображениях и операциях. Мы не знали, что охваченное растерянностью и бешенством деникинское командование вынуждено было снять с центрального фронта и бросить против Якира самые отборные части, в том числе пресловутую «Волчью дивизию» генерала-вешателя Шкуро. Воочию мы видели одно: советские войска снова ушли, а белогвардейцы вернулись обратно. Причем вернулись злые и свирепые, как дьяволы. Их нынешнюю

ярость, прямо пропорциональную их недавней панике, они немедленно стали вымещать на мирном населении. Киев подвергся погрому и разграблению.

Если до октябрьского рейда Якира в городе поддерживался хоть бы внешний показной порядок, то теперь стало просто небезопасно показываться на улице.

А киевские ночи стали страшны: в разных частях города стоял несмолкающий крик, непрекращающийся истошный вопль сотен и тысяч человеческих голосов. Это кричали жители домов, куда ломились шкуровские головорезы. Крик подхватывали соседние дома, потом более отдаленные — и вот уже кричали целые кварталы, переулки, улицы... В большинстве случаев нервы бандитов не выдерживали, и они отступали.

Видимо, этот массовый крик в ночи производил страшное впечатление, если белогвардейские власти несколько смутились и приняли меры к прекращению погрома. В этом, по всей вероятности, сыграла роль и нашумевшая тогда статья «Пытка страхом», напечатанная в газете «Киевлянин» ее редактором, известным монархистом и идеологом белого движения В.Шульгиным. Смысл этой статьи был примерно таков: то, что определенная часть населения Киева, несомненно симпатизирующая Советской власти, подвергается своеобразной «пытке страхом» — вполне естественно и закономерно. Так им и надо! Пусть не мечтают о возвращении большевиков! Но то, что подобный массовый вопль режет уши интеллигентным людям, в какой-то степени компрометирует власть и просто неприличен в большом культурном городе — это тоже факт.

Выступив в таком духе против «пытки страхом», Шульгин вместе с тем отнюдь не прекращал печатать в «Киевлянине» истерически кровожадные, подстрекающие к расправам и мести статьи, подписанные неким «Вендеттой» (!).

Истекали сроки белогвардейского хозяйничанья в Киеве. Под сокрушительными ударами Красной Армии деникинцы явно не в соответствии с «московской директивой» откатывались на юг. Читать сводки белых стало чистым удовольствием. Деникинцы в Киеве стали как-то усыхать на глазах — с каждым днем они становились все унылее и малочисленнее. Видимо, одна только мысль о том, что с севера неотвратимо и неуклонно надвигается советская армия, обволакивала их животным страхом, парализовывала последнюю волю к сопротивлению.

Напрасно со страниц «Киевлянина» еще раздавались вопли Шульгина-Вендетты, которые взывали, умоляли, заклинали, проклинали...

В одной из последних своих статей Шульгин причитал: «Подумать только, что я пишу эти строки в то время, как большевики находятся на расстоянии меньше чем одной версты от редакции «Киевлянина». Как мы пришли к этому? Мало того — видно, за грехи наши бог послал тридцатиградусные морозы, которые сковали Днепр...»

Дело шло к развязке... В середине декабря, в бодрый трескучий морозец передовые советские части перешли по льду Днепр и вступили в Киев. Деморализованные белогвардейцы «группы Бредова» почти без боя очистили город. И вновь, радуя сердце, поднялся на шпиле Городской думы алый флаг Советской республики.

Только в марте мы снова встретились с братом. Он приехал из Москвы проездом в Одессу, куда в составе маленькой группы работников был направлен для организации информационного бюро Наркоминдела и одновременно южного отделения РОСТА — ЮгРОСТА. Миша уговорил меня поехать с ним. По его рекомендации меня включили в выездную бригаду в качестве заведующего отделом «изобразительной агитации» (Изагит) ЮгРОСТА. И вот я еду в Одессу в особом вагоне, битком набитом тюками с литературой, бумагой, пишущими машинками и сопровождаемый красноармейцами караульной роты Наркоминдела.

Из осажденной Одессы в освобожденный Киев

Процедура приема художников в мастерскую изобразительной агитации ЮгРОСТА (одесское отделение РОСТА) несколько напоминала по своей лаконичности знаменитую церемонию принятия в Запорожскую Сечь, описанную Гоголем в повести «Тарас Бульба».

Очередной посетитель открывал дверь в огороженный фанерой «кабинет» начальника Изагита, и происходил примерно следующий диалог:

— Я художник такой-то. Хотел бы работать в ЮгРОСТА.

— А плакаты рисовать сможете?

— Смогу.

— И сатирические?

— И сатирические.

— Гм... Попробуем.

Начальник брал клочок бумаги и, написав на нем «Аргоша, дай тему», направлял новичка к заведующему литературной частью поэту Арго.

Надо сказать, что среди художников, желавших принять участие в выпуске агитплакатов, было немало приверженцев кубистического стиля. Я питал искреннее уважение к такому искусству, считая его чрезвычайно революционным. Но здравый смысл подсказывал, что сатирический плакат должен прежде всего быть понятным массовому зрителю и поэтому неестественные угловато-загадочные рисунки одесских футуристов вряд ли смогут успешно выполнять агитационные функции. Поэтому я вежливо, но твердо отклонял подобного рода работы.

Среди части художников пошел ропот. Стали говорить, что приехавший из Киева самонадеянный молодой человек, начальник Изагита, сам рисовать не умеет, а зажимает при этом подлинные произведения сатирического искусства. Я почувствовал, что мне необходимо срочно поддержать свой авторитет. Только что было получено сообщение о выходе частей Красной Армии к Новороссийску. Разгромленное деникинское воинство было прижато к морю. Я распорядился установить в мастерской большой фанерный лист и на глазах у всех, без эскиза, сразу красками быстро нарисовал плакат, изображавший Деникина, в панике умоляющего Антанту о помощи.

Арго немедленно написал соответствующий стишок, плакат был тотчас же выставлен у входа в ЮгРОСТА, и вокруг него мигом собралась хохочущая толпа.

«Злопыхатели» были посрамлены. Я торжествовал и несколько раз в течение дня выглядывал на улицу, чтобы полюбоваться успехом своей карикатуры.

Очень запомнился мне при этом мрачный небритый субъект в короткой английской шинельке защитного цвета. Это несомненно был отставший от своих белогвардеец (хотя, надо сказать, что в английских шинельках и френчах щеголяло пол-Одессы, так как деникинцы, удирая, оставили в городе огромные запасы обмундирования). Субъект долго исподлобья смотрел на плакат и наконец сказал, осклабившись и ни к кому не обращаясь:

— С-сукин сын (это явно относилось не к Деникину)... Тут и не хочешь, а засмеешься...

Я стоял тут же и с большим удовольствием выслушал эту вынужденную «положительную рецензию» классового врага.

Примерно такое же ощущение я испытал много позже, когда в официальной ноте британский министр иностранных дел сэр Остин Чемберлен упомянул в тоне сдержанного бешенства мою карикатуру в «Известиях». Такое же ощущение я испытывал каждый раз, когда видел советские карикатуры, перепечатанные в буржуазной прессе со злобными комментариями.

Я сделал еще два или три плаката, из них один на тему, весьма актуальную для Одессы тех дней: о распространителях ложных слухов. Обывательская, антисоветски настроенная среда города роилась тогда всевозможными шепотками и «сенсациями», суть которых, в общем, сводилась к одному: Советской власти скоро конец — в ближайшее время в Одессе будет высажен десант (французский или греческий, а возможно, английский или американский).

Но советская Одесса имела не только скрытых, притаившихся, бессильно шипящих врагов, но и открытых, наглых, развязных... Одного такого я видел своими глазами в особняке, принадлежавшем до революции какому-то одесскому миллионеру, в котором теперь разместилось представительство Наркоминдела.

Это был капитан французского военного флота, на которого я уставился с понятным любопытством — ведь передо мной стоял живой интервент, доселе никогда мною не виданный, а только изображавшийся на карикатурах, воплощение той самой Антанты, которая пыталась удушить Советскую власть, натравливая на нее белогвардейских генералов.

Он явился сюда в связи с переговорами о допуске в одесский порт судов с русскими военнопленными, освобожденными из немецких лагерей, а также солдат русского экспедиционного корпуса во Франции, интернированных после Октябрьской революции в концлагерях «доблестных союзников».

Брат писал впоследствии:

«...Ярко и зло <...> помню двадцатый год, когда скрежеща мы вели переговоры в Одессе с командиром французской канонерки «Ля Скарп», беспрестанно являвшейся на одесский рейд без приглашения. Шевеля надушенными усами, сверкая ювелирной выставкой во рту, великолепный капитан Мюзелье, племянник «самого» Клемансо, смеялся советским властям в лицо...» *

В результате переговоров военнопленные были все же пропущены французскими военными кораблями в Одессу.

Помню, как огромное судно медленно приближалось к причалу в какой-то торжественной тишине, которая только у самого берега взорвалась радостным «ура» и пением «Интернационала». Тут же в порту состоялся митинг. Полились речи, горячие, нескладные, искренние. Пройдя кровавое горнило войны, вернулись эти люди домой. Вернулись из чужих краев, куда были брошены царизмом как пушечное мясо, расчетливо и безжалостно. Они оставили свою страну самодержавной империей, а сейчас вступили на землю Советской республики. На загорелых суровых лицах солдат можно было прочесть владевшие ими чувства. У многих, и прибывших и встречавших, стояли слезы на глазах...

Работа Изагита постепенно налаживалась. При этом мы размножали агитплакаты не трафаретным способом, как в московских «Окнах РОСТА», а копировали их клеевыми красками на фанерных листах и устанавливали в наиболее людных местах города. Приходилось, конечно, затрачивать больше труда и времени, но у нас было сколько угодно фанеры и очень мало бумаги, которая к тому же предназначалась для последних телеграмм и оперативных сводок (это тоже входило в обязанности Изагита).

Подумав, мы разделили Изагит на две мастерские — художественную и плакатную, которыми ведали два моих помощника. Плакатную мастерскую, где десятка три буквописцев и шрифтовиков писали на длинных полосах бумаги содержание последних известий, я поручил уже немолодому, видавшему виды одесситу, опытному мастеровому-печатнику по

*
Михаил Кольцов. Действующие лица, с. 41—42

фамилии Дегтярь. Он помогал мне налаживать работу, деликатно наставляя полезными советами и замечаниями, подобно тому как старый бывалый боцман учит уму-разуму своего начальника, безусого мичмана.

Заведующим художественной мастерской я, приглядевшись к одесским плакатистам, назначил Бориса Косарева, скромного и симпатичного молодого художника, делавшего отличные героические плакаты в несколько декоративной, но четкой и выразительной монументальной манере.

Мы регулярно выпускали призывные, а также сатирические плака-

10. Агитплакат ЮгРОСТА. Деникин у моря. 1920

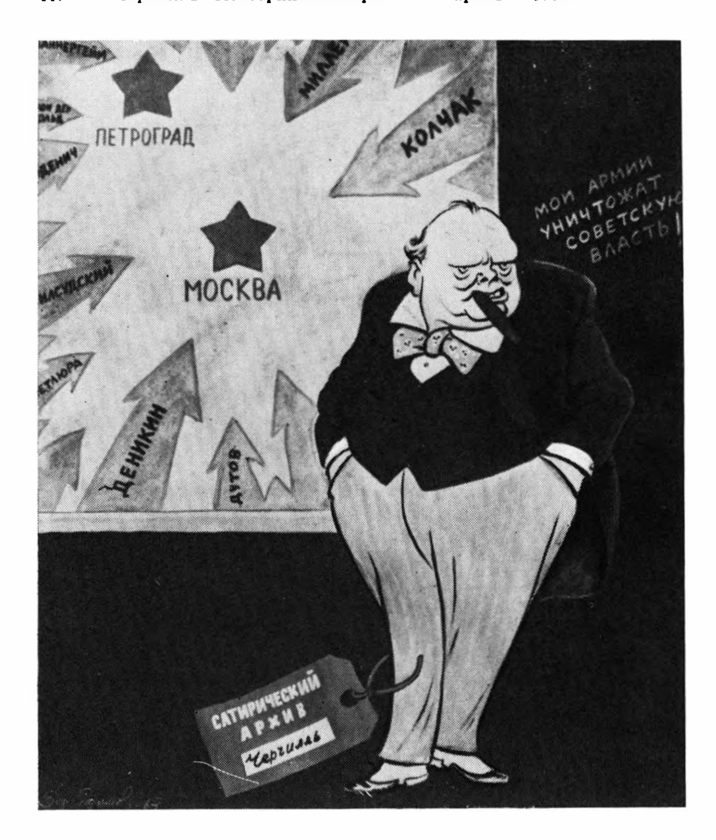


ты, порой весьма удачные. Среди них был плакат «Язык, который до Киева не доведет», на котором веселый красноармеец острым своим штыком пригвоздил длинный хвастливый язык толстого пана, тянувшегося к Киеву. Плакат был ярким и смешным, но, увы, события вскоре его опровергли: первые дни мая 1920 года принесли злую весть — Киев снова в руках врагов. На сей раз Симон Петлюра очутился в многострадальной столице на Днепре в качестве холуя пана Пилсудского.

Я сразу почувствовал себя в Одессе одиноко и тоскливо. Мучило беспокойство об оставшихся в Киеве близких людях.

Как и все вокруг, я не верил, что Пилсудский с Петлюрой будут долго владеть Киевом, и мечтал вернуться в родной город вслед за передовыми частями Красной Армии. Для этого я решил снова начать работать в газете Политуправления 12-й армии, стоявшей под Киевом, и вскоре добился откомандирования из ЮгРОСТА в Политотдел Югзапфронта для получения назначения в газету.

11. Черчилль. Из серии «Сатирический архив». 1967



...В моих руках вожжи, которыми я осторожно подхлестываю пару добрых коней, запряженных в классический одесский «биндюг». Рядом со мной сидит и сам «биндюжник», дяденька довольно разбойничьего облика, взявшийся за приличную мзду доставить меня из Одессы в город Николаев, откуда я намерен по железной дороге добираться до Харькова.

Других путей из блокированной Одессы в данный момент не существует.

Вначале я, откровенно говоря, настороженно отнесся к своему вознице, подозревая в нем (и, вероятно, не без основания) участника одной из шнырявших под Одессой кулацких «зеленых» банд, замышляющего где-нибудь в пути расправиться с ответственным советским работником, то есть со мной. Он же, как потом выяснилось, решил, что имеет дело с комиссаром «Чрезвычайки», нанявшим его подводу для того, чтобы

в Николаеве ее беспощадно реквизировать. Мы косо поглядывали друг на друга, почти в точности повторяя таким образом комическую ситуацию из известного чеховского рассказа «Пересолил».

Когда взаимные опасения рассеялись, мы почти подружились, чему немало способствовало обобществление извлеченных из моего чемодана съестных припасов и бутылки вина. После этого возница не мог, разумеется, отклонить мою просьбу править лошадьми, что доставило мне дотоле не изведанное и высочайшее наслаждение.

Кругом шелестела залитая жгучим южным солнцем степь, звенели какие-то птички, мы ехали мимо чистеньких сельских хат, поэтических зеленых пригорков, ручейков. Тишь и благодать!.. Почти не верилось, что где-то идет война не на жизнь, а на смерть. В Николаев мы приехали к вечеру. Дальнейшее мое путешествие в Харьков, где находился Политотдел фронта, нет надобности описывать подробно — оно было целиком в стиле той красочной эпохи. Сначала ночевка на щедро покрытом шелухой от семечек перроне николаевского вокзала. Затем «посадка» в поезд, иначе говоря — овладение группами пассажиров стоящими на путях пустыми «теплушками» и оборудование их досками, принесенными на собственных горбах из близлежащего лесного склада. Это было самое важное и самое трудное.

Далее все шло само собой. Томительно медленное движение поезда с бесчисленными остановками и многочасовыми стоянками, преимущественно в открытом поле и на разъездах; проверки документов военными патрулями, картинно увешанными маузерами и опоясанными пулеметными лентами; протяжные песни, исполнявшиеся хором всей теплушки; бодрые призывы (обычно по ночам): «Кто есть с оружием, выходи — банда!», после чего следовала обычно старательная и беспорядочная перестрелка с невидимым противником и по невидимым целям. Так что скучать было некогда, и несколько дней пути пролетели довольно быстро.

Харьков жил напряженной и кипучей жизнью города, где сосредоточены важнейшие военные и политические органы, управляющие действиями целых фронтов, передвижениями и операциями многих тысяч вооруженных бойцов. На многолюдных митингах можно было увидеть выдающихся деятелей Советской республики, услышать их страстные речи, призывавшие к борьбе и победе над врагами — врангелевцами, махновцами и прежде всего над «легионами» пана Пилсудского. Атмосфера города была наэлектризована ощущением готовящегося удара по белополякам. Ни для кого не было секретом, что Первая Конная армия, совершив после ликвидации деникинского фронта тысячекилометровый переход, сосредоточивалась против войск панской Польши.

На одном из митингов мне довелось услышать выступление М. И. Калинина. Рассказав о том, что расположенными против Конармии польскими войсками командует бывший царский генерал Карницкий, в частях которого служил в свое время вахмистр Буденный, Михаил Иванович добавил, лукаво блеснув очками и погладив русую бородку: «Что ж, возможно, мы скоро увидим, кто окажется лучшим командиром — генерал или бывший вахмистр...»

В газету 12-й армии меня не направили, а назначили инструктором по изобразительной агитации Управления железнодорожных агитпунктов. После «руководящей» работы в ЮгРОСТА это, возможно, и было некоторым снижением по служебной «номенклатуре», но зато ближе к Киеву. В своем новом служебном качестве я имел касательство к росписи харьковского вокзала монументальными агитационными панно, которую осуществлял тогда еще молодой художник А. Хвостов.

Быстро мчались дни. Я усердно выполнял свои обязанности в Управлении агитпунктов, кое-что рисовал для харьковских газет, потуже затягивал брючный ремень (несытно кормился тогда советский Харьков)

и вместе со всеми ждал событий на польском фронте, где царило «затишье перед бурей».

Наконец, с невыразимым волнением прочел я оперативную сводку о том, что конная Буденного прорвала фронт под Сквирой и, овладев Житомиром, вышла в тыл занимавшей Киев группировки генерала Рыдзь-Смиглого.

На другой же день я получил обещанное мне назначение на киевский агитпункт.

...Чуден был Днепр при тихой погоде того прекрасного июньского дня, когда, прошагав от Дарницы, где у разрушенных противником путей остановился наш эшелон, я вышел к берегу прославленной реки. Горели на солнце золотые купола лавры.

Как тяжело раненный боец, лежал, полупогрузившись в воду, взорванный оккупантами при отступлении знаменитый Цепной мост — гордость киевлян. Я невольно остановился, пораженный красотой реки, неба и города на высоком зеленом берегу.

Потом поднял на плечи вещевой мешок и, не дожидаясь переправы на пароме, нанял лодочника.

Впервые в Москве

Как люди впервые попадают в Москву?

По-разному.

Конечно, самый простой и надежный способ попасть в Москву — это родиться в ней. В этом случае человек легко и, так сказать, автоматически становится коренным москвичом.

Именно так поступил, в частности, мой сын Михаил, примеру которого через двадцать пять лет последовал и его сын Андрюша, а еще двадцать лет спустя и дочка Андрюши, моя правнучка Катенька. Таким образом, как нетрудно заметить, я оказался в роли родоначальника, или, как принято выражаться в молодежной среде, предка целых трех поколений коренных москвичей. А сам я между тем — коренной киевлянин, чей путь в Москву, в отличие от моих потомков, был далеко не таким простым.

Я думаю, что нет надобности пересказывать здесь события гражданской войны на Украине, подробности смены властей в многострадальном моем Киеве. Ограничусь лаконичной справкой: на протяжении двух лет, пять раз оставив после упорных боев Киев и шесть раз вышвырнув из него разного цвета и масти оккупантов, Советская власть окончательно утвердилась в столице Украины летом 1920 года.

И все эти два беспокойных огненных года в наших мыслях незыблемо жила большевистская Москва. В периоды, когда над Киевом развевалось алое знамя свободы, мы были связаны с ней общими радостями и тревогами, получали помощь словом и делом, к нам приезжали опытные работники, закаленные бойцы-революционеры, пропагандисты и агитаторы, артисты и поэты, приходили центральные газеты и журналы, яркие сатирические плакаты, созданные лучшими художниками революции.

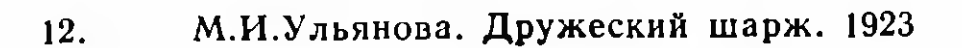
Когда же над нашим городом опускалась темная ночь вражеской оккупации, мы черпали стойкость и терпение в думах о Москве. Она существовала в нашем сознании незыблемым оплотом уверенности в конечной победе над контрреволюцией. Мы твердо знали, что не оставит нас в беде Москва — город-маяк, легендарный штаб революции, откуда Ленин и большевики управляют обороной Советской России, руководят действиями Красной Армии, которая, победоносно преодолевая временные неудачи, громит белогвардейцев и интервентов.

И кто из нас не мечтал побывать в Москве, увидеть своими глазами Кремль и красный флаг над Совнаркомом?

Как же все-таки я впервые попал в Москву?

Произошло это совершенно для меня неожиданно и ошеломляюще быстро. В один прекрасный день весны 1921 года я получил официальную бумагу из Петрограда. На бланке Управления Народного комиссариата по иностранным делам мне предлагалось безотлагательно прибыть в Петроград в распоряжение начальника информационного бюро указанного управления.

Под предписанием стояла хорошо мне знакомая подпись Михаила Кольцова.


12. М.И.Ульянова. Дружеский шарж. 1923



Я только развел руками, увидев это очередное проявление неугомонности старшего брата, его вечного беспокойства, чтобы я, по его мнению, вялый и нелюбопытный, не заленился и не засиделся, его постоянной заботы о том, чтобы вытащить меня на что-нибудь новое, интересное, значительное.

В момент получения мною предписания из Петрограда я отнюдь не сидел, с моей точки зрения, без дела: занимал должность заведующего художественно-плакатным отделом Киевского отделения УкрРОСТА и одновременно руководил изобразительной агитацией Киевского железнодорожного узла. Кроме того, почти ежедневно рисовал карикатуры для газеты на русском языке «Киевский пролетарий», делал плакаты для массового

тиражирования. Были и причины личного характера, удерживавшие меня в Киеве. Но соблазн увидеть город — колыбель Октябрьской революции и город — столицу Советской Республики был слишком велик.

Я двинулся в путь.

Нелишним будет напомнить, в каком тяжелейшем состоянии находился тогда транспорт страны, разоренной трехлетней гражданской войной. Хотя в силу суровой необходимости передвижение по железным дорогам было строго ограничено системой пропусков, которые не так просто было получить, это нисколько не мешало толпам людей без всяких командировок и пропусков штурмовать поезда, до отказа забивая пассажирские и товарные вагоны, располагаясь не только внутри их, но и на крышах. Заградительные отряды железнодорожных воинских частей сбивались с ног, пытаясь противостоять этой стихии, по мере возможности вылавливая спекулянтов, мешочников, разношерстных подозрительных субъектов. Не было недостатка и в преступных элементах. Случалось даже, что поезда подвергались прямому нападению еще не добитых контрреволюционных банд. В частности, выезжая из Киева, я располагал мало воодушевляющей информацией о том, что где-то на перегоне Нежин — Конотоп орудует, останавливая поезда, какой-то одичалый «батько» со звучной фамилией Мордалевич.

Но вот остались позади четырехдневная тряска в стареньком жестком вагоне, бесчисленные остановки в пути, томительные многочасовые ожидания на станциях, полустанках и разъездах, и мы выходим на платформу Брянского (ныне Киевский) вокзала. Столица встречает нас приветливо:

— Всем пройти в помещение Чрезвычайной комиссии! — раздается зычная команда, и пестрая толпа пассажиров, где подавляющее большинство — везущие продукты мешочники, выстраивается в длинную очередь для проверки. Мой тощий чемоданишко не вызывает особого интереса, командировочное предписание прочитывается благосклонно, и я выхожу на привокзальную площадь.

Я — в Москве. Не чудо ли это? Скорей, скорей в город!

Целую неделю, вплоть до отъезда в Петроград, я без устали шагаю по улицам и площадям столицы. Ведь столько надо успеть! Увидеть и Кремль, и Большой театр, и памятник Пушкину, и здания ВЧК и Реввоенсовета, и «Василия Блаженного», и обязательно... кафе «Стойло Пегаса», где, говорят, можно встретить самого Маяковского.

С Николаевского вокзала (теперь он называется Ленинградским) я покидаю Москву и на Николаевский же (теперь Московский) приезжаю в Петроград. Миша встречает меня с... автомобилем. Я ошеломлен: до того момента мне, честно говоря, не доводилось пользоваться этим способом передвижения. Брат скрывает улыбку — он доволен произведенным эффектом. Мы садимся в огромную открытую машину (марку я не запомнил, но допускаю, что мой «первый автомобиль» достойно занимает место где-нибудь в музее рядом с ильфопетровской «Антилопой-гну»...), и мое знакомство с прославленным городом на Неве начинается. В Петрограде я испытал те же чувства, что и в Москве: слава великого города ассоциировалась у меня не только и не столько с его далеким историческим прошлым, сколько с его новой, революционной славой и романтикой. Ведь мое поколение, прошедшее через «университеты» гражданской войны, хотя и уважало культурное наследие, но больше тяготело ко всему новому, необычному, ниспровергающему. Нас больше захватывал Маяковский, чем Пушкин, больше увлекал Мейерхольд, смело ломавший театральные традиции, чем классика Малого или Художественного театров. То же происходило в любой другой области общественной и культурной жизни.

Естественно, что образы трех революций, события которых разворачивались здесь, на улицах и площадях Петрограда, заслонили в моих глазах все остальное.

Стоя, например, у Таврического дворца, я совершенно не думаю о светлейшем князе Потемкине или даже о деятельности Государственной думы. Но отчетливо встают в воображении картины Февральской революции, опьянение первыми днями свободы после свержения трехсотлетнего самодержавного режима, море красных флагов, медные ликующие звуки Марсельезы, привод арестованных царских сановников.

...Я стою против Зимнего дворца. Внушительной багрово-красной громадой смотрит он на удивительную по своему изяществу и гармонии Дворцовую площадь. Его фасад — это подлинная симфония статуй, колонн, скульптурных орнаментов и украшений. Не зря говорят, что архитектура — это окаменевшая музыка. И действительно, во всем облике этого знаменитого здания как бы звучат торжественно-мрачные аккорды какой-то суровой, патетической мелодии.

Но, глядя на дворец, я думаю не о гениальном зодчем Растрелли, не о пластическом богатстве стиля барокко, не о красоте раскрывающегося передо мною великолепного архитектурного ансамбля. Я вообще не думаю в этот момент ни об искусстве, ни об эстетике, ни об архитектуре. Мои мысли о другом. Они переносят меня в не столь уж далекое прошлое — в день 9 января 1905 года, в «Кровавое воскресенье». Вот на этой самой площади валялись на снегу убитые и раненые люди.

(Интересно, кстати, кто из царей — Николай II или кто-то из его предшественников надумал выкрасить дворец в цвет запекшейся крови? Ведь первоначальная его, растреллиевская, раскраска была совсем другая — легкая, светло-зеленая с белым, праздничная. Впоследствии она была восстановлена советскими реставраторами.)

...И тот же дворец, и та же площадь.

Но совсем, совсем другое историческое событие — рабочие, солдаты, матросы штурмуют последний оплот буржуазной власти.

«— Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время...»

Это произошло немногим более трех лет назад.

Но есть и нечто совсем недавнее, что не может оставить меня равнодушным. Ведь я приехал в Петроград в момент, когда все вокруг еще полно отзвуками только что отгремевших и еще волнующих драматических событий: прошло всего несколько недель со дня ликвидации Кронштадтского мятежа, на восемнадцать дней приковавшего к себе внимание не только советской страны, но и всего мира.

— Хочешь съездить в Кронштадт? — спросил меня Кольцов. — Покажу тебе, как было дело.

И вот — утро в Кронштадте. Ясное голубое небо. Совсем по-летнему светит солнце. Мы прибыли сюда на катере по еще не спокойным «балтическим волнам». Но в дни мятежа морского пути в Кронштадт, как известно, еще не было. Атакующие части Красной Армии и вместе с ними 800 делегатов X съезда Коммунистической партии не могли использовать ни катеров, ни другие суда:

«...По льду, взрываемому гранатами, сквозь ад атаки вошли мы сегодня в Кронштадт, втащили за собой подобранных, еще живых, изувеченных, уже отошедших. На госпитальной койке умирает председатель губисполкома, делегат партийного съезда, рабочий<...> Последним усилием приподымается на локте, улыбается.

— Мне конец, но и всем им конец! Да здравствует революция!» *

В рядах наступавших по льду советских частей находился и боец отряда особого назначения 2-го городского района петроградской организации Михаил Кольцов, фельетонист «Красной газеты». Вместе с журналистом Л. Филипповым и поэтом В. Князевым он получил конкретное задание:

* *Михаил Кольцов.* Действующие лица, с. 34

«...В морозной мгле, при свечке, колеблемой ледяным вихрем, в ораниенбаумском домишке без крыши, сорванной снарядом, под гром десятидюймовых чудовищ верстался номер «Красного Кронштадта», чтобы через два часа выбросить с первыми ротами в захваченную крепость» *.

Мы ходим с Кольцовым по улицам Кронштадта, мимо массивных, еще покрытых пороховой копотью крепостных сооружений, фортов, казематов. Брат рассказывает, показывает, вспоминает...

— Вот здесь мы поднялись на борт восставшего против Советской власти и сдавшегося дредноута. Корабль был весь в снегу. Люди на нем окоченели. Не от мороза — от страха. Они смотрели на нас исподлобья, ждали своей участи... Оказалось, между прочим, что главные орудия, направленные на Петроград, были заряжены двенадцатидюймовыми снарядами и приготовлены к обстрелу города. Представляешь себе? Решили снаряды не вынимать, а разрядить орудия залпом в море. Это был какой-то чудовищный гром — своего рода салют в честь победы революции на страх врагам...

«Утро в Кронштадте» — так назывался и фельетон, написанный Кольцовым «при свечке, колеблемой ледяным вихрем», и напечатанный в первом номере «Красного Кронштадта». Фельетон этот заканчивался следующими строчками: «На днях, когда Кронштадтом еще владели белогвардейцы и их господа из английской разведки, я напечатал в «Красной газете» открытое письмо генералу Козловскому, назначая ему скорое свидание в освобожденном Кронштадте.

Мы прибыли на место встречи, но его превосходительства, увы, здесь не оказалось. Куда вы скрылись, почтенный генерал?» **

В этой маленькой газетной заметке двадцатитрехлетнего Кольцова были, как мне кажется, уже заложены, как в зерне, все будущие его качества: оперативность газетчика, талант организатора, мужество журналиста, сатирический задор фельетониста.

Вторично я приехал в Москву через год, летом 1922-го. К этому времени брат, распростившись с Петроградом, переселился в Москву и стал постоянным сотрудником «Правды». Один из первых опубликованных в ней фельетонов принес его автору широкую известность. Это был фельетон-очерк «Москва-матушка». Я прочел его, еще будучи в Киеве, и хорошо помню, как понравилось мне его красивое, напевное, почти былинное начало:

«Высоко на холмах, в снеговом убранстве, в ожерелье огней и знамен стоит далеко видная сквозь пургу красная Москва.

Молодая, крепкая, новая».

Итак, я в знаменитом городе — чужом и одновременно родном, не так давно впервые увиденном и вместе с тем удивительно знакомом. В Москве, многоликой и многообразной в сложном переплетении и наслоении эпох, стилей, исторических, социальных, культурных влияний и противоречий. Москва — древняя, допетровская, Москва — царская, дворянская, купеческая, Москва — революционная, Москва — литературная, художественная, театральная. И разве каждая эта, отдельно взятая, Москва не является органической, неотъемлемой частью сегодняшней современной большевистской Москвы, уверенно, по-хозяйски осваивающей, переплавляющей и умножающей доставшееся ей по праву наследство?

*
Михаил Кольцов. Писатель в газете. М., 1961, с. 4

**
Там же

При этом я ощущаю, понимаю, вижу, что всю жизнь огромного кипучего города, всю его «кровеносную систему» пронизывает борьба цепкого, изворотливого, притаившегося *старого* с уверенным в себе, окрыленным и дерзающим *новым*. Эта борьба — классовая, идейная, психологическая, культурная, моральная — проявляется на каждом шагу в большом и малом, открыто и замаскированно, тайно и явно, от производственных отношений до литературы, от семейного быта до театра.

Ни в ком не вызывает сомнения, что поставленный Лениным вопрос «кто — кого» будет решен в пользу социализма, но пока что махровым цветом распускаются уродливые явления, к которым прочно прилипла кличка «гримасы нэпа». Немало карикатур на эту тему предстоит мне нарисовать для будущего «Крокодила», который вскоре начнет выходить в свет. Не раз придется изображать обнаглевших торгашей и спекулянтов, сорящих неведомо как «заработанными» кучами денег, разжиревших завсегдатаев шикарных ресторанов, игорных домов и лихих полукабаре-полупритонов, где рекой льется шампанское и нэпманы отплясывают со своими дамами модные танцы — танго, фокстрот и «в ту степь».

А рядом — спокойная, твердо идущая по ленинскому пути советская Москва, железной рукой укрощающая явных врагов, строго одергивающая разложившихся «советских вельмож» и примазавшихся к власти приспособленцев, приводящая в чувство разгулявшихся растратчиков и аферистов.

Чуть ли не в первый день своего приезда мне представляется возможность увидеть воочию, четко и зримо, обе эти Москвы. Нэпманскую стихию я наблюдаю в увеселительном летнем саду «Эрмитаж». С изумлением человека, три года дышавшего суровой атмосферой гражданской войны, привыкшего к аскетическому быту военного коммунизма, гляжу я на раскормленных франтов в брюках дудочкой и претенциозных шляпах-панамах, на их накрашенных дам в модных, немыслимо узких юбках до пят, позволяющих передвигаться только семенящей вихляющей походкой. Плывет кухонный чад над столиками ресторана, стоит пьяный гомон, визгливый хохот подвыпивших дам и скабрезные шуточки их кавалеров, барственно подгоняющих взмыленных официантов. Нэп веселится... До поры до времени.

А в Колонном зале Дома союзов строгая тишина. Негромкий разговор ведется только на возвышении, где установлен большой стол, покрытый красным сукном. По обе стороны от него — столы попроще, с папками, кипами бумаг, документами. С жадным любопытством рассматриваю я людей на трибуне. Среди них видные деятели Советской власти, имена которых знает вся страна, — Луначарский, Ярославский, Курский, известные журналисты, работники следственных и судебных органов.

Здесь держат ответ за свои преступления против народа главари контрреволюционной партии правых эсеров, ставшие на путь заговоров, провокаций, убийств. Достаточно вспомнить, что из рядов этой партии вышла изуверка, стрелявшая в Ленина. Но здесь они пытаются представить себя «идейными противниками» Октябрьской революции, позируют, разглагольствуют и... растерянно стушевываются, натыкаясь на неопровержимые факты, на железную логику обвинения, которое возглавляет Н.В.Крыленко. На него я смотрю с особым интересом — ведь это легендарный «прапорщик Крыленко», участник Октябрьского переворота, первый Верховный главнокомандующий, назначенный Советским правительством.

Присутствует на трибуне и некая любопытная личность совсем другой категории. Это солидный мужчина в пенсне, с блестящей лысиной и холеной бородкой — господин Эмиль Вандервельде, один из лидеров Второго Интернационала, ярый враг Октябрьской революции, активный пособник империалистической интервенции, имевшей целью свержение Советской власти.

А почему он здесь, в Колонном зале? Неужели он тоже занимает место на скамье подсудимых рядышком с милыми его сердцу эсерами?

Отнюдь нет. Его присутствие объясняется тем, что недели две назад он предпринял «хитроумную» демагогическую и провокационную акцию: опубликовал в западной прессе свое предложение приехать в Москву и выступить на процессе правых эсеров в качестве их официального защитника. При этом он явно рассчитывал на отказ, который, естественно, дал бы ему и всей буржуазной печати отличный повод поднять истошный вой о предвзятости и необъективности советского правосудия. Но разрешение на приезд в Москву ему было дано...

И вот мне доводится слышать его длинную речь, сопровождаемую округлыми патетическими жестами опытного адвоката и прожженного парламентского краснобая.

Кстати сказать, пролетарская Москва по-своему отметила приезд Вандервельде: помимо должностных лиц его встретила на Белорусском вокзале многолюдная и довольно озорная комсомольская демонстрация с соответствующими данному случаю транспарантами и сатирическими плакатами, весьма недвусмысленно характеризовавшими лакейское прислужничество почтенного социал-шовиниста перед буржуазией и королевским троном.

«А не тема ли это для карикатуры?» — подумал я, глядя на ораторствующего Вандервельде. И утром следующего дня с рисунком в руках направился в редакцию «Правды».

Этим посещением я, пожалуй, воспользуюсь, чтобы дать сегодняшнему читателю некоторое представление о Москве, какой она была шестьдесят лет назад.

Для этого достаточно оседлать изобретенную английским фантастом Гербертом Уэллсом машину времени и пуститься в прошлое.

Между прочим, надо иметь в виду одно весьма существенное обстоятельство: машина эта путешествует во времени, но не в пространстве. Иными словами, стартуя на ней в минувшие года, вы физически остаетесь на том самом месте, откуда отправляетесь. Поэтому если это место было в прошлом чем-нибудь или кем-нибудь занято, то вам грозит весьма опасное столкновение.

Так, например, не рекомендуется начинать путешествие в прошлое Москвы, находясь на Колхозной или Лермонтовской площадях: в первом случае, вернувшись в былые года, вы можете с размаху налететь на громаду Сухаревой башни, а во втором — на Красные ворота. Эти мощные старинные сооружения в двадцатых годах еще находились на своих местах. Надо также быть исключительно осторожными в районе Пушкинской площади: ведь на месте нынешнего красивого сквера с фонтанами и кинотеатра «Россия» громоздились многочисленные постройки и окрашенная в розоватый цвет колокольня Страстного монастыря, а напротив, у начала Тверского бульвара, находился длинный каменный трамвайный павильон, густо облепленный всевозможными ларьками и киосками. Вокруг площади (тогда она называлась Страстно́й) бесконечной вереницей ползли трамваи, совершавшие здесь поворотный круг в сторону Сокола и старавшиеся не столкнуться при этом с вагонами, следовавшими напрямик от Белорусского вокзала вниз по Тверской.

Тут особенно надо держать ухо востро, чтобы вместе с машиной времени не попасть под трамвайные колеса.

— А о какой-такой Тверской идет речь? — может спросить молодой читатель.

Объясняю: Тверская — это узкая и извилистая улица, находившаяся тогда на месте нынешней широкой и прямой улицы Горького, получившей свое название только десять лет спустя, в день сорокалетия литературной деятельности великого писателя.

Упоминая об опасных свойствах машины времени, признáюсь, что лично я рассчитываю на благополучный исход путешествия, поскольку начинаю его в своем доме на углу Кутузовского проспекта и набережной Тараса Шевченко. А на этом месте, насколько я знаю, полвека назад находился пустырь. Кстати сказать, как неузнаваемо и чудесно изменился этот район! Поистине почти по Пушкину: «...По оживленным берегам громады стройные теснятся домов и башен. В гранит оделася... Москва; мосты повисли над водами...» Да, все это я вижу из своего окна — и гранитные набережные Москвы-реки, и стройные громады — здания СЭВ, гостиницы «Украина», Совета Министров РСФСР, красивые многоэтажные башни Калининского проспекта, который, перешагнув над водами могучим мостом, вливается в великолепную магистраль Кутузовского проспекта. И ведь все это возникло за последние два десятка лет буквально на моих глазах!

Итак, дорогой читатель, мы с вами благополучно совершили посадку в московский июль 1922 года. Теперь, следуя примеру уэллсовского путешественника во времени, нам нужно припрятать где-нибудь в укромном месте нашу машину и, пользуясь уже не фантастическим, а самым обыкновенным городским транспортом, заехать за карикатурой и отвезти ее в редакцию «Правды».

А на чем поехать? При одном взгляде на вагоны трамвая, идущего от Дорогомиловской заставы к центру, делается страшно: они так облеплены людьми, что видны только крыши. Извозчика здесь не достать. Автобусов, троллейбусов или такси вообще нет и в помине. О метро никто и слыхом не слыхал — оно начнет строиться только через десять лет. Впрочем, многого еще нет в Москве двадцать второго года... Нет высотных зданий, подземных переходов, светофоров, автоматов с газированной водой. Нет Останкинской телебашни, как нет и самих телевизоров. Нет еще спортивной арены в Лужниках, и даже стадион «Динамо» еще не построен. Нет памятников Горькому, Маяковскому, Марксу, Дзержинскому, Лермонтову, Шевченко. Еще никто не читал романа «12 стульев», не видел фильма «Чапаев», не знает Аркадия Райкина, не слышал песен «Катюша» и «Подмосковные вечера», не выходят журналы «Крокодил» и «Огонек», не существует газета «Вечерняя Москва».

Занимаясь этим перечислением различных «не», мы с вами, мой спутник-читатель, незаметно проделываем пешком неблизкий путь до гостиницы «Савой» (ныне «Берлин») на Рождественке (ныне улица Жданова), где я живу у брата в крохотном номере на четвертом этаже. Выйдя из «Савоя», мы попадаем на Театральный проезд, наполненный звоном и грохотом бесчисленных ярко-красных трамвайных вагонов, поднимающихся вдоль китайгородской стены к Лубянской площади (ныне Дзержинского) и спускающихся от нее к нынешней площади Свердлова.

От площади Дзержинского начинается проспект Маркса (тогда Охотный ряд). Для того чтобы представить себе этот «проспект-ряд» в 1922 году, надо прежде всего мысленно убрать оба стоящих на нем фундаментальных здания — гостиницу «Москва» и Дом Совета Министров. На месте гостиницы следует установить длинный пестрый ряд лавок, складов и лабазов, торгующих мясной, рыбной, овощной, молочной, соленой, моченой, копченой и прочей снедью, распространяющей пронзительные запахи. Вторым этажом высится над этими лавками нагромождение огромных жестяных размалеванных вывесок, украшенных купечески-спесивыми фамилиями владельцев сих не слишком благополучных в санитарном отношении гастрономических предприятий: «Братья Кулаковы», «Пафнутьев и сыновья», «Колбасные изделия Кузьмы Смирнова», «Бугров и Ревякин — бакалея» и т. п. Нэп!..

На противоположной стороне — ряд старинных одноэтажных домов, на фоне которых, оставив тесный проход для пешеходов, а всей своей гро-

моздкой тушей вылезая на середину улицы, высится огромная неуклюжая церковь Параскевы Пятницы. Протиснувшись мимо нее через узкую щель прохода, мы оказываемся на углу Тверской улицы.

Стоя на этом месте, мы не видим, как теперь, ни Манежа, ни Исторического музея, ни зелени Александровского сада, ни Кремлевской стены. Все это закрыто от взоров целым кварталом узких переулков, заполняющих все пространство нынешней площади 50-летия Октября, вплотную подступающих к университету и отделенных от него извилистым и тесным ущельем вымощенной булыжником Моховой улицы. Против гостиницы «Националь», замыкая Охотный ряд, стоит в дополнение к Параскеве еще одна церковь, поменьше.

Поднимаясь по Тверской улице мимо огражденного дощатым забором пустыря, на котором через несколько лет будет построен Центральный телеграф, минуем красно-белое, пока еще двух-, а не пятиэтажное здание Моссовета, и мы на Страстной площади. Она еще не переименована в честь великого поэта, памятник которому стоит пока на прежнем месте, в начале Тверского бульвара. Здания газеты «Известия» нет еще и в помине. На этом месте забор. Рядом старинный особняк, так называемый «дом Фамусова», в котором разместился КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока.

Мы почти у цели. Остается пройти мимо приземистого здания кинотеатра, носящего почему-то французское название «Ша нуар», т. е. «Черный кот», и повернуть направо в ворота большого здания в стиле модерн, где сегодня находится редакция газеты «Труд». В глубине двора, заваленного рулонами бумаги, пятиэтажный кирпичный корпус. Поднимемся по лестнице с простыми железными перилами. На втором этаже находится редакция газеты «Известия». Этажом выше — «Правда».

С понятным волнением я открываю дверь в редакцию. Еще бы! Ведь я снова существую в июле 1922 года, когда никому не известный, приехавший из Киева молодой художник принес нарисованную им карикатуру в «Правду». В «Правду»! В газету, основанную Лениным, которую читают миллионы людей, к голосу которой прислушивается весь мир. Я вхожу в очень просторный прямой коридор, в который с обеих сторон симметрично выходят застекленные двери кабинетов и отделов газеты. В коридоре царит оживление — это место встреч, летучих бесед, деловых и неделовых разговоров. В кабинетах более тихая и сосредоточенная обстановка — там идет работа.

Именно в коридоре, а не в кабинете, я увидел одного из редакторов «Правды». Он шел быстро, слегка размахивая правой рукой, в которой держал длинные полоски газетных гранок. На нем была синяя рабочая блуза, на ногах домашние туфли.

Пробормотав какие-то слова, смысла которых не поняли ни он, ни я сам, я протянул ему рисунок.

— Что ж, — сказал он, — пожалуй, что недурно... Мария Ильинична, — обратился он к женщине, которая в этот момент вышла из стеклянной двери с табличкой «Секретариат», — посмотрите-ка эту штукенцию.

У женщины было серьезное широкоскулое лицо, светлые внимательные глаза. Гладко причесанная голова чуть-чуть наклонена набок.

Мария Ильинична взяла в руки мой рисунок, но в эту секунду из секретариата выглянула молоденькая смуглая девушка с криком:

— Мария Ильинична! Верхний!

Мария Ильинична торопливо вернулась обратно, унося с собой карикатуру, но я успел увидеть сквозь открытую дверь, как она взяла трубку висевшего на стене телефона, и услышать ее спокойный голос:

— Это ты, Володя?

Редактор в синей блузе тоже вошел в секретариат, и дверь закрылась.

Впоследствии мне еще не раз придется бывать в «Правде», не раз показывать Марии Ильиничне рисунки, не раз буду я заходить в секретариат и подружусь с Соней Виноградской (так звали смуглую девушку, помощника Марии Ильиничны). Я уже буду знать, что возглас «Верхний!» обозначает звонок аппарата так называемого Верхнего коммутатора Кремля, соединяющего редакцию «Правды» с кабинетом и квартирой Ленина.

Но сейчас я вышел из редакции под особым впечатлением. Я размышлял не столько об участи своего рисунка, сколько о том, что я был свидетелем, как Мария Ильинична Ульянова — родная сестра Ленина! — разговаривала с ним самим, с Владимиром Ильичем! Я был взбудоражен и взволнован.

Развернув на другое утро «Правду», я увидел на обычном месте политической карикатуры — на первой полосе справа — моего Вандервельде. Он подобострастно пожимал снисходительно протянутые ему два пальца королевской руки. Под карикатурой была подпись: «— Я был там встречен, как подобает министру Вашего Величества. На вокзале был даже Ваш портрет!»

«Успех нас первый окрылил...» За первым рисунком в «Правде» последовали второй, третий... Потом несколько моих карикатур было напечатано во вновь организованной «Рабочей газете» и в еженедельном иллюстрированном «Приложении» к ней.

Прошел месяц. Я начал собираться домой, в Киев.

— А, собственно говоря, почему бы тебе не остаться в Москве? — спросил меня брат.

— Видишь ли, какое дело... — замялся я.

Миша внимательно на меня посмотрел.

— Ну и что... — сказал он, подумав. — Скоро мне дадут две комнаты в доме «Правды» в Брюсовском переулке. Поживете пока у меня, а там что-нибудь подвернется.

Так я стал москвичом. И остаюсь им по сей день уже шесть десятилетий.

Однако не пора ли нам, милый читатель, вернуться в восьмидесятые годы? Зайдем за припрятанной нами машиной времени. Она еще не раз нам понадобится на страницах этой книги.

Пленум Моссовета

Мне не раз доводилось присутствовать на пленарных заседаниях Московского Совета. Особенно в период, когда на протяжении четырех лет (два созыва) я был депутатом Моссовета, избранным сперва в Бабушкинском, а два года спустя в Ленинградском районах столицы.

Приходилось мне и выступать с трибуны пленумов в столь характерной для них торжественной и строгой атмосфере, когда видишь перед собой многолюдный сосредоточенный зал, внимательные лица слушателей, живописное разноцветье женских платьев и косынок, мужских сорочек и галстуков, орденских колодок и золотых погон. Стоя на трибуне, ощущаешь в эти минуты какую-то особенную собранность и мобилизованность, предельное обострение памяти. Возникает некий самоконтроль над тем, что ты говоришь и как ты это произносишь. А также, не скрою, возникает подспудный панический страх перед какой-нибудь случайной, нелепой оговоркой, способной вызвать в зале нелестный для злополучного оратора смех.

Тобой овладевает чувство, которое испытывает, вероятно, человек, переходящий по натянутому канату через внешне спокойную, но опасно глубокую реку. Если ты к тому же не читаешь текст по бумажке, а свободно произносишь его по кратко сформулированным тезисам, испещренным в по-

следний момент всевозможными вставками, поправками и сокращениями, то тебя ни на секунду не покидает боязнь сбиться, запутаться, забыть сказать что-то нужное и существенное.

Вот почему с такой удивительно приятной легкостью на душе включаешься потом в оживленный людской водоворот в кулуарах и вестибюлях, во время перерыва, где обмениваются впечатлениями, ведут дружеские и деловые разговоры, просто шутят и балагурят давно не встречавшие друг друга товарищи, захлестнутые столичной «грудой дел, суматохой явлений».

13. Ангел мира над Лозаннской конференцией. 1922



Любой из пленумов Моссовета — это определенный и важный этап в сложной многоплановой деятельности высшего руководящего органа Советской власти в столице, он подводит итоги проделанной работы, нацеливает на выполнение новых ответственных задач. Пленумов было много, о каждом не вспомнишь, не расскажешь. Но об одном из них мне хотелось бы вспомнить и рассказать.

Был день как день. Обычный, будничный, ноябрьский, с легким снежком.

Абсолютно ничем не примечательный серенький денек.

Мог ли я тогда, 20 ноября 1922 года, подумать, что почти шестьдесят лет спустя буду упорно и настойчиво восстанавливать в памяти все детали этого дня, который окажется отнюдь не обычным, а, наоборот, совершенно необыкновенным, волнующим, историческим.

Впрочем, все по порядку. В тот день с утра я, как обычно, рабо-

14. Будущее за нами! 1923



тал. Рисовал для «Крокодила» карикатуру на Керенского. Сюжет ее состоял в том, что беглый министр-председатель незадачливого Временного правительства, очутившись за границей, стал вести активную светскую жизнь, появляться во всевозможных аристократических салонах, на приемах и раутах, всячески демонстрируя шикарные манеры высокопоставленного сановника в изгнании. Карикатура состояла из двух частей, называвшихся «Хорошо сшитый френч» (Керенский до бегства, в бриджах

и крагах, с рукой, по-наполеоновски сунутой за борт френча, насупленный и важный) и «Хорошо сшитый фрак» (Керенский, умильно улыбающийся, разжиревший и выхоленный, в белых перчатках и с хризантемой в петлице).

Закончив карикатуру и взглянув на часы, я решил, что хватит времени на очередной рисунок для «Известий». Просмотрев газеты, я остановился на сообщениях из Лозанны, где в эти дни начинала работу международная конференция по вопросам Ближнего Востока, и нарисовал карикатуру под названием «Ангел мира над Лозанной». Витающим ангелом я изобразил солидный бидон с нефтью, оснащенный крылышками, пальмовой ветвью и нимбом над выглядывающей из бидона ангельской головкой. На нефть вожделенно поглядывают роняющие слюнки империалисты, во главе которых восседает за столом небезызвестный лорд Керзон.

Поставив под рисунком подпись, я не спеша направился в редакцию «Известий», находившуюся тогда во дворе здания газеты «Труд», которое совсем недавно, в 1980 году, было передвинуто ближе к углу Настасьинского переулка, чтобы не закрывать собой нового редакционно-издательского комплекса «Известий».

В редакции я застал какую-то странную пустоту. Обычно многолюдный широкий коридор, в который с обеих сторон выходили застекленные двери кабинетов, казался вымершим. В кабинетах, всегда шумных, стояла непонятная тишина. Только в секретариате за своим столом сидел с обиженным видом секретарь редакции Василенко.

— В чем дело, Владимир Мартынович? — спросил я, отдавая ему свернутый в трубочку рисунок. — Куда девался народ?

— Все на пленуме Моссовета, в Большом театре, — мрачно ответил Василенко, — а я, видите, привязан к месту.

— На пленуме? А почему всем вдруг понадобился пленум?

— А вы что, не знаете? Там сегодня выступает Ленин!

— Ленин?! — закричал я. — Что же вы молчите?

Не помня себя, я выскочил из редакции, стремглав промчался по двору и, не переводя дыхания, перебежал на противоположную сторону Тверской улицы. Я понимал, что дорога каждая минута. От Триумфальной площади (теперь площадь Маяковского), оглушительно звеня и громыхая на стыках рельсов, приближался трамвай. Отработанным приемом я пустился бежать рядом с вагоном и, сравнявшись с ним скоростью, ухватился за поручни, вскочил на подножку и через пару минут очутился на Страстной площади (теперь Пушкинская). Но мне дико не повезло: это, оказалось, был трамвай № 6, который делал вокруг площади поворотный круг и возвращался в Покровское-Стрешнево. Пока я, спрыгнув с подножки, метался по площади в поисках другого, подходящего трамвая, пока он, низвергаясь как водопад вниз по Тверской, вез меня к Охотному ряду, пока я рысью бежал к Большому театру, пока, размахивая редакционным удостоверением, прорывался мимо караула, было потеряно немало драгоценного времени.

Однако я не опоздал.

Заседание еще продолжалось, хотя, видимо, подходило к концу. В фойе и коридорах, опоясывающих театр, не было ни единого человека — всех, как магнит, втянул в себя зрительный зал. Но все мои попытки проникнуть в него были тщетны — настолько плотно, железно и цементно были закупорены людской массой все входы. Я ринулся вверх, перепрыгивая через две ступеньки крутых мраморных лестниц. Всюду та же картина. Наконец где-то на четвертом ярусе я обнаружил крохотный промежуток среди людей, сгрудившихся у входа в одну из лож. Отчаянье придало мне силы — мощным рывком я пробился в первые ряды и, бормоча: «Разрешите... Вы уже видели... Дайте и мне посмотреть», просунул голову между чьих-то плеч.



15. Москва. Страстная площадь. 1920-е гг.

И я *увидел.*

Прежде всего мне бросилось в глаза, что сцена была пуста; хотя плотно окружена выпиравшей из-за кулис массой людей, на которых, видимо, сзади давили другие, рвущиеся увидеть е г о.

За столом президиума сидели двое — тогдашний председатель Моссовета и, на некотором от него расстоянии, редактор «Рабочей Москвы» Волин, которого я хорошо знал по Харькову, где он был председателем губисполкома. С краю стола расположились стенографистки.

Ленин стоял на трибуне, совсем немного над ней возвышаясь. Он был не в хорошо знакомом по фотографиям черном костюме и белой рубашке с галстуком в горошек, а в непривычной зеленовато-коричневой куртке с накладными карманами на груди. Один из карманов был застегнут, а из другого выглядывал сложенный листок бумаги. Я так впивался глазами во все эти детали, что не сразу вслушался в то, что в этот момент Ленин говорил.

Микрофонов тогда еще и в помине не было, но в огромном переполненном зале царила такая напряженная тишина, что каждое слово, сказанное с трибуны, доносилось четко и внятно.

Какие-то доли секунды в поле моего зрения еще оставалось его немного утомленное вдохновенное лицо, высокий светящийся лоб. Потом все вокруг меня сдвинулось, смешалось, куда-то понеслось. Я бежал вместе со всеми. Уже не на четвертом ярусе, а где-то ниже, может быть, у входа в партер вместе с тысячью людей я кричал «Да здравствует Ленин!» и пел «Интернационал». Нас всех охватила и объединила горячая и могучая волна любви к этому бесконечно дорогому и родному человеку, о здоровье которого уже ходили тревожные, сжимающие сердце разговоры. В них не хотелось верить, люди инстинктивно отгоняли их от себя. И то, что все мы вместе только сию минуту видели и слышали живого, энергичного, полного сил и уверенности в будущем Ильича, радостно связало, душевно сблизило нас, не знакомых между собой людей. Мы бурно приветствовали его, всем сердцем желая ему долголетия, бодрости, счастья.

Никто не знал, что мы присутствовали на последнем выступлении Ленина. Никто не знал, что пройдет совсем немного времени и правительственное сообщение известит советский народ о роковой болезни вождя...

Не знаю, был ли тогда в Большом театре Маяковский. Но он точно и проникновенно выразил переполнявшие всех чувства стихотворением «Мы не верим», напечатанным в первом номере нового журнала «Огонек»:

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный бюллетень.
Нет!
Не надо!
...Разве жар
такой
термометрами меряется?!
Разве пульс
такой
секундами гудит?!
Вечно будет ленинское сердце
клокотать
у революции в груди.

Юбилейное

Передо мной неведомо кем снятая фотография. На ней, под наспех написанным от руки плакатиком «Здесь выдаются газеты», мужчина в солдатской гимнастерке и молодая женщина с гладко зачесанными назад волосами раскладывают пачки газеты «Известия», видимо, только что привезенные из типографии. Группа революционных солдат терпеливо ждет раздачи свежих номеров газеты.

Под снимком текст: «Петроград, Смольный, 1917 год. В редакции газеты «Известия».

Да, в дни великого Октября редакция «Известий» находилась в Смольном — легендарном штабе большевиков, откуда Владимир Ильич Ленин руководил победоносным восстанием, взятием Зимнего, свержением Временного правительства, переходом власти в руки народа.

История бережно сохранила драгоценные номера газеты, хорошо известные всему миру по миллионам репродукций, где под заголовком «Известия Центрального Исполнительного Комитета и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» были напечатаны первые знамени-

тые документы Октября — ленинский «Декрет о мире» и вслед за ним «Декрет о земле».

Однако «Известия» отметили свое шестидесятилетие не в ноябре, а в марте 1977 года, так как появились на свет еще до Октября, немедленно после свержения царского режима, как небольшой информационный листок Петроградского Совета рабочих депутатов. И только Великая Октябрьская революция превратила эти маленькие «Известия» в большой, широко распространенный и авторитетный орган новой власти — Советской.

Вместе с «Правдой» в едином строю со всей советской печатью «Известия» несли в массы великие ленинские идеи, боевые лозунги большевистской партии, активно участвовали в обороне молодой Советской республики, а потом в строительстве советского общественного строя.

Нельзя не вспомнить, что именно в «Известиях», переехавших вместе с Советским правительством в новую столицу Республики Советов — Москву, была напечатана в марте 1918 года историческая статья В. И. Ленина, написанная им в пути из Петрограда в Москву, — «Главная задача наших дней», вдохновенно предначертавшая пути строительства нового, социалистического общества.

Приведя в виде эпиграфа горькие некрасовские строки об «убогой и бессильной Руси», вождь революции провозгласил в этой статье непреклонную решимость партии и народа преобразить нашу страну, сказал о «прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь» *.

Неудержимо мчится вперед время. Десятки лет на страницах «Известий», как и всей советской прессы, отражаются большие и малые события нашей жизни, гигантские труды, суровые испытания и триумфальные свершения советских людей. Вместе с народом советские журналисты, и среди них известинцы, прошли по тяжелым путям-дорогам войны, а сегодня шагают, ездят, плавают и летают по мирным трассам пятилеток, всегда верные бойцы и помощники партии.

Я впервые переступил порог редакции «Известия» в 1922 году, когда газете минуло уже целых пять лет и, естественно, стал одним из самых молодых по стажу ее сотрудников. Однако постепенно этот стаж возрастал и становился почтенным по сравнению с приходившими в газету новичками. Многолетняя очеркистка «Известий» Татьяна Тэсс иногда говорила о себе: что когда она пришла в «Известия», там уже работал Лев Кассиль. А Кассиль в свою очередь вспоминал: «Когда я пришел в «Известия», там уже работал Борис Ефимов».

О своем появлении в «Известиях» я не без интереса прочел в воспоминаниях известного журналиста, критика и театроведа О.С.Литовского, бывшего в начале двадцатых годов ответственным секретарем редакции:

«...Михаил Кольцов дважды появлялся в редакции: один раз он пришел с большим фельетоном об успехах советской дипломатии. Фельетон назывался «Первый круг».

<...> Во второй раз Кольцов появился вместе со своим братом Борисом Ефимовым.

— Вот возьми, Осаф, — сказал он мне, передавая «из рук в руки» молодого журналиста, — не раскаешься.

Ни я, ни кто-нибудь другой, действительно, не раскаялись... Борис Ефимов «привился» в «Известиях» **.

*
В.И.Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, с. 80

**
О.Литовский. Так и было. М., 1958, с. 22

Эти добрые воспоминания мне хочется немного дополнить, так как дело произошло чуть-чуть иначе: выслушав Кольцова и благосклонно посмотрев в мою сторону (разговор, как помню, происходил в редакционном коридоре), Осаф Семенович спокойно и ласково ответил:

— Дорогой мой! А зачем нам, собственно, ваш Ефимов, когда у нас работает Моор?

Против этого, действительно, трудно было что-нибудь возразить, и я удалился, что называется, не солоно хлебавши.

И все же мне суждено было «привиться» в «Известиях». Этому способствовали два обстоятельства. Первое — то, что Дмитрий Стахиевич Моор как раз в это время увлекся организацией журнала «Безбожник» и временно отошел от газетной работы, оставив «Известия» без постоянного карикатуриста. Второе — и, как мне кажется, не менее существенное — то, что мои рисунки стали появляться в «Правде» наряду с карикатурами В.Н.Дени.

Сердце газетчика не выдержало: Литовский пригласил меня зайти поговорить о моем постоянном сотрудничестве в «Известиях». Был октябрь 1922 года.

Я приступил к исполнению довольно простых в общем, ежедневных и повседневных обязанностей газетного карикатуриста: следить за событиями, находить тему для очередной карикатуры и успевать нарисовать вовремя, чтобы своевременно сдать дежурному секретарю редакции. Должен признаться, что уже в те далекие годы я страдал некоей странной для художника идиосинкразией, сохранившейся у меня и по сей день: я ужасно не люблю присутствовать при рассмотрении своего рисунка. Не знаю, назвать ли это застенчивостью или каким-то загадочным синдромом, но я всегда предпочитал и предпочитаю сейчас отдавать карикатуру присланному из редакции курьеру или, вручив рисунок дежурному секретарю, незаметно исчезнуть.

Чаще всего в те годы мне приходилось иметь дело с секретарями редакции Василенко и Зингером.

Владимир Мартынович Василенко, всегда безукоризненно вежливый и корректный, аккуратный и щепетильный в каждой мелочи, нес свою редакционную службу в высшей степени интеллигентно. К тому же он был довольно одаренным поэтом. В частности, не раз писал он стихотворные тексты к моим сатирическим международным обозрениям для журнала «Красная Нива», издававшимся «Известиями».

Владимир Маяковский, бывший тогда частым гостем в «Известиях», благоволил к Василенко, ласково именуя его Василеночкой. Сколько раз я видел, как Маяковский, раскрыв дверь в секретариат размашистым ударом своей огромной ладони (он, как известно, не любил браться за дверные ручки), присаживался на стол (именно *на* стол, а не за стол), за которым сидел Василенко, красивым своим, мощным голосом прочитывал принесенные для газеты стихи, а затем снисходительно, хотя и довольно внимательно, выслушивал его мнение. Иногда он просил «Василеночку» проверить стихи с точки зрения знаков препинания и «расставить запятушки там, где их не хватает». Впрочем, с этими орфографическими рекомендациями он не очень считался...

Как известно, Маяковский чрезвычайно ответственно относился к своей газетной работе, гордился ею не меньше, чем работой в «Окнах РОСТА», смотрел на нее как на почетный гражданский долг поэта.

Постоянным автором-поэтом «Известий» он стал при довольно необычных обстоятельствах. Первый редактор «Известий» Ю.М.Стеклов, как и многие другие старые большевики, воспитанные на классической поэзии, недолюбливал творчество футуристов. А самым крупным и популярным среди них был тогда Маяковский. Естественно, что не могло быть и речи о появлении стихов Маяковского на страницах «Известий». Но од-

нажды случилось так, что Стеклов какое-то время отсутствовал в редакции и Литовский взял на себя риск без согласования с редактором поставить в номер стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся». Оно было напечатано под рубрикой «Наш быт» 5 марта 1922 года. Дальнейшее хорошо известно: на другой день Владимир Ильич Ленин выступал на коммунистической фракции Всероссийского съезда металлистов с речью о международном и внутреннем положении Советской республики. В этой речи, заостряя внимание коммунистов на необходимости решительной борьбы с бюрократизмом, безответственностью и волокитой, Ленин между прочим сказал:

«Вчера я случайно прочитал в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему. Я не принадлежу к поклонникам его поэтического таланта, хотя вполне признаю свою некомпетентность в этой области. Но давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» *.

Одобрительный отзыв Владимира Ильича по адресу поэта был с огромной радостью воспринят не только самим Маяковским, но и всем известинским коллективом. Все чувствовали себя именинниками, и больше всех, конечно, Литовский.

Стеклов, вернувшись на другой день в редакцию и обнаружив, к своему неприятному изумлению, в свежем номере редактируемой им газеты стихотворение Маяковского, сначала было разгневался, вызвал к себе Литовского и произнес одну из своих любимых фраз: «Хотел бы знать, кто здесь редактор? Я редактор или вы редактор? А если я редактор и вы редактор, то сколько же у нас редакторов?»

«...Я разрешил сомнения Стеклова на этот счет, — пишет в своих воспоминаниях Литовский, — и передал ему только что полученный материал РОСТА. Там была опубликована речь Ильича на коммунистической фракции съезда металлистов о борьбе с бюрократизмом... Наш разговор со Стекловым продолжался как ни в чем не бывало. Но после того как был сверстан номер, Стеклов, обращаясь ко мне, вдруг сказал: «Отчего мы не дали чего-нибудь поэтического, почему не печатаем совершенно стихов?» Я предложил несколько популярных тогда поэтов. Но Стеклов, помолчав, сказал: «Может быть, напечатаем этого вашего футуриста?..»

Уже через неделю в «Известиях» было напечатано второе стихотворение Маяковского «Вы любите ли НЭП»?, затем последовали один за другим стихи «Бюрократизм», «Моя речь на Генуэзской конференции» и другие. Маяковский «привился» в «Известиях».

Со сменившим Стеклова на посту редактора Скворцовым-Степановым у поэта установились добрые отношения, хотя Иван Иванович тоже «не принадлежал к поклонникам» усложненных новаторских ритмов и рифм поэзии Маяковского. Вместе с тем он проявлял по отношению к ним абсолютную терпимость и уважение. Бывало, после того как Маяковский, громыхая басом и красиво раскатывая букву «р», прочитывал в редакторском кабинете свое новое стихотворение, Скворцов-Степанов, терпеливо его выслушав, вооружался очками и читал вновь уже про себя.

— Я, извините, плоховато беру на слух, — говорил редактор с лукавой искоркой в глазах, — поэзию необходимо проверить глазами, особенно вашу, уважаемый Владимир Владимирович!

*
В.И.Ленин. Полное собрание сочинений., т. 33, с. 197



16. А.М.Горький в редакции «Известий»
Третий слева — редактор «Известий» И.И.Скворцов-Степанов. 1928

Маяковский не показывал при этом ни малейшего неудовольствия или обиды. Выслушав замечания Ивана Ивановича, он, как правило, весьма покладисто принимал их к сведению и, усевшись за свободный стол в секретариате, переделывал отдельные места и строчки. При этом он еще успевал отпускать шутливо-колкие реплики по адресу вертевшихся вокруг (ведь кому не было интересно пообщаться с Маяковским!) сотрудников редакции. Не раз доставалось при этом и мне. Трудно было состязаться с ним в остроумии и находчивости...

Несколько лет подряд Маяковский самым тесным образом сотрудничал в «Известиях»:

Люблю Кузнецкий
(простите грешного!),
потом Петровку,
потом Столешников;
по ним
в году
раз сто или двести я
хожу из «Известий» и в «Известия».

Как-то, не помню в каком году, постоянным сотрудникам газеты были выданы новые редакционные удостоверения — красивые книжечки темно-зеленого цвета, на которых было крупно вытиснено золотыми буквами «Центральный Исполнительный Комитет СССР» и в самом низу совсем мелким шрифтом: «Известия».

Удостоверения выглядели весьма внушительно и были незаменимы на любых манифестациях и празднествах. Бросив беглый взгляд на первые строчки, милиционеры пропускали беспрепятственно через оцепление.

Увидев у кого-то такое удостоверение, Маяковский загорелся:

— И мне такое! Разве я не коренной известинец?

Удостоверение ему выдали, и этот факт даже нашел шутливое отражение в одном из стихотворений поэта:

...Прикрывая пальцем
то, что «Известия»,
И упирая на то,
что — ЦИК!

Хочу вспомнить и другого, широко популярного в те годы поэта — Демьяна Бедного. Он был постоянным сотрудником «Правды» еще с дооктябрьских времен, и появление его на страницах «Известий» было тогда своего рода газетной сенсацией.

Редактор «Известий» Иван Иванович Скворцов-Степанов объявил об этом даже с некоторой торжественностью. Об этом рассказал в своих воспоминаниях М.Э.Зингер:

«Однажды он вошел в секретариат редакции, посмотрел с хитрецой на меня и Василенко и сказал, лукаво поглядывая на нас:

— Кого, вы думаете, мы берем в сотрудники «Известий»?

Мы не торопились с ответом, опасаясь ошибки.

Скворцов-Степанов продолжал:

— Правдиста берем, старейшего, известнейшего правдиста!

Мы в недоумении молчали.

— У нас будет работать Демьян Бедный!

— Не может быть! — воскликнули мы разом. — Как же Мария Ильинична расстанется со своим постоянным сотрудником?

— Вот то-то и оно! Не расстанется! — пояснил редактор. — В ЦК договорились: Демьяша будет работать и у нас, в «Известиях», и в «Правде» *.

Вскоре Демьян стал активно печататься в «Известиях», причем немало моих рисунков появлялось в газете вместе с его стихами.

Все мы искренне, по-настоящему уважали и ценили подлинно дружеский, простой и демократический, лишенный малейших признаков начальственной «вельможности» стиль работы редактора. И вместе с тем Ивана Ивановича мы побаивались, так как знали, как он суров и непримирим к малейшим проявлениям халатности и разгильдяйства в газетном деле, пренебрежения к интересам читателя. Ко всем материалам, идущим в печать, он относился со скрупулезной взыскательностью. Вот почему я почувствовал некоторое смятение, когда меня как-то неожиданно пригласили в редакторский кабинет. «Не допустил ли я какого-нибудь ляпсуса в последней карикатуре?» — думал я не без тревоги.

Однако, вопреки моим опасениям, Иван Иванович посмотрел на меня довольно благожелательно:

— Здравствуйте, дорогой товарищ. Вот какое дело. Хотим просить вас изобразить что-нибудь по поводу юбилея Академии наук.

Я не мог скрыть своего удивления:

— Простите, Иван Иванович, я не совсем понял. Как это? Изобразить академию... Я ведь карикатурист... А тут академия...

Иван Иванович и сидевший рядом с ним заместитель редактора Борис Михайлович Волин рассмеялись:

— Нет, нет. Успокойтесь. Высмеивать академию мы вам не позволим. Продолжайте упражнять свое остроумие по адресу Чемберлена и Карла Каутского. А вот маленькое юмористическое приветствие в связи с юби-

*
«Известиям» — 50 лет. М., 1967, с. 112

леем кажется нам нелишним. Или вы думаете, что ученые мужи — это эдакие олимпийцы с нахмуренным челом, не понимающие юмора и чуждые улыбки?

— Иван Иванович! — сказал Волин. — Позвольте я предложу нашему художнику тему: сделать дружеские шаржи на руководство академии — академиков Карпинского, Стеклова, Ольденбурга.

— Что ж, — сказал, подумав, редактор, — это неплохо. Но не юмористические портреты каждого в отдельности, а всех вместе. Изобразить сих почтенных мужей вступающими под своды новой, всесоюзной академии или, скажем, поднимающими новый, советский, стяг.

На другой день я положил на стол Волину соответствующий рисунок. Борис Михайлович рассмотрел его, попросил меня минутку подождать, прошел в кабинет к редактору и вскоре вернулся. Под рисунком крупным своеобразным почерком Скворцова-Степанова было написано: «Президиуму всесоюзной академии наук — А.П.Карпинскому (президенту), В.А.Стеклову (вице-президенту) и С.Ф.Ольденбургу (непременному секретарю): Выше — вместе со всей страной — знамя всесоюзной науки!»

Между прочим, из широкого окна редакторского кабинета на шестом этаже известинского небоскреба (по тем временам) был хорошо виден захламленный двор существовавшего тогда бок о бок с новым зданием «Известий» Страстного монастыря. Можно было любоваться, как там кололи дрова, носили ведрами воду, развешивали на длинных веревках исподнее белье...

— Воля ваша, — говаривал с раздражением Скворцов-Степанов, — ну как можно в столице Союза Советских Социалистических Республик видеть эдакое средневековье! И где? Добро бы, где-нибудь на захолустной окраине. Так нет же — в центре Москвы! И при этом архитектурной ценности — ни малейшей! Кому это нужно?

И вот в «Известиях» появилась статья, весьма решительно ставившая вопрос о сносе Страстного монастыря. Подписана она была довольно оригинально: «Верующий... в Моссовет». Надо сказать, что Московский Совет полностью оправдал веру в него автора статьи, в котором мы угадывали Ивана Ивановича.

Интересно, что высказался по этому вопросу и Маяковский. Естественно, в стихотворной форме:

Страстной монастырь —
бельмом на глазу
«Известиям» Пушкина Страстной заслонил,
Пушкину
монастырь
заслонил газету...
Снесем Страстной...
Пускай
по-новому
назовется площадь,
Асфальтом расплещется,
и над ней —
Страницы
печатные
мысли располощут
от Пушкина
до наших
газетных дней.

Не сразу, правда, но наступил конец Страстному монастырю, вместе с которым исчезло и старое название площади. Она стала называться Пушкинской, на ней впоследствии зашумел великолепный зеленый сквер с освежающими воздух фонтанами, возник первоклассный кинотеатр «Рос-

сия», а бронзовый Пушкин занял почетное место в центре одной из самых красивых площадей столицы.

Мне хочется вспомнить и других товарищей по работе в «Известиях» двадцатых годов, и для того чтобы помочь памяти, беру в руки большой рисунок, напечатанный в известинской многотиражке под названием «Смотр сотрудников «Известий» в день десятилетия газеты». На этом рисунке изображены в дружеских шаржах журналисты-известинцы, дружной колонной дефилирующие мимо редакционного руководства, в центре которого высится прямая и статная фигура Ивана Ивановича.

По правую руку от него — И.М.Гронский, тогда заместитель, а после безвременной кончины Скворцова-Степанова редактор «Известий». Рядом с Гронским — завредакцией Ольшевец со своей диковинной трубкой в зубах и секретарская свита — Василенко, Зингер и Смирнов. Хорошо видны орлиный нос и буйная поэтическая шевелюра В.П.Полонского, известного литератора и критика, соредактора Ивана Ивановича по ежемесячнику «Новый мир», и профиль Касаткина, редактора «дочернего» журнала «Известий» — еженедельника «Красная Нива».

Шествие известинской колонны открывает неистово барабанящий пионер в коротких штанишках и с толстой папиросой во рту — Демьян Бедный. Вслед за Демьяном марширует плеяда постоянных авторов газеты — писателей, поэтов, очеркистов, фельетонистов, обозревателей. Прежде всего бросается в глаза мощная фигура Владимира Маяковского, громогласно читающего стихи. Рядом с ним совсем миниатюрными выглядят не только хрупкие женщины-писательницы Мариэтта Шагинян и Зинаида Рихтер, но и такие солидные дяди, как поэт Сергей Городецкий, писатель Владимир Лидин, фельетонист и ленинградский корреспондент «Известий» Давид Осипович Заславский, Григорий Рыклин и другие.

Надо сказать, что жанр массового группового шаржа на известинский редакционный коллектив стал в какой-то степени традицией. Я еще не раз создавал подобные «полотна». На них, естественно, появлялись новые лица — новые редакторы, новые секретари, новые сотрудники, перенимавшие эстафету и опыт предшествовавшего поколения и несшие их дальше. И каждый из них внес свою лепту труда, таланта и горячего сердца в юбилейный «котел» газеты.

Кстати, о юбилеях. Как-то отмечал круглую дату своего существования журнал «Журналист», и когда, как водится в этих случаях, юбиляры достали из архива первый номер своего журнала, появившегося на белый свет в 1922 году, то обнаружили в нем мой рисунок — дружеский шарж на видного партийного публициста того времени, участника гражданской войны И.Вардина. Кроме того, оказалось, что обложка «Журналиста» и острый динамический шрифт заголовка тоже сделаны мною. Работники редакции, естественно, кинулись ко мне с просьбой рассказать о том, как начинался «Журналист», вспомнить его работников и сотрудников, описать обстановку и атмосферу редакции, привести характерные приметы и черточки того времени и т. д. и т. п. Я, откровенно говоря, огорчился. Эх, если б знать заранее... Но могло ли мне прийти в голову тогда, в 1922 году, что через несколько десятилетий понадобятся мои воспоминания о том, что в тот момент казалось (да и было на самом деле) чем-то обычным, будничным, сиюминутным, малозначительным и уж во всяком случае не претендующим на место в анналах истории...

Ну что стоило тогда заблаговременно написать страничку-другую своих впечатлений о посещении редакции «Журналиста», терпеливо хранить их у себя в столе в течение каких-нибудь сорока-пятидесяти лет, а потом торжественно выложить в качестве абсолютно достоверных и бесспорных воспоминаний.

Не сообразил...

Но кое-что запомнилось и связано именно с шаржем на Вардина.

Дело было так. Мне удалось достать пропуск на Красную площадь, где должен был состояться военный парад по случаю 5-й годовщины Октябрьской революции. Говорили, что на нем будет присутствовать Ленин. Незачем говорить, как мне хотелось увидеть и услышать Ленина... Но Ленина не было. Парад принимала группа высших военных командиров во главе с председателем Реввоенсовета Республики. Никаких трибун на Красной площади тогда еще не было и в помине, и военные в шинелях и остроконечных суконных шлемах с красной звездой (потом их стали называть буденовками) просто стояли на мокрой булыжной мостовой, пропуская мимо себя пехотные и кавалерийские части.

Я, естественно, постарался протиснуться вперед, поближе к военачальникам, с интересом разглядывая многих из них, широко известных всей стране.

Неожиданно я услышал неподалеку от себя разговор, который заставил меня навострить уши:

— Ну, брат, видел я, как тебя изобразили. С полной, можно сказать, выкладкой. А нос-то, нос!

— А что нос? Нос как нос. Между прочим, и твой нос тоже... отлично изобразить можно! А кстати, был я на днях у одного нашего друга. Посмотрел он на меня, не говоря ни слова встал из-за стола, вышел из кабинета. Возвращается с журналом в руках. И хо-хочет...

Я узнал в говорившем Вардина и сразу сообразил, о каком журнале и о чьем носе идет речь. В этот момент наши глаза встретились, и он радостно закричал:

— Позвольте! Да вот он самый и есть, который нарисовал! Он самый!

Военный, который разговаривал с Вардиным, устремился ко мне с протянутой рукой.

— Ба-альшое, ба-альшое удовольствие получил от вашего рисунка, — сказал он с шутливо-подчеркнутой интонацией, — спасибо!

Слова эти были мне, не скрою, приятны, но ответил я на его рукопожатие не без понятного смущения — я узнал в нем прославленного героя недавно закончившейся гражданской войны.

И еще одно приятное воспоминание связано для меня с первым номером «Журналиста»: впервые в жизни мне довелось увидеть в печати похвальный отзыв о своей работе. И этот отзыв относился, как это ни курьезно, все к тому же крохотному рисуночку — шаржу на Вардина. А произошло следующее: литературно-критический журнал «Печать и революция», издание весьма солидное и серьезное, откликнулся на выход профессионального органа журналистов рецензией, принадлежавшей перу самого редактора журнала — В.Полонского.

Анализируя содержание первого номера нового журнала и давая оценку различным опубликованным в нем материалам, Полонский, к моему потрясению, заметил и благожелательно отметил также и мое, более чем скромное, участие в журнале.

Полонский был колоритной фигурой. Исключительно эрудированный литературовед и искусствовед, он писал свои критические статьи и заметки в острой, памфлетной манере, отстаивал свои взгляды остроумно и находчиво. Был к тому же блестящим оратором, к которому вполне применимо присловье «Говорит как пишет».

В дни гражданской войны Полонский был начальником Литиздата ПУРа (Политуправления Реввоенсовета Республики), т. е. руководил изданием всей агитационной литературы для сражавшейся Красной Армии. В частности, трудно переоценить его роль организатора и редактора в создании нашими замечательными плакатистами — Моором, Дени и Черемныхом — тех ярких, боевых, насыщенных революционным духом листов, кото-

рые вошли в золотой фонд советского искусства. Кстати сказать, именно Полонскому принадлежит мысль печатать на революционных плакатах известное суровое предупреждение: «Всякий, срывающий этот плакат или заклеивающий его афишей, совершает контрреволюционное дело». Об опыте этой огромной работы он впоследствии рассказал в большом альбоме «Русский революционный плакат» (1924), оставшемся по сей день одним из самых ценных и значительных трудов по истории советского плаката.

Впервые увидел я Полонского в редакции «Известий», куда он при-



17. В.Маяковский. Дружеский шарж. 1920-е гг.

шел объясняться со Стекловым. Оба они занимались трудами Михаила Бакунина, и разногласия во мнениях привели их к чрезвычайно острой полемике. Стеклова Полонский не застал и все, что хотел сказать, обрушил на Литовского. Как раз в этот момент я зачем-то сунулся в редакторский кабинет и застыл в изумлении — настолько эффектно выглядел Полонский в широкополой испанской шляпе, коротком плаще и высоких сапогах. Полонский метнул на меня зоркий взгляд светло-голубых глаз и продолжал говорить повышенным тоном что-то вроде того, что он не позволит искажать свои взгляды на Бакунина в газете, которая «широко распространена в стране». Литовский тщетно пытался вставить слово в его темпераментный монолог...

Надо сказать, что дискуссия со Стекловым была мягким и добродушным воркованием по сравнению с той резкой и обоюдоострой конфронтацией, которая возникла между Полонским и Маяковским и сопровождалась весьма запальчивыми столкновениями как на страницах печати, так и на трибунах различных диспутов.

Мне довелось присутствовать на одном из самых жарких дискуссионных сражений — на обсуждении статьи Полонского «Леф или блеф», опубликованной в «Известиях» в феврале 1927 года. С подмостков Большой аудитории Политехнического музея выступали в этот вечер многие неплохо владеющие словом ораторы, но в центре внимания были, конечно, Полонский и Маяковский. Выражаясь спортивным языком, соперники были достойны друг друга, обмениваясь беспощадными ударами и уколами острословия. Воздух был насыщен электричеством, дождем сыпались иронические реплики и восклицания, причем не только с трибуны, но и из битком набитого зала. Разъяренный, багровый, коротко остриженный, Маяковский был похож на могучего оленя, бешено отбивающегося от обступивших его преследователей.

Бурная полемика между противниками, конечно, не закончилась на этом вечере. Вскоре в журнале «Новый мир» появилась новая статья Полонского «Блеф продолжается». Маяковский немедленно ответил на это поэтическим ударом — стихотворением «Венера Милосская и Вячеслав Полонский». Намекая на эстетские, по его мнению, позиции Полонского, Маяковский иронически обращается к стоящей в Лувре Венере: «У нас в республике не меркнет ваша слава. Эстеты мрут от мраморного лоска. Короче: я — от Вячеслава Полонского. Носастей грека он. Он в вас души не чает. Он поэлладистей Лициниев и Люциев, хоть редактирует и «Мир», и «Ниву», и «Печать и революцию».

А заканчивается стихотворение воинственным восклицанием: «Товарищ Полонский! Мы не позволим любителям старых дворянских манер в лицо строителям тыкать мозоли, веками натертые у Венер».

Вслед за дружеским шаржем на Вардина в «Журналисте» были напечатаны шаржи на Еремеева, легендарного «дядю Костю», старого правдиста, видного партийного публициста, основателя и первого редактора «Крокодила», а затем и другие. Вообще, надо сказать, жанр дружеских шаржей получил тогда широкое распространение. Их охотно печатали сатирические и иллюстрированные журналы. Замечательным и, пожалуй, непревзойденным мастером юмористического и сатирического портрета был один из основоположников советской сатиры Дени, из-под карандаша которого вышло великое множество этих самых дружеских шаржей. Именование шаржей «дружескими» имело, вероятно, целью предотвратить возможные обиды и неудовольствия со стороны шаржируемых. Это, признаться, не всегда удавалось... Частенько можно было услышать: «Да какой же это, с позволения сказать, *дружеский* шарж?! В кого тут меня превратили?! Что за хулиганство? Да и непохоже вовсе!»

Надо, впрочем, сказать, что подобные обиды были весьма редким явлением. Большинство изображаемых проявляли достаточно чувства юмора и здравого смысла, чтобы не обнаруживать своего неудовольствия, даже если оно было. В этой связи мне вспоминается большой групповой шарж «Пленарное заседание московской журналистики».

Рисунок этот был сделан мною не для «Журналиста», а для «Прожектора», литературно-художественного и сатирического еженедельника, начавшего с 1923 года выходить в издании «Правда». Созданием нового журнала очень интересовалась Мария Ильинична Ульянова. Она входила во все детали, внимательно знакомилась с материалами, интересовалась

рисунками и иллюстрациями. (В частности, мне особенно приятно вспомнить, как, выбирая эскиз для обложки журнала, она остановилась именно на моем проекте.) Новый еженедельник быстро завоевал популярность. Он делался на хорошем литературном уровне и с большим художественным вкусом руками маленького редакционного коллектива, душой которого были журналисты-правдисты Л.Шмидт и Н.Пилацкая, писатели Е.Зозуля, К.Левин, С.Вашенцев. Из номера в номер в «Прожекторе» печатались рисунки маститых Моора, Дени и совсем молодых, но уже подающих надежды — Кукрыниксов, Ротова, Ганфа, Дейнеки...

На многофигурном развороте «Пленарного заседания» можно было увидеть карикатуры на наиболее известных редакторов, публицистов и фельетонистов того времени — Луначарского, Керженцева, Еремеева, Стеклова, Волина, Бедного, Кольцова, Ларина, Вардина, Мещерякова и многих других. Изображена была и Мария Ильинична, которую, в соответствии с ее неутомимой деятельностью по руководству рабселькоровским движением, я нарисовал в виде заботливой няньки с великовозрастным ребеночком на руках — здоровенным рабкором в больших сапогах и с соской во рту.

Прежде чем сдать рисунок в производство, Шмидт показал его, естественно, Марии Ильиничне. Она рассматривала «Пленарное заседание» посмеиваясь, но потом высказала некоторые сомнения:

— Не забывайте, Шмидтик, — сказала она, — что есть люди по-мелкому амбициозные, ужасно беспокоящиеся о своем престиже. Вот, например, не обиделся бы на нас такой-то. Или такой-то. (Мария Ильинична назвала фамилии редакторов двух распространенных газет.) Поди жаловаться будут.

— Не обидятся, Мария Ильинична, — твердо сказал Шмидт. — Во всяком случае, не подадут вида.

— Почему вы так уверены?

— А потому, Мария Ильинична, что вы тоже здесь изображены в карикатуре.

— Гм... Вы думаете? Ну что ж... Рискнем.

Рискнули. Рисунок был напечатан без всяких исправлений. И никаких протестов, действительно, не последовало.

Юбилеи, юбилеи... Газет, журналов, издательств, институтов, Домов творческой интеллигенции, отдельных деятелей культуры, науки, искусства. И все солидные круглые цифры — 50, 60, 70...

А ведь в двадцатых годах, как мне помнится, юбилеев было поменьше, да и цифры были поскромнее. И это естественно — молодой была республика, молодыми были люди, которые ее создавали и защищали, в том числе, кстати, и те, кого справедливо именовали старой большевистской гвардией. Были юбилеи и совершенно уникальные по краткости своей даты. Об одном таком юбилее рассказал Михаил Кольцов. Я позволю себе привести выдержку из его очерка «Внутренне счастливый»:

«Я хорошо помню вечер, когда мы с Анатолием Васильевичем Луначарским пришли в Наркомпрос на вечер по случаю юбилея Советской власти.

Юбилейная дата была небольшая — Советской власти исполнилось тридцать дней. Был декабрь девятьсот семнадцатого года. Народный комиссариат просвещения помещался в Петрограде, в здании министерства просвещения, у Чернышева моста.

Огромный, не топленный саботажниками зал. Тускло мерцает единственная лампочка. На собрание пришли две группы. Одна — это были советские люди, большевики, которые работали по просвещению. Другая —

группа угрюмых чиновников министерства... В этом полупризрачном зале народный комиссар Луначарский произносит речь на тему о том, что вот Советская власть держится уже целых тридцать дней... Чего только не мобилизовал Луначарский, чего только не привлек в свою речь по случаю тридцатидневного юбилея!.. Чиновники впервые в жизни увидели говорящего министра. И как говорящего!

Последние слова нарком произнес под гром аплодисментов.

— Товарищи! — заявил он, — наши враги предсказывали, что мы не сможем продержаться больше трех дней. Другие, более сдержанные, пророчили нам не больше двух недель. Вы видите: мы держимся уже целый месяц, и я вас заверяю, что если вы придете сюда через три месяца, то мы еще тоже будем держаться!»

Отмечались тогда, конечно, и более значительные даты, чем месяц. Отмечались годовщины и даже десятилетия, как мы видели на примере «Известий». Но беспрерывно возникали новые газеты, журналы, издательства. О каких таких юбилеях они могли думать? А то, что когда-нибудь «Крокодилу», «Огоньку» или «Журналисту» исполнится 50—60 лет, казалось настолько фантастически далеким и туманным, что просто не воспринималось как реальность.

Все же такое время настало. И на людей моего поколения, в жизнь которого целиком вместилась вся история Советской власти, которое, образно говоря, своими ушами слышало выстрел «Авроры», своими глазами видело Ленина, провозгласившего Советскую власть в актовом зале Смольного, легла дополнительная обязанность — обязанность свидетелей и очевидцев.

Это почетно. Но и ответственно.

Заканчивая размышления о юбилеях, нельзя опять-таки не вспомнить Маяковского:

...Для нас юбилей —
ремонт в пути,
постоял —
и дальше гуди.

Москвичи над Европой

Для начала несколько цифр.

Москвичей, летавших над Европой, было одиннадцать.

Из них экипаж самолета — двое (пилот и бортмеханик). Пассажиров — девять. Из них деятелей Воздушного Флота — четверо. Журналистов — пять, из них художников — один. Посетили европейских стран — пять. Совершили посадок — восемь. Из них вынужденных — одна.

Самолет АНТ-9, конечно, еще очень мало походил на сегодняшний Ту-114, детище того же Андрея Николаевича Туполева, но по тем временам представлял собою великолепное достижение молодой советской авиационной промышленности. Появление на аэродромах Берлина, Парижа, Рима, Лондона, Варшавы новехонького краснозвездного «флюгцойга», «авиона», «плэйна», «тримоторе», «платовеца» неизменно вызывало огромное любопытство, живейший интерес и даже некоторое потрясение. В самом деле: безбожные большевики, которые, по самым достоверным и точным выкладкам белогвардейской и буржуазной печати, должны были вот-вот погибнуть от внутренних затруднений, не только упорно не погибали, но вдобавок ко всему ухитрялись строить замечательные самолеты, не уступающие по своим летным качествам лучшим европейским образцам. Кстати, мы сами могли неоднократно убедиться в этом, так как советской воздушной делегации любезно предоставлялась возможность ознакомиться с но-

винками авиации, и мы вдосталь налетались на немецких, итальянских, французских и английских самолетах.

Буржуазная пресса писала о «Крыльях Советов» в самых сенсационных тонах: «Большевистский самолет летает над Европой», «Красный бомбардировщик над европейскими столицами!», «Русский трехмоторный гигант», «Таинственный самолет из Москвы» — каких только названий и прозвищ не получал наш скромный работяга АНТ-9. Перелет по Европе продолжался около месяца, и все это время советский самолет (да и его экипаж тоже) был окружен пристальным и не всегда дружелюбным вниманием.

Легко себе представить, что впечатления, встречи и обстоятельства, связанные с перелетом, могли бы заполнить отдельную объемистую книжку. Но я хочу рассказать только о двух эпизодах нашего воздушного путешествия, которые особенно запомнились.

Первый из них относится к нашему пребыванию в Риме. Впервые мне довелось тогда побывать в «вечном городе» и, как всем, подпасть под обаяние его изумительного, неповторимого облика. Помню, как прежде всего поразил меня характерный колорит Рима — теплый медно-оранжевый цвет старинных домов, зданий, дворцов. И резким диссонансом на благородном фоне величественных древних сооружений мелькали назойливо позирующие театральные фигуры фашистских чернорубашечников в увешанных всевозможными побрякушками мундирах и шляпах с петушиными перьями.

Все в итальянской столице было для нас ново, необычно, любопытно.

Красочным калейдоскопом сменялись вокруг нас живописные картины и образы трех Римов — древнего, средневекового папского и современного, увы, фашистского.

Естественно, что у нас, советских людей, и тем более советских журналистов, было великое желание увидеть и четвертый Рим — город трудовых людей, сердцем своим воспринявших идеи Октябрьской революции, встретиться с мужественно сопротивляющимися свирепой фашистской диктатуре коммунистами. Но, конечно, какие бы то ни было контакты с этим Римом были для нас абсолютно исключены. Нас отделял от него плотный заслон официальной протокольной программы, не оставлявший ни малейшей щели для неофициальных и «нежелательных» встреч.

Больше того, согласно той же программе, мы вынуждены были посетить помпезную и кричащую выставку «фашистской революции» (!), где можно было в числе других реликвий лицезреть и точное воспроизведение личного кабинета Муссолини в бытность его редактором «социалистической» газеты в Милане. По-музейному огороженные толстым бархатным красным канатом стояли невзрачный письменный стол с телефоном и кресло. Над ними был укреплен самый настоящий пиратский черный флаг с черепом и двумя скрещенными под ним кинжалами — хорошо знакомая деталь наших антифашистских карикатур.

Нельзя не признать, что фашистские власти оказали воздушным гостям из большевистской Москвы весьма любезный прием. Тому, вероятно, были свои причины, среди которых далеко не последней было и то, что незадолго до нашего визита в Рим прогремела на весь мир эпопея спасения советскими моряками и летчиками незадачливой итальянской воздушной экспедиции к Северному полюсу, которую возглавлял генерал Умберто Нобиле.

В этой связи нельзя не вспомнить фельетон одного из одиннадцати москвичей на борту АНТ-9, Михаила Кольцова, напечатанный в «Правде» примерно за год до перелета «Крыльев Советов».

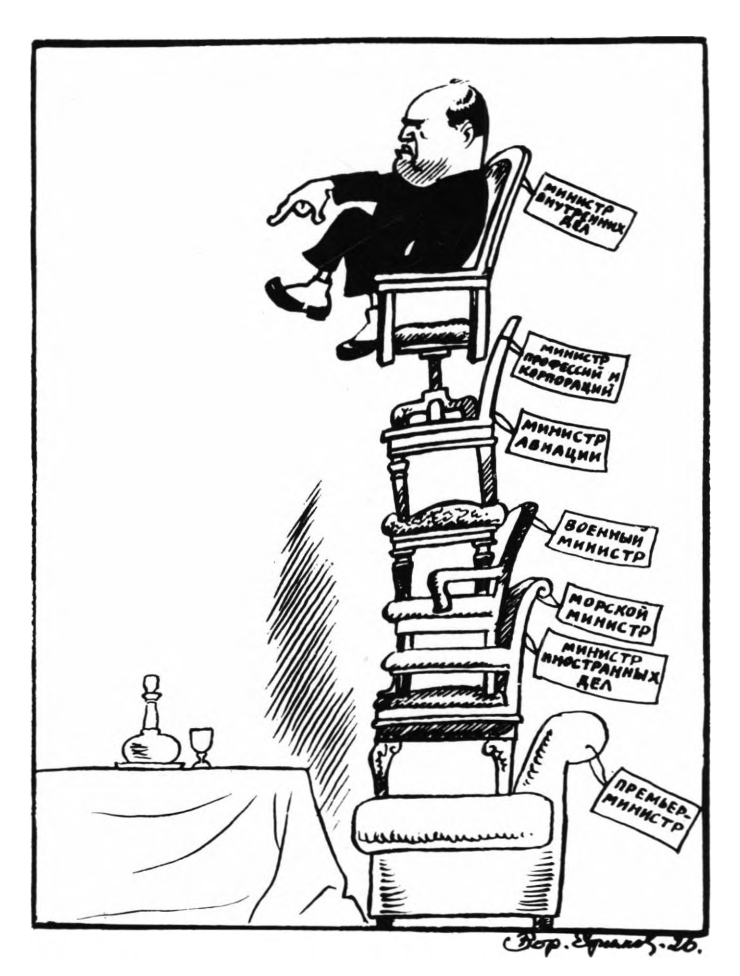
Мне хочется привести здесь выдержки из этого фельетона, называвшегося «Все на своих местах»:

«...Итальянским фашистам, изволите ли видеть, надо закрепить

свои права на полюс... Что до того, что в Италии и снег-то выпадает раз в десять лет? Если голландской королеве принадлежит остров Ява под тропиками, почему бы итальянскому королю не иметь колонии на Северном полюсе?

...Наступление на полюс велось сначала под очень научным соусом. Приглашен был в качестве научного руководителя Руаль Амундсен со всеми своими приборами, книгами, знаниями и опытом... Благодаря опытному и спокойному руководству Амундсена экспедиция удалась блестяще. Полюс

18. Муссолини на высоте положения. 1926



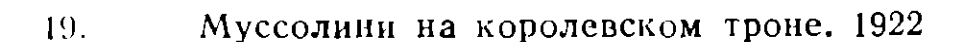
был достигнут, дирижабль благополучно доставил путешественников и высадил их на землю в полной целости. Однако вокруг перелета сейчас же разгорелась целая склока, поводом к которой послужили разоблачения Амундсена.

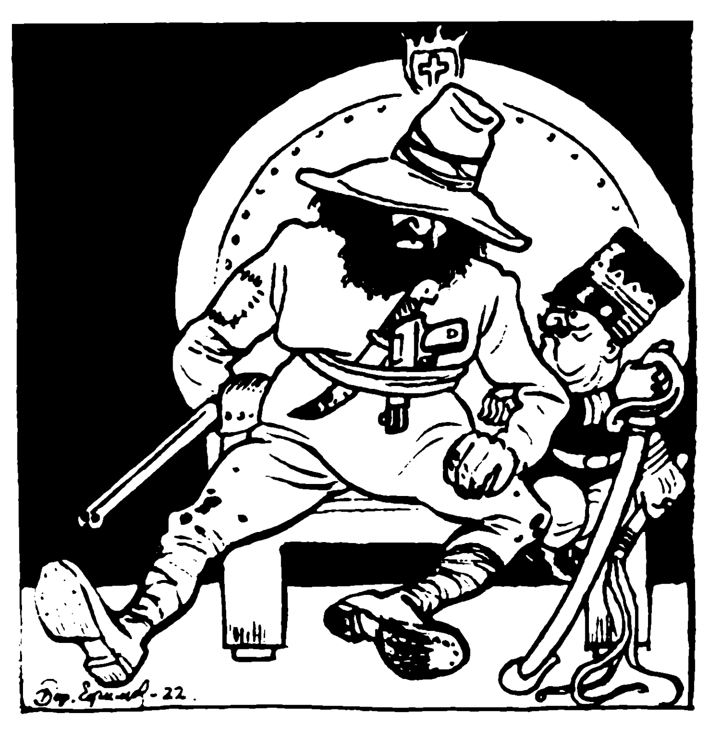
Простодушный путешественник, всерьез принимавший Нобиле за научного работника, горячо возмутился, убедившись, что его пригласили только в качестве ширмы для военной колониальной вылазки.

Новое путешествие Нобиле было задумано с двумя важными це-

лями. Во-первых, утереть нос этой старой перечнице Амундсену, которая так много «из-под себя» думает. Во-вторых, окончательно закрепить полюс за Италией.

По общим отзывам, научное значение второй экспедиции Нобиле равняется нулю. Зато бравый генерал захватил с собой крест от римского папы, чтобы водрузить его на полюсе, и шампанское, чтобы там же его распить. Затея шикарная, что и говорить. Вот только дорого обошлась эта затея!..


19. Муссолини на королевском троне. 1922



И кто первым помчался на помощь погибающим участникам незадачливой агитационной авантюры? Тот же Амундсен.

Помчался и пропал, и, по-видимому, погиб, стал жертвой своего глубоко великодушного поступка. Сознательно великодушного, потому что Амундсен знал цену «научной экспедиции», которую он полетел спасать. <...> «Герой двух полюсов», покрытый мировой исторической славой, человек, которому, по его шутливому заявлению, «скучно, потому что нечего больше открывать», — погибает, соприкоснувшись с пустой и нелепой затеей итальянской военщины! <...> После Амундсена шведы, финляндцы, американцы посылают спасательные силы к месту пропажи Нобиле. Суета в мировой печати подымается необыкновенная. Рекламная шумиха омрачает небеса. Только кое-где глухо и скупо сообщается, что «и большевики тоже» послали или только собираются послать какие-то суда и какие-то самолеты на помощь экипажу «Италии».

...Экипажи «Красина» и «Малыгина», авиаторы Чухновский и Бабушкин показали миру настоящую, серьезную, без рекламы работу по спасению погибающих. Рискуя собственной жизнью, и рискуя очень серь-

езно, они спасли многих участников завоевания Северного полюса римским папой.

...Конечно, «Красин» спасал не фашистов и не фашистскую колониальную авантюру, а просто погибающих людей, попавших в смертельные объятия полярной природы. Недаром же сообщает телеграф, что, когда в связи с успехами летчика Чухновского на стенах миланских фабрик появились надписи рабочих: «Да здравствует «Красин»! — полиция не замедлила произвести аресты» *.

Мы пробыли в Риме шесть дней и не имели причин жаловаться на их скуку и однообразие. Но об одном из этих дней необходимо рассказать подробнее — про такие дни принято говорить: «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Кстати сказать, автор знаменитой комедии Пьер Бомарше, как известно, не обозначил этот день конкретно. Какой это был день? Когда? В начале мая или в середине августа? А может быть, в конце сентября? Это покрыто тайной.

Зато что касается «безумного дня», о котором я хочу рассказать, то тут ни малейших неясностей нет: называю дату точно, твердо и определенно — 27 июля 1929 года.

День этот начался с того, что рано утром нас посадили в автомашины и с бешеной скоростью помчали по великолепной, недавно построенной автостраде из Рима в Остию, приморский город-курорт. Там нас погрузили в военные самолеты «Савойя», выкрашенные в белый цвет и пилотируемые шикарными летчиками в столь же белоснежной форме — хоть сейчас на теннисную площадку! Мы со спецкором «Известий» А.Гарри очутились внутри самолетных поплавков, где довольно комфортабельно устроились на пулеметных гнездах.

Гидросамолеты доставили советских пассажиров в Неаполь. Однако нам не удалось толком рассмотреть красоты и достопримечательности знаменитого города: прямо из порта любезные хозяева привезли нас в ресторан, расположенный на самой высокой точке Неаполя — холме Вомеро, с площадки которого мы могли любоваться городом только «с птичьего полета», совсем как из самолета.

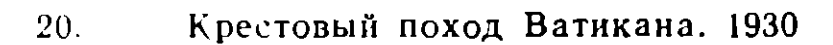
Нас угостили длительным обедом и еще более длительным и томительным концертом вокально-музыкального квартета, исполнявшего (видимо, из соображений гостеприимства) не классическую неаполитанскую музыку — тарантеллу или «Санта-Лючию», а душещипательные дореволюционные русские романсы «Молчи, грусть, молчи», «На последнюю да на пятерку», «Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает» и тому подобное.

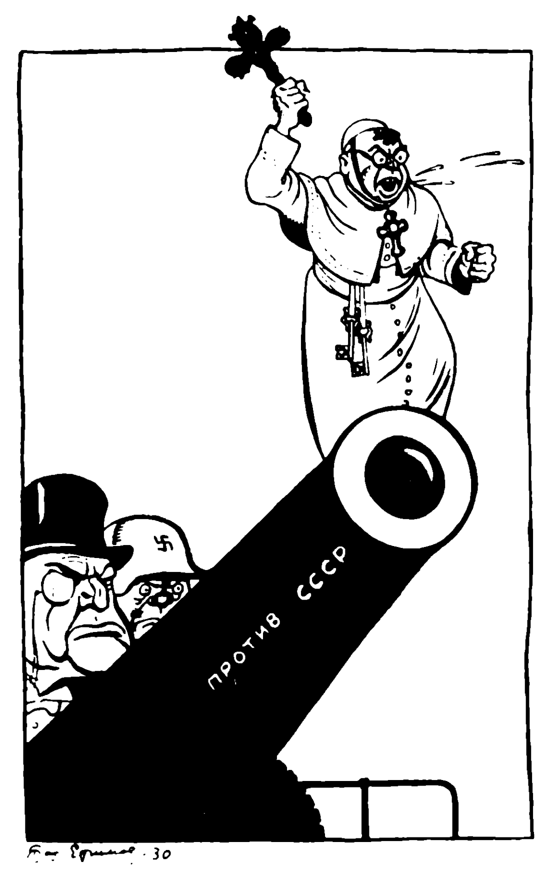
Мы сидели как на иголках, еще питая слабую надежду, что удастся выкроить часа два, чтобы пройтись по улицам Неаполя. Но не тут-то было — музыка и пение услаждают наш слух точно до того момента, когда настает время возвращаться в Рим. Снова порт, белоснежные «Савойи», Остия, Рим, и автомобили во весь опор несутся к собору св. Петра. В чем дело? Ведь мы уже посещали это грандиозное сооружение, уже видели отметины на мраморном полу, показывающие, что в пределах собора могли бы свободно поместиться величайшие храмы мира — Парижской богоматери, миланский собор, стамбульская Айя-София и даже (ох, ох!) наш ленинградский Исаакий... Уже видели начисто слизанный поцелуями богомольцев большой палец чугунной статуи апостола Петра, любовались изумительной «Пьетой» работы Микеланджело. Что ж, если по программе положено повторное посещение...

Но, оказывается, внимательные хозяева привезли нас на соборную площадь, чтобы угостить единственным в своем роде и уникальным зре-

* *М.Кольцов.* Собрание сочинений. М., 1929, т. 3, с. 403

лищем, которого надо было ждать в буквальном смысле слова десятки лет: именно сегодня, впервые после 60-летнего добровольного и демонстративного заключения пап в Ватикане, папа Пий XI торжественно выходит на окруженную знаменитой колоннадой Бернини площадь св. Петра, то есть на территорию итальянского государства. Это историческое событие стало возможным в результате недавно подписанного между святейшим престолом и правительством Муссолини Латеранского договора, предоставляющего Ватикану права суверенного государства наравне с Италией. Ка-


20. Крестовый поход Ватикана. 1930



толический отец умилительно принял в свои объятия фашистского «блудного» и раскаявшегося сына. Для созерцания этого трогательного зрелища нас и привезли сюда, заботливо абонировав окна в одном из окружающих площадь домов, в помещении какой-то школы. И вот, расположившись на партах и подоконниках, мы, как из ложи, смотрим на пышное церковно-театрализованное зрелище папского выхода «из заточения». И действительно, подобно хору, кордебалету и статистам роскошной оперной постановки, более двух часов подряд, появляясь из ворот Ватикана, огибая огромную площадь, возвращаясь в собор Петра и снова выступая из ворот папской резиденции, дефилирует перед нами нескончаемая процессия мальчиков в кружевных стихарях и с огромными красными свечами

в руках, солдат швейцарской гвардии, монахов, аббатов, епископов, кардиналов и прочих духовных чинов всевозможных расцветок и одеяний. Наконец в тяжелых раззолоченных носилках поплыл над головами сам Пий XI. Я хорошо разглядел тучного старика с хищным ястребиным носом и в темных очках. Это мне очень пригодилось, когда меньше чем через год из Ватикана раздался истерический призыв к «крестовому походу против большевиков», и изображение чрезмерно воинственного «святого отца» замелькало в советских карикатурах.

Но что это? Живописное зрелище еще не закончилось, еще медленно кружится апостолическая карусель, а нас снова лихорадочно торопят. Теперь мы мчимся в министерство авиации. Там нетерпеливо ждет в полной парадной форме рыжебородый генерал Бальбо, заместитель министра. Бальбо здесь большая шишка. Он один из «квадрумвиров», т. е. четырех главных вожаков фашистской партии. Впоследствии Бальбо получил звание маршала, был назначен «вице-королем» оккупированной итальянцами Ливии и завершил свою блестящую карьеру тем, что, в чем-то не поладив с дуче, скоропостижно почил в авиационной катастрофе, причины которой остались невыясненными.

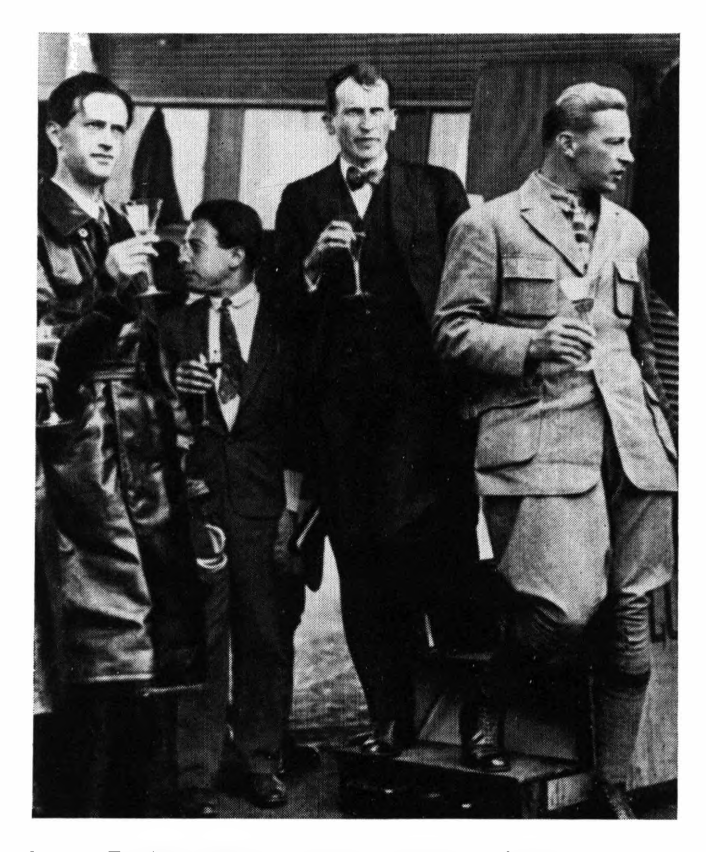
Из министерства авиации кавалькада машин несется через весь Рим куда-то за город и, остановившись на минуту у охраняемых часовыми чугунных ворот, въезжает в сад старинного римского палаццо «Вилла Торлония». Это резиденция Муссолини.

Надо сказать, что мое первое знакомство с Бенито Муссолини произошло задолго до этой встречи. На страницах «Правды». При этом он был карикатурой, а я ее автором. Мы тогда еще мало знали друг друга, и неудивительно, что Муссолини был изображен мною без должного портретного сходства — он был нарисован с большой косматой бородой в наряде классического итальянского разбойника прошлого века.

Потом мы стали встречаться на страницах газет и журналов довольно часто. Я уже хорошо знал внешность «дуче» по фотографиям, и, естественно, борода начисто исчезла, сменившись толстым бритым подбородком. Муссолини стал, наряду со своим дружком Гитлером, одним из самых стабильных персонажей политической карикатуры, весьма добросовестно поставляя сюжеты для нее своими наглыми выходками и напыщенными речами. Он, если можно так сказать, почти не вылезал из-под карандашей карикатуристов или, применяя ходкое выражение, получил постоянную прописку в антифашистской сатире.

Несколько минут ожидания в небольшом зале стиля ренессанс, и к нам выходит загорелый выхоленный мужчина с проседью, одетый в белый фланелевый костюм и в франтовских двухцветных туфлях. Это итальянский министр авиации, он же по совместительству министр военный, морской, иностранных дел, внутренних дел, труда и колоний, а заодно председатель совета министров и глава фашистской партии.

Кстати сказать, карикатура на эту тему, изображавшая Муссолини, взгромоздившегося на шаткую пирамиду из поставленных одно на другое министерских кресел, была незадолго до этого опубликована в «Известиях». Называлась она «На высоте положения». С понятным любопытством разглядывал я свою живую сатирическую «натуру», особенно внимательно изучая... нос дуче. Дело в том, что за несколько недель до приема в «Вилла Торлония» мир облетело сенсационное сообщение о покушении на фашистского диктатора. Пуля задела нос Муссолини. Стрелявший бесследно скрылся. Болезненная страсть дуче к шумихе и саморекламе сказалась и в этом случае — его фотография с забинтованным носом и в котелке широко публиковалась в газетах и журналах и выпускалась отдельными открытками. То ли ранение было пустяковое, то ли оказалась на высоте косметическая хирургия, но сколько я ни присматривался, на мясистом носу Муссолини я не обнаружил ни малейшего следа.



21. **Прибытие самолета «Крылья Советов» в Берлин**
Слева направо: В.А.Зарзар, Б.Е.Ефимов, А.А.Архангельский, М.М.Громов. 1929

Советский посол Д.И.Курский представил поочередно всех членов делегации. Дуче принимал картинные позы, по-наполеоновски скрещивая на груди руки, задавал какие-то вопросы из области авиации и, величественно кивая головой, выслушивал ответы.

Михаил Кольцов иронически писал потом в «Правде»:

«Да, да, в исторический для Италии и для всех католиков вечер исхода папы из шестидесятилетнего заключения глава правительства, дуче, официально принимал одиннадцать советских граждан-безбожников... Да простит господь бог это вольное или невольное прегрешение Бенито Муссолини» *.

Будущее показало, что я не зря присматривался к дуче: еще много, много раз его толстая морда вместе с физиономией его дружка-покровителя Гитлера служили мишенью для советских карикатуристов. В поводах для этого недостатка не было: разбойничье нападение итальянского фашизма на мирную Эфиопию, наглая итало-германская интервенция против Испанской республики, участие в гитлеровской агрессии против Советского Союза и другие этапы политической карьеры Муссолини, которая началась в Милане, вознесла его «на высоту положения» и в положенный

* *Михаил Кольцов.* Избранные произведения. М., 1957, т. 2, с. 258

срок закончилась в том же Милане и тоже на большой высоте, — как известно, труп расстрелянного итальянскими партизанами дуче был повешен за ноги на перекрытии бензоколонки.

Но до этого было еще далеко. А пока что аудиенция в «Вилла Торлония» подошла к концу. Обе стороны, не проявляя особой горячности, но достаточно учтиво распрощались. Уже подойдя к двери, ведущей во внутренние покои, Муссолини остановился и, видимо, в знак особого расположения, удостоил нас «римским приветствием» — театральным жестом правой руки, скопированным впоследствии гитлеровцами.



22. Говорит Тельман. Зарисовка. 1931



«Безумный день» завершился официальным ужином, устроенным для нас рыжебородым «квадрумвиром» Бальбо в ресторане «Кастелло ди Чезаре» на одном из семи римских холмов — Яникульском.

Позволю себе упомянуть еще об одном маленьком, общественного значения, безусловно, не имеющем, событии этого дня — поздно вечером мне вручили телеграмму из Москвы. Меня поздравляли с рождением сына. В честь своего дяди он был назван Михаилом.

Другой «безумный день», о котором я хочу рассказать, был днем нашего отлета из Рима в Лондон, как то было предусмотрено программой перелета «Крыльев Советов». Начался он как-то кисло и нескладно. Старт из Рима предполагался рано утром, однако когда мы прибыли в назначенный час на столичный аэродром Литторио, то оказалось, что любезные хозяева абсолютно ничего к старту не подготовили. Никто из администрации аэродрома даже не знал, где находятся ключи от ангара, в котором стоял наш АНТ. Начались бесконечные переговоры и выяснения, потом звонки в министерство авиации, откуда прибыл, наконец, какой-то невыспавшийся офицер. Потом мы собственной тягловой силой выкатывали самолет из ангара и помогали заправлять его горючим.

Нетрудно догадаться, что свежий утренний римский воздух оглашался в это время сочными и яркими пожеланиями по адресу местного начальства.

Наконец, с более чем двухчасовым опозданием, мы поднялись в воздух, держа курс на Ливорно — Геную — Марсель. Не успели мы занять места в самолете, как Кольцов начал что-то писать в своем блокноте и вскоре пустил по рукам составленный по всей форме опросный лист, содержавший один-единственный вопрос: «Прилетим ли мы сегодня в Лондон?» В кабине заскрипели карандаши, и лист стал покрываться утвердительными ответами: «Да», «Конечно», «Вне всякого сомнения» и т. п. Предпоследнюю запись внес Зарзар: «Безусловно», после чего анкета поступила в пилотскую кабину и вернулась оттуда с повергшим всех в глубокое раздумье ответом нашего пилота Михаила Михайловича Громова: «И да, и нет»...

Надо сказать, что еще накануне Алексей Николаевич Гарри, который знал все на свете и даже сверх того, сообщил по секрету каждому из членов экспедиции в отдельности, что наш всегда спокойный и выдержанный пилот находится в очень скверном расположении духа и дал домой, в Москву, телеграмму, заканчивающуюся словами «Надеюсь увидимся». Хорошо зная богатую и гибкую фантазию спецкора «Известий», мы тем не менее несколько приуныли. Плохая сводка погоды на всей трассе нашего маршрута и тем более туманный ответ Громова на кольцовскую анкету нисколько не улучшили настроения в пассажирской кабине.

Сводка оказалась правильной, скверные предчувствия — оправданными. Когда после короткой остановки в Марселе АНТ-9 круто взял на север и пошел вдоль долины реки Роны, все вокруг заволокло густыми мрачными тучами и в окна самолета застучал проливной дождь. Стало темно и противно. Преодолевая сопротивление сильнейшего порывистого ветра, АНТ упорно шел вперед на небольшой высоте над каким-то угрюмым, поросшим лесом горным хребтом.

«М-да, тут в случае чего и садиться негде...» — подумал я, глядя в окно.

В эту минуту Кольцов, повернувшись ко мне, многозначительно показал пальцем вниз. Самолет, действительно, резко пошел на снижение. Посадка? Авария? Шум моторов не давал возможности слышать друг друга. Я обернулся к Ване Бабрышеву, корреспонденту «Комсомольской правды», и повторил кольцовский жест. Все прильнули к окнам. С бешеной скоростью неслись навстречу мокрые верхушки деревьев, какие-то затянутые сеткой дождя прогалины, поросшее густой травой поле. Моторы смолкли. АНТ мягко стукнулся колесами о землю, пробежал еще немного, остановился. Мы высыпали наружу. Громов уже спустился из пилотской кабины и внимательно осматривал самолет.

— Ну, я думал — гроб! — спокойно оповестил он своих пассажиров.

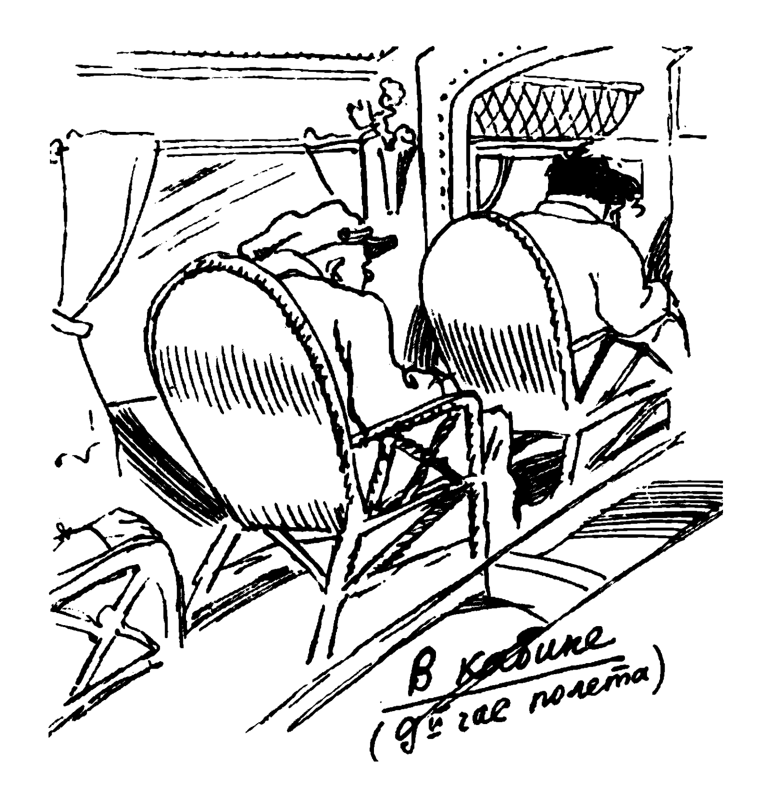
Кругом расстилалось ровное поле, очертания которого терялись в вечерней мгле. Дождь не прекращался.

Что же произошло? Почему необходимо было немедленно идти на посадку? (Потом выяснилось, что вследствие какой-то технической неисправности в полете сам собой открылся багажный люк.) И только опытный зоркий глаз Громова мог при почти полном отсутствии видимости обнаружить подходящую посадочную площадку, и только незаурядное мастерство летчика позволило ему благополучно приземлить тяжелую машину.

Однако где же мы очутились? Карта показала, что где-то в окрестностях французского провинциального городка Невер на Луаре.



23. «Крылья Советов» над Европой. 1929

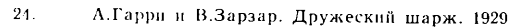


...Тут я хочу сделать небольшое авторское отступление и перенести действие на шесть лет вперед, на борт другого, гораздо более совершенного создания Андрея Николаевича Туполева — АНТ-20, самолета-гиганта «Максим Горький». Хочу привести свой небольшой очерк, напечатанный в газете «Известия» 4 мая 1935 года.

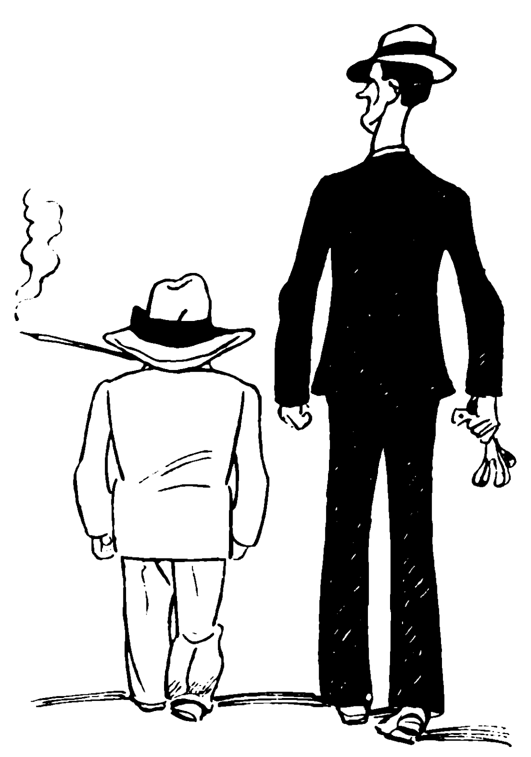
«...Сквозь двери пилотской кабины виден уходящий вдаль коридор, ряды комфортабельных пассажирских кресел и столики с удобными настольными лампами. Серебряным блеском сверкает обтекаемой формы самовар на никелированной буфетной стойке. Аккуратными складками лежат белоснежные скатерти и вышитые занавески на окнах. Все находящиеся здесь предметы сделаны удобно, экономно и элегантно. Все здесь носит отпечаток того нового стиля, сочетающего целесообразность, портативность и изящество, который с полным основанием можно назвать авиационным.

Я посматриваю кругом с любопытством и не без доли некоторого

сомнения: мне кажется маловероятным, что все это огромное металлическое сооружение сможет преодолеть законы земного притяжения и вместе со своими электрической и телефонной станциями, с радиорубкой, типографией, прочим сложнейшим авиахозяйством вдруг поднимется в воздух! В этот момент сдержанный рокот винтов переходит в могучий, но нисколько не оглушающий и не заставляющий повышать голос рев. Еще три-четыре секунды стремительного разбега — и восемь мощных советских моторов без малейшего напряжения легко отрывают от земли самый большой в мире самолет.



21. А.Гарри и В.Зарзар. Дружеский шарж. 1929

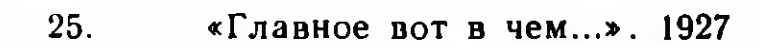


Сначала «Максим Горький» направляется куда-то в сторону от Москвы. Через несколько минут полета, когда на горизонте появляется большая стая металлических птиц, «Максим» делает плавный величественный поворот и движется обратно, уже находясь во главе большой эскадрильи Военно-Воздушных Сил. А по обе стороны «Максима», у каждого его громадного крыла, покачиваются неведомо откуда взявшиеся самолеты-истребители, кажущиеся игрушечными рядом с нашим великаном.

Белозубая девушка-штурман, радостно улыбаясь, обращается к командиру агитэскадрильи имени М.Горького, флагманом которой является самолет-гигант. Она докладывает, что от пересечения железной дороги и шоссе следует держаться прямой линии, которая и приведет самолет к Красной площади. Слыша эти указания, я с трудом скрываю улыбку: у меня есть все основания предполагать, что даже без авторитетных указаний симпатичной девушки пилот «Максима Горького» не собьет-

ся с маршрута. Ведь я был свидетелем того, как этот самый летчик совершил труднейшую посадку вблизи одного маленького французского городка. Вряд ли сам пилот запомнил этот незначительный эпизод своей многолетней воздушной работы, прославившей его имя. Это — Михаил Михайлович Громов, Герой Советского Союза. Другой штурвал «Максима» в руках летчика-орденоносца Ивана Васильевича Михеева.

Указания девушки-штурмана послушно выполняются Громовым и Михеевым. «Максим» летит теперь как стрела по прямой, распростерши



25. «Главное вот в чем...». 1927

огромные свои крылья над праздничной первомайской Москвой. Уже остался позади достраивающийся железобетонный овал стадиона «Динамо». Уже развернулась под нами нескончаемая лента демонстрации, густо прошитая веселыми стежками красных, зеленых и голубых флагов и транспарантов, усыпанная сверкающей россыпью всевозможных празднично-карнавальных изображений.

«Максим» идет уже над своей однофамилицей — улицей Горького.

Не сбавляя скорости, он снижается над ней, и густая масса людей, заполняющая широкое русло улицы, вдруг покрывается забавными розовыми пятнышками — это поднятые кверху лица демонстрантов. Они радостно приветствуют крылатого «Максима».

Командир агитэскадрильи Кольцов покидает свое место между пилотской и штурманской кабинами. Он идет в радиорубку. «Большевистская печать, — говорит Кольцов в микрофон, — горда и счастлива тем, что может на созданном при ее помощи самолете-гиганте открывать сегодня парад Военно-Воздушных Сил».

В эту секунду «Максим» проходит островерхую громаду Исторического музея, и мы над Красной площадью. В последующие короткие мгновения глаз старается охватить все: и сверкающие на солнце гранитные грани Мавзолея, с которого смотрят на нас сейчас руководители страны и сам великий писатель, имя которого носит наш самолет; и переполненные трибуны, приветствующие воздушного гиганта; и кажущиеся неподвижными четкие ряды танков; и краснозвездные башни Кремля; и весь торжественный облик этой знаменитейшей площади мира.

Кольцов передает микрофон на длинном шнуре Громову. Михаил Михайлович произносит короткое приветствие радиослушателям. Другая рука его продолжает двигать штурвалом.

Широко обогнув столицу, «Максим» возвращается на аэродром и идет на посадку. Девушки-штурманы, удовлетворенно щебеча, складывают свои карты, кинооператоры — свою треногу. Первомайский полет «Максима Горького» закончен».

Вернемся, однако, на шесть лет назад, к самолету «Крылья Советов».

Пока я, по неотъемлемому праву автора, переносился вместе с читателем в первомайскую Москву 1935 года, здесь, под Невером, происходило следующее. После вынужденной посадки было решено прежде всего выслать разведку в ближайший населенный пункт и связаться с местными властями. Энергичный Гарри взял эту миссию на себя и, надев чье-то кожаное пальто, в котором совершенно утонула его маленькая фигура, исчез в темноте.

Впоследствии он рассказывал, какой невероятный переполох произвело его появление в ночном Невере. Срочно разбуженные комиссар полиции и городской префект долго и ошеломленно рассматривали советский паспорт Гарри, не решаясь без соответствующих указаний свыше на какие-нибудь конкретные поступки.

Алексею Николаевичу пришлось, по его словам, немного припугнуть неверское начальство, предупредив их, что глава советской делегации «женераль» Зарзар уполномочил его в случае каких-нибудь задержек немедленно связаться с Парижем и лично с французским министром авиации.

Так или не так, но вскоре вокруг нашего АНТа замелькали многочисленные фонари. В сопровождении полиции и жандармов сюда примчались неверские власти, чисто мопассановские провинциальные персонажи в котелках и шляпах-канотье. Раскрыв зонтики и подвернув брюки, отважно шлепали по лужам мэр, префект, субпрефект, комиссар полиции и другие «отцы города». Все они были в страшной ажитации. Еще бы! Какое неслыханное происшествие! Вероятно, впервые в истории Невера на него свалился с неба иностранный самолет, да еще какой — большевистский! Кстати сказать, впоследствии выяснилось, что поле, на которое опустился АНТ-9, является... засекреченным военным аэродромом.

Дело ясное: красный десант! Рука Москвы! Козни Кремля!

Это было почти равносильно падению снаряда с Марса.

Впрочем, надо признать, что необходимая забота как о самолете, так и о его пассажирах была в полной мере проявлена и помощь оказана.

Утомленные событиями этого дня, мы крепко спали в уютных номерах неверского «Отель де Франс» (хозяин которого, между прочим, просил нас учесть, что в этой исторической гостинице останавливался в свое время Наполеон I с некой таинственной дамой), а в это время телефон и телеграф между Невером и Парижем работали с полной нагрузкой. Буржуазная печать получила настоящую первосортную сенсацию: таинственный большевистский самолет, подозрительно бродивший над Европой, потерпел аварию! Агентство «Гавас» оповестило мир, что АНТ-9 разбился вдребезги. Газеты наперебой сообщали леденящие кровь подробности катастрофы «Крыльев Советов», расходясь только в количестве убитых и раненых.

Еще ничего не зная о постигшей нас трагической участи, мы с аппетитом завтракали в ресторане «исторического отеля». «Потерпевший аварию» АНТ был тщательно вымыт и заправлен. Сердечно поблагодарив неверцев за гостеприимство, советская делегация двинулась в дальнейший путь.

Первое, что сделал Кольцов, когда самолет поднялся в воздух, это... пустил по кабине опросный лист с уже знакомым вопросом: «Прилетим ли мы сегодня в Лондон?» Приходится признать, что ответы, как письменные, так и устные, последовавшие от большинства пассажиров АНТа, содержали столь энергичные высказывания по адресу автора опросного листа, что воспроизведению в печати они не поддаются. Только из пилотской кабины поступил вежливый и краткий ответ Громова: «Да».

Прекрасным безоблачным утром мы перемахнули через сверкающие солнечными отблесками воды Ла-Манша, и в то время как на улицах Лондона продавались газеты с сенсационными заголовками об аварии советского самолета, над Кройдонским аэродромом английской столицы появилось наше убедительное трехмоторное опровержение.

В кратере Везувия

Я уже рассказывал, что мне не пришлось толком познакомиться с достопримечательностями Неаполя в 1929 году, когда неумолимая программа пребывания советской воздушной делегации в Италии отвела нам в этом прекрасном городе время только на обед в ресторане.

Но по воле судьбы и по командировке сразу от двух московских редакций — «Известий» и «Красной звезды» — я снова попал в Неаполь, на этот раз не воздушным, а более естественным, морским, путем.

На борт военных кораблей Черноморского флота, направлявшихся в заграничное плавание с посещением Турции, Греции и Италии, было разрешено принять группу московских писателей и художников — Илью Ильфа, Евгения Петрова, Бориса Левина, Константина Ротова и Бориса Ефимова.

Это было осенью 1933 года. В ожидании отплытия все мы прожили несколько дней в скромной севастопольской гостинице, много гуляли, шутили, вместе посещали исторические места прославленного города.

После естественных волнений, связанных с распределением нашей группы по кораблям эскадры, наступил наконец час выхода в море.

Ильф, Петров и я попали на флагманское судно — голубой красавец крейсер «Красный Кавказ». На этом великолепном боевом корабле, где все было так подтянуто и организованно, так гармонично пригнано одно к другому, наши сугубо штатские фигуры в шляпах и помятых демисезонных пальто (мы это сами понимали и сознавали) бессовестно на-

рушали безукоризненную и даже щегольскую симметрию крейсера, немилосердно резали глаз морякам.

Особенно при виде нас портилось настроение у старпома. Лицо этого красивого и стройного с идеальной морской выправкой офицера выражало подлинное страдание, едва мы появлялись на верхней палубе.

— Всем с левого борта-а! — кричал он звучным голосом, глядя куда-то в сторону, хотя в этот момент на левом борту, кроме нас, не было ни единого человека.

В кают-компании за обеденным столом он становился добрее и даже пересказывал другим офицерам отдельные эпизоды из похождений Остапа Бендера, которого почему-то упорно именовал «Остап Бандас». При этом Петров смотрел на меня, я — на Ильфа, тот обращал задумчивый взгляд на старпома, но поправить его никто не решался.

Погожим октябрьским утром эскадра вошла в Босфор и бросила якоря у стен Стамбула. Три дня без устали бродили мы по улицам и площадям этого древнего, причудливого, так много видевшего на своем веку города. Первым делом мы кинулись, конечно, к Айя-Софии и Голубой мечети, ходили по пустым и мрачным султанским покоям в Большом серале, посетили знаменитый Семибашенный замок, побывали на древней площади Ипподрома, глазели на Розовый обелиск и Змеиную колонну, косясь в сторону выходящей на эту же площадь зловещей средневековой тюрьмы (между прочим, исправно функционирующей и в наши дни). Шагали по Галатской лестнице — отлого спускающейся к Золотому Рогу живописной ступенчатой улице с бесчисленными пестрыми магазинчиками, лавочками, кофейнями и харчевнями, окутанными острыми пряными запахами и дымом жаровен. В прилегающие к «лестнице» извилистые и запутанные переулки, где можно было увидеть «экзотику» всемирно известных портовых притонов, мы, естественно, не отваживались углубляться.

Турецкие власти и общественность встретили советских моряков весьма любезно. В честь гостей были даны приемы и банкеты на берегу, одновременно поток заинтересованных и любопытствующих устремился на корабли. Приходили депутаты меджлиса, редакторы крупнейших газет, журналисты, особый интерес которых привлекала, между прочим, походная типография флагманского крейсера, печатавшая многотиражку «Красный черноморец».

Обилие приветственных речей и неизбежных в этих случаях словесных штампов очень нас забавляло, и долго еще Женя Петров до слез смешил нас с Ильфом импровизацией застольного спича, составленного из нескольких повторяющихся слов:

— Гас-пада! Узы дружбы, являющиеся теми дружественными узами, которые связывают нас тесными узами дружбы, представляют собой подлинные дружеские узы. И эти дружеские узы, будучи тесными узами дружбы, дороги нам именно как те дружеские узы, которые тесно связывают...

И хотя мы с Ильфом уже неоднократно слышали в исполнении Петрова этот спич, мы начинали неудержимо хохотать, как только Женя, свирепо выпучив глаза и забавно выпятив нижнюю губу, с пафосом начинал:

— Гаспада! У-узы дружбы...

Центральным моментом пребывания советской эскадры в Стамбуле была эффектная и внушительная церемония возложения венков к памятнику Независимости. Стояла прекрасная погода. В парадном строю, четко печатая шаг, оглашая залитые солнцем улицы Стамбула громом и звоном краснофлотского оркестра, советские моряки с командованием во главе прошли по городу к площади Таксим.

Командующий эскадрой контр-адмирал Ралль и командиры кораблей подняли огромный красный венок и прислонили его к подножию мра-

морного шатра, под которым верхом на коне стоял бронзовый Кемаль Ататюрк. Поплыли торжественные звуки «Интернационала». Стоя в гуще многотысячной толпы, мы с Ильфом и Петровым горделиво посматривали на окружающих, как будто они могли знать, что мы имеем какое-то отношение к этой красивой и могучей силе под краснозвездным знаменем.

На другой день эскадра снялась с якоря. Мы пошли Дарданеллами вдоль зловещей панорамы разрушенных укреплений, заржавелых орудий и проволочных заграждений, заброшенных кладбищ и других мрачных свидетелей печально знаменитой «дарданелльской операции» Черчилля в первую мировую войну. Корабли вошли в Эгейское море и взяли курс через архипелаг на Пирей, в Грецию. Помню, как Женя Петров снимал пальцем нежную рыжеватую пыльцу, осевшую на поручнях и снастях крейсера, и, поднося ее к моему носу, торжественно вопрошал:

— Боря! Ну-ка, что это такое? Вы понимаете, что это? Так вот, это песок пустыни, принесенный ветром из Африки! Здорово? Песок африканской пустыни! В Средиземном море!

Волновали его и перелетные птицы, садившиеся отдохнуть на могучих башнях и орудиях крейсера. Женя осторожно брал птичек в руки, заботливо согревал в ладонях и снова выпускал на морской простор.

Прибытие в греческий порт Фалерон ознаменовалось прежде всего тем, что Петров ранним утром энергично растолкал меня в матросском кубрике, где я спал сладким сном.

— Как вам не стыдно спать, ленивец вы этакий! — восклицал он. — Ей-богу, Боря, я вам просто удивляюсь! Мы — в Греции, понимаете вы или нет? В Элладе! Фемистокл! Перикл! Наконец, тот же Гераклит! «Все течет, все меняется»... Если хотите, в этом изречении заложена самая настоящая диалектика! Все течет, все меняется! Это же потрясающе!

В Афинах мы, естественно, отдали дань восхищения Парфенону, Эрехтейону и другим античным красотам. На Акрополе Петров хватал меня за руку и возбужденно говорил:

— Вы понимаете, Боря, что, может быть, на этом самом камне сидел старик Гераклит и писал свое «Все течет, все меняется». Потрясающе, правда?

Так же темпераментно и бурно Петров вникал в быт и нравы современных Афин. Он был неутомим в отыскивании всяческих колоритных и занятных уголков города, рынков, трактирчиков. Со свойственной ему общительностью вступал он в разговоры с прохожими, официантами и даже детьми, пуская в ход фантастическую смесь русских, английских и греческих слов, подкрепляя их энергичной, чисто южной жестикуляцией.

Очень забавным было одно случайное (а может быть, и не случайное) уличное знакомство. Заслышав русскую речь, к нам привязался какой-то расторопный и бойкий молодой человек, отрекомендовавшийся Леонидом Леонидисом. Не успевали мы показаться на улице, как он вырастал перед нами как из-под земли. Проявляя необычайную классовую сознательность, он с неслыханным жаром обличал язвы капиталистического строя в Греции и предрекал ему неминуемую и скорую гибель. Конечно, при активной поддержке советских товарищей. Он шумно доказывал, что налицо все признаки близкого краха греческой буржуазии и было бы просто грешно не использовать столь благоприятную ситуацию.

— Скорей сюда! — кричал на всю улицу Леонид Леонидис, внезапно появляясь перед нами и указывая куда-то рукой. — Здесь только что обанкротился один владелец крупного магазина. Пойдем посмеемся над этим эксплуататором!

Все это было по-детски наивно, но вместе с тем от «несгибаемого борца» с капитализмом так здорово попахивало примитивной полицейской провокацией, что, почти не стесняясь его присутствия, Женя Петров говорил вполголоса, наклонившись к моему уху:

— Сейчас он скажет: «Идемте, я знаю одно место, где можно достать чудных бомб, чтобы взорвать королевский дворец...»

Впоследствии в своих путевых очерках Ильф и Петров вспоминали этот эпизод, описав привязавшегося к нам типа под именем Павла Павлидиса.

Переход эскадры из Греции в Италию проходил при плохой погоде. Прославленной средиземноморской лазури не было и в помине. Сильный ветер вздымал злые свинцовые волны. «Красный Кавказ» шел твердо и устойчиво, как скала, но следовавшие за ним эсминцы так зарывались носами в воду, что просто страшно было смотреть, и мы с Ильфом и Петровым болели душой за наших товарищей — Левина и Ротова, которые отнюдь не были просмоленными морскими волками...

Вечером вошли в Мессинский пролив, и перед нашими глазами возникло изумительное зрелище: бесчисленные огни городов Мессины и Реджио, огни на горах и дорогах Сицилии — волшебный ночной пейзаж, который к тому же подсвечивало, совсем как в театре, багровое зловещее пламя действующего вулкана Стромболи...

А утром, подобно гигантской, великолепно отпечатанной открытке, предстала перед нами неправдоподобно красивая, идиллическая панорама Неаполитанского залива.

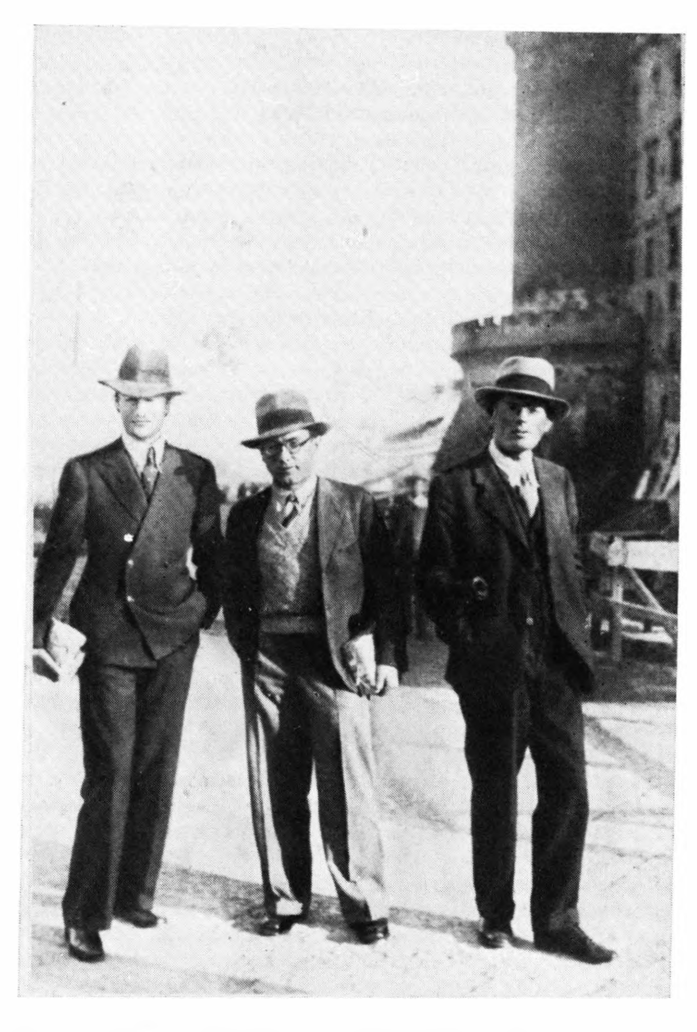
Итальянские власти встретили советских морских гостей весьма радушно. По всем правилам международного этикета стороны обменялись салютами, гимнами, приветствиями, визитами, обедами, речами и тостами. Экипажам кораблей была предложена интересная туристическая программа, огромные красные автобусы развозили моряков по достопримечательным местам Неаполя. Я не сразу сообразил, куда мне податься, потерял в суматохе своих спутников и, махнув рукой, сел в первый попавшийся автобус. Оказалось, что он везет экскурсантов на Везувий.

Надо сказать, что знаменитый вулкан, который уже много лет вел себя тихо и спокойно, слегка попыхивая легким дымком, как раз в том, одна тысяча девятьсот тридцать третьем, году неожиданно стал угрожающе активным. Днем над ним висело тяжелое черное облако густого дыма, ночью — грозное полыхающее зарево.

Нам говорили, что верующие католики связывали этот факт с очередным «святым годом», каковым, по их воззрению, является тридцать третий год каждого столетия, поскольку Христос, как это им точно известно, закончил свой земной путь именно в этом возрасте. Другие искали причину в более близких событиях — покушении на Муссолини, приходе Гитлера к власти и поджоге рейхстага. Так или иначе интерес к популярному вулкану необычайно возрос, и экскурсии на Везувий стали особенно многолюдными.

...Нас подняли к вершине огнедышащей горы в ступенчатых вагонах фуникулера, и из ясного солнечного утра мы сразу попали в холодный пронизывающий туман с неприятным моросящим дождиком. Экскурсантам роздали обшитые красной тесьмой черные шерстяные плащи с капюшонами, в которых мы сразу стали похожи на разбойников из оперы «Фра-Дьяволо». Потом нас повели гуськом по обрывистому краю вулкана. Туман настолько сгустился, что я еле различал своих переднего и заднего спутников по цепочке. Вскоре шедший впереди экскурсант куда-то пропал, потом в тумане исчез и тот, кто шел следом за мной.

Потом я снова нагнал группу в разбойничьих плащах, а еще через несколько минут мы очутились возле страшного провала, окутанного желтоватыми клубами густого дыма. Это и был недавно открывшийся кратер. Гиды стали приглашать желающих спуститься вниз. Однако большинство туристов, удовлетворившись, видимо, эффектным внешним видом кратера, благоразумно предпочли воздержаться от более близкого знакомства с ним. Другие стали спускаться вниз. После некоторого колебания



26. Е.Петров, Б.Ефимов, И.Ильф в Неаполе. 1933

я последовал за ними, справедливо рассудив, что подобный случай вряд ли скоро представится.

В кратер вела отлогая, спиральная и, казалось, бесконечная тропинка. Мы шли в удушливых сернистых испарениях, держась за веревки, натянутые на железные колья, кашляя и задыхаясь. Наконец спуск закончился, дым немного рассеялся, и глазам представилось совершенно фантасмагорическое, я сказал бы, адское зрелище.

Громоздясь причудливыми пластами и завитками, кругом шевелилась и пузырилась раскаленная лава. Местами уже остывшая, пепельно-серая, она лежала неподвижно, похожая на туго свернутые кольца чудовищных питонов, а тут же рядом, огненно-жаркая, светясь изнутри багровым огнем, она медленно наползала подобно какой-то жуткой пасте, выдавливаемой из огромного невидимого тюбика. Откуда-то снизу, из преисподней, доносился могучий урчащий гул, напоминающий рычание огромного страшного зверя.

«А, собственно говоря, на кой черт надо было мне сюда забираться? — подумал я. — Кто его знает, этот Везувий? Вдруг как бабахнет, так тут не то что костей — клеточек не соберешь. Или раскопают через две тысячи лет, как в Помпеях».

В кратере царило оживление, слышалась разноязыкая речь. Старик итальянец в потертом пиджаке брал у туристов мелкие монеты, отрывал железным крючком клочок полуостывшей лавы, «запекал» монету в еще теплое каменное тесто и продавал эти тут же фабрикуемые сувениры.



27. И.Ильф и Е.Петров. Дружеский шарж. 1977



ниры. Я тоже вытащил из кармана никелевую монету, как вдруг чья-то сильная рука схватила меня за плечо. Я обернулся и очутился лицом к лицу с Евгением Петровым, также одетым в черный разбойничий плащ. Глаза его возбужденно сверкали, он был в полном восторге.

— Вот это встреча, Боря! А? — кричал он. — И где?! Вы только подумайте! Ведь об этом можно вспоминать всю жизнь. А говорить мы будем примерно так: что-то мне лицо ваше знакомо. Где это мы с вами встречались? В «Огоньке»? Нет, не в «Огоньке». В Доме писателя? Нет, не в Доме писателя. На Клязьме? Нет, и не там... Где же? А, вспомнил, вспомнил! В кратере Везувия!..

Мы оба от души посмеялись этой мгновенно сочиненной юмористической миниатюре.

— Вы один, Женя? А где же Илья? — спросил я.

— Не знаю. Мы тут потеряли друг друга. Наверно, остался наверху. Но нет, Боря, вы только подумайте, где могут встретиться два москвича! Это же замечательно! — повторял страшно довольный Петров.

Выбравшись наружу, сдав плащи и спустившись на фуникулере, мы снова попали в теплый солнечный день. После похожей на ночной кошмар фантастики вулканических недр было особенно приятно и уютно очутиться в комфортабельном ресторане на склоне Везувия, где итальянский адмирал Новарро давал банкет в честь командования советской флотилии и прибывшего по этому случаю из Рима полпреда СССР Владимира Петровича Потемкина.

На другой день советские корабли отплыли в Севастополь. Мы распрощались с нашими товарищами по морскому походу: Владимир Петрович пригласил Ильфа, Петрова и меня погостить у него несколько дней в Риме. Так друзья-соавторы впервые, а я вторично попали в «вечный город».

Нас гостеприимно поселили в одном из многочисленных помещений старинного особняка на не менее старинной узкой улице Виа Гаэта, где и поныне находится советское посольство. Каждое утро по приглашению Владимира Петровича и его супруги Марии Исаевны мы являлись к завтраку.

Мы очень любили эти утренние встречи за столом — они всегда сопровождались интересными, яркими, полными юмора и наблюдательности рассказами Владимира Петровича, кстати сказать, вообще великолепно владевшего словом. Как говорится, затаив дыхание слушали мы и об эпизодах гражданской войны (Потемкин был в ту пору начальником Политотдела Южного фронта); и о любопытных черточках Мустафы Кемаля, с которым Владимир Петрович общался в бытность на дипломатической службе в Анкаре; и об архитектурных и художественных сокровищах эпохи Возрождения; и о зловещих тайнах двора Медичи во Флоренции XV века; о его нынешнем, как он выражался, «дипломатическом партнере» Муссолини; и о простоватом короле-нумизмате Викторе-Эммануиле; и о разных курьезных происшествиях посольской практики.

Незачем говорить, что мы обошли, пожалуй, все знаменитые места Рима. Не повезло только с Сикстинской капеллой — она почему-то была закрыта. Ильф долго не мог успокоиться.

— Новое дело, — ворчал он, — Сикстина закрыта на учет... Ресторан закрыт на обед... Ватикан закрыт, так как папа дал обет...

Его вообще очень занимал и смешил коммерчески-деловитый стиль папского государства, солидная, внушительная, какая-то банковская обстановка Ватикана. Кстати сказать, папский престол имеет и свой собственный, самый настоящий банк. На массивной мраморной доске золотыми буквами высечено: «Banco di Santo Spirito» (Банк святого духа!).

Заходили мы и в сравнительно мало известную, но довольно любопытную церковь Санта Скала, т. е. Святой лестницы. В ней установлена специально привезенная из Иерусалима очень высокая и крутая каменная лестница. Согласно авторитетному свидетельству папских археологов, по этой лестнице Иисуса Христа водили на допрос к Понтию Пилату.

В свете этих ценных сведений набожные католики считают весьма полезным, с точки зрения замаливания грехов, раз или два в год совершить восхождение по «святой» лестнице. Однако не просто ногами, как по всякой другой, нормальной лестнице (это было бы слишком просто и обыденно), а на коленях, с попутным чтением установленных на сей предмет молитв. При этом, между прочим, строго охраняется общественная нравственность, о чем свидетельствует плакат с четкой надписью: «Запрещается восхождение по Святой лестнице дамам и девицам в коротких платьях».

«Святая» лестница заинтересовала меня с чисто спортивной точки зрения, и мне взбрело в голову попробовать такое упражнение. Осыпаемый остротами Ильфа и Петрова, я тем не менее занял исходную позицию

и бодро пополз вверх. Однако уже на третьей или четвертой ступени, ощутив невыносимую боль в коленях, я понял легкомыслие своего поступка... Вороватo оглянувшись вокруг (позади меня, к счастью, никто не подымался), я быстро сполз обратно. Соавторы торжествовали.

Незаметно пролетели римские дни. Искренне поблагодарив чету Потемкиных за гостеприимство, мы покинули «вечный город». Ильф и Петров поехали по своим литературным делам в Вену, а я направил свои стопы в Париж, где мы недели через две снова встретились.

Парижские дни

Маленький номер Михаила Кольцова в парижском отеле «Ванно» представлял собой, по сути дела, круглосуточно действующий корреспондентский пункт «Правды». Ни на минуту не умолкали телефонные разговоры и энергичный треск пишущей машинки. С утра до вечера Кольцов варился в котле разнообразнейшей оперативной работы, бесчисленных встреч, бесед, совещаний, почти не отдыхая, недосыпая.

Даже мое неожиданное появление в Париже он воспринял, можно сказать, на ходу: когда я вошел, брат что-то диктовал машинистке, одновременно разговаривал по телефону и торопливо допивал кофе.

— Ага! — сказал он, увидя меня. — Молодец, что приехал. Видишь эту кнопку? Нажми ее и, когда войдет мадемуазель Ивонн, закажи себе завтрак. Нет, нет, дорогой Курселль, — закричал он в телефонную трубку, переходя на французский язык, — это я не с вами говорю по-русски. Я знаю, что вы еще не владеете этим превосходным языком Тургенева и Горького. Это мой младший брат, который только что приехал из Италии. Очень хорошо, я жду вас у себя. Да, немедленно. Если хочешь, можешь погулять по городу (это относилось уже ко мне). Я тебя отпускаю до обеда, но, смотри, не опаздывай: на пять часов назначен большой антифашистский митинг в зале Мютюалите под председательством Эррио. Мне обязательно надо там быть и кое с кем повидаться.

Так я сразу вошел в атмосферу парижского быта Кольцова, включился в хлопотливый и напряженный ритм его жизни.

Осью, вокруг которой вращалась вся корреспондентская и антифашистская деятельность Кольцова, был происходивший в это время и привлекавший острейшее внимание всего мира Лейпцигский процесс о поджоге рейхстага. Главным обвиняемым на этом сфальсифицированном гитлеровском судилище был, как известно, несгибаемый и мужественный революционер Георгий Димитров, превративший скамью подсудимых в трибуну смелого и беспощадного разоблачения фашистской провокации. Гитлеровские власти, естественно, отказали корреспонденту «Правды» во въездной визе, в связи с чем все освещение хода процесса и связанная с этим контрпропаганда были перенесены в Париж.

Я видел брата в разговорах с французскими парламентариями и немецкими эмигрантами, с английскими журналистами и болгарскими революционерами, с деятелями разного масштаба и толка, с представителями всевозможных антигитлеровских комитетов и ассоциаций — профсоюзных, студенческих, женских, литературных. Он сталкивался с десятками и сотнями людей — сочувствующих и настороженных, солидаризирующихся и выжидающих, искренних друзей и подозрительно напрашивающихся на дружбу, полуразведчиков и просто разведчиков. В этом сложном человеческом калейдоскопе Кольцов чувствовал себя, как рыба в воде, спокойно и быстро оценивая своих собеседников, их моральный облик, их намерения, их качества, их полезность, бесполезность или вредность для антифашистского дела.

Я чем мог помогал брату, сопровождал его в разных поездках,

выполнял какие-то поручения. Вместе с тем кое-что рисовал, «корреспондировал» в «Известия» политические карикатуры.

Вскоре приехали в Париж Ильф и Петров и, как и я, прямо с вокзала заявились в отель «Ванню». Кольцов, как всегда, встретил их дружелюбно и приветливо. Он очень любил талантливых друзей-соавторов, охотно печатал их в журналах, которые редактировал, — «Огоньке», «Чудаке», «Крокодиле», «За рубежом», дружески и твердо поддерживал на первых этапах творческого пути.

Ильф и Петров оживленно рассказывали о своих венских впечатлениях, а я беспокойно ерзал на стуле — мне не терпелось поскорее показать им Париж. Ведь что может быть приятнее, чем выступить в роли чичероне для людей, впервые попавших в прославленный город!

Наконец мы двинулись в путь, и, выкладывая свои познания о Париже скороговоркой опытного гида, смакуя названия улиц и бульваров, я повел друзей по Рю де Гренель мимо советского полпредства, потом через бульвары Распай и Сен-Жермен к набережной Анатоля Франса («А вот знаменитые букинистические лотки, где любил рыться господин Бержере»), оттуда — к Бурбонскому дворцу («Здесь заседает палата депутатов или, на диалекте русских парижан, «Шамбр, где депюте́»), потом — к мосту, ведущему на Пляс Конкорд («Мост, между прочим, построен из камней разрушенной Бастилии»). От площади, где были дружно процитированы соответствующие стихи Маяковского, мы двинулись к Большим бульварам.

Соавторы слушали меня с интересом, но не могли удержаться от ехидных замечаний.

— Ну, Боря, вы совершенно подавили нас эрудицией, — говорил Петров.

— Рассказывает урок, как первый ученик, — добавил Ильф. — Но не спешите так. Дайте усвоить пройденное.

Париж очень понравился друзьям. Они называли его лаконично, с неподражаемой южной интонацией:

— То́т город!

Вечером того же дня я проводил их в знаменитое кафе «Ротонда», где их принял под свою эгиду Илья Григорьевич Эренбург. Все же первое время мы неизменно обедали втроем в одном симпатичном и недорогом ресторанчике на Монпарнасе.

Женя Петров с мальчишеским азартом увлекся непривычными блюдами французской кухни, подстрекая и нас с Ильфом отведывать всевозможные сорта устриц под острым соусом, жаренных на сковородке улиток, суп из морских ракушек, морских ежей и прочие диковинные дары моря. Особенный успех имел рекомендованный Женей (когда он успел его раньше отведать, осталось тайной) марсельский «буйябес» — острейший суп типа солянки, густо сдобренный кусочками различных экзотических моллюсков, не исключая и щупальцев маленьких осьминогов.

Но Ильф вскоре взбунтовался.

— Надоели гады! — кричал он. — Хватит питаться брюхоногими, иглокожими и кишечнополостными! К черту! Притом имейте в виду, что несвежая устрица убивает человека наповал, как пуля. Я хочу обыкновенный антрекот или свиную отбивную! Дайте мне простой московский бифштекс по-гамбургски!

Слушая эти стенания, мы с Петровым, не сговариваясь, начинали хором цитировать катаевскую «Квадратуру круга»:

— «Я не хочу больше Карла Бюхера. Я хочу большой кусок хлеба и не менее большой кусок мяса!.. Я хочу сала, хочу огурцов!..»

Побушевав, Ильф смирялся.

— Ладно, — говорил он, — давайте сегодня еще разок возьмем устриц. Все-таки Париж...

Соавторы быстро акклиматизировались в Париже, окунулись в его кипучую жизнь, обросли знакомствами в литературно-художественных кругах. Эренбург сосватал их с одной, по его выражению, «эфемерной» кинофирмой, которая, однако, несмотря на свою «эфемерность» выплатила им аванс под сценарий кинокомедии из французской жизни. Ильф и Петров смело взялись за работу. Петров как-то рассказал в кольцовском номере отеля «Ванно» придуманное ими начало сценария. Сюжет его был связан с только что устроенной во Франции большой лотереей, главным выигры-


28. А.В.Луначарский. Зарисовка. 1933



шем которой была ошеломляющая сумма — пять миллионов франков. Возможность выиграть такой куш вызвала в стране подлинную лотерейную лихорадку. Вокруг первого выигравшего счастливца, какого-то провинциального булочника, бушевал неистовый газетный бум.

Кинокомедия Ильфа и Петрова начиналась так: некий скромный парижский служащий просыпается утром. Он смотрит на календарь и морщится — 13-е число. Поднимаясь с постели, замечает, что встал с левой ноги. В коридоре, когда он идет мыться, ему перебегает дорогу черная кошка. Бреясь, он разбивает зеркало, а садясь завтракать, опрокидывает солонку. Короче, на него обрушиваются все известные дурные приметы. После этого, развернув газету, он видит, что его единственный лотерейный билет выиграл пять миллионов.

Однако сценарий по каким-то причинам остался незаконченным, и постановка кинокомедии не состоялась.

Как-то Кольцов сказал Петрову:

— Слушайте, Женя. Я был два дня назад у Анатолия Васильевича Луначарского. Он здесь, лежит в клинике, серьезно болен, скучает и очень доволен, когда к нему приходят. Возьмите Ильфа, Борю и сходите навестить старика. Это будет доброе дело.

Уже не помню почему, Ильф пойти не смог, и мы с Петровым отправились вдвоем.

...Холодный декабрьский вечер. Рю Лиотэ — коротенькая улочка — тупик тихого парижского квартала Пасси. Здание в современном стиле, здесь находится нечто среднее между клиникой, санаторием и пансионом. На полу и лестнице мягкое резиновое покрытие, делающее шаги совершенно бесшумными. Второй этаж. Небольшая ярко освещенная комната. Анатолий Васильевич в постели. По одну сторону ее невысокая полка с множеством книг, журналов, газет. По другую — телефон. Луначарский один.

— Здравствуйте, здравствуйте. Вам немножко не повезло: вы застаете меня лежачим. Еще вчера я чувствовал себя совсем молодцом, сидел в кресле одетым, даже собирался выходить. Да вдруг какую-то каверзу подстроил желудок и... вот, видите сами.

Анатолий Васильевич говорит с трудом, часто переводит дыхание.

Мы с грустью смотрим на его исхудалое бескровное лицо. По привычке я стараюсь запомнить четкую линию его профиля. Заострившийся костистый нос и длинный седой клинышек бородки придают Анатолию Васильевичу некоторое сходство с портретом Дон Кихота.

— Меня здесь очень тормошат, — продолжает Луначарский, — но я очень рад, когда приходят наши. Откуда вы сейчас? Что видели? Присаживайтесь, рассказывайте.

Мы садимся по обе стороны кровати.

Завязывается беседа. Хотя, строго говоря, трудно назвать наш разговор с Луначарским беседой. Мы больше слушаем и изредка кратко отвечаем на его вопросы. А он, постепенно загораясь и увлекаясь, как всегда, овладевает аудиторией и, с трудом поворачивая на подушке голову от одного из нас к другому, произносит блестящий полуторачасовой монолог. По сути дела, мы слушаем интереснейший политический, международный и литературный обзор. Сколько тем, сколько проблем, характеристик, оценок, размышлений!

Луначарский говорит о необычайном, глубоком интересе европейских деятелей культуры к Советскому Союзу, к советской идеологии, философии, литературе. Он рассказывает о страшной пустоте, бесперспективности, пессимизме, в которые погружена значительная часть буржуазной интеллигенции, испытывающей панический страх перед средневековым варварством фашизма.

— Они еще не понимают, не в состоянии понять и принять коммунистические идеи и поэтому побаиваются их... Вместе с тем в среде этих людей существует страшная тоска по какой-то новой плодотворной идее, которая должна перестроить общество и весь мир. Отчаявшись в поисках, они приходят к мысли, что эта идея идет от нас. И к нам они тянутся, к нам обращают взоры. Подумайте теперь, какая стоит колоссальная работа перед всеми нами, работа по разъяснению всей правды о Советском Союзе, о нашей социалистической культуре. Недавно один известный европейский деятель — нет нужды называть его имя — выступил с прямой атакой на социализм. Я решил ответить ему целой серией статей, я докажу всю теоретическую беспомощность этого человека. Мне вообще приходится часто разговаривать здесь на эти темы. Намеревался прочесть целый цикл лекций для французской молодежи, да вот вдруг... заболел.

Анатолий Васильевич улыбается беспомощно и виновато.

— Я ведь много написал книг, — продолжает Луначарский, — но все эти вещи я всегда считал только вступлением к своей главной, обобщающей литературно-философской работе. Мне все мешала приступить к этой книге то пропагандистская, то административная деятельность. Материалов накопилась уйма. Я рассчитываю, что в Испании у меня будет спокойная обстановка для работы и обязанности посла не будут для меня чрезмерно утомительны. Вот скоро поправлюсь и примусь за дело.

— Анатолий Васильевич, а вы бывали раньше в Испании?

— Нет, не приходилось. Это будет мое первое посещение этой чудесной страны. Она чрезвычайно меня интересует своей древней культурой, в которой так причудливо и романтично сочетались европейские и арабские влияния. Думаю основательно поездить и понаблюдать. Изучаю испанский язык с увлечением и, говорят, сделал некоторые успехи.

Все больше оживляясь, он рассказывает об общих чертах Испании и Италии, переходит к итальянской литературе, вспоминает о художественных сокровищах Флоренции и Милана, говорит о своем добром друге — полпреде в Риме Владимире Петровиче Потемкине, возвращается к французской литературе и критике, сравнивает, сопоставляет, характеризует...

— Сейчас пишу предисловие к новому собранию сочинений Марселя Пруста. Меня особенно интересует его последнее произведение, которое он писал, как известно, уже будучи тяжело больным человеком, и умер, не закончив его. И вот — это чрезвычайно любопытно! — я с поразительной ясностью вижу теперь влияние, которое оставила на его творчестве болезнь. Мне стало совершенно ясно, что слова Достоевского «больной человек ближе всего к своей душе» абсолютно неверны. Я теперь очень внимательно наблюдаю за самим собой и пришел к прямо противоположному выводу. А именно: больной человек ближе всего к своему телу. Причем к телу, которое болезнь превращает в беспорядочное сборище плохо и несогласованно работающих органов. А наверху одиноко, как в пустой, брошенной всеми квартире, лихорадочно, остро и четко функционирует мозг...

— И чрезвычайно интересно, — продолжает Анатолий Васильевич, немного отдышавшись, — чрезвычайно интересно наблюдать за тем, как начинает разбалтываться веками гармонично налаженный природой человеческий организм, как наши внутренние органы начинают саботировать свои священные, от века положенные им обязанности, а то и просто объявляют забастовку. На днях ко мне пришел один здешний художник, бывший супрематист и беспредметник. Отошел от супрематизма и думает, что пришел к коммунизму. Завязался бесконечный и утомительный спор. И вот что характерно...

И снова загораясь, увлекаясь сам и увлекая нас многообразием и остротой сложных проблем современного искусства, культуры и политики, говорит этот больной усталый человек, говорит неутомимый, воинствующий пропагандист, философ, боец, большевик.

Целиком во власти огромного впечатления возвращались мы с Петровым, взволнованно перебирая детали и подробности происшедшего свидания.

— Нет, Боря, — повторил Петров, то и дело останавливаясь и возбужденно размахивая длинными руками, — я вижу, вы просто не отдаете себе отчета в том, что произошло! Вы хорошенько подумайте над тем, что мы с вами видели! Слушайте! Мы с вами, два молодых здоровых парня, пришли проведать, то есть приободрить и отвлечь от мрачных мыслей старого, больного, я вам прямо скажу, умирающего человека. И что же произошло? Боря! Не мы на него, а он на нас благотворно повлиял своей бодростью, оптимизмом, жаждой деятельности, молодостью. Да, да, именно молодостью! Я вам честно говорю: он вдохнул в меня, да и в вас тоже, новые силы и новый интерес к жизни. Какой человек! Ах, какой человек!

Увлеченные разговором, перебивая друг друга, то и дело останавливаясь, мы незаметно проделали пешком огромный путь от Пасси домой по почти безлюдным улицам ночного Парижа.

А утром с еще не остывшим волнением Петров рассказывал о нашей встрече с Луначарским Кольцову, Ильфу и писательнице-антифашист-

ке Марии Остен. Долго и горячо говорили мы о Луначарском, о необычайной его эрудиции, исключительном ораторском даровании, припоминали многие его переходившие из уст в уста остроумные реплики и импровизации. Высказывали опасение, что дни Анатолия Васильевича сочтены, что вряд ли доведется ему увидеть Мадрид, куда он только что назначен полпредом Советского Союза. Говорили о том, как тяжело и больно думать, что такой блестящий человек должен нелепо уйти из жизни в расцвете лет, знаний и таланта, в разгаре литературных замыслов и творческих планов.

...Странная это штука — воспоминания. Своего рода эликсир молодости, который может превратить тебя и в десятилетнего, и в двадцатилетнего, и в тридцатилетнего. В мыслях, конечно. И вместе с тем при тебе остается все, что ты узнал и пережил в последующие годы. Восприятие как бы раздваивается: ты — тогдашний и молодой — единосущно совмещаешься с тобою же сегодняшним и старым, приобретая тем самым свойства «ясновидящего», которому таинственным образом открыты грядущие события и судьбы людей.

И вот, вернувшись на полстолетия назад, я, сегодняшний, гляжу на собравшихся тогда в маленьком номере отеля «Ванно» молодых, оживленных, талантливых людей, полных энергии и стремления к осуществлению своих творческих и жизненных планов, и могу точно предсказать время и обстоятельства безвременной, трагической гибели каждого из них.

Я знаю, что в день, когда мы разговаривали о судьбе Луначарского, Евгению Петрову оставалось жить всего девять лет, Марии Остен — восемь лет, Михаилу Кольцову — шесть лет, Илье Ильфу — четыре года.

«От родных и знакомых»

«Русский эмигрантский комитет устраивает в театре Елисейских полей публичное собрание в связи с присуждением писателю И.А.Бунину Нобелевской премии за литературу.

Билеты продаются. Цена от 8 франков и выше».

Это объявление, затерявшееся среди пестрых и крикливых рекламных, мюзик-холльных и театральных плакатов на парижской афишной тумбе, все же привлекло мое внимание.

Цель затеи с чествованием Бунина была совершенно ясна: белая эмиграция жаждала примазаться к мировой славе талантливого русского писателя, погромче напомнить о своем довольно тусклом существовании. Меня разобрало любопытство: вздумалось увидеть в натуральном виде модели своих карикатур на белогвардейщину, посмотреть на эти, по выражению Аркадия Аверченко, «осколки разбитого вдребезги», приобретя билет за 8 франков, но отнюдь не выше.

В фойе небольшого фешенебельного театра «Шанз-Элизэ» я осматриваюсь с ощущением человека, попавшего на съемку историко-революционного фильма. Вокруг меня белогвардейцы в царских погонах, аксельбантах, с Георгиевскими, Владимирскими и прочими крестами на груди. Мелькают трехцветные нарукавные шевроны Добровольческой армии, значки корниловского «ледяного похода», шкуровской «волчьей сотни», дроздовской дивизии, «союза галлиполийцев» и тому подобных белобандитских землячеств. Суетятся великовозрастные «бойскауты» в голубых галстучках и с кружками для сбора пожертвований; прохаживаются взад и вперед усатые и бородатые личности во фраках и с орденами на шее, как бы сошедшие со страниц чеховских рассказов; духовные особы в черных и белоснежных клобуках — и... вот оно, пожалуй, самое любопытное! — я смотрю на дородного розовощекого старика с выхоленным клинышком бороды и вспоминаю захваченный деникинцами Киев 1919 года, расклеенные на стенах домов портреты «Главнокомандующего всеми вооруженными си-

лами Юга России генерал-лейтенанта А.И.Деникина». И его же высокомерно-напыщенное обращение «К населению Малороссии». Да, именно «Малороссии» — никакой Украины белогвардейская власть не знала и знать не хотела. М-да... Постарел Антон Иванович, но, честно говоря, не утратил сходства с сатирическими плакатами гражданской войны, и в частности, выпускавшимися при моем участии мастерской ЮгРОСТА...

Звонки возвещают начало «публичного собрания», и я, держась в стороне, пропускаю мимо себя помпезное шествие белоэмигрантского «высшего света», дефилирующего в зрительный зал.

Свое восьмифранковое место я нашел в последних рядах балкона. Говор в театре постепенно затих, воцарилось торжественное молчание, и невидимый оркестр заиграл... «Боже, царя храни». Все встали.

«Новое дело, — лихорадочно соображал я, — вставать при звуках царского гимна... Только этого не хватало советскому журналисту. А не встанешь, будет скандал, попадешь в газеты, не оберешься неприятностей. В посольстве и в редакции скажут: а кто вас просил идти на это сборище? И будут правы. Как же быть?»

Эти мысли молнией промелькнули в моей голове. Проклиная любопытство, которое привело меня в «Шанз-Элизэ», сделав вид, что целиком поглощен изучением программки и низко над ней склонившись, я не отделился от сиденья. На меня тотчас устремились подозрительные взгляды соседей, кто-то было заговорил угрожающим тоном, но спереди возмущенно зашикали, так как звучали уже последние такты музыки и, шурша, двинулся занавес, открывая многолюдный президиум собрания.

Бунин, одетый во фрак, сухощавый и легкий, без знакомой по старым портретам чеховской бородки, с иронически-снисходительным выражением чисто выбритого лица, уже поднимался из партера на сцену. Зал разразился аплодисментами. Известный в свое время адвокат, видный деятель кадетской партии В.Маклаков, изящно картавя, начал приветственную речь...

На другое утро Кольцов с интересом выслушал мой рассказ о собрании в «Шанз-Элизэ».

— А господина Семенова там не было? — спросил он.

— Черт его знает. Может, и был. Я ведь даже не знаю, какой у него вид.

— Скоро у него будет довольно бледный вид, — сказал брат, хихикнув, — я тут приготовил ему... один финик.

И он показал мне написанное от руки письмо за подписью «твоя Лиза».

Письмо это было тут же вложено в конверт с адресом газеты «Возрождение», отвезено в Сент-Уанский пригород Парижа и там опущено в почтовый ящик.

Здесь необходимо вернуться немного назад, чтобы объяснить читателю, кто такой господин Семенов и почему им заинтересовался Кольцов. Это необходимо для рассказа об одном из любопытнейших кольцовских фельетонов, родившемся буквально на моих глазах, неотразимом снайперском ударе по белогвардейской газете «Возрождение».

Сей малопочтенный орган печати, выделявшийся даже среди других белых газет своим оголтелым черносотенством и зоологической ненавистью к Советской стране, систематически печатал чудовищные клеветнические бредни о якобы происходящих в СССР ужасах — голоде, людоедстве, разрухе, терроре и беспрерывных восстаниях против «держащейся на волоске» Советской власти.

Эти мутные потоки лжи и грязи не раз вызывали возражения и протесты французских прогрессивных кругов. Дошло до того, что виднейший политический деятель Франции Эдуард Эррио публично выразил свое возмущение лживостью поставляемой «Возрождением» информации

и намекнул, что «информация» эта, по его мнению, высосана из пальца под диктовку германских фашистов.

Редактор «Возрождения», некто Семенов, разразился в ответ наглым и вызывающим «Открытым письмом Эдуарду Эррио», упрекая его в легкомыслии и безответственности (!). «Беспочвенным суждениям Эррио» белогвардейский борзописец противопоставлял свои «абсолютно точные и проверенные источники осведомления» — частные письма из России, которые-де пишут люди, ему, Семенову, хорошо известные: «наши родные, друзья, знакомые».

После столкновения с Эррио «Возрождение» окончательно обнаглело, и душераздирающие «письма из России» стали появляться одно за другим, чуть ли не из номера в номер.

Доставка утренних газет, в том числе и «Возрождения», в кольцовский номер лежала на моей обязанности. Дело в том, что, во избежание лишних расходов, я поселился не в отеле «Ванно», а в нескольких кварталах от него, в здании советского полпредства на улице Гренель. Там меня приютил в своей пустующей квартире (семья временно уехала в Советский Союз) наш торгпред, старый участник гражданской войны М.Г.Гуревич. «Mon locataire» (мой жилец) — шутливо называл он меня. Каждое утро в газетном киоске на углу я покупал газеты и приносил их к завтраку в отель «Ванно». Развертывая «Возрождение», Кольцов обычно только отплевывался и пожимал плечами, но, прочтя нахальный выпад Семенова против Эррио, задумался.

— Какая сволочь... — пробормотал он. — Гм... А что, если...

— Кстати, Мышонок, — сказал я, — вот какое дело. Сейчас я видел афишу, что эмигранты устраивают послезавтра чествование Бунина по поводу присуждения ему Нобелевской премии. Как ты думаешь, не сходить ли мне на это зрелище? Или не стоит туда соваться?

— Бунин? — рассеянно сказал брат. — Что ж, отчего не сходить? Увидишь всю белогвардейскую шатию. Пойди, пойди... Гм...

Мысли его были чем-то заняты.

Примерно на второй или третий день после отправки письма «Лизы» оно появилось в газете, редактируемой господином Семеновым. Белогвардейский карась не замедлил проглотить наживку и, сам того еще не зная, болтался на удочке большевистского журналиста.

Как только этот номер «Возрождения» очутился в руках Кольцова, он продиктовал короткий, полный сарказма фельетон, через пару дней напечатанный в «Правде» под названием «От родных и знакомых». Пересказывать этот фельетон своими словами я не стану, лучше приведу подлинный кольцовский текст:

«Выйдя утром на угол к газетному киоску, я протянул в окошечко пятьдесят сантимов и твердо сказал:

— «Ля ренессанс рюсс», силь ву пле.

Старушка порылась в бумажных кипах, дала мне номер «Возрождение», ежедневная газета. Редактор Ю.В.Семенов. И на второй странице посередине на видном месте было напечатано это письмо.

Небольшое письмо. Небольшое, но жуткое.

В тридцати строках — и кошмары голода, и умирающий сын, и бунт с разгромом советского автомобиля на главной улице большого города, и безработица, и закрытие металлургических заводов, и семейная трагедия, вызванная ужасами большевистского режима.

Не густо ли все это вместе, все сразу?

Нет, для «Возрождения» это в норме. Информацию о советской жизни «Возрождение» дает весьма-весьма насыщенно. Такую, чтобы дух спирало.

...Белогвардейский господин Семенов считает и публично заявляет, что не по плечу Эдуарду Эррио тягаться с ним, с Семеновым, по ча-

сти верной информации о Стране Советов. В распоряжении Эррио никаких настоящих материалов и документов нет и не может быть. У Семенова же есть, слава богу, русский язык, есть превосходное знание советской жизни по советской же прессе, подлинные письма подлинных, живых, хорошо известных Семенову людей, его родных, друзей, знакомых.

...Чудовищные рассказы очевидцев, приезжих, проезжих, душераздирающие письма из глубины страны сыплются без перерыва. И вот оно, это очередное письмо, на второй странице посередине в номере 3102 белогвардейского органа.

«Возьми меня отсюда, родной. Не могу больше держаться. А Сережа умирает, без шуток, поверь. Держался до августа кое-как, но больше держаться не может. Если бы ты был, Леша, здесь, ты понял, ощутил бы весь ужас. Большевики кричат об урожае, а на деле — ничего, на деле — гораздо голоднее даже стало, чем раньше. И что самое страшное: терпя, страдая, не видишь слабейшей надежды на улучшение. Как билось сердце тридцатого августа, когда на Садовой я увидела у здания городской тюрьмы толпу, разбивавшую автомобиль Наркомпрода, услышала яростные, злые крики: «Хлеба», но едва показался броневик, как толпа разбежалась, словно зайцы. Алексей, не верь газетам, пойми, что наш чудесный Екатеринослав вымирает постепенно, и чем дальше, тем хуже. Алеша, мне известно, что ты женился. Пусть так, Алеша. Но все-таки, если ты человек, если ты помнишь старую любовь, выручи, умоляю, меня и Сережу от голодной смерти. Я готова полы подметать, калоши мыть, белье стирать у тебя и жены. Юрий продался, устроился недавно контролером в Укрвод, он лебезит передо мною, вероятно, ему страшно, что я выдам его прошлое. Все екатеринославские без конца тебе завидуют. Масса безработных, особенно учителей, потому что школы областной центр сильно сократил. Большинство здешних металлургических заводов стоят, закрыты на зиму. Сережа большой, но помнит своего отца. Он быстро растет.

Целую, твоя Лиза».

Что это за письмо, господин Семенов? Какая такая толпа разбивала автомобиль Наркомпрода? Какой автомобиль, какого Наркомпрода? Ведь вы же неизмеримый труд положили на изучение советской печати. Вам ли не знать, что Наркомпрод уже ровно десять лет не существует!

Заводы — какие такие металлургические заводы закрылись? Вам ли, изучая советскую прессу, не известно, что она, пресса, не довольствуясь круглосуточной работой всей металлургической промышленности, каждый день торопит с окончанием постройки гигантов металлургии?

Откуда это письмишко у вас, достоуважаемый редактор? От ваших родных? От друзей? От ваших знакомых? Во всяком случае, от людей, которых вы хорошо знаете? Не расскажете ли вы нам, месье Семенофф?

Нет, вы не расскажете. Вы откажетесь сообщить пути получения вами информации из недр Советского Союза. Вы сошлетесь на редакционную тайну и на страшную кару, которая может постигнуть бедную Лизу, поведавшую вам свое горе в большевистских когтях. Вы не скажете. Но тогда придется сказать мне...»

Далее Кольцов кратко, точно и вразумительно рассказывает о том, как было сочинено, оформлено и отправлено в редакцию «Возрождения» письмо «Лизы» для публичной проверки и разоблачения методов наглого обмана, лжи и цинизма, с которыми газета печатает всякую белиберду, лишь бы она была направлена против Советской страны.

Фельетон «От родных и знакомых» заканчивается так:

«...Письмо имеет и еще одну небольшую особенность, которой я позволил себе позабавить читателей. Если прочесть первую букву каждого пятого слова письма, получается нечто вроде лозунга, которым украсила свой номер 3102 сама редакция «Возрождения»: «Наша белобандитская газета печатает всякую клевету об СССР».

Составить такую небольшую криптограмму нам не стоило никакого труда, ибо мы мало заботились о смысле и логике письма. Только побольше бы ужасов — господин Семенов напечатает непременно.

И вот какова система связи и осведомления газеты «Возрождение» о советской действительности, осведомления, которым она бахвалится перед Европой. Недавно редакция «Ренессанса», собрав кипу каких-то «подлинных писем и человеческих документов» об ужасах советской жизни, направила их в Лигу Наций, без всякого, впрочем, результата. Мы убедительно просим редакцию дослать и это новейшее, появившееся в «Возрождении» «подлинное письмо»! Нисколько оно не будет хуже, чем предыдущие.

Всего хорошего, господин Семенов. Приятного аппетита. Пишите»*.

Нетрудно себе представить оглушительный эффект этого фельетона. Не было ни одной парижской газеты, не исключая и правых, которая не отдала бы должное изобретательности советского журналиста, так убедительно разоблачившего бездарную и злобную клевету белогвардейцев. Злорадно хихикали в кулак даже кое-какие белоэмигранты — конкуренты «Возрождения» из милюковских «Последних новостей».

А что же сам господин Семенов? Сначала, видимо, от неожиданности и злобы, он проглотил язык. Только через два дня он выдавил из себя косноязычную, проникнутую бессильным бешенством заметку, смысл которой сводился к тому, что его газета стала жертвой дьявольской интриги, и призывал «патриотов-друзей» «Возрождения» к расправе над засевшим в Париже большевистским агентом — Кольцовым.

В ответ на эту наглую угрозу печатный орган французской компартии — «Юманите» напечатал серьезное предупреждение белогвардейцам, сообщив, что рабочие Парижа берут на себя ответственность за безопасность корреспондента «Правды». Это, по-видимому, сильно охладило воинственный пыл «патриотов-друзей».

Все же в те дни я взял себе за правило не оставлять брата одного и упорно увязывался за ним, куда бы он ни шел.

Миша относился к этому иронически и посмеивался над моими тревогами.

— Брось, — говорил он, — ничего не будет. Они сейчас не пойдут на скандал — неподходящий момент.

Но я настойчиво шагал за ним по пятам, всерьез войдя в роль личного телохранителя и внимательно приглядываясь к каждому встречному, который казался мне подозрительным. Я даже приобрел увесистую трость с тяжелым набалдашником, наверно, вроде той, какую носил инспектор Жавер из «Отверженных» Виктора Гюго.

Только проводив брата домой и закрыв за собой дверь отеля «Ванно», я успокоенно отправлялся к себе, в полпредство.

Кольцов оказался прав — ни на какие эксцессы белогвардейцы не решились. А печатанье «писем из России» полностью прекратилось. «Возрождение» замолчало, по любимому выражению Кольцова, как «патефон, в который сунули зонтик»...

* *Михаил Кольцов.* Избранные произведения, т. 2, с. 208—209

Париж — Берлин — Москва — София

Корреспондентская миссия Кольцова в Париже закончилась вместе с окончанием лейпцигского процесса. Он завершился, как известно, позорным, скандальным провалом — фашистское судилище вынуждено было оправдать Георгия Димитрова и других обвиняемых, за исключением жалкого, подставного «поджигателя» Ван-дер-Люббе.

Наступили рождественские каникулы, приближался новый, тысяча девятьсот тридцать четвертый, год, и мы с Кольцовым стали собираться домой. Можно было избежать не очень приятной поездки через гитлеровскую Германию, избрав кружной путь через Вену — Прагу, но слишком велик был соблазн для корреспондента «Правды», да и для карикатуриста «Известий», посмотреть своими глазами на страшный облик фашистского «рейха», увидеть воочию то, что разоблачали и клеймили памфлеты, бичевали и высмеивали карикатуры. Получить какое-то личное впечатление о том, во что превратилась Германия после того, как по воле финансовых монополий и воинствующих реваншистов, благодаря попустительству одних, предательству других и трусости третьих, власть в этой стране оказалась в руках кровавой и алчной своры маньяков, садистов и мракобесов.

А ведь не так уж давно никто не принимал всерьез крикливых нацистских авантюристов, а Гитлера считали дешевым демагогом, нахальным политическим клоуном.

В середине двадцатых годов мне не раз доводилось бывать в Германии, только-только пришедшей в себя после изнурительной инфляционной лихорадки, раздираемой всевозможными экономическими и политическими кризисами. Помню Берлин безукоризненно вымытый и до блеска начищенный, с его зеркально гладкими мостовыми, в которых, как в полированной крышке рояля, отражались и переливались огни фонарей, автомобилей и реклам, предупредительно-вежливый и ласковый с иностранными гостями, под аккуратной разутюженной внешностью скрывающий острые и зловещие социальные контрасты, классовые противоречия, волчьи нравы капиталистического строя.

...У витрины роскошного магазина в центре города слепой калека молча продает спички: прозрачная маскировка нищенства, которое жестоко карается. На рукаве бедняги повязка желтого цвета с тремя черными кружочками — опознавательный знак инвалида войны. Рядом собака-поводырь и тарелочка для монет.

Сияет уютными шелковыми абажурами «знаменитое» кафе «Эльдорадо», приют гомосексуалистов. За столиками потягивают через соломинку пунш мужчины в дамских платьях, с накрашенными губами и подведенными глазами. Дико и мерзко видеть, как элегантный мужчина в смокинге, выйдя из «Эльдорадо», усаживает в шикарный автомобиль другого мужчину — рослого детину в нарядном вечернем платье с голыми напудренными плечами.

Раззолоченные швейцары маячат у входов в бесчисленные кабаре, танцульки, винные погребки, варьете и прочие подобные заведения, носящие самые экстравагантные и зазывательные названия. Из ярко освещенных входов несутся грохот джазов, хрюканье саксофонов, стоны гавайских гитар. Берлин веселится...

Германия именуется демократической республикой, но президент ее — душой и телом преданный кайзеру монархический зубр фельдмаршал Гинденбург. Социал-демократические лидеры разглагольствуют о «классовом мире», об «интересах нации», а где-то там, в богатых виллах рурских магнатов промышленности, в кабинетах рейхсверовских генералов, зреют

опасные и кровавые замыслы, наливаются ядовитыми соками зловещие ростки фашизма.

Но рабочий класс готов к отпору. Уверенно и твердо марширують по улицам Берлина многотысячные колонны красных фронтовиков. Коммунистические знамена и транспаранты с боевыми призывами окрашивают алым цветом одну из центральных площадей германской столицы — Люстгартен. Гремят оркестры, далеко вокруг разнося величественную мелодию «Интернационала». На митинге в берлинском Газенгайде мне доводится

29. Фашистский «суд» идет. 1933



слышать пламенную речь Эрнста Тельмана, призывающего к борьбе за человеческие права, за свободу от эксплуатации, за хлеб и социализм. Как символ решимости и упорства в этой борьбе, как знак уверенности в конечной победе троекратно поднимаются к небу сжатые кулаки и раздается слитный многоголосый возглас «Рот-фронт!»

Но никто еще не знает, какие небывало суровые и тяжкие испытания готовит будущее...

Милому и культурному юноше-студенту, с которым мы случайно познакомились, я хочу на память вдеть в петлицу значок с изображением Ленина. Он вежливо отказывается.

— Очень нужно, — простодушно говорит он, — чтобы наци расквасили мне нос.

— Наци? Что за... наци?

Мой собеседник удивлен: неужели я не знаю? Он объясняет, что так называют здесь хулиганистых парней в коричневых рубашках с рем-

нями через плечо. Они носят нарукавную повязку с изображением крючковатого креста — свастики, ходят целыми шайками и вооружены хлыстами с тяжелыми свинцовыми наконечниками. Есть у них и ножи. Они шумят в пивных, скандалят и пристают к прохожим на улицах, устраивают крикливые сборища, на которых призывают уничтожать коммунистов и евреев. У них есть главари — один маленький хромой тип по фамилии не то Гедлес, не то Гебелес. И еще другой, с усиками, как у Чарли Чаплина. Как его... Альфонс или Адольф... Да, вспомнил: Гитлер!..

...Прямой поезд Париж — Берлин. Граница. Предъявление наших «молоткастых и серпастых» паспортов немецким жандармам, и вот перед нами в своем натуральном виде чудовищный зверинец, именуемый «третьей империей». Впрочем, сравнение со зверинцем не совсем точно — в зверинце люди спокойно разгуливают на свободе, с любопытством рассматривая сидящих в клетках зверей. В гитлеровской Германии дело обстояло как раз наоборот: опасные, кровожадные двуногие звери нагло, по-хозяйски разгуливали по улицам, а люди если не сидели в клетках, то боязливо жались к стенкам, чтобы не привлекать к себе внимания.

Я смотрел на штурмовиков и эсэсовцев с тем же ощущением, с каким в годы гражданской войны разглядывал на улицах Киева петлюровских и деникинских бандитов, — со странной смесью любопытства, отвращения и профессионального интереса карикатуриста.

Они и в самом деле были как бы сошедшими со страниц газет и журналов ожившими карикатурами — эти надутые красномордые лавочники с выпученными оловянными глазами, в нелепых круглых кепи с бесчисленными значками, шнурками и позументами, в туго обтягивающих толстые зады бриджах. Заносчивые и наглые повадки, пародийно-утрированные жесты «гитлеровского приветствия», утробно-рявкающее «Хайль!» — все это напоминало плохую театральную постановку, о которой пишут в рецензиях, что режиссер не нашел в изображении врага свежих красок, ограничившись примитивными, трафаретными приемами.

Особенное отвращение чисто эстетического порядка вызывала коричневая окраска гитлеровского воинства. Различных оттенков, от темно-кофейной и охристо-кирпичной до неприлично желтой, она испещряла чистые, вылощенные улицы Берлина омерзительными пятнами «коричневой чумы».

Свинцовая печать страха, насилия и средневекового мракобесия лежала на столице Германии. Крючковатые лапы фашистской свастики, казалось, тянулись к горлу людей из-за каждого угла, с каждого здания, с каждой страницы геббельсовского «Ангриффа» и «Фелькишер беобахтера» — руководящих нацистских газет.

К рождественским праздникам витрины и прилавки магазинов были завалены подарками, рекомендованными властями к обмену между благонадежными «истинными немцами»: святочный дед Санта-Клаус с изображенной на животе свастикой и подписью «Германия, пробудись!»; богатейший выбор портретов Гитлера и нацистских флажков всех размеров; специально для детей — оловянные штурмовики и эсэсовцы с броневичками и пулеметиками; игрушечный полицейский набор — резиновая дубинка, пистолет и наручники; для взрослых дядей — далеко не игрушечные, а самые настоящие кинжалы с выгравированной на рукоятке свастикой и надписью на лезвии «Кровь и честь»; кожаные и коленкоровые (в зависимости от цены) альбомы для составления арийской родословной в каждой порядочной немецкой семье и много других, столь же «симпатичных» и «полезных» предметов.

Удостоился я увидеть и самого фюрера. Это было на берлинской

Вильгельмштрассе, где расположены высшие правительственные учреждения, а спустя несколько лет была воздвигнута и небезызвестная рейхсканцелярия. Проходя как-то по этой улице, я увидел множество эсэсовцев, одетых во все черное. Зловеще-траурный цвет фуражек и мундиров подчеркивали белые канты и серебряные черепа на околышах, белые круги со свастикой на кроваво-красных нарукавных повязках. Здоровенные рослые головорезы выстраивались шпалерами вдоль тротуаров, бесцеремонно оттесняя публику к стенам домов. Это было похоже на обыденную для

30. Обвинитель и обвиняемые. 1933



Берлина облаву, и я, не желая со своим советским паспортом вляпаться в какую-нибудь неприятность, стал поворачивать обратно.

Как раз в эту минуту из-за чугунной ограды рейхспрезидентского дворца вышла суетливая группа каких-то чинов, впереди которых, ни на кого не глядя, надвинув на самые глаза зеленую плюшевую шляпу, шагал Гитлер, с острым треугольным носом и клочкообразными усами. Увидев свою столь знакомую сатирическую модель, я невольно приостановился, глядя, как угрюмый рейхсканцлер усаживается в машину. Заметив, однако, устремившийся на меня ледяной и угрожающий взгляд эсэсовца, я счел за благо не задерживаться и ускорил шаг. Взвыли сирены, фюрер сделал небрежную отмашку правой рукой в ответ на приветственное рявканье охранников — и машины рванулись с места.

Последнее, что мы видели, уезжая из Германии, это огромную елку на абсолютно безлюдной площади пограничного городка, светящуюся восемнадцатью электрическими огнями (количество ламп строго регламентировано властями). На вершине дерева, где искони положено быть звезде, укреплен освещенный изнутри транспарант с портретом Адольфа Гитлера. А из пасти черного репродуктора, висящего на фонарном столбе, оглушительно несется лающий и одновременно каркающий голос фюрера. Он выступает в берлинском Спортпаласе.

Георгий Димитров в это время продолжал томиться в тюрьме под «охраной» своего смертельного врага, министра полиции Геринга, и это не могло не вызывать самую глубокую тревогу за жизнь отважного революционера.

Димитров был юридически оправдан и по законам всего мира подлежал немедленному освобождению, однако фашисты отнюдь не торопились выпускать его из своих когтей. Шли за днями дни, росла наша тревога, и в этот момент прозвучало веское слово Москвы — по указу Советского правительства Димитров стал гражданином Советского Союза и тем самым лицом неприкосновенным для властей гитлеровского рейха. Но кто мог поручиться, зная коварство и подлость фашистов, что они не прибегнут к какому-нибудь тщательно организованному «несчастному случаю», автомобильной или авиационной аварии?

Все же гитлеровцы не осмелились это сделать, и сколько ни оттягивали невыносимое для них освобождение неустрашимого коммуниста, оно совершилось.

Мне посчастливилось присутствовать при том, как в морозный февральский вечер из приземлившегося на московском Центральном аэродроме самолета вышел живой, невредимый, вырванный из фашистских лап Георгий Димитров. Мужественный борец на свободе, в Москве, среди друзей.

Сразу же, не дав себе ни минуты передышки, в небольшом, до отказа забитом представителями советской и иностранной печати зале, превозмогая усталость, Димитров отвечал на бесчисленные вопросы журналистов.

Мне особенно запомнились два его ответа.

— Господин Димитров! Смогли бы вы кратко, немногими словами охарактеризовать организованный против вас процесс?

— Немногими словами? Пожалуй, можно даже одним словом — это была провокация.

— Товарищ Димитров! Каковы ваши дальнейшие планы после отдыха и восстановления здоровья?

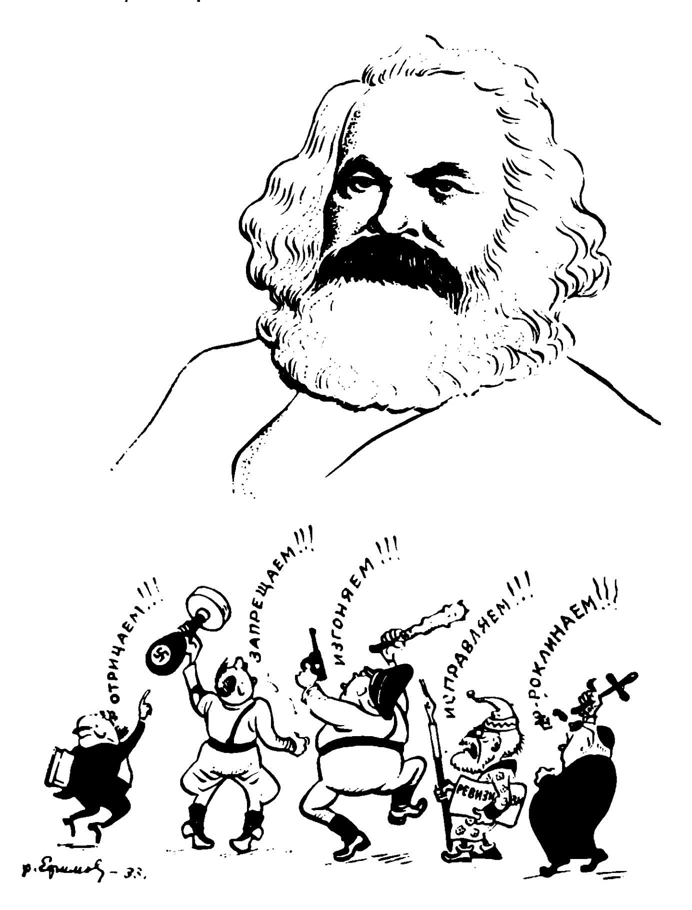
Димитров слегка пожимает плечами:

— Планы мои весьма простые: я — солдат коммунизма и эту свою солдатскую службу предполагаю нести и в дальнейшем.

Об этой встрече на московском аэродроме, об ответах Димитрова корреспондентам газет я рассказываю в просторной светлой аудитории, где меня слушают десятка три молодых людей. Со дня прилета в Москву вырванного из фашистской тюрьмы мужественного болгарского революционера прошло сорок пять лет. И каких лет! Сколько событий, трагических и радостных, осталось позади...

Навсегда оставшись в памяти моего поколения, ушла в прошлое героическая борьба испанского народа против фашистских интервентов,

31. Карл и карлики. 1933



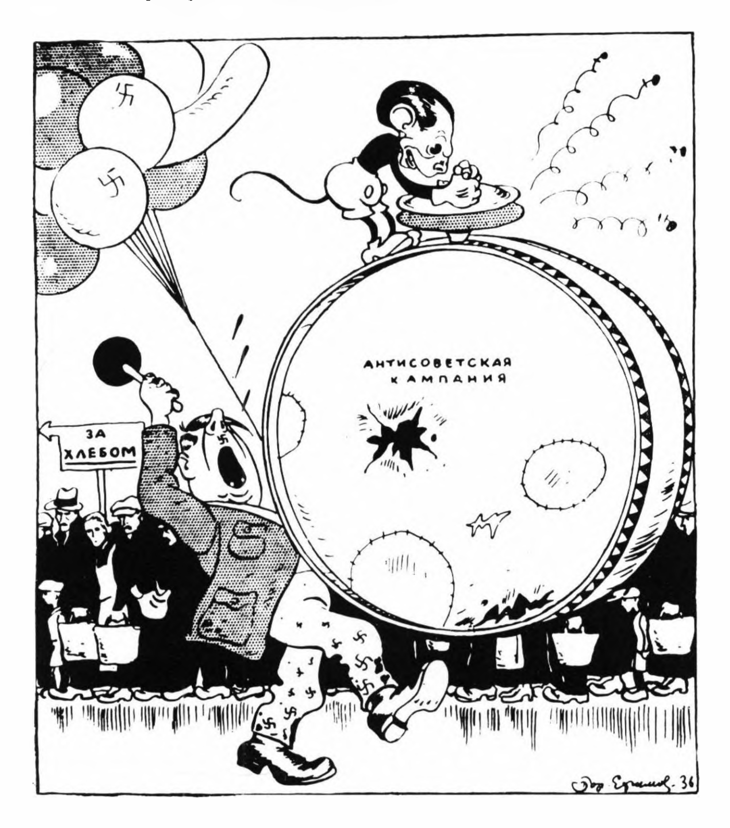
примчавшихся на помощь генералу Франко. Отгремели гигантские сражения Великой Отечественной войны, сокрушившей гитлеровский рейх. Давно истлел презренный прах его главарей.

Освобожденная Советской Армией от фашистских поработителей Болгария, давно ставшая цветущей народной республикой, бережно и свято хранит все, что связано с памятью о великом болгарине и коммунисте.

Здесь в Софии, рядом с маленьким полутораэтажным приветливым домиком, где в двадцатых годах жила семья Димитровых, воздвигнуто красивое современное здание национального музея «Георгий Димитров». С большим вкусом, строго и выразительно оформлены залы, витрины

и стеллажи, где экспонированы бесценные реликвии жизненного пути Димитрова. Многочисленные фотографии, документы, газеты, листовки, оружие, личные вещи — немые, но красноречивые свидетели неустанной, неутомимой, непримиримой борьбы за народное дело, за освобождение и счастье родной Болгарии. Зримо и вещественно воскрешают они этапы замечательной «солдатской службы» Димитрова, сделавшей его одним из самых прославленных руководителей международного коммунистического и рабочего движения.

32. Нюрнбергские скоморохи. 1936



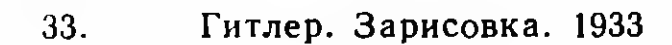
Особое место, естественно, уделено лейпцигскому процессу. Огромные панно, сделанные на материале документальных фотоснимков, показывают обстановку, действующих лиц и отдельные эпизоды фашистского судилища. А звукозапись воспроизводит «допрос свидетеля Геринга». Под этим сухим протокольным названием история навеки сохранила одну из самых драматических страниц процесса — диалог между разъяренным, потерявшим самообладание фашистским зубром и спокойным, уверенным в своей правоте, без промаха разящим своими точными продуманными вопросами и бичующими репликами коммунистом.

Хорошо слышно, как буквально рычит и задыхается от бешенства Геринг, осыпая Димитрова угрозами и бранью. Слышен шум в зале, какие-то возгласы, что-то испуганно выкрикивает председатель, отчетливо звучит знаменитая убийственно-ироническая реплика Димитрова: «Вы боитесь

моих вопросов, господин рейхсминистр?», после чего раздается вопль председателя суда: «Димитров, я лишаю вас слова!!!» и запись обрывается.

Это было похоже на чудо: услышать своими ушами происходивший почти полвека назад яростный и глубоко символический словесный поединок, сконцентрировавший в себе, как в магическом кристалле, столкновение двух противостоящих и непримиримых миров.

Нельзя было при этом не вспомнить другой процесс, на котором мне довелось присутствовать, — Нюрнбергский, другую скамью подсудимых


33. Гитлер. Зарисовка. 1933



и сидящего на ней, сильно полинявшего, но пытающегося сохранить амбицию «господина рейхсминистра», которого здесь, впрочем, именовали несколько проще: «подсудимый Геринг».

...Три десятка пар глаз — черных, голубых, серых — смотрят на меня с явным любопытством: им, молодым сотрудникам музея Димитрова, видимо, интересно видеть человека, который видел и слышал их великого соотечественника. А я испытываю какое-то неизъяснимое теплое чувство, рассказывая о нем молодому поколению в двух шагах от его родного дома, хорошо видимого отсюда сквозь широкие окна музея.

На этой же встрече состоялась маленькая, но весьма для меня приятная и почетная церемония: директор музея Мария Червендинова приняла в дар серию моих сатирических рисунков — авторское повторение

карикатур, опубликованных сорок пять лет назад, в дни лейпцигского процесса, и разоблачавших сфабрикованную гитлеровцами провокацию с поджогом рейхстага.

Между прочим, знакомясь с материалами музея, я спросил у Червендиновой:

— У вас есть, конечно, вступительная статья Георгия Михайловича к книге «Губерт в стране чудес»?

Червендинова удивилась.

— В первый раз слышу о такой книге, — сказала она, — и такой статьи у нас нет.

Настала моя очередь удивляться:

— Как? Это ведь довольно известная книга, изданная в Советском Союзе в 1936 году и имевшая большой успех. Георгий Димитров написал к ней предисловие. И, между прочим, так случилось, что я сопровождал автора книги немецкую писательницу-антифашистку Марию Остен, когда она получала у Димитрова эту статью. Тогда я во второй раз видел Георгия Михайловича. Он принял нас в своем кабинете в доме Коминтерна на Манежной площади.

В своем предисловии Димитров писал:

«Губерт в стране чудес» — прекрасная и ценная книга <...> Мне хотелось бы, чтобы эта замечательная книга была прочтена всеми теми из молодежи и взрослых людей, кого волнует будущее человечества.

...Когда я стоял перед фашистскими судьями в Лейпциге и собирал все мои силы, чтобы разрушить подлые замыслы национал-социалистов и превратить обвинителей в обвиняемых, моей первой задачей было показать массам, находящимся под перекрестным огнем беспощадного фашистского террора, что борьба с фашизмом не только необходима, но и возможна<...> Я хотел показать всем, как мелок и ничтожен мир фашизма и как велик и непобедим мир социализма» *.

Подчеркивая, что лучшую часть молодежи воодушевляют революционные идеалы, стремление бороться за великое дело Ленина, Димитров пишет:

«У нас еще мало книг, которые сумели пойти навстречу этим стремлениям молодежи. «Губерт в стране чудес» — одна из таких книг» **.

Как возникла идея этой книги? Как она появилась на свет?

История ее такова. В сентябре 1933 года, пользуясь кратким перерывом в ходе лейпцигского процесса, Кольцов совершил короткую поездку из Парижа в Саарскую область. Вместе с ним поехала Мария Остен.

Положение в Сааре — небольшом, сказочно богатом угольными запасами клочке территории между Францией и Германией — привлекало в то время особое внимание мировой печати своим, по выражению Кольцова, «сложным национально-классово-политическим переплетом». В Сааре предстоял «плебисцит» — всенародное голосование, которое должно было решить судьбу области: оставаться ли ей и дальше под нейтральным международным управлением Лиги Наций или же войти в состав гитлеровского рейха. Естественно, что вокруг столь жизненно важного для саарского населения вопроса развернулась ожесточенная политическая борьба. Коммунисты Саара, как легко понять, были решительными противниками гитлеризации области. На них бешено и злобно обрушился хорошо налаженный и щедро оплачиваемый аппарат нацистской партии.

Кольцов писал тогда в «Правде»:

«...Фашисты засыпают Саар газетами, листовками, портретами, знач-

* *Мария Остен.* Губерт в стране чудес. М., 1935, с. 3

** Там же, с. 4

ками, флагами, граммофонными пластинками, кинофильмами. Главный вид фашистской пропаганды в Саарской области — это страх. Коричневые крылья террора шелестят над городскими домами, над жалкими лачугами горняков и тихими деревушками крестьянской бедноты.

Близка расправа. Близка, да, собственно, она уже началась.

Каждый день разносятся по Саару вести о новых похищениях и убийствах коммунистов и беспартийных рабочих, враждебных фашизму» *.

Такова была накаленная и зловещая атмосфера тех дней, когда Кольцов и Мария Остен колесили по городкам и селениям Саара. Им довелось побывать и в деревушке со сложным названием Оберлинксвейлер на самой границе с гитлеровской Германией, посетить дом рабочего-коммуниста Ганса Лосте.

В большой и дружной рабочей семье внимание Кольцова привлек десятилетний Губерт, смышленый и бойкий паренек, с детским восхищением смотревший на людей из легендарной Москвы и слушавший, как сказку, рассказы о стране чудес, где коммунистов не только не преследуют, но где им, наоборот, принадлежит власть.

В свою очередь, отвечая на вопросы гостей, Губерт охотно и очень толково поведал о днях и делах местных пионеров, об их столкновениях с кулацкими сынками, о пропитанной злобным гитлеровским духом школе, где учитель иначе не называл мальчика, как «проклятый коммунистенок».

Кольцов внимательно слушал Губерта, и ему пришла в голову мысль: а не дать ли возможность подростку, выросшему в обстановке жестокой эксплуатации, угнетения и классовой борьбы, увидеть воочию великую страну строящегося социализма? Юного пионера из захолустной немецкой деревушки перенести, как в сказке, в столицу нового мира — Москву. А о впечатлениях и переживаниях мальчика написать книгу.

Сразу же родилось и название для нее — «Губерт в стране чудес», полемически перекликающееся с названием известной повести английского писателя Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Сказано — сделано. Родители Губерта согласились отпустить сына на один год в Советский Союз. При содействии Кольцова Мария Остен создала интересную, увлекательную книгу, необычно оформленную, изобретательно иллюстрированную, с занятно придуманными приложениями и вкладышами.

Книга «Губерт в стране чудес» вышла в свет в 1935 году. В том же году решилась судьба родины Губерта. Угрозы, террор, демагогия и фальсификация сделали свое дело: согласно «плебисциту» область была присоединена к «Третьей империи». Тяжелый гитлеровский сапог наступил на Саар. Тысячи коммунистов и рабочих подверглись жестоким репрессиям, и в их числе семья Лосте. Отец мальчика спасся от немедленной кровавой расправы только тем, что в ночь после голосования перешел французскую границу. (К сожалению, он попал в руки гитлеровцев позже, когда в 1940 году фашистские орды оккупировали Францию.)

Губерт остался в Советском Союзе. Он получил здесь образование, трудовую квалификацию, принял советское гражданство, женился, стал отцом. Страна социализма стала для саарского пионера второй родиной.

Но впереди были трудные годы. Наступали времена великих потрясений, безмерных людских страданий и немеркнущих подвигов. Суровые испытания, через которые прошли миллионы советских людей, разделил и Губерт. Он выдержал их с честью. Трудолюбивый, терпеливый, неунывающий, полный веры в правильность избранного им пути, Губерт как бы сделал своим жизненным девизом бесхитростный, по-матерински трогатель-

*
Михаил Кольцов. Избранные произведения, т. 2, с. 258

ный завет, который прочел в последнем полученном из дома письме: «Будь добр и прилежен».

После двадцатишестилетней разлуки матери и сыну суждено было испытать великую радость встречи. В 1959 году мать Губерта приехала к нему погостить в Крым, где он работал старшим механиком виноградарского совхоза «Солнечная долина». Поселиться с семьей в теплых солнечных краях было давнишней мечтой Губерта, и мне приятно вспомнить, что в какой-то мере я помог осуществлению его желания.

34. Лион Фейхтвангер. Дружеский шарж. 1936



...Я рассказываю здесь в Софии о судьбе Губерта и сам внутренне дивлюсь тому, как причудливо сплелась эта судьба и с большими политическими событиями, перевернувшими жизнь скромной рабочей семьи, и с публицистической хваткой талантливого советского журналиста, затеявшего совершенно оригинальную по форме и содержанию книгу, и с именем бесстрашного революционера, выдающегося коммунистического руководителя, глубоко и достойно это литературно-публицистическое произведение оценившего.

В какой-то степени это сплетение затрагивало и меня, свидетеля и очевидца всех событий, связанных с Губертом Лосте. Незримые нити, протянувшиеся между Оберлинксвейлером, Лейпцигом, Берлином, Москвой и Софией, каким-то странным образом касались и моей биографии. Вот почему, бывая в Софии, проходя мимо часовых в красивых мундирах болгарской гвардии, застывших у входа в беломраморный мавзолей, где вечным сном спит Георгий Димитров, по труднообъяснимым законам мысленных ассоциаций, я всегда вспоминал Губерта, Марию Остен, Кольцова и напряженные дни Лейпцигского процесса.

Двадцатые — тридцатые

Кто возьмется назвать имя художника, который первым придумал изобразить наступающий Новый год в виде симпатичного, улыбающегося младенца?

Думаю, что этого не сделают и самые «подкованные» искусствоведы, хранящие в своей памяти сотни и тысячи имен, дат, фактов.

А ведь такой художник несомненно существовал, и веселое изображение новорожденного Года с соответствующей календарной цифрой на животике, прежде чем стать привычным и традиционным, было, очевидно, где-то опубликовано впервые как забавная и остроумная новинка.

Юмористический, доходчивый образ, видимо, понравился публике, привился, и с тех пор, из года в год, на страницах первоянварских газет и журналов всего мира из-под карандашей художников-карикатуристов неизменно появляются жизнерадостные новогодние малыши.

Из таинственных космических глубин Времени они прибывают на Землю всевозможными способами: пешком и на крылышках, на лыжах, санках и воздушных шарах. По мере развития техники они используют все более совершенные виды транспорта: самолеты, вертолеты и, наконец, ракеты. Младенцы приветливо улыбаются, поднимают бокалы и под торжественный бой часов и ласковое шипение шампанского вступают в свои годичные права.

Иногда рядом с Новым годом фигурирует на рисунках и Старый год — дряхлый седобородый старец лет восьмидесяти-девяноста на вид, хотя, строго говоря, ему в этот час исполняется всего лишь один год и он только на двенадцать месяцев старше своего юного преемника. Но такова устойчивая и редко нарушаемая традиция. К тому же, если вдуматься, нет ничего удивительного в том, что сложные переживания и серьезнейшие заботы в масштабе целой планеты приводят крепкого и бодрого новогоднего младенца-богатыря к столь преждевременному и бурному постарению...

Немало новогодних малышей нарисовал на своем газетном веку и я. В разные периоды они, естественно, выглядели по-разному, соответственно данной конкретной обстановке. Оглянемся назад. Вот один из них — здоровенький улыбающийся бутуз новогоднего номера московской «Рабочей газеты» шестидесятилетней давности. Это — 1923-й, один из первых мирных годов после окончания гражданской войны против белогвардейцев и интервентов. В жестоких боях советский народ победоносно отстоял свою свободу и независимость, возможность построения социализма. Напрасно злобствует оскалившаяся, вооруженная до зубов старуха — буржуазная Европа. Спокойно и уверенно, с иронической улыбкой смотрит на нее советский великан — *будущее за нами*! Так гласит подпись под рисунком.

Люди моего поколения помнят, как мучительно долго терзались колебаниями заправилы капиталистических держав — уж очень не хотелось им официально или, как тогда говорилось, «де-юре» признать Советское государство и тем самым удостоверить перед лицом всего мира позорный провал антисоветской интервенции. Но они были бессильны остановить колесо истории. И признание СССР, вернее, целую серию признаний, к величайшему раздражению оголтелых антисоветских зубров, вроде государственного секретаря США сенатора Юза, приносит следующий улыбающийся младенец — 1924-й!

Вместе с тем нашим врагам до смерти не хочется расстаться с надеждами на свержение Советской власти вооруженной рукой. Признавая СССР, они одновременно лелеют планы новой интервенции, нового «крестового похода» против безбожных большевиков и об этой поре напоминает нам новогодний рисунок в «Известиях» с веселым и уверенным в себе 1925-м.

Нескончаемой чередой бегут месяц за месяцем, каждый двенадцатый из которых отмечает ушедший в вечность год, сменяют друг друга события. Подымаясь из разрухи, строится и набирается сил Советская страна, крепнут социалистическая промышленность и сельское хозяйство. Очередной малыш «1927-й» появляется на первой странице газеты, радостно улыбаясь за рулем краснозвездного советского трактора.

Но одновременно с укреплением Советского государства растет злоба и ненависть его недоброжелателей. Особенно неистовствуют английские реакционеры. В Европе пахнет порохом, международное напряжение возрастает. Неудивительно, что новый младенец — 1928-й — уже не улыбается. Он встревожен и испуган: снова ощетинился штыками земной шар, хотя всего только одно десятилетие минуло после окончания мировой войны. Империалисты лихорадочно вооружаются — один против другого и все вместе против Советской страны. В Германии приходит к власти кровожадная гитлеровская свора, открыто провозглашающая своей целью «Дранг нах Остен» — поход на Восток, разгром большевизма, захват советских территорий. Воинственным воплям геббельсов и розенбергов вторят на Дальнем Востоке японские самураи. Естественно, что при таком характере международных событий улыбки больше не видно на личиках новорожденных тридцатых годов. Еще сравнительно спокойно и безопасно чувствует себя малыш с цифрой «1934», устроившийся на плече советского воина, но чем дальше, тем все более уныло сдает международные дела Старый год, все более безрадостно и озабоченно принимает их Новый.

Люди, однако, по-прежнему встречают каждый Новый год традиционными надеждами на новое счастье и весело обмениваются добрыми пожеланиями, не зная, что впереди, пока еще скрытый за омраченным зловещими тучами горизонтом, 1941-й...

Нелепая, противоестественная погода установилась в Москве в последних числах декабря 1936 года. Не с бодрящим зимним морозцем, не с приятно поскрипывающим под ногами, переливающимся бриллиантовыми искорками снежком, а со слякотной неприятной оттепелью пришел в столицу Новый год.

Шлепая по лужам, сторонясь потоков воды, хлеставшей с крыш и из водосточных труб, шли мы с женой на новогоднюю встречу, куда нас пригласила Мария Остен.

В одном из небольших залов гостиницы «Националь» собралась группа немецких эмигрантов-антифашистов, среди которых были такие известные писатели, как Лион Фейхтвангер, Иоганнес Бехер, Эрих Вайнерт, Вилли Бредель, Фридрих Вольф, Альфред Курелла. Был здесь и певец Эрнст Буш.

Все они были «изгнанниками» — людьми, для которых стала запретной и недоступной родная земля, где они как «враги рейха» были объявлены вне закона или заочно приговорены к самым жестоким наказаниям.

Они и в самом деле были убежденными и непримиримыми врагами гитлеровского государства, и вся их жизнь, общественная деятельность, творческая работа, все силы, помыслы и желания были теперь без остатка посвящены делу борьбы с фашизмом, целиком и полностью направлены к одной заветной цели — свержению варварского, бесчеловечного, кровавого режима, поработившего их родину.

Все они были зрелыми, рассудительными людьми с большим жизненным опытом и, вероятно, отлично отдавали себе отчет в том, насколько трудно одолеть столь сильного, свирепого и коварного врага, не останавливающегося перед самыми подлыми преступлениями. Ведь пока что, пользуясь непротивленчеством и трусливой уступчивостью английского и французского правительств, Гитлер шел от успеха к успеху, наглея с каждым днем и месяцем. И все же немецкие изгнанники были настроены

оптимистически, полны веры в торжество добра над злом и готовы к борьбе. В те дни всех радовало и окрыляло мужественное сопротивление, которое бойцы Испанской республики и интербригадовцы оказывали фашистам, вдохновляла героическая оборона Мадрида, разгром итальянских интервентов под Гвадалахарой. Встречая Новый год, все хотели верить, что он принесет решительные успехи антифашистскому делу.

Самым веселым и жизнерадостным за новогодним столом, самым «заводным» и неистощимым на шутки и остроты был Буш. Никто, конечно, не мог знать, какие жесточайшие испытания предстояли ему в приближающиеся годы, но я уверен, что именно веселый характер и жизнелюбие помогли ему пройти несломленным через ад гитлеровских концлагерей и тюрем. Это именно о нем, о Буше, написал Константин Симонов свое замечательное стихотворение «Немец». Мне хочется привести из него несколько строк:

В Берлине, на холодной сцене,
Пел немец, раненный в Испании,
По обвинению в измене
Казненный за глаза заранее,
Пять раз друзьями похороненный,
Пять раз гестапо провороненный,
То гримированный, то в тюрьмах ломанный,
То вновь иголкой в стог оброненный.
Воскресший, бледный, как видение,
Стоял он, шрамом изуродованный,
Как документ Сопротивления,
Вдруг в этом зале обнародованный.
Он пел в разрушенном Берлине
Все, что когда-то пел в Испании,
Все, что внутри, как в карантине,
Сидело в нем семь лет молчания...

Эти стихи будут написаны Симоновым через двенадцать лет. А сейчас на новогодней встрече молодой пылкий Буш много и охотно поет боевые песни немецкого рабочего класса, ставшие благодаря ему столь популярными и в нашей стране. Немцы-писатели подхватывают их дружным хором, в котором четко выделяется высокий, металлически звонкий голос маленького коренастого богатыря — Вилли Бределя.

Кстати сказать, незадолго до этой встречи в Колонном зале Дома союзов состоялся большой концерт Эрнста Буша. Я позволю себе привести свою заметку об этом концерте, напечатанную тогда в «Известиях»:

«С каждым выступлением растет популярность Эрнста Буша. Немецкий революционный певец встретил самое горячее признание сотен и тысяч советских слушателей, до которых с удивительной силой и обаянием, несмотря на непонятность чужого языка, доходит пламенное, страстное искусство певца-агитатора. Выступление Буша 10 декабря в Колонном зале собрало полную аудиторию.

Буш появляется на подмостках просто и незаметно. — Это невысокий худощавый парень со светлыми, зачесанными назад волосами. Под высоким лбом блестят зоркие, лукавые глаза. Одет он предельно просто — без пиджака, красная шерстяная рубашка по-спортивному заправлена в широкие серые брюки. Буш подходит к рампе, весело и приветливо оглядывает аудиторию, на минуту задумывается и начинает петь без всяких эффектных вступлений и театральных жестов, как где-нибудь на товарищеской встрече.

У Буша красивый гибкий баритон, удивительно четкая дикция, исключительное богатство интонаций. Каждое слово доходит до слушателя с предельной ясностью, не теряя ни единого атома страсти и чувства, которые вкладывает в него певец. Гнев, боль, ненависть, ирония, сарказм

с одинаковой силой и убедительностью звучат в устах Буша. Его песни сопровождает скупая, но необычайно выразительная жестикуляция. Вот он поет боевой «Марш красного Веддинга». Он сжимает кулаки, подается вперед всем телом, весь в порыве и упорстве баррикадного бойца. А вот страшная «Песня болотных солдат». Буш устало переминается с ноги на ногу, искусными модуляциями голоса создает до жути реальное представление о поющих узниках, о хоре измученных в фашистском лагере людей, медленно бредущих со своими лопатами в походном строю. Но вот дви-


35. Национальное знамя генерала Франко. 1936



жения Буша становятся более энергичными, упругими, голос его крепнет, унылая мелодия «болотных солдат» незаметно приобретает маршевый темп и заканчивается жизнеутверждающим аккордом, звучащим клятвой борцов, которых никто и ничто не сможет сломить. Вслед за этим Буш на наших глазах преображается — он поет трогательную и наивную песенку «Алабама», исполняя ее в веселом, фокстротном ритме. Перед нами уже не пролетарский боец и не узник фашизма, а легкомысленный и простодушный американский солдат, которого разлучили с невестой и ведут во Францию умирать за чьи-то прибыли. Он подмигивает и шутит, но какая щемящая горечь на дне этого веселья...

С огромной силой и страстью исполняет Буш ставшую широко известной «Песню единого фронта». Припев этой песни подхватывает весь

зрительный зал. Песня электризует аудиторию. Все встают с мест. Теперь это уже не концерт, где с одной стороны артист-исполнитель, а с другой — слушающая его публика. Это уже своеобразный митинг, на котором слово поэта, музыка и голос певца собрали в себе, как в фокусе, настроение людей, объединенных чувством пролетарской солидарности. И мысли как-то сами собой устремляются туда, где это чувство проявляется в наиболее реальной волнующей и романтической форме, — к окопам и баррикадам Мадрида, к интернациональной бригаде, к батальону Тельмана, к лю-


36. Франко и Гитлер. 1936



дям, отдающим свою кровь и жизнь за свободу испанского народа. И как бы отвечая этому порыву, голос Буша зазвенел пламенными словами испанских боевых песен. Огромный успех имели также песня о Тельмане и советская «Конармейская».

Продолжительной овацией публика Колонного зала приветствовала присутствовавшего на концерте знаменитого антифашистского писателя Лиона Фейхтвангера».

Вернемся, однако, к новогодней встрече. Сидевший за столом Фейхтвангер, державший себя несколько сдержанно и молчаливо, одобрительно улыбался и охотно отпивал из своего бокала, когда провозглашались тосты, содержание которых нетрудно было привести к одному знаменателю — скорее бы капут Гитлеру, скорее бы вернуться в освобожденную Германию!

1937 год давно уже вступил в свои права, когда Мария Остен на-

клонилась в мою сторону и шепнула, что Фейхтвангеру здесь очень приятно и весело, но ему интересно было бы увидеть, как встречают Новый год советские люди, и в частности московские писатели, журналисты. Подумав, я предложил направиться в Театр Вахтангова, где новогодние встречи проводились обычно очень весело и изобретательно. Нам удалось почти незаметно ускользнуть из «Националя», прихватив с собою и Буша.

К сожалению, к вахтанговцам мы заявились, что называется, к шапочному разбору, чем были, естественно, огорчены. Даже сейчас, спустя много лет, я не могу вспомнить без смеха, какие уморительные позы принимал в вестибюле театра Буш, изображая крайнюю степень отчаяния с заламыванием рук и хватанием себя за голову. После этого он заявил, что вернется в «Националь» к друзьям-писателям, чтобы проверить, заметили ли они наше отсутствие. Мы остались вчетвером.

— Здесь неподалеку Дом печати, — сказал я, — может быть, журналисты еще не разошлись? Это ведь народ, привыкший к ночным бдениям. Давайте подадимся туда.

Действительно, в Доме печати на Никитском бульваре (теперь это — Центральный Дом журналиста на Суворовском бульваре) новогоднее веселье было в полном разгаре. С нескрываемым любопытством разглядывал Фейхтвангер многочисленную публику, непринужденно шумящую, поющую, танцующую. Обходя залы Дома печати, карнавально украшенные гирляндами, фонариками, всевозможными шутливыми изречениями и пожеланиями, мы увидели в скромном уголке за маленьким столиком Валерия Чкалова с женой и познакомили знаменитого летчика со знаменитым писателем.

Любопытное зрелище представляли собой эти два столь непохожих друг на друга человека: широкоплечий волжский богатырь с пристальным орлиным взглядом и падающей на лоб непокорной прядью волос и гладко причесанный миниатюрный интеллектуал с чуть раскосыми прищуренными глазами, насмешливо и скептически глядящими сквозь модные золотые очки.

Не выпуская из своей могучей пятерни узкую бледную руку писателя, Чкалов произнес бурный и напористый монолог об огромном значении художественной литературы в борьбе с фашизмом, ссылаясь, в частности, и на произведения самого Фейхтвангера, который слушал Чкалова молча и, как мне показалось, не без удовольствия, с интересом глядя на своего необычного собеседника. Объединив наши познания в русском и немецком языках, мы с Марией пытались быть переводчиками чкаловской речи, с трудом поспевая за ее бурным потоком...

Выйдя из Дома печати, мы проводили Фейхтвангера в гостиницу и отправились на Центральный телеграф дать поздравительную телеграмму Кольцову в Мадрид. Он встречал Новый год в несколько иной обстановке, которую впоследствии описал в своем «Испанском дневнике»:

«...За длинными столами сидели пилоты-истребители, их коротко стриженные русые головы, круглые лица, веселые глаза и зубы сделали неузнаваемой сумрачную трапезную залу францисканского монастыря в горах Кастилии. Мы приехали вместе с Миахой и Рохо — летчики встретили их громовым «вива», какого никогда не слышали эти старые стены. Генерал и подполковник были явно взволнованы, особенно Рохо... Тут он впервые встретился лицом к лицу с живыми «курносыми», с этими скромнейшими героями, спокойно и просто рискующими каждый день своими молодыми жизнями, чтобы спасти жителей Мадрида от летающей смерти» *.

*
Михаил Кольцов. Избранные произведения, т. 3, с. 346

Сегодня, оглядываясь на эту оживленную новогоднюю ночь спустя почти пять десятилетий, я невольно размышляю над сложностью и непостижимостью человеческих судеб, о том, какими трудными и даже роковыми оказались они для многих из тех, кто тогда, преисполненные самых горячих надежд на счастье, поднимали новогодние бокалы. Мы знаем, однако, и то, что главное, о чем тогда мечтали люди, в конечном счете осуществилось: после временных триумфов и упоения своим могуществом гитлеризм пришел к небывалому, страшному и позорному крушению.

...Новогодняя оттепель скоро прекратилась. Наступили холода.

Мне не пришлось работать над новогодними рисунками ни в 1938, ни в 1939 годах. Когда же я снова беру в руки карандаш, чтобы изобразить приход очередного — 1941 — года, небо Европы уже охвачено заревом военного пожара. Сапоги гитлеровских орд топчут земли Чехословакии, Польши, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции, фашистские бомбы превращают в развалины английские города.

Народы пожинают горькие, кровавые плоды трусливого попустительства западных политиканов Гитлеру, плоды позорного мюнхенского сговора.

И злосчастный 1941-й, которым я пока заканчиваю свой обзор новогодних младенцев, появляется на земле, когда в Европе уже полыхает развязанная фашистами война, под грохот бомбежки, среди огня и разрушения. Даже часы, стрелки которых традиционно показывают новогоднюю полночь, взлетели на воздух. Малыш объят ужасом:

— Джентльмены! Где здесь ближайшее бомбоубежище?!

Весной 1940 года мне неожиданно предложили стать постоянным художником газеты «Труд». Перед центральным органом советских профсоюзов была в тот период поставлена задача несколько шире и подробнее других газет освещать международное положение, тогда чрезвычайно сложное и напряженное. Европа находилась в состоянии войны, прозванной «странной». Советский Союз занимал позицию, требовавшую величайшей сдержанности, настороженности и бдительности по отношению к обеим воюющим сторонам. Эта ситуация накладывала, естественно, соответствующий отпечаток на содержание и тон нашей печати и, в частности, нашей политической сатиры. Я соскучился по работе и взялся за нее со всем запасом нерастраченной за полтора года энергии, испытав своего рода второе рождение как карикатурист, когда в газете был напечатан рисунок за полной моей подписью. Я ощущал себя солдатом, которому вернули отобранное оружие.

Мое возвращение к работе было замечено и за рубежом. В одной распространенной германской газете мне были отведены следующие любезные строки:

«После длительного молчания в «Труде» снова вынырнул («...taucht wieder auf») уже считавшийся покойником («...der schon totgesagte») Борис Ефимов». Дальше шло подробное описание моей последней карикатуры.

— Да, господа, — подумал я, прочтя это прочувствованное сообщение, — рано вы меня похоронили. Я еще поработаю.

То было в канун больших и грозных событий. Великая, небывалая война стояла у порога Родины.

«Сороковые — роковые»

Больше сорока лет прошло с той поры. Давно стали взрослыми и обзавелись собственным потомством люди, бывшие малыми детьми в страшное лето 1941-го. Даже в памяти современников и очевидцев выцвели и побледнели, как старые фотографии, картины первых месяцев войны.

Чтобы эти картины снова сделать живыми и выпуклыми, можно перелистать старые газеты, посмотреть архивную кинохронику. Но лучше всего, на мой взгляд, обратиться к песне. Послушайте торжественное и суровое:

Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой
С фашистской силой темною, с проклятою ордой...

Вспомните эту мелодию, вспомните эти слова, и перед вами ощутимо и зримо встанут тяжкие дни июня и июля Сорок первого, в ваших ушах зазвучит голос диктора, подчеркнуто спокойно читающего сообщения Советского Информбюро, от которых сжимается сердце:

— Наши войска вели бои по всему фронту и особенно ожесточенные в районе...

— После ожесточенных боев наши войска оставили город...

— Наши войска оставили...

Вспомните эту мелодию, и перед вами встанут затемненные улицы, и строгие лица уходящих на фронт людей, и растерянные лица эвакуируемых ребятишек, и перекрещенные полосками бумаги окна домов, и черные силуэты аэростатов воздушного заграждения, висящие в белесом небе короткой летней ночи.

Первое чувство и первая мысль при известии о вторжении гитлеровских войск были:

— Ну, вот и началось... Пришло то, что висело дамокловым мечом, чего ожидали и во что не хотелось верить, но к чему, казалось, были готовы, распевая такие песни, как «Если завтра война»... Вот он — последний и решительный бой с фашизмом, первые отдаленные раскаты которого три года назад донеслись из Испании.

Никто не преуменьшал размеров нависшей угрозы. Все знали, что перед нами сильный, опасный и жестокий враг. К моменту нападения на Советский Союз Гитлер завладел почти всей Европой. От пяти до двадцати дней понадобилось ему, чтобы разгромить такие государства, как Польша, Норвегия, Дания, Бельгия, Голландия, Югославия, Греция. В течение тридцати пяти дней была сокрушена одна из великих мировых держав — Франция. Прекрасный Париж, остававшийся недосягаемым для германских армий в течение четырех лет Первой мировой войны, капитулировал. Кровавый фашистский флаг с черной свастикой поднялся над Эйфелевой башней.

— Но то, — думалось нам, — совсем другое. Советский Союз — не Польша, не Югославия, не Франция. У нас не может быть того, что случилось там. Если Гитлер, опьяненный легкими победами в Европе, рискнет броситься на нас, то быстро почувствует, с кем имеет дело!

Ведь мы гордились не только славной боевой историей Красной Армии, но и совсем недавними победами на Хасане и Халхин-Голе, где были наголову разбиты воинственные и отлично вооруженные японские дивизии. Убедительной победой закончилась и тяжелая финская война. Еще свежи были в памяти подвиги наших летчиков и танкистов в Испании.

Слов нет, внезапное нападение фашистских полчищ, подчиненных возмечтавшему о мировом господстве маньяку, породило тревогу и беспокойство. Но они не поколебали уверенности в великой силе и неисчерпаемой мощи великой нашей страны.

Враг наступал. С каждым днем все глубже врезались в тело страны железные когти германских танковых дивизий. Покрытые кровью и пеной клыки бешеного фашистского зверя рвались к жизненным артериям Родины, тянулись к столице.

Топча золото созревшего урожая, разбрасывая хвастливые и угрожающие листовки, завывая сиренами штурмовой авиации, сжигая города и села, грабя, расстреливая, вешая, надвигалась моторизованная и бронированная гитлеровская орда.

37. Если немцы хотят иметь истребительную войну... Плакат (Совместно с Н.Долгоруковым). 1941



Но навстречу ей уже поднималась огромная страна, начиналась всенародная Отечественная война. Ошеломление, вызванное внезапностью фашистского нападения, превратилось в неистребимую ненависть, горечь первых неудач сменилась несгибаемым упорством, растерянность — благородной яростью против наглого, подлого, бесчеловечного врага.

На смертный бой поднимались все неисчислимые силы страны — стар и млад, мужчины и женщины, рабочие и крестьяне, воины и ученые, писатели и художники. Встала на свой боевой пост и политическая сатира.

Уже несколько лет неизменной мишенью советской карикатуры была зловеще-шутовская фигура фашистского «фюрера» — кривляющегося мракобеса с прилизанной прядью на лбу и клоунскими усиками. Художники-сатирики состязались между собой, зло высмеивая наглые претензии Гитлера, его напыщенные фиглярские выходки, разоблачая гнусность дикой расистской «идеологии», средневековое варварство фашистских нравов, их зоологический антисемитизм. Не только советские, но и прогрессивные карикатуристы Англии, Франции, Чехословакии, других стран разили сатирическими стрелами тупую и злобную коричневую свору. Оружием своего искусства боролись с гитлеризмом и немецкие художники-антифашисты.

А тем временем осмеиваемый и презираемый всеми честными людьми мира Гитлер шел от успеха к успеху. Обильно вскармливаемый финансовыми и промышленными магнатами, гитлеризм угрожающе поднимался и рос на гребне мутной волны шовинизма. Оболваненные крикливой демагогией завсегдатаи пивных, лавочники, приказчики, деклассированные городские подонки, прыщавые хулиганствующие юнцы твердо уверовали в то, что они — высшая нордическая раса, арийские сверхчеловеки, современные нибелунги, призванные господствовать над другими народами.

Вот почему антигитлеровская карикатура делала большое и благородное дело. Выставляя фашистов на позор и посмешище всему миру, издеваясь над духовным убожеством заправил «третьего рейха», она тем самым давала выход и удовлетворение оскорбленному моральному чувству миллионов людей, будучи к тому же беспощадным сатирическим зеркалом, в котором, бесясь и скрежеща от бессильной злобы зубами, невольно видели себя и сами палачи. Все эти рейхсканцлеры, рейхсфюреры и рейхсминистры, всемогущие и всесильные у себя дома, были бессильны и жалки против острой, метко бьющей в цель антифашистской сатиры, срывавшей с них пышные мундиры и показывавшей миру подлинный облик бесноватого Гитлера, жирного алчного мясника Геринга, колченогого карлика Геббельса, крысообразного садиста Гиммлера, мистического шарлатана Розенберга — всей омерзительной нацистской своры.

Но, увы, возможности карикатуры этим ограничены. Она может разоблачить, осмеять, взбесить врага, но, к сожалению, не может его остановить.

Гитлеризм продолжал расти и наливаться, как чудовищный нарыв. С ужасом и возмущением смотрело человечество на то, что происходит в Германии, еще не зная, что эти преступления фашистов — только зловещие «цветочки», не зная, что ему еще предстоит услышать такие слова, как Освенцим, Майданек, Треблинка, Бабий Яр, Лидице, Орадур...

И вот, Гитлер напал на Советский Союз. Он бесчинствует на нашей земле...

Такой свирепый и опасный враг давал, казалось бы, очень мало оснований для смеха. И неудивительно, что в первые дни войны раздавались отдельные голоса против каких-либо смешных изображений врага: это-де вредно, легкомысленно и действует демобилизующе. Военная обстановка требует-де совсем другого подхода — уместны только гневные, суровые, патетические образы, изображающие зверства захватчиков, призывающие к мести, возмездию, уничтожению фашистов.

Но сатира, вооруженная смехом, осталась на своем посту.

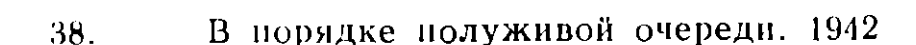
Ведь не смеется над врагом только тот, кто боится. А Гитлеру не удалось запугать советский народ. Конечно, гневные призывные плакаты были нужны и сыграли огромную агитационную роль, но из этого совершенно не следовало, что надо было «отменить» смех. И меткая насмешка над злобным врагом, острая ирония и бичующий веселый сарказм были приняты на вооружение советской изобразительной агитацией. Тем более что в этом вопросе — какова роль смешного, когда дело идет о серьезном, каково значение комического, когда происходит трагедия, — представилась возможность узнать мнение тех, кто больше всех, как мне кажется, был вправе судить об этом.

Этих наиболее компетентных и авторитетных критиков не пришлось специально опрашивать — они сами, по собственной инициативе и очень охотно дали отзывы о советской карикатуре, найдя для этого время среди весьма важных и неотложных дел.

Эти драгоценные отзывы написаны по-разному: одни наспех, каран-

дашом, быстрым неразборчивым почерком, другие — старательно, чернилами, ровными аккуратными строчками. Написаны и на измятых страничках, вырванных из школьных тетрадей, и на обороте каких-то бланков, и на скромных блокнотах армейских газет, и на роскошной трофейной бумаге с тиснеными вензелями. Но обратный адрес у всех один: «Полевая почта, номер такой-то». Я говорю о почте из действующей армии, о письмах фронтовиков.

Как сложились ваши судьбы, дорогие друзья, писавшие эти строки?



38. В порядке полуживой очереди. 1942



Кто из вас увидел великий день Победы, а кто не дожил до торжества правого дела? Куда привели вас дороги войны — к безымянной могиле на чужой стороне или к счастливому возвращению в родную семью с Золотой Звездой на груди?

Знайте же, что ваши письма, письма воинов, грудью защитивших родную страну, я храню бережно и свято. И пусть они на страницах этой книги снова оживут для читателя нового поколения как еще одно свидетельство силы духа советских воинов, громивших врага не только боевым оружием, но и жизнерадостным характером, непоколебимым оптимизмом, способностью весело посмеяться над презренным обликом лютого врага.

«Уважаемый тов. Ефимов! Рисуйте побольше... Карикатуры — это оружие, могущее не только смешить, но и вызывать горячую ненависть, презрение к врагу и заставляющее еще сильнее драться и уничтожать проклятых гитлеровцев.

Дукельский Илья
Полевая почта 68242»

«Мы, группа бойцов и младших командиров Н-ского полка, шлем вам свой боевой привет и желаем самых наилучших Вам пожеланий в Вашей творческой работе, бейте еще крепче фашистскую мразь своими карикатурами, а мы будем еще лучше и прицельнее сбивать фашистских пиратов, гитлеровских «асов» из нашего мощного вооружения...

Привет Вам, крепко жмем Вашу руку
сержант Темяк, младший сержант
Загудаев, красноармеец Иванов».

«Уважаемый товарищ Ефимов! Нужно ли говорить, какое значение имеет рисунок, карикатура в красноармейской газете? Во многих наших подразделениях бойцы, вырезая из газет карикатуры, наклеивают их в тетрадки, на стенах своих землянок, блиндажей. Художники-красноармейцы воспроизводят газетные карикатуры в плакатах... Иной раз нам удается склишировать в своей газете Ваш рисунок. И такой номер газеты гвардейцы хранят долго.

Наши читатели — гвардейцы-танкисты, находящиеся сейчас в горячих боях, были бы вам очень благодарны, если бы вы прислали нам какой-либо свой рисунок. Большое за это гвардейское спасибо скажет Вам каждый наш воин.

Ответственный редактор
гвардии майор Буторин».

«Дорогой тов. Ефимов! Посылаю Вам нашу красноармейскую газету «Бей фашистов!» В ней мы напечатали Вашу карикатуру... Карикатуры в центральных газетах любят наши воины, порой одна карикатура больше скажет, чем статья. Мы уже напечатали много ваших рисунков... Привет вам от читателей и сотрудников нашей маленькой фронтовой газеты.

Ответственный редактор майор Н.Иванов.

Простите, что пишу карандашом. Увы! Нет чернил.
Полевая почта 43952 Е.Н.И.».

«Ваше оружие — оружие советского художника — большая сила в борьбе против немецко-фашистских захватчиков. Если б знали Вы, с каким нетерпением ожидаем мы, армейцы, каждого свежего номера газеты «Красная звезда»...

П. п. 24595. В.Я.Корниенко».

«С Новым годом, дорогой т. Ефимов!

Группа фронтовиков Н-ской части шлет Вам привет и поздравляет с Новым годом.

Желаем успехов в вашей плодотворной и большой работе. Трудно передать, с каким нетерпением ждем каждой Вашей карикатуры на тех, кто скоро падет под нашими ударами. Недалек тот день, когда мы на немецкой елке будем видеть повешенными главарей гитлеровской Германии.

С приветом и добрыми пожеланиями фронтовики

Леонтьев, Евсеев, Тлешов и др.
П. п. 18868».

В подобных фронтовых откликах, которые получал, конечно, не только я, но и другие художники-карикатуристы, был сформулирован, по сути дела, простой и бесхитростный, но вместе с тем четкий и ясный наказ действующей армии: «Товарищи художники! Рисуйте побольше! Ваши карикатуры не только смешат, но усиливают ненависть и презрение к врагу. Бейте еще крепче фашистскую мразь оружием сатиры!»

И советская карикатура в годы Великой Отечественной войны сделала все, чтобы с честью оправдать высокое звание боевого оружия. Она

вела сатирический огонь по врагу со страниц центральной и фронтовой печати, разила агитационными плакатами, «Окнами ТАСС», веселила бойцов со стен окопов и блиндажей, рассыпалась «летучим дождем» листовок.

Немало подобных эпизодов, свидетельствующих о грозной силе советской сатиры, знает летопись великой войны. Шагая в боевых подразделениях, задорное и неунывающее сатирическое творчество прошло плечом к плечу с воинами по трудным дорогам войны, пришло в Берлин, а позже и в Нюрнберг, где, как это и предвидели фронтовики Н-ской части, полевая почта 18868, были повешены если не все, то, во всяком случае, наиболее подлые после Гитлера, Геббельса и Гиммлера главари фашистской шайки.

Над чем же смеялись советские карикатуристы тогда, в первые месяцы войны, когда положение на фронтах совсем не располагало к веселью? Каковы были темы и сюжеты нашей сатиры?

Прямо скажем, перед сатирой стояли в ту пору нелегкие задачи. Ей приходилось высмеивать врага сильного, наступающего, опасного. Нужно было, не впадая в легковесное зубоскальство и «шапкозакидательство», способные лишь вызвать справедливое раздражение у людей, грудью защищавших страну от свирепого, оголтелого натиска, найти для изображения этого врага убедительные, точные и вместе с тем *смешные* сатирические приемы и решения.

Советские карикатуристы не выполнили бы прямой своей обязанности, если бы их рисунки не вызывали улыбки на лицах бойцов, если бы карикатуры на гитлеровцев, раскрывая низменный моральный облик и гнусную демагогию фашистов, утверждая их историческую обреченность, не приносили бы одновременно в блиндажи и землянки минутку искреннего смеха, не доставляли бы фронтовикам своего рода «концентрат» веселья, столь необходимый в то суровое время.

В начальном периоде войны не очень частыми, к сожалению, были поводы высмеять конкретные неудачи врага, такие как, например, поражение немецко-фашистских войск под Ельней в сентябре 1941 года. Поэтому предметом наших насмешек оставались главным образом наглое бахвальство гитлеровцев, их тупость и жадность, животный страх перед партизанами. Мы также не упускали случая высмеять систематические провалы хвастливых «стратегических прогнозов» гитлеровского командования, провозглашавшего сначала трех-, затем шести- и, наконец, восьминедельный «блицкриг» — «молниеносный» разгром советских армий и взятие Москвы.

Как известно, главным «мастером» фашистской лжи был главарь гитлеровской пропаганды пресловутый «доктор» Геббельс. При активном содействии советских карикатуристов он приобрел широкую популярность. Особенно смешило наших воинов то, что Геббельс, как правило, изображался с длинным и мерзким обезьяньим хвостом. Происхождение этого атрибута, ставшего столь же непременным для Геббельса, каким был в свое время монокль для сэра Остина Чемберлена, таково: еще до войны я где-то вычитал, что в интимном кругу гитлеровской верхушки Геббельс носил кличку «Микки-Маус», по имени известной мультипликационной мыши. Такое уподобление мне понравилось, и я стал изображать «рейхсминистра пропаганды» в соответствующем виде.

Это стало традицией, а в годы войны — почти законом. Рассматривая карикатуры в «Красной звезде», фронтовики прежде всего искали, не торчит ли откуда-нибудь пакостный хвост «рейхсминистра». Даже редактор газеты, человек довольно жесткого склада, принимая очередной рисунок в номер, деловито спрашивал, пряча улыбку:

— А Геббельс с хвостиком есть?

Впрочем, иногда, в зависимости от сюжета карикатуры, Геббельсу

придавалось и другое обличье — попугая, шавки, летучей мыши, патефона и т. д. Мне вспоминаются рисунок, на котором «рейхсминистр» был изображен павианом, и обстановка, в которой эта карикатура была нарисована.

...С вокзала, скупо освещенного закрашенными синей краской лампами, я проводил жену в безопасный тыл — далекий Омск. Сын Миша с матерью еще раньше эвакуировались в Васильсурск, тихий яблоневый городок на Волге. После отхода поезда я заехал в свою опустевшую квартиру и собрал в рюкзак самые необходимые вещи. С грустью оглядел полки с красивыми рядами собранных за многие годы книг и после некоторого раздумья положил в дорожный мешок два томика миниатюрного академического собрания сочинений Пушкина — «Поэмы» и «Евгений Онегин». Потом запер дверь на ключ и поехал в редакцию «Красной звезды». Отныне и надолго она стала моим домом.

Редакция центральной военной газеты разместилась в фойе, репетиционных помещениях и артистических уборных Центрального театра Красной Армии на площади Коммуны. «Красная звезда» переехала сюда недавно, после того как помещение газеты на улице Чехова было приведено в негодность взрывной волной упавшей неподалеку фашистской бомбы. Пострадало и хлипкое бомбоубежище, которому редакционные остряки, намекая на боевой лозунг, пропагандировавшийся в ту пору газетой, присвоили наименование «Презрение к смерти».

Огромное здание театра расписано снаружи какими-то домиками, окошечками, деревьями и прочим камуфляжем, имеющим, очевидно, целью замаскировать с воздуха это монументальное сооружение, построенное в виде гигантской пятиконечной звезды. Это зодчество определенного периода, архитектура для «летчиков и ангелов», ибо простой смертный, стоя на земле, вряд ли мог в полной мере оценить оригинальную и эффектную форму строения.

Не берусь судить, насколько эффективны с точки зрения маскировки были изображенные на театре домики. Но вот что впоследствии писал в своих воспоминаниях редактор «Красной звезды» Д.И.Ортенберг:

«Командующий противовоздушной обороной генерал М.С.Громадин, узнав о передислокации редакции, прислал мне сделанный нашими летчиками с воздуха фотоснимок этого монументального здания, имевшего очертания пятиконечной звезды с пятью сходящимися лучами. «Ваше помещение, — сообщил он, — одна из самых уязвимых целей в Москве с воздуха».

Под крышей этой «одной из самых уязвимых целей», в одном из лучей громадной звезды царит такая же обычная редакционная суета и горячка, как это было раньше на улице Чехова. Звонят телефоны, хлопают двери, курьеры разносят влажные типографские оттиски и чай. Откуда-то с передовой линии приезжают и вновь исчезают взмыленные спецкоры и фотокорреспонденты. Время от времени слышится чей-нибудь озабоченный голос: «Такого-то — к редактору!» или: «Как только появится такой-то — срочно к редактору!»

В те дни недобрые вести идут с фронта. Генеральное наступление гитлеровских армий, начавшееся 30 сентября под залихватским названием «Тайфун», продолжается с неослабевающим ожесточением. Враг рвется к Москве.

Александр Твардовский потом писал об этих днях:

...Он — вот он, враг. За ним давно
Калуга, Клин, Бородино
И Волжское верховье.

...Уже вблизи его войска
Гремят броней стальною,
Уже видна ему Москва
С Кремлевскою стеною.
...Уже слова: «Моя Москва» —
По-русски враг заучивал,
Нет, ты возьми ее сперва,
Потом усы покручивай.

В десятых числах октября стало ясно, что речь идет о судьбе столицы Советского Союза, о непосредственной и страшной угрозе, нависшей над сердцем страны — над Москвой.

Не сразу об этом было сказано во весь голос — можно себе легко представить, как невыразимо трудно было выговорить страшные, сжимающие горло слова: Москва в опасности!

И все же горькая правда была всенародно высказана. Первой сделала это на своих страницах «Красная звезда» в статье Ильи Эренбурга «Выстоять», напечатанной 12 октября. Начиная с этого дня страницы газеты зазвучали как набат. Каждая строка в «Красной звезде», как и в других центральных газетах, дышала ненавистью к гитлеровской орде, волей к победе, призывом к напряжению всех сил для защиты родной столицы.

В эти суровые дни и часы огромной, первостепенной становилась роль газеты — глашатая, трибуна, пропагандиста, наставника. Передовая статья, оперативная информация, срочная корреспонденция с места событий, злободневная историческая справка, стихи, памфлет, выразительный фотоснимок и, не в последнюю очередь, политическая карикатура — все это многообразие газетных жанров было запущено на полную мощность. Отличным примером такой журналистской мобилизованности явилась безусловно «Красная звезда», завоевавшая в ту пору огромную популярность на фронте и в тылу.

...Привезли и сдали в набор сразу утреннюю и вечернюю сводки Совинформбюро за вчерашний день. Вечернее сообщение гласило: «В течение 14 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, и особенно ожесточенные на Вяземском, Брянском и Калининском направлениях...»

Одновременно была принята по телефону корреспонденция с Вяземского направления, начинающаяся словами: «Москва в опасности...»

Илья Эренбург уже закончил печатать очередную статью в завтрашний номер газеты и со своей знаменитой портативной машинкой, в которой имелся только прописной шрифт, спустился в вестибюль. Мы стоим здесь втроем вместе с поэтом Михаилом Голодным и обмениваемся впечатлениями.

Эренбург вспоминает тревожные дни Парижа, свидетелем которых ему пришлось быть в прошлом году.

— Гитлеру тогда удалось сфотографироваться на фоне Эйфелевой башни, — говорит он. — Но Москва не Париж. Они не войдут.

Писатели отправляются по домам, а я начал присматривать себе какой-нибудь диванчик, чтобы расположиться на ночь. Но в этот момент меня разыскал секретарь редакции Копылев:

— Наконец-то я вас нашел! Вами интересуется редактор. Он просит посмотреть вот эту штуку, — может быть, здесь что-нибудь найдется по вашей части.

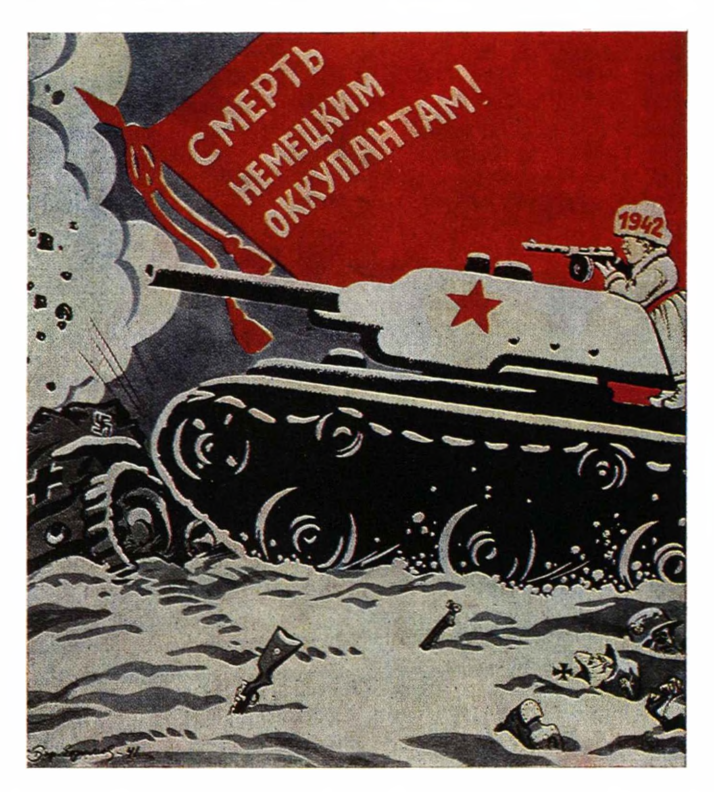
И Копылев протянул мне гранки отчета о состоявшейся накануне в Совинформбюро пресс-конференции для иностранных корреспондентов. Я уже хорошо знал, что от внимания Ортенберга не ускользает ничего, что могло бы пригодиться для газеты. Так и сейчас — он не упустил из виду, что именно в этой тревожной ситуации на страницах «Красной звезды» будет уместна смешная ядовитая карикатура.

«Что-нибудь по моей части» я усмотрел в заключительных словах заявления начальника Совинформбюро С.А.Лозовского:

«Когда писклявый голос павиана Геббельса благодаря громкоговорителям, вассальным радиостанциям и газетам превращается в рев, я вспоминаю старую персидскую пословицу: «Если бы рев имел цену, то самым дорогим животным в мире был бы осел».

Примостившись на краешке стола, на листке бумаги, заимствованном у машинистки, я рисую карикатуру, где есть и павиан Геббельс, и ре-


39. С наступающим Новым годом! 1941



вущий радиоосел. Потом отношу ее в комнату секретариата, отдаю Копылеву и тут же, утомленный хлопотливым днем, засыпаю на черном клеенчатом диване. Сквозь сон я смутно слышу какой-то отдаленный грохот. Это, оказывается, налет гитлеровской авиации, о котором еще успевают поставить на третьей полосе короткое сообщение, гласящее: «Группа немецких самолетов в ночь с 14 на 15 октября пыталась совершить налет на Москву. Вражеские самолеты огнем зенитных батарей и ночными истребителями были рассеяны на подступах к Москве. Одиночные самолеты сбросили в районе города несколько фугасных и небольшое количество зажигательных бомб...»

Еще час-другой, и номер с датой «15 октября 1941 года, среда» подписывается к печати, но жизнь в редакции не замирает. В кабинете редактора до поздней ночи что-то горячо и напряженно обсуждается.

Утром Копылев показывает мне новую сводку Совинформбюро. Она начинается так: «Положение на Западном направлении фронта ухуд-

шилось...» А 20 октября Москва объявлена на осадном положении. Мы читаем об этом в Постановлении, первые слова которого звучат по-старинному, чем-то перекликаясь с воззваниями эпохи наполеоновского нашествия: «Сим объявляется...»

Весь мир, затаив дыхание, прислушивается к сообщениям о битве под Москвой. Друзья и враги, союзники и противники, порабощенные вассалы и колеблющиеся нейтралы, американские бизнесмены и французские партизаны, норвежские подпольщики и японские генералы, непокоренные и отчаявшиеся, мужественные и малодушные — люди всех стран, положений, взглядов и верований не спускают глаз с титанической схватки на подмосковных полях, упорство и ожесточение которой нарастает с каждым часом. Схватки, представляющей собой удесятеренный по масштабу, сложности и историческому значению Бородинский бой.

Как известно, свой приказ по войскам, продиктованный накануне сражения 25 августа 1812 года, Наполеон закончил патетическими словами: «Да скажут о каждом из вас: он был в великой битве под Москвой».

Надо думать, что уцелевшие наполеоновские вояки без малейшего удовольствия вспоминали потом свое участие в походе на Москву, разгром и гибель «Великой армии», голод, холод, плен. Еще с большим основанием можно сказать это о гитлеровских «завоевателях жизненного пространства для Германии».

Но те советские люди, которым судьба определила отстаивать столицу своей Родины с оружием в руках или, хотя бы, участвовать в обороне Москвы какой-то частицей своего труда, физического или творческого, будут вспоминать и гордиться этим до конца дней.

В начале декабря советские войска перешли в наступление.

Тогда еще не вошла в обиход в качестве радиопозывных первая музыкальная фраза из мелодии Дунаевского «Широка страна моя родная», и сообщения по радио открывались каким-то очень бодрым и звонким фанфарным маршем. И трудно было сказать, где кончается музыка и где начинаются слова сводки Совинформбюро, — все сливалось в единую, радостную и торжествующую песню Победы. Как чудесные стихи, звучали овеянные славой имена советских полководцев, названия освобожденных городов и селений, цифры уничтоженной вражеской техники и взятых трофеев.

И услыхал весь мир слова,
Великие, простые:
— Врага отбросила Москва,
И спасена Россия!
А враг ее и всех людей —
Не перед кем, а перед ней
Подался вспять впервые.
(А.Твардовский)

Ликовала и сатирическая братия: наконец-то можно было в полную силу и с полным основанием рисовать по-настоящему битого Гитлера!

А моя серия новогодних малышей получает замечательное продолжение. В ней появляется один из самых, пожалуй, приятных — в добротном гвардейском полушубке и теплой ушанке, с новеньким автоматом в руках, радостный и довольный, наступающий 1942-й год.

Наступающий! Чудесный каламбур, рожденный боевыми успехами Красной Армии!

С жалобным и злобным визгом фашистская орда откатилась от стен Москвы.

Но война продолжается. Так хорошо начавшийся Сорок второй будет годом тяжелейших битв и суровых испытаний.

Прифронтовое Подмосковье

Когда мы подъехали к штабу, мороз достиг такой крепости, что войти в хорошо натопленную избу было истинным блаженством.

Сняв тулуп, редактор «Красной звезды» поздоровался с командиром дивизии и поздравил его с недавно присвоенным ему званием генерал-майора. Затем были вручены подарки: шинель с генеральскими петлицами и нарукавными знаками (погоны были введены в армии только несколько месяцев спустя), а также серая папаха с алым верхом.

С удовольствием осмотрев обновки, генерал отложил их в сторону. Провожал он нас так же, как и встречал, — в простой дубленке и кожаном танкистском шлеме.

— Ну-с, расскажите обстановку, — сказал редактор. Они склонились над картой.

После рассказа об обстановке карту убрали и на столе появились тарелки, хлеб и граненые стаканы. Мы ели горячие щи, вареное мясо, соленые огурцы, выпили разведенного спирта. Потом военкор «Красной звезды» — молодой поэт со «шпалами» в петлицах — прочел, приятно грассируя, свое стихотворение, облетевшее в то время всю страну и сделавшее его имя широко известным. Фронтовики вырезали эти стихи из газет, носили с собой в нагрудных карманах, посылали домой. Оно было переложено на музыку, звучало по радио, неизменно исполнялось чтецами фронтовых театральных бригад.

Стихи брали за душу, и все призадумались. Только у редактора было недовольное лицо: он немножко ревновал своих сотрудников и был огорчен, что знаменитое стихотворение было впервые напечатано не в «Красной звезде», а в другой газете.

Я с любопытством глядел вокруг. Это была моя первая поездка на фронт, и мне было необычайно интересно все, что происходило. Началось с того, что накануне поздно вечером меня разбудили и позвали к редактору. В этом, между прочим, был смысл казарменного положения (кстати сказать, редакция к этому времени переехала из Театра Красной Армии в здание «Правды», где заняла целиком весь пятый этаж) — все в случае надобности были под рукой.

Итак, меня разбудил всегда начиненный остротами Герман Копылев, редакционный секретарь. Одеваться не было надобности — топили плохо, и, ложась спать, я снимал с себя только пенсне.

— Вот что, товарищ Ефимов, — сказал редактор, стоявший у конторки с сырыми типографскими оттисками (он не любил обращения по имени-отчеству ни к другим, ни к себе). — Надо сделать карикатуру к этому сообщению. Смешная штука: немцы распределяют по одной-две теплые вещи на подразделение, и солдаты носят их по очереди.

— Не поздновато ли, товарищ редактор? — спросил я.

— Успеете, — ответил он и отвернулся к своим оттискам.

Пожав плечами, я отправился в свой крохотный кабинет-спальню, по дороге мысленно набрасывая на бумаге рисунок. Сюжет был настолько ясен, что я уже видел перед глазами готовую карикатуру. «Носят теплые вещи по очереди, — размышлял я, — значит, очередь... Кстати, есть такое выражение: «В порядке живой очереди»... Значит так: один немец в шубе, остальные стоят за ней в живой очереди. При этом они, конечно, мерзнут, как собаки, еле живы от холода... Стоп! Вот и подпись к карикатуре: «В порядке полуживой очереди»... Есть!»

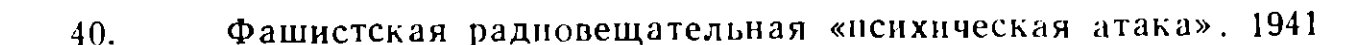
Минут через сорок я отнес готовый рисунок Копылеву и пожелал ему спокойной ночи, что, впрочем, звучало довольно абстрактно, так как работа редакции заканчивалась, как правило, утром.

— Подождите, я вас прошу, — сказал Копылев. — Еще минутку не ложитесь. Могут быть поправки. Вы же его знаете, — добавил он, умо-

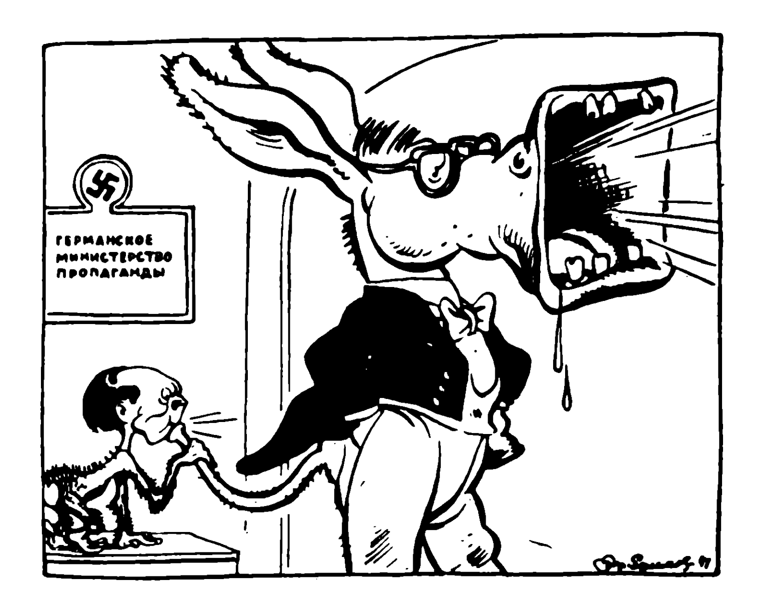
рительно подмигнув в сторону редакторского кабинета, и скрылся за дверью.

Через минуту он высунул голову и поманил меня пальцем. Я неохотно вошел. Редактор со скептическим видом рассматривал мой рисунок. Через его плечо глядел на карикатуру заместитель редактора и громко смеялся. Редактор слабо улыбнулся и отдал рисунок Копылеву со словами:

— В номер.



40. Фашистская радиовещательная «психическая атака». 1941



Затем он стремительно зашагал по кабинету, нервно потирая руки и хитро поглядывая в мою сторону маленькими светлыми глазками.

— А между прочим, — сказал он, обращаясь к заместителю, — Ефимов еще не был на передовой. А?

— Еще не был, — согласился я.

— Выезжаем утром, — сказал редактор, снова берясь за газетные полосы. — Сбор к семи часам. Ждать никого не будем.

Остаток ночи ушел у меня на тщетные попытки получить дубленый тулуп у железного редакционного начснаба товарища Одецкова. Выслушав несколько раз твердые обещания «спуститься на склад», «подняться за ключами», «взять у корреспондентов», «подыскать поновее» и тому подобное, я понял в конце концов бессмысленность своих усилий. Дубленку мне одолжил сонный Копылев, которого я в свою очередь разбудил под утро перед самым отъездом. Кроме того, он дал мне свой наган в тяжелой кожаной кобуре.

Большой редакционный автомобиль стоял у подъезда. Скоро появился редактор и почти одновременно молодой военный в дубленке, подпоясанной ремнем.

— Знакомьтесь, — сказал редактор, — художник Ефимов, поэт Симонов. Давайте усаживаться.

— А где же «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?»? — спросил Симонов.

— Всех вчера предупредили, — сухо сказал редактор. — Суркова тоже. Ждать никого не будем. Поехали.

В машину погрузили две здоровенные пачки только что вышедшей газеты, где была, между прочим, напечатана и нарисованная вчера карикатура, и двинулись в путь. Вскоре машина остановилась у какого-то дома. Симонов нырнул в глубь двора и вскоре вернулся с женщиной в изящном белом полушубке, пушистой белой ушанке и белых валенках — настоящей Снегурочкой военного времени. То была молодая, но уже известная киноактриса. Пятым пассажиром был фотокорреспондент «Красной звезды» Михаил Бернштейн — атлетически сложенный, бравый, энергичный молодец в кожаном пальто. Вскоре после этой поездки он погиб на фронте и ожил на экране под именем Миши Вайнштейна в фильме «Жди меня». В этой роли снимался артист Лев Свердлин.

Машина помчалась по пустынным улицам Москвы, повернула на Бородинский мост, миновала противотанковые надолбы и «ежи» Дорогомиловской заставы, выехала на Можайское шоссе, взяла на второй скорости подъем Поклонной горы (в который раз все эти названия напомнили нашествие Наполеона) и ринулась на запад.

Редактор развязал пачку свежих газет. Завидев на шоссе прохожих, он открывал боковое окно и, как птиц из клетки, выпускал на волю три-четыре номера «Красной звезды». Свирепый ледяной ветер тотчас их подхватывал и нес вдоль дороги. Редактор внимательно смотрел в заднее стекло, пока не убеждался, что газеты попали по назначению. Тогда лицо его озаряла чисто детская радость, и он, весело сощурившись, говорил:

— Уже получили сегодняшнюю «Звездочку». Неплохо, а?

Стоял январь 1942 года, так что от Москвы до фронта не нужно было, к сожалению, очень долго добираться. Понадобилось немногим больше двух часов, чтобы мы очутились на переднем крае наших войск.

Я жадно вбирал новые для меня впечатления, но дневников я тогда не вел и память сохранила из этой поездки только отдельные моменты, подобно нескольким уцелевшим кадрам засвеченной фотопленки.

Помню скупо освещенную, зато щедро натопленную избу, где фронтовики потеснились, чтобы устроить гостей на ночь. Став коленями на скамью и согнувшись над столом, кто-то сердито кричал в полевой телефон:

— Это не работа! Понимаешь, хозяин крепко недоволен такой работой! Третий день, понимаешь, сидите на этой высотке. Ну и что? А ты им огурчиков подсыпь, огурчиков! Имей в виду — хозяин недоволен такой работой. Что? Я говорю: хозяин крепко недоволен такой работой!

Под настойчивое напоминание о недовольстве неведомого мне «хозяина» я начал было засыпать, как вдруг последовала команда редактора собираться и ехать в расположение части, которая в три ноль-ноль предпринимала атаку на позиции противника.

Помню молчаливые ряды автоматчиков в белых маскировочных халатах, вспыхивающие и тотчас же пропадающие зайчики карманных фонариков, негромкие короткие распоряжения. Просто, деловито и буднично шли эти люди на смертный бой.

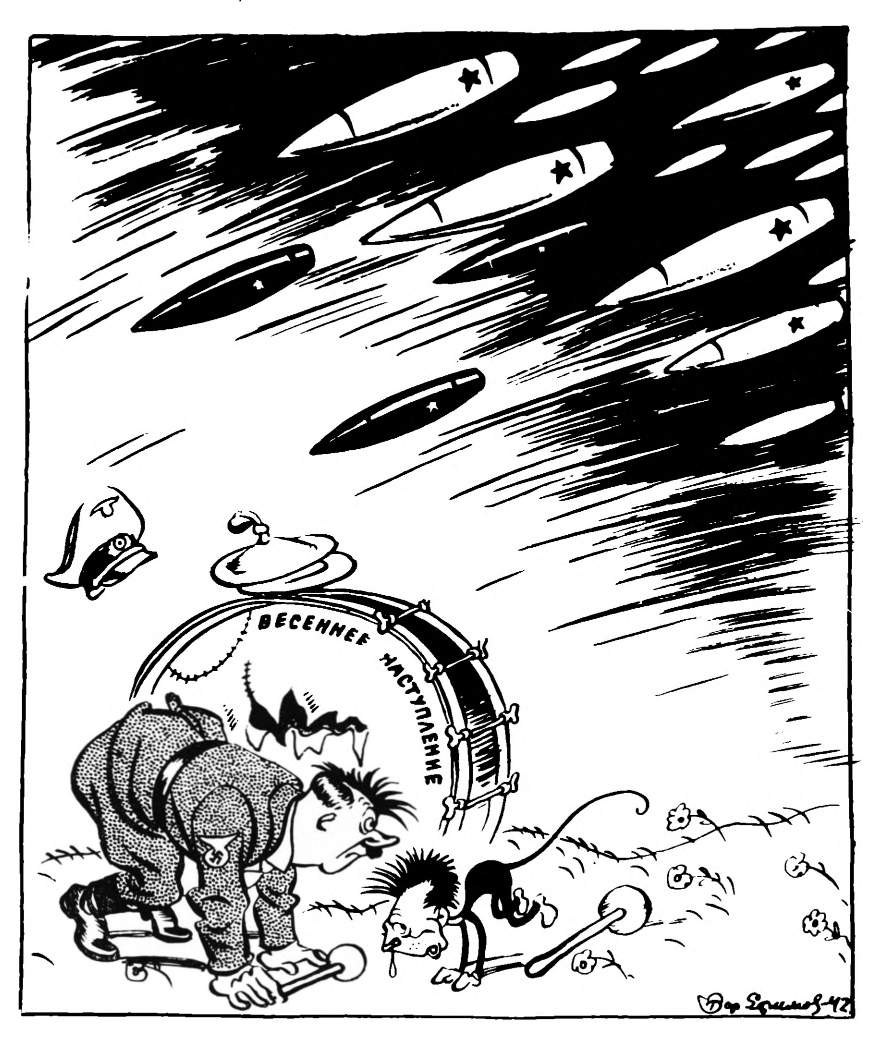
Спустя тридцать пять лет в дневниках К.Симонова «Разные дни войны», вышедших в свет в 1977 году, я прочел записи писателя, относящиеся к этому маленькому фронтовому эпизоду. Если для меня эта поездка на передний край войны была первой, то у Симонова к этому времени были за плечами Халхин-Гол, финская кампания и первые тяжелейшие месяцы Великой Отечественной. Естественно, что он, уже опытный и обстрелянный, видел и понимал гораздо больше, чем я, разбирался во всем глубже и серьезнее.

Вот какие ощущения и размышления вызвала у него подготовка к атаке:

«Предполагалась ночная операция одним батальоном. Нужно было что-то пройти, зайти куда-то во фланг и под прикрытием такого-то и такого-то огня взять высотку, на которой сидели немцы и мешали нашему продвижению к другой высотке, а эта другая высотка в свою очередь <...>

Судя по докладу, все это казалось тщательно продуманным, и в то

11. Весенний ветер с Востока. 1942



же время меня не покидало чувство, что, быть может, все это делается зря и что те, кто сейчас докладывают об этом, не до конца верят в то, что все это выйдет...

И вся эта частная операция, наверно, не имеет значения для взятия Гжатска; вряд ли ночной бой, предпринятый всего-навсего одним батальоном где-то на второстепенном направлении, способен что-нибудь изменить в общей обстановке.

У меня было тоскливое предчувствие, что успеха не будет и все

42. Карикатура Д.Лоу о втором фронте. 1942



это кончится только тем, что к утру останутся лежать на снегу убитые, а несколько десятков человек с легкими и тяжелыми ранами отправят в медсанбат» *.

Тогда, разумеется, этими невеселыми мыслями Симонов ни с кем не делился, а я лично оставался в твердом убеждении, что все идет по тщательно продуманному плану и должно привести к заранее определенной цели, важной и нужной.

К тому же следует иметь в виду, что совсем незадолго до того прогремело на весь мир известие о разгроме немецких армий, наступавших на Москву, гитлеровцы откатились на десятки и сотни километров, миф об их непобедимости был разбит вдребезги, и многим казалось, что теперь мы будем наступать и наступать — чуть ли не до самого Берлина.

Кто мог подумать, что начавшийся сорок второй год принесет стране новые неслыханные беды...

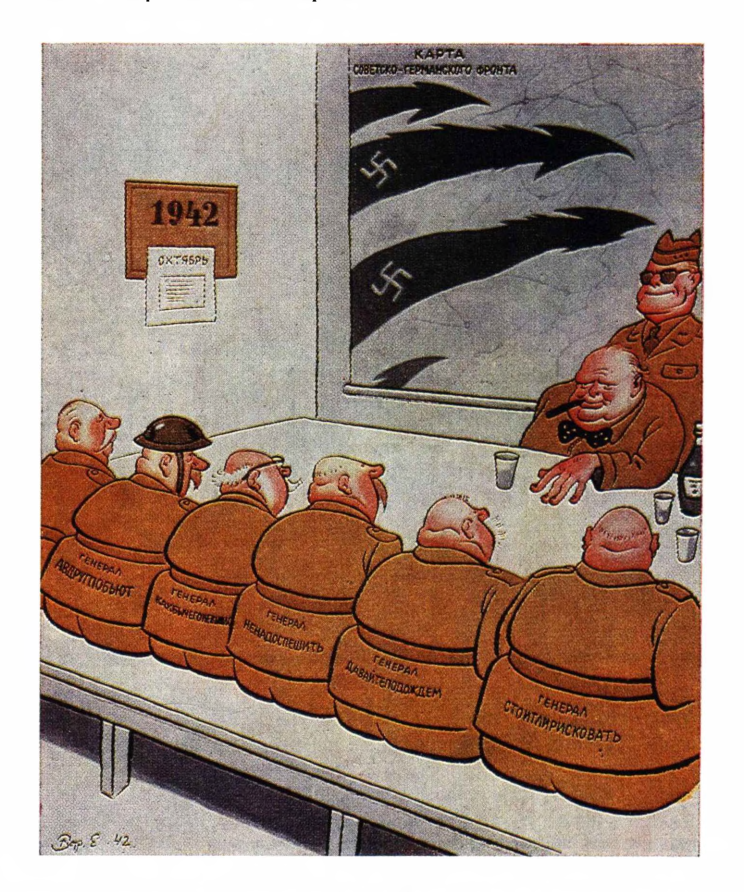
Продолжу, однако, свой рассказ. Мы продолжали колесить по частям, штабам и командным пунктам переднего края, нигде надолго не

* *К.М.Симонов.* Разные дни войны. М., 1977, т. 2, с. 48

задерживаясь, — этого не выносил беспокойный характер нашего руководителя. Мне даже начинало казаться, что ему нравилось отдавать команду к отправлению в путь именно поздно вечером, когда усталая за день бригада начинала откровенно клевать носами. Вероятно, этим он проверял и закалял боевой дух своих сотрудников.

И снова тяжелая редакционная машина устремлялась куда-то в морозную ночь, пропуская на перекрестках молчаливо шагающие подразделения пехоты и приглушенно рокочущие дивизионы артиллерии, на-

43. Черчилль и его генералы. 1942



щупывая включаемыми на доли секунды фарами заснеженные прифронтовые дороги.

Вскоре на мою долю выпал скучный жребий — остаться в одиночестве. Дело было так. Мы спустились в покрытый толстенной шапкой снега блиндаж командного пункта, и редактор, поздоровавшись с двумя находившимися там генералами, познакомил их со своими спутниками:

— Вы, наверно, видели такой-то фильм? Так вот разрешите вам представить артистку такую-то.

— А-а!.. — раздавалось в ответ. — Как же, как же... Очень приятно!

— А вы читали стихи поэта такого-то? Так вот перед вами сам автор!

— А-а... — раздавалось снова. — Как же! Весьма приятно!

— А карикатуры в «Красной звезде» смотрите? Так вот, пожалуйста, тот, кто их рисует — художник такой-то.

— А-а... — слышалось несколько более вяло. — Как же... Весьма...

Эта процедура представления происходила во время нашей поездки не раз и всегда в одинаковой последовательности, доставляя, видимо, нашему редактору какое-то простодушное удовольствие.

Далее из командного пункта предстоял трудный для большого редакционного автомобиля участок дороги, а во фронтовой «эмке» вся наша бригада не могла уместиться. Возникло некоторое неловкое замешательство, но тут последовало быстрое и безапелляционное решение редактора:

— Остается Ефимов.

Я был, естественно, огорчен. Посидел некоторое время в опустевшем блиндаже (оба генерала тоже куда-то уехали), потом вышел наружу. Грозная музыка войны не умолкала ни на минуту. Мое неопытное ухо не улавливало разницы между выстрелами наших пушек и разрывами немецких снарядов. Кроме того, я совершенно не представлял себе, далеко или близко идет артиллерийский бой, голоса различных орудийных калибров сливались для моего слуха в одну внушительную и, как мне показалось, угрожающе нараставшую канонаду. Я подумал, что, по всей вероятности, возобновилось генеральное сражение по всему фронту. Но то была, как потом выяснилось, кратковременная перестрелка «местного значения». Так пассажиру, впервые попавшему в морское плавание, чудится семибалльный шторм там, где бывалый моряк видит обычную легкую зыбь.

Я вернулся в блиндаж и вскоре был сторицей вознагражден за то, что меня здесь оставили: приехал командующий армией и в землянке закипела жизнь. Я впервые в жизни видел «кухню» командного пункта и попросил разрешения остаться.

— Пожалуйста, пожалуйста, — рассеянно сказал генерал и взялся за телефонную трубку.

С огромным интересом наблюдал я, сидя в уголке, за тем, как немолодой подтянутый военный с аккуратно подстриженной щеточкой усов — это был Леонид Александрович Говоров, впоследствии Маршал Советского Союза, неторопливо и уверенно, подобно опытному хирургу во время ответственной операции, управлял сложным армейским механизмом.

Лаконично и деловито сообщил он кому-то по телефону, что положение на определенном участке осложнилось, так как немцы довольно значительными силами (была указана цифра) перешли водный рубеж. Затем было дано задание выяснить, куда девалось «хозяйство Белова», прибытие которого ожидалось с нескрываемым нетерпением. Строго напоминалось какому-то Семенову, чтобы он немедленно вернул в «хозяйство Ткаченко» «эр-эсы», взятые им неделю назад на два дня. Был вызван начальник разведки, которого командующий очень спокойно, не повышая голоса, но весьма чувствительно распушил.

— Вы, может быть, думаете, что вести разведку — это значит регистрировать донесения и разносить их по карточкам? — ядовито-вежливо спрашивал генерал. — Или считаете, что я должен довольствоваться разведданными недельной давности? А если нет, то не будете ли вы добры объяснить, каким образом на стороне противника появилась свежая эсэсовская часть? Когда она прибыла? Откуда переброшена? Какова ее численность и вооружение? И не укажете ли вы, от кого я могу рассчитывать получить эти сведения, если ими не располагает начальник моей разведки?

Этот тяжелый разговор неоднократно прерывался телефонными вызовами, а вслед за тем в землянке стали появляться командиры — начиналось оперативное совещание. Вскоре я почувствовал, что мне не следует злоупотреблять любезностью командующего, и безропотно последовал за его адъютантом, который давно косился на постороннего человека

в блиндаже и деликатно осведомился, не желаю ли я часок-другой поспать в более спокойном месте. С явным облегчением он проводил меня в ближайшую землянку. Не в пример пятинакатному блиндажу командного пункта она была покрыта только двумя настилами бревен, что я отметил про себя не без огорчения.

Грохот канонады усиливался, но не был в состоянии заглушить богатырский храп кого-то, спавшего на покрытых соломою нарах.

Я было собрался последовать его примеру, как явился уже знакомый мне адъютант: мои спутники вернулись, и редактор дал команду немедля двигаться дальше...

А где же и как провели эти несколько часов мои спутники, уехавшие на «эмке»? Тогда, в спешке и непрерывных перемещениях редакционной бригады, я как-то не удосужился об этом расспросить, да и не до подробных разговоров было в той обстановке. И узнал я детали их поездки только спустя много лет из тех же «Дневников» К.Симонова.

«...Отправились дальше на одной эмке. Ортенберг, поколебавшись, оставил очень недовольного этим Бориса Ефимова на КП армии, договорившись, что захватим его на обратном пути из полосухинской дивизии. <...>

Командира дивизии полковника Полосухина, как и предупредил нас Говоров, здесь не было — он еще с ночи находился на наблюдательном пункте в двух километрах отсюда, и засветло к нему невозможно было пройти. Дорога туда с обеих сторон простреливалась немецкими автоматчиками.

Вообще, как выяснилось уже позже, дивизия, наступая, влезла узким языком в немецкое расположение. Не только впереди, но и справа и слева от дороги были немцы.

...Откуда били немецкие минометы, было трудно разобрать, но разрывы слышались и впереди, и справа, и слева, иногда где-то позади. <...>

Миша Бернштейн занялся съемками, а я со слов Мартынова (комиссара дивизии. — *Б.Е.*) и начальника политотдела стал записывать то, что могло мне потом пригодиться для корреспонденции. Вскоре после этого Ортенберг решил пройти хотя бы немного вперед, осмотреться, что делается кругом, и, взяв с собой Бернштейна, быстро исчез <...> Я продолжал записывать данные о действиях дивизии за предыдущие дни. <...> Автоматные очереди слева, а теперь и сзади все усиливались. Я перестал записывать и тоже вышел наверх. Теперь стреляли совсем близко, вдоль дороги. Я постоял, послушал и вернулся в блиндаж. Вслед за мной вошел Мартынов и сердито спросил, у всех ли есть личное оружие. Я ответил, что есть <...>

Ортенберг с Мишей все еще не возвращались. Я беспокоился за них, чувствовал себя виноватым, что не пошел с ними.

Потом Ортенберг с Мишей, слава богу, наконец вернулись. Они изрядно вывалялись в снегу и слезли в блиндаж, не успев отряхнуться. Оказывается, они пошли на наблюдательный пункт артиллерийского полка; наблюдательный пункт засыпало минами, и им пришлось полежать под обстрелом. Ортенберг по своей привычке подшучивал над Мишей, говорил, что никогда не предполагал, что тот так быстро умеет бросаться рыбкой в снег.

— А что пользы стоять, когда она летит? — невозмутимо как всегда возразил ему Миша.

— Это верно, но ты все-таки слишком быстро ныряешь. Кто ты? Пловец? Или корреспондент «Красной звезды»? Это мне не подходит. В другой раз не возьму тебя с собой, — смеялся Ортенберг.

Часа через полтора, когда начало темнеть, автоматная стрельба стала понемногу утихать. Мы стали собираться в обратный путь.

<...> Обратно ехали в полной темноте. Навстречу нам шли части подтягивавшейся из тыла дивизии, которой, должно быть, предстояло развивать наметившийся на этом участке успех. Тот, кто ездил по зимним фронтовым дорогам, где с обеих сторон сугробы и негде развернуться, легко может представить себе, что значит объезжать на такой дороге движущуюся навстречу колонну войск. Четыре километра, отделявшие нас от командного пункта Говорова, мы ехали около шести часов: то натыкались на колонны, то на повозочных, то на забуксовавшие грузовики и, пытаясь их объехать, сами зарывались в сугробы и на руках вытаскивали свои машины <...>

И с чужой помощью, и собственными силами мы раз пятнадцать вытаскивали из снега свои машины и, не застав на командном пункте Говорова, который куда-то выехал, прихватили с собой Бориса Ефимова и часам к двенадцати ночи добрались до штаба армии, который размещался далеко позади вынесенного вперед говоровского командного пункта» *.

К этим записям Константина Симонова мне остается добавить, что дальнейший наш путь из штаба армии до Москвы мало чем отличался от всей предшествовавшей поездки — те же застревания в сугробах и вытаскивание машин из снега, те же томительные ожидания на развилках, те же трудные, скользкие объезды.

Время от времени Бернштейн вылезал из машины и, звеня медалями на могучей груди, прокладывал нам путь, принимая на себя нелегкие обязанности регулировщика на фронтовой дороге, да еще в ночное время. Так мы, хотя и с черепашьей скоростью, приближались к Москве. На одном из объездов мы, несмотря на трескучий мороз, ухитрились засесть в... огромной луже. Этот метеорологический феномен всеведающий Симонов объяснял потом тем, что во время кратковременной оттепели в глубокую яму натекла вода, а наступившие морозы успели затянуть ее льдом только сверху и тонким слоем.

Так или не так, но мы битый час буксовали в этой проклятой луже, дружно подталкивая машину всей бригадой и изрядно промокнув. При этом, вопреки всем физическим законам, вытаскивание автомобиля нас не только не разогрело, но, наоборот, прохватило ознобом до самых костей.

Особенно пострадал почему-то Симонов, у которого, как мы узнаем из его дневника, «как потом ни ерзал, ни пытался согреться, сидя в машине, зуб на зуб не попадал до самой Москвы». К тому же (не везет так не везет), завершая рассказ об этой поездке, Симонов меланхолически сообщает: «По заметкам, сделанным в дивизиях Полосухина и Орлова, я написал небольшую корреспонденцию, которую Ортенберг не напечатал...»

В декабре 1941 года пришел на советскую улицу первый большой праздник Великой Отечественной войны — разгром немецко-фашистских войск под Москвой. Небывалый подъем и новые силы вдохнула победа в сердца советских людей, еще крепче стала уверенность в конечном торжестве над врагом.

Более веселые, жизнерадостные сюжеты обрела и наша сатира. Как приятно и радостно было изображать в карикатурах разбитый вдребезги миф о непобедимости гитлеровской армии, высмеивать подмоченный престиж «непогрешимого» фюрера. А какими благодарными темами для карандашей сатириков стали проведенная Гитлером чистка своего генералитета, отстранение фельдмаршала Браухича и самоназначение фюрера верховным главнокомандующим немецко-фашистской армии!

* *К.М.Симонов.* Разные дни войны, т. 2, с. 53—56

Но вот отгремела великая московская битва, затихающие раскаты которой я слышал под Гжатском. Положение на советско-германском фронте временно стабилизировалось. Обе стороны переводят дыхание и готовятся снова померяться силами весной.

В период этого относительного затишья возникает очередной пароксизм гитлеровской пропаганды, задача которого — преодолеть настроение смятения, разочарования и уныния, овладевшие немцами на фронте и в тылу после поражения под Москвой.

И снова Гитлер беснуется перед микрофонами. Он заверяет, заклинает, взывает и угрожает. Он громогласно возвещает генеральное и решительное наступление весной 1942 года, которое-де принесет окончательную победу на Востоке. На помпезном спектакле 15 марта 1942 года в Берлине — «Дне празднования героев» — Гитлер торжественно предсказывает «уничтожение русской армии в течение этого лета» и окончание войны против СССР. То была очевидная и наглая «психическая атака», и задачи нашей пропаганды, и в том числе агитационной сатиры, были совершенно ясны: надо было неустанно высмеивать широковещательные «весенние» планы фашистов, показывать их авантюрный характер. Надо было создавать меткие, веселые сатирические образы, способные не только посмешить сильных духом, но и приободрить тех неуверенных и робких, которые, поеживаясь, говорили:

— Да-а... Зимой-то немец, конечно, слабоват. А вот весной он покажет... Даст прикурить...

Наконец, весна 1942 года, приходу которой предшествует столько волнений, тревог и переживаний, наступает... Однако никаких больших событий не происходит. Ни одна из воюющих сторон не предпринимает активных действий крупного масштаба.

Гитлер продолжает угрожать и бахвалиться. Германская армия, как хищный зверь, готовый к прыжку, залегла в 100 километрах от столицы, а в Москве царит полнейшее спокойствие. Ни затемнение, ни ранний комендантский час, ни отдельные воздушные налеты врага не могут испортить бодрого настроения москвичей. Каждый занят своим делом.

Всегда переполнены кино, концертные залы, немногие не эвакуированные из города театры. Успешно работает веселый Театр миниатюр, душой которого стал талантливый и остроумный фельетонист-крокодилец Евгений Бермонт. «Миниатюрный» арсенал театра разнообразен: жанровая юмористическая пьеска, задушевная лирическая песня, забавные пародийные куплеты, шутливая интермедия, политическая сатира. Репертуар для театра с увлечением пишут Леонид Ленч, Виктор Гусев, Владимир Масс и Михаил Червинский, Владимир Дыховичный, другие литераторы сатирического цеха. Замечательные артисты эстрады — Мария Миронова, Рина Зеленая, Леонид Утесов, Татьяна Пельтцер, Александр Менакер, Юрий Юрьев радуют своим жизнерадостным искусством, щедро несут в зрительный зал веселый смех и хорошее настроение, такие нужные и дорогие в то грозное время.

Я тоже с удовольствием ходил на спектакли Театра миниатюр, что в конце концов привело к тому, что Бермонт и Менакер уговорили меня нарисовать оформление для нескольких сатирических номеров программы.

Между тем зловещее затишье весны 1942 года сменилось большими военными событиями.

В двадцатых числах июня в сообщениях Совинформбюро появились вначале не привлекавшие к себе особого внимания слова: «Изюм-Барвенковское направление». Они были, однако, предвестником глубокого

и опаснейшего прорыва гитлеровских армий к Волге и Дону, вторжения фашистских орд на Кубань и Кавказ.

И снова испытали советские бойцы горечь отступления перед наглым и лютым врагом. Снова, как летом 1941 года, пылали советские города и села, снова разбой, насилие и смерть обозначали кровавый путь захватчиков по нашей земле.

Вместе с тем всем было хорошо известно, что одной из важнейших причин, позволивших Гитлеру собрать под метелку все военные резервы порабощенной им Европы и сосредоточить против советских войск на юге превосходящие силы, явилось отсутствие второго фронта в Европе. С возрастающим изумлением и негодованием смотрела советская общественность на то, что наши союзники по антигитлеровской коалиции отнюдь не торопятся выполнить свое торжественное обещание об открытии второго фронта в Европе в 1942 году.

При этом на Западе не скупились на сердечные заверения и душевные излияния по поводу необходимости второго фронта, но при этом многие видные общественные деятели в союзных странах, видимо, довольно искренне верили рассуждениям своих руководителей о том, что поспешить со вторым фронтом — это только испортить дело... В этом отношении чрезвычайно характерно выступление Дэвида Лоу, всемирно известного карикатуриста, выдающегося мастера политической сатиры, одной из весьма популярных фигур общественной жизни Англии.

Дело было так. На исходе горького, затянутого дымом пожарищ лета 1942 года, когда наши войска ожесточенно сражались один на один со всеми вооруженными силами фашистской Германии и ее сателлитов, когда из имевшихся в распоряжении Гитлера 256 дивизий он смог бросить на советско-германский фронт 240, многие деятели советской культуры почувствовали желание высказать своим коллегам в союзных странах некоторые мысли по поводу отсутствия второго фронта в Европе.

Писатели обращались к писателям, композиторы к композиторам, режиссеры к режиссерам. Я решил написать Лоу, искусство которого я всегда высоко ценил и с которым к тому же я познакомился лично в 1932 году, когда он в составе британской парламентской делегации посетил Советский Союз.

Мое письмо, отправленное по адресу: Лондон, Флит-стрит, редакция «Манчестер Гардиан», гласило:

«Дорогой мистер Лоу!

Передо мною лежат свежие номера газет с Вашими замечательными рисунками, и мне хочется в связи с этим написать Вам несколько слов.

Позвольте прежде всего сказать Вам, мистер Лоу, с каким неизменным интересом я, как и другие советские художники, следил и слежу за Вашими великолепными работами, законно оправдывающими Вашу славу лучшего карикатуриста мира.

Мы ценим Ваше исключительное мастерство также и потому, что оно насквозь проникнуто лучшими и типичными чертами английского творческого гения — его сдержанностью, его здравым смыслом, его умным юмором, его тонким сарказмом.

Ваш приезд в Москву в 1932 году доставил мне приятную возможность личного знакомства с Вами. С тех пор подаренный Вами альбом «The Best of Low» с Вашим любезным автографом занимает почетное место в моей домашней библиотеке.

С того времени немало событий, больших и малых, радостных и печальных, пронеслось над нашими головами. Немало было достижений и успехов, немало сделано ошибок. Как говорят по-русски — «немало воды утекло». Но никогда еще до сих пор так остро не стояли вопросы, решающие судьбу нашего и последующих поколений. Никогда мир не

переживал столь грозных дней. Весы истории колеблются. На одной чаше — свет, прогресс, демократия, жизнь. На другой — мрак, гниение, варварство, смерть, иными словами — гитлеризм.

Я рад, дорогой м-р Лоу, что в это решающее время я нахожусь с Вами — большим мастером, творчество которого я люблю и ценю, в одном лагере свободных людей, противостоящих растленным ордам современного Аттилы. Я рад, дорогой м-р Лоу, что тем же оружием, что и Вы, — карандашом карикатуриста атакую нашего общего врага.

Моя страна представляет собой вооруженный лагерь. Каждый стоит на своем посту. Боевое место в общем строю занимают и советские сатирики. Нашему народу очень трудно, ибо он один сражается не на жизнь, а на смерть, против целой своры остервенелых и вооруженных до зубов врагов. Но мы полны воли к победе и верим в мощь и активность антигитлеровской коалиции.

Мы с радостью воспринимаем все проявления дружбы, симпатии и поддержки со стороны Вашего народа, но с удесятеренной радостью встретили бы первые решительные удары доброго англосаксонского меча по общему смертельному врагу, который только тогда по-настоящему почувствует на своей шкуре, что такое союз народов, защищающих свою жизнь, свободу и честь.

Я уверен, что в достижении этого желанного часа сыграет свою роль и блестящее искусство Дэвида Лоу.

Искренне ваш
Бор. Ефимов.

P. S. Я позволяю себе приложить к этому письму, лично для Вас, одну из своих работ».

В день, когда я написал это письмо, советское Информбюро сообщало:

«Упорные бои развернулись южнее Клетской, на участке Н-ского гвардейского соединения. В течение последних дней гвардейцы отразили семнадцать танковых атак противника и уничтожили более 100 немецких танков. Лишь за один день огнем артиллерии и стрелковых подразделений истреблено 500 гитлеровцев.

В районе севернее Котельниково продолжались ожесточенные бои с танками и автоматчиками противника, вклинившимися в нашу оборону.

В районе южнее Белой Глины наши войска в течение нескольких дней вели тяжелые оборонительные бои против наступающих немецко-фашистских войск. На участке Н-ского соединения вражеские колонны танков и мотопехоты были встречены артиллерийским и минометным огнем. Неприятель потерял до 40 танков и более 1000 солдат и офицеров. Подтянув новые силы, немцы снова атаковали наши позиции. После кровопролитных боев с превосходящими силами противника наши части отошли на новый оборонительный рубеж в направлении Армавира».

Ответ Лоу последовал примерно через месяц. Я узнал о нем из «Вестника иностранной служебной информации» ТАСС:

Лондон, 17 сентября (ТАСС). «Манчестер Гардиан» помещает карикатуру, присланную Ефимовым английскому карикатуристу Лоу. На карикатуре изображен Дамоклов меч второго фронта, висящий над головой Гитлера. Меч удерживает веревка, протянутая через Ла-Манш. У другого конца веревки сидят англичане и спорят.

В сопроводительном письме Лоу, поблагодарив Ефимова и выразив восхищение английского народа Красной Армией, пишет:

«Британская империя сильна, но в 1939 году ее военная мощь была только потенциальной. Мы вступили в войну неподготовленными духовно и материально. И нам приходится организовывать все с самого фундамента под огнем противника. Нам пришлось вести арьергардные бои, отступать

и терпеть унижения, готовясь ко дню, когда вместе с вами и Соединенными Штатами мы сможем перейти в наступление с полной уверенностью в том, что поразим гитлеризм и покончим с войной. Противник все это хорошо знал и соответственно строил свои расчеты. Отсюда его ожесточенные усилия против вас. Но вместе с нашим союзником Соединенными Штатами мы тоже способны осуществить наши расчеты.

Многие ваши друзья здесь от всего сердца хотели бы, чтобы время больших действий уже пришло. Зрелище ограбления ваших городов противником примешивает к нашему вынужденному терпению чувство глубокой боли. Вопрос о месте и времени выступления будет решен на основе *расчетов специалистов*. Но вы можете быть уверены, что *близок день*, когда ваши английские и американские товарищи по оружию постараются не отстать от вас в боевых делах, выступив в момент, *тщательно выбранный*, и в условиях, которые обеспечат разгром противника. Этот день я надеюсь отметить карикатурой, оригинал которой я буду иметь удовольствие послать Вам в ответ на подарок, полученный мною.

Искренне Ваш
Дэвид Лоу».

Ответ Лоу, как мне кажется, чрезвычайно характерен не только для него лично, но и для позиции многих других представителей западной интеллигенции. Лоу от всего сердца (и в этом не приходится сомневаться) хотел бы открытия второго фронта в Европе, но... активно выступать и бороться за него он не считает целесообразным, предоставляя решение этого вопроса «специалистам». Проявлять чрезмерную эмоциональность и настойчивость даже в таком первостепенной важности вопросе он считает несовместимым со скептической иронией, обязательной, с его точки зрения, для каждого выдержанного и объективного джентльмена, особенно сатирика.

Вот, например, карикатура на ту же тему о втором фронте. Как бы внимательно мы ни разглядывали рисунок, мы не сможем решить, на чьей стороне художник — поддерживает ли он простых людей, написавших на стене «Второй фронт — немедленно!», или разделяет позицию Черчилля, который зачеркнул слово «немедленно» и вместо него написал: «в надлежащий момент». Кстати, в своем письме ко мне Лоу тоже говорит о моменте, «тщательно выбранном»...

Теперь мы хорошо знаем, что момент этот выбирался более чем тщательно, так как «близкий день» англо-американского выступления в Европе, о котором мне писал Лоу, наступил... через два года, в 1944 году. А в тот момент, когда «Манчестер Гардиан» печатала письмо Лоу, собранные со всей Европы и даже из Африки гитлеровские дивизии бешено рвались к Волге, германский бронированный клин достиг Сталинграда, где советские солдаты беззаветно сражались на улицах и в домах пылающего, как костер, города. Фашистские войска прорвались на Кубань, они завладели Ростовом, Краснодаром и Новороссийском, захватили перевалы Кавказского хребта, угрожали Черноморскому побережью. И в это самое время руководители союзных держав палец о палец не ударили для того, чтобы выполнить свое «торжественное обещание» открыть второй фронт в Европе, чтобы отвлечь хоть какую-нибудь часть фашистских сил с советско-германского фронта, хотя, как известно, имели полную к тому возможность.

Советские карикатуристы не затрагивали щекотливую тему о втором фронте по понятным причинам: ведь любой сатирический выпад против союзников по антигитлеровской коалиции мог бы прежде всего доставить удовольствие общему врагу.

И все же в октябре 1942 года «Правда» поместила мою карикатуру «Вопрос о втором фронте», получившую широкий резонанс. Она вызвала одобрение советских читателей, о чем свидетельствовали многочисленные

письма, привлекла живейшее внимание и за рубежом. Рисунок был перепечатан рядом иностранных газет, описания его передавались радиовещанием воюющих и нейтральных стран.

Целенаправленность карикатуры не вызывала сомнений — она была заострена не против союзников вообще, а противопоставляла сторонников открытия второго фронта его противникам, имея тем самым совершенно точный и не вызывающий споров адрес. Надо сказать, что много позже, уже после войны, тема второго фронта снова встала перед советской сатирой. Это было связано с выходом известной брошюры Совинформбюро «Фальсификаторы истории», разоблачавшей попытки западной пропаганды исказить и принизить роль Советского Союза в разгроме гитлеризма. Вот когда, хотя и со значительным опозданием, были нарисованы карикатуры на тех, кто умышленно затягивал открытие второго фронта, рассчитывая на ослабление и обескровливание нашей Родины.

Еще несколько слов о Лоу. До самого конца войны этот великолепный карикатурист не только крепко и метко бьет по гитлеровцам, но подчас едко высмеивает косность и тупость реакционных деятелей в самой Англии, с явной симпатией показывает в своих рисунках героическую борьбу Советской Армии. А когда в 1943 году вышел альбом моих сатирических рисунков «Гитлер и его свора», то для английского переиздания этого сборника Лоу написал весьма благожелательную вступительную статью, в которой, между прочим, дал высокую оценку развитию политической сатиры в нашей стране.

Лоу писал в своей статье:

«...Гигантская борьба против зверских орд Гитлера не застала советских карикатуристов врасплох. Их участие в советских военных усилиях намного превосходит все, что известно в этой области у нас в Британии. В то время как в нашей стране недостаток бумаги ограничил графические формы военной пропаганды, в Советской России война, можно сказать, дала возможность карикатуристам полностью проявить себя. Буквально армия художников была занята созданием бесконечного потока плакатов и карикатур, объясняющих, призывающих и ободряющих. Эти рисунки распространялись вглубь и вширь, начиная от больших, исполненных простейшими трафаретными способами «Окон ТАСС», кончая летучими листками на передовых позициях. Создалась группа карикатуристов, лучших из которых можно сравнить по силе со знаменитой «фалангой» в Париже в 1840 году, возглавлявшейся самим великим Домье». В заключение Лоу высказывает мнение, что:

«...Карикатуры Ефимова, собранные в альбоме, обнаруживают черту, на которую следует обратить особое внимание: их фантазия и творческий метод не представляют никаких трудностей для британского восприятия. По-видимому, русское чувство юмора очень близко к британскому... Русские любят смех и, к тому же, смех, понятный нам, британцам.

Возможно, что сборник Ефимова ускорит это открытие, которое в конце концов будет иметь более глубокое влияние на взаимопонимание британского и русского народов, чем целый воз дипломатических нот».

Слова Лоу о том, что мои работы легко доступны британскому восприятию, следовало безусловно рассматривать как большой комплимент, ибо известно, как гордятся англичане своим традиционным, национальным чувством юмора.

Вместе с тем, говоря откровенно, трудно было иногда разделить до конца «британское чувство юмора», в особенности когда оно подменяло подлинную сатирическую злость изящной и снисходительной иронией, не всегда, как мне кажется, уместной, когда речь шла о фашистской чуме.

Вот довольно характерный пример. Взгляните на карикатуру Лоу,

напечатанную в «Манчестер гардиан» с подписью: «С первым апреля! Гитлер вступает в Букингемский дворец».

Спору нет, глупо-самодовольная физиономия Гитлера весьма комична, его напыщенно-торжественный вид и «гусиный» шаг вызывают улыбку. Но... Я не представляю себе, чтобы нашелся советский карикатурист, который надумал бы в этаком шутливо-развлекательном ключе высмеять фашистские вожделения и нарисовал бы Гитлера, весело вступающего в ворота Кремля...

Нет уж, бог с ним, с подобным «юмором», основанным на столь благодушном «джентльменском» иронизировании над лютым, бесчеловечным врагом.

Я вновь увидел Лоу после окончания войны, на Нюрнбергском процессе, куда мы приехали вместе с Кукрыниксами. Седой, но свежий и моложавый, в военной форме с нашивкой военного корреспондента, маститый английский сатирик очень оживленно приветствовал своих советских коллег. В баре нюрнбергского «Гранд-отеля», где еще не так давно рассиживались всевозможные гаулейтеры и оберштурмфюреры, карикатуристы-союзники весело уселись за одним столиком с бокалами в руках.

Завязалась непринужденная дружеская беседа. Заговорили и о дальнейших творческих планах.

— Фашистов я буду отныне изображать так, чтобы люди, глядя на рисунок, зевали, — заметил Лоу.

Мы переглянулись.

— А почему, собственно, люди, глядя на ваш рисунок, должны зевать? — осведомился Порфирий Крылов.

— А потому, что они должны чувствовать, какая это скучная и до тошноты надоевшая вещь — фашизм, — ответил Лоу.

— Скучная? — переспросил я. — Но мне кажется, что в последние годы, мистер Лоу, нам с вами, как и очень многим другим людям, не приходилось жаловаться на скуку...

— И тем не менее я хочу сейчас показывать фашизм настолько скучным и неинтересным, чтобы никому не хотелось быть фашистом.

Мы с трудом верили своим ушам. Еще лежали в развалинах английские, русские и французские города. Еще не остыли кошмарные печи Майданека и Освенцима и взывала о возмездии кровь неисчислимых жертв фашизма. Еще бродили по улицам того же Нюрнберга невыловленные эсэсовцы и «вервольфы», а крупнейший сатирик и видный общественный деятель Англии уже, буквально на глазах, возвращался к своему довоенному, пренебрежительно-ироническому отношению к фашистским преступникам.

Мы были удивлены, хотя, может быть, еще не понимали в полной мере, что такие нотки были, как показали последующие годы, ростками примиренческого, «гуманного» отношения к охвостьям разгромленного гитлеризма. Кстати сказать, той же благодушной, юмористической интонацией окрашен рисунок Лоу, изображающий фашистских преступников на нюрнбергской скамье подсудимых. Не убийц, садистов и изуверов видит на этой скамье английский карикатурист, а неисправимо тщеславных, туповатых, хотя и немного приунывших бюргеров. А в уста Геринга, палача миллионов людей, вкладывается реплика, иронизирующая всего только над его страстью к помпезности и эффектным зрелищам. Обращаясь к своим соседям по скамье, Геринг говорит, указывая на суд:

— Ни литавр, ни фанфар, ни флагов — просто смешно! Насколько лучше организовали бы это мы!

Но, несмотря на то что отдельные работы Лоу вызывают желание поспорить с его трактовкой тех или иных событий и явлений, я хочу подчеркнуть здесь свое глубокое уважение к творчеству и памяти этого блестящего мастера, выдающегося политического карикатуриста со-

временности, убежденного противника фашизма, искреннего друга советского народа.

Нельзя забывать, что он был твердым и верным соратником советских сатириков в грозные годы войны против гитлеризма и что он рядышком со мной и с Кукрыниксами значился в гестаповском «черном списке» лиц, подлежащих истреблению как врагов нацистского режима.

Пути-дороги фронтовые

В редакционном коридоре я столкнулся с писателем Василием Гроссманом. Кстати сказать, в это время — дело было в 1944 году, — после трех переездов с места на место редакция «Красной звезды» оказалась в своем старом, довоенном помещении на улице Чехова. (Уже не было никакой надобности в знаменитом бомбоубежище «Презрение к смерти».)

— Как дела, Вася? — спросил я. — Как здоровье, настроение, творческие планы, политико-моральное состояние?

— Спасибо. Послезавтра выезжаю под Варшаву. Там предполагаются некоторые события. Хотите поехать со мной?

При этом Василий Семенович посмотрел на меня с некоторым, свойственным ему незлобивым ехидством, как бы говоря: «Знаю, знаю. Сейчас ты начнешь горячо доказывать, что поехал бы с величайшей радостью, если бы не срочная, неотложная работа...»

— А что? Можно и поехать, — сказал я.

— Нет, я серьезно говорю.

— Ну и я серьезно.

И вот новенький редакционный «виллис» несет нас по шоссе на юго-запад от Москвы. Перед самым отъездом, у себя на квартире Гроссман спросил меня, слабо улыбаясь и глядя поверх круглых роговых очков своими большими печальными глазами:

— А вы знаете, что это моя тринадцатая поездка на фронт?

Мне стало немножко не по себе.

— Ничего, — ответил я бодро, — зато я еду на фронт только третий раз. Тринадцать плюс три — шестнадцать, разделить на двоих — восемь, число вполне безопасное.

Гроссман с сомнением покачал головой, но, как мне показалось, несколько повеселел.

Мы еще раз наполнили «разгонные» рюмки, чокнулись со своими женами и спустились во двор к машине.

Кроме Гроссмана и меня в «виллисе» находился военный обозреватель «Звездочки» Петр Коломийцев, флегматичный и добродушный полковник-танкист. За рулем курносенькая девушка-шофер — Лена Рулева.

...Слышится легкий удар, и по ветровому стеклу «виллиса» расплывается большое кровяное пятно — это разбилась налетевшая на машину птичка.

— Ну? Что я вам говорил? — почти торжествующе говорит Гроссман. — Теперь ясно, что никто из нас не вернется домой. Вот это уж верная примета.

— Ерунда, — говорю я неуверенно. — Предрассудок.

Но на всех нападает задумчивость... Эх, «пути-дорожки фронтовые»! Сколько написано о них задушевных песен и стихов, сколько талантливых очерков. Бегущая навстречу лента шоссе несет все новые и новые впечатления, образы, эпизоды. Живописные уголки природы сменяются суровыми картинами войны, милые сельские пейзажи чередуются с закопченными пожарищами и развалинами. Трудно не поддаться проникающей в душу дорожной романтике. Но мои спутники — полковник-

писатель и полковник-танкист как бывалые фронтовики, уже изрядно понюхавшие пороху в прежних поездках, вносят в мои путевые впечатления существенные коррективы, считая, видимо, полезным поучить уму-разуму да и немножко припугнуть необстрелянного художника-тыловика. Происходит это примерно так:

— Какое изумительное место! — восхищаюсь я, когда машина едет между двух рядов могучих тополей, превративших дорогу в сплошную тенистую аллею.

— Изумительное-то изумительное, — задумчиво говорит полковник-писатель, сосредоточенно глядя вперед, — но не люблю я таких замкнутых участков дороги. Здесь и свернуть некуда.

— А зачем нам, собственно говоря, сворачивать?

— А затем, что в таких местах в любую минуту может спереди или сзади появиться «фердинанд». Или легкий танк. Я уже видел такие дела.

— «Фердинанд»? Откуда здесь возьмется «фердинанд»? Немцы за тысячу километров.

— Немцы-то далеко, — вступает в разговор флегматичный полковник-танкист, — а вы что-нибудь слышали о бандеровцах? Или бульбовцах?

— Ну, слышал. А откуда у бандеровцев «фердинанды»?

— А зачем им «фердинанды», если они могут вон из-за тех кустов так шарахнуть по нас из автоматов...

Прислушивающаяся к нашему разговору Лена Рулева вдруг решительно прибавляет газу, и «виллис» быстро вырывается из темной аллеи на широкий солнечный простор. Разговор о «фердинандах» иссякает. Но есть и другая неисчерпаемая дорожная тема — неразорвавшиеся мины. Новичкам они мерещатся на каждом шагу, да и опытные фронтовики относятся к этому делу серьезно.

— Вы не смотрите, что шоссе покрыто следами автомобильных шин, — наставляет меня полковник-танкист, — это ничего не значит. Бывает, что по какому-то месту тысяча машин пройдет благополучно, а тысяча первая взлетит на воздух...

— Да будет вам, Петр Илларионович, — говорю я небрежно, невольно косясь при этом на исполосованную следами автомобильных покрышек дорогу.

— Чего «будет вам»? Я вам серьезно говорю. Сколько таких случаев было — будь здоров!

Вскоре полковники останавливают машину, решив осмотреть замеченную у самой дороги разгромленную гитлеровскую батарею. Шагая позади Коломийцева по изрытой снарядами земле, я, памятуя его авторитетные разъяснения о невзорвавшихся минах, стараюсь все же попадать ногой в оставляемые им следы. Потоптавшись среди искореженных орудий, мы благополучно возвращаемся к «виллису», и тут я неожиданно проникаюсь фаталистической философией, которую кратко можно сформулировать «чему быть, того не миновать», и перестаю думать о минах.

Одно из самых сильных впечатлений по пути в Польшу — это остатки Бобруйского «котла», место, где совсем недавно, охваченная стальным кольцом советских войск, в смертельном ужасе металась гитлеровская армия фельдмаршала фон Бока. Здесь рассыпались в прах фашистские полки, дивизии и корпуса под могучими ударами нашей военной техники — между советским артиллерийским молотом и советской танковой наковальней.

Оставив машину, мы бредем вдоль мрачного кладбища былой фашистской силы, среди изуродованных и сгоревших немецких танков, раздавленных пушек. Кругом, насколько хватает глаз, валяются заржавевшие остатки машин, легковых и грузовых, походных радиостанций, бро-

нетранспортеров, торчат во все стороны пятнистые дула сотен орудий. Земля густо покрыта обугленным металлоломом, полуистлевшим воинским мусором, превратившимися в тряпки офицерскими мундирами, смятыми фуражками, рваной обувью. Из разбитого танка, как внутренности из пуза издохшего зверя, вывалилась целая куча какого-то грязного барахла, обгоревших чемоданов, покрытых плесенью книг и иллюстрированных журналов. Последние привлекают мое любопытство, но от кучи несет таким специфическим смрадом, что дотронуться до нее руками невозмож-

44. Сталинградская твердыня. Плакат. 1943



но. Пошевелив гитлеровскую литературу носком сапога, я подбираю парочку «сувениров» для сына — гитлеровский стальной шлем и два-три «железных креста». Мы едем дальше, проезжаем через разрушенный Бобруйск, оставляем за собой историческую Березину.

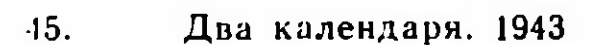
В овеянном легендарной славой Бресте мы переезжаем через многоводный Буг, и отсюда уже расстилается перед нами земля многострадальной Польши, только-только начинающей приходить в себя после четырехлетнего кошмара гитлеровской оккупации, лишившей страну даже ее имени и превратившей ее в германское «генерал-губернаторство».

Мы торопимся. Мои полковники нервничают, их волнение передается и мне: в самом деле — что может быть страшнее для военных корреспондентов, чем приехать к «шапочному разбору», опоздать к событию,

ради которого мы, подпрыгивая на железных сиденьях «виллиса», промчались полторы тысячи километров, подвести газету и (что особенно неприятно) предстать перед грозным ликом огорченного и разгневанного редактора.

Забегая вперед, скажу, что к этому событию — освобождению Варшавы — мы не опоздали по той простой причине, что оно произошло в январе 1945 года.

Мне не довелось, к сожалению, увидеть своими глазами эпиче-



15. Два календаря. 1943



скую битву за Варшаву, я только прочел описание ее в великолепном очерке Василия Гроссмана, напечатанном в «Красной звезде».

Мы в древнем Люблине, временной столице свободной Польши. Всего два месяца назад отсюда были вышиблены гитлеровские оккупанты, и еще не улеглось радостное возбуждение великой перемены. Четыре года фашистские изверги были полновластными хозяевами города, безжалостно топтали достоинство, судьбы и жизни людей. Они превратили приветливый чистенький Люблин в один из самых жутких застенков, куда со всей Европы привозили людей для варварского, мучительного уничтожения. Само название «Люблин», звучащее так мягко и любовно, покрылось зловещей тенью другого, кровавого имени — Майданек. Оно и сейчас у всех на устах...

Дорогу в Майданек нет надобности спрашивать. Даже если бы не было на центральной площади лаконичного указателя «До Майданка», направление к этому страшному месту можно узнать по потоку бледных, взволнованных людей, как бы влекомых туда магнетическим притяжением.

Мрачной прелюдией к посещению Майданека было для нас зрелище люблинской тюрьмы. Оставляя город под огнем советских войск, торопясь спасти свою шкуру, гитлеровские палачи все же нашли время перестрелять всех заключенных.

16. Факт, а не реклама. 1941



В жутком безмолвии огромного пустынного здания бродим мы по коридорам тюрьмы, подымаемся по чугунным винтовым лестницам, открываем тяжелые железные двери, отодвигаем решетки, переходим из камеры в камеру. Трупов казненных, конечно, уже нет, но кровавые пятна на стенах и каменных полах, перевернутые столы и табуретки, валяющиеся кружки и миски с остатками пищи, разбросанный повсюду жалкий скарб узников — все рассказывает о разыгравшейся здесь трагедии. Убийцы, видимо, врывались в камеры внезапно, в час обеда или ужина, расстреливая в упор людей, тщетно пытавшихся укрыться от свинцового ливня...

Еще страшнее внутренность примыкающей к тюрьме высокой угрюмой башни старинного замка польских магнатов. Она тоже служила местом заключения, но если тюрьма — это хотя бы современное здание с окнами, дверьми и каким-то санитарным оборудованием, то здесь, в мрачном средневековом подземелье, ничего этого нет. Мы находимся на дне круглого, вымощенного грубыми неотесанными камнями колодца, абсолютно лишенного дневного света. Сыро, промозгло, грязно. Никаких нар, столов, табуреток. Люди здесь просто валялись на чем-то вроде тротуара, идущем кругом вдоль стен. Сейчас на этом тротуаре толпятся плачущие

47. Обидно, братцы... 1941
(— Обидно, братцы! 30 тысяч марок назначили фашисты за мою голову. Это за меня-то, председателя колхоза-миллионера!)



женщины, разглядывающие бесчисленные надписи, сделанные мелом, карандашом или выцарапанные на осклизлых стенах. Эти надписи — все, что осталось от погибших узников. Невозможно видеть, как матери, жены, дети, отцы припадают к черным камням, найдя на них дорогое имя, короткий прощальный привет, горькую жалобу на безвременную смерть. Невозможно слышать их душераздирающие рыдания...

И вот мы на территории лагеря смерти, где совсем недавно хозяйничали самодовольные, упоенные властью над людьми палачи, наслаждавшиеся убийствами, издевательствами, пытками. Большинству этих мерзавцев удалось спастись, они вовремя унесли ноги. Уцелевшие узники Майданека давно на свободе, раскрыты настежь двери бараков, погасли

адские печи крематория. Как будто уже позади ужас всего, что здесь происходило в течение почти четырех лет. Но ужас этот не исчез, не рассеялся. Им веет от каждой постройки, от каждого камня. Кажется, что сама земля Майданека, пропитанная кровью и слезами, не может опомниться от того, что здесь происходило. Кажется, что сами стены бараков и газовых камер смотрят на нас расширенными от ужаса глазами сотен тысяч людей, испустивших здесь последний мучительный вздох...

Разум не вмещает страшных впечатлений лагеря уничтожения,

48. Лучшие из лучших. 1941



бесконечных рассказов о пытках, расстрелах, убийствах. Свинцовая тяжесть ложится на сердце. Уже кажется странным, что где-то люди смеются и радуются, что где-то существуют добро, ласка, искусство, счастье... Хочется поскорее покинуть этот мир скорби, страданий, смерти. И в этот момент мы слышим вопрос:

— А вы побывали на улице Шопена, 9?

...Мы предъявляем часовому пропуск. Дом номер 9 по улице Шопена — это недостроенное здание нового городского театра, сооружение которого было прервано войной. Гитлеровцы превратили его в центральный склад вещей, отобранных у людей, которых многочисленные эшелоны привозили в Майданек. Здесь вещи разбирались, сортировались, хранились для дальнейшей транспортировки в Германию. Казалось бы, что все это звучит довольно обыденно и мирно, но мы скоро поняли, почему нам говорили: «Улица Шопена, 9, производит более жуткое впечатление, чем крематорий и «баня» Майданека».

...Мы входим в огромный зрительный зал театра и видим дикую, неправдоподобную картину. На месте партера, где обычно стоят чинные ряды кресел, в фантастическом беспорядке громоздятся горой огромные дорожные кофры и сундуки, большие и маленькие чемоданы, саквояжи, рюкзаки, сумки. Большинство из них раскрыто, и оттуда в изобилии вываливаются всевозможная одежда, белье, обувь, книги, детские игрушки, посуда, термосы, лекарства — бесконечное разнообразие предметов домашнего обихода, какие только могут захватить с собой люди, снявшие-

49. Гитлер, Геринг, Геббельс
Из серии «Сатирический архив». 1964



ся с годами насиженного места и переселяющиеся в далекие неведомые края.

Особенно много здесь теплых вещей — различных стеганых и пуховых одеял, вязаных кофт и жилетов, шерстяных свитеров и больше всего самодельных теплых валенок, предназначавшихся, видимо, для боявшихся простуды стариков и старушек. Ведь людям говорили, что они переселяются в северные края со здоровым, хотя и холодным климатом, где будут обеспечены жильем и работой.

И люди, страстно желая в это верить, послушно запасались фланелевыми фуфайками и кальсонами, шарфами и наушниками, брали с собой огромное количество лекарств. Весь пол «партера» усыпан неисчислимыми коробочками и флакончиками патентованных средств против

гриппа, насморка, головной боли, ревматизма, радикулита. Вероятно, ни в одной аптеке Люблина нет такого ассортимента дорогих и разнообразных медикаментов. Люди собирались беречь свое здоровье и надеялись долго жить.

А в это время где-то на заднем дворе Майданека уже разгружали предназначенный для них «циклон»...

На окружающих зрительный зал балконах и ярусах устроены стеллажи и полки для рассортированных вещей. Здесь имеются отделы мужских костюмов, дамских платьев, головных уборов, мужской, дамской и детской обуви, трикотажа, чулок и носков, зонтиков, посуды и т. д. Все это вместе напоминает большой, хорошо снабженный магазин промтоваров, эдакий кошмарный, фантасмагорический универмаг, приснившийся в страшном горячечном бреду... Эти немые, неподвижные предметы кричат, вопиют о мучительной смерти их владельцев. На самые обыкновенные, безобидные, будничные вещи нельзя смотреть без ужаса. Вот длинный вместительный ларь, доверху набитый очками, как в кладовой оптических изделий. Но ведь каждый — буквально каждый! — из этих мирных предметов — это уничтоженная человеческая жизнь. Вот эти старенькие, заботливо подвязанные ниточкой очки надевала, вероятно, любящая бабушка, проверяя школьную тетрадку внука, а эти — дорогие, модные — носил, по всей вероятности, известный врач, преуспевающий архитектор или талантливый журналист.

Мы идем дальше по ярусам, вдоль десятков таких же огромных переполненных ларей, где каждый мыльный помазок, каждая бритва, зубная щетка, авторучка — это убитый и сожженный человек.

А «отдел» игрушек? Мыслимо ли спокойно видеть длинные полки с бесчисленными куклами, с тысячами совсем новеньких или уже облупленных мячиков, с тысячами симпатичных, больших и малых, местами потертых плюшевых мишек и зайцев, каждого из которых совсем недавно прижимал к себе ребенок, брошенный вслед за родителями в жерло майданековских печей.

Нет, хватит! Скорей отсюда! На свежий воздух, к живым людям. Скорее увидеть лица и оружие советских воинов, освободивших Польшу, уничтоживших Майданек, стоящих под стенами Варшавы, несущих возмездие в Берлин!

Уходя, я поднимаю с пола молитвенник в потертом кожаном переплете с медной застежкой. На титульном листе надпись: «Принадлежит Матильде Гарпманн. Бистриц». Я не склонен к мистике, но мне вдруг почудилось, что я обязан сохранить об этой неведомой мне несчастной женщине из маленького городка в Трансильвании какую-то память на земле. И я привез этот молитвенник в Москву своей матери. Он хранится в моем доме по сей день.

Жуткая повесть о гитлеровских преступлениях в Польше будет неполной, если не рассказать о Треблинке.

Для меня это непосильная задача. Скажу только, что все, виденное нами в Люблине, побледнело и отступило на второй план перед апокалипсическими картинами треблинского кошмара. Думаю, что страшнее того, что творилось в этом лагере уничтожения, не знала история человечества. Гитлеровцев, видимо, не удовлетворяли чересчур медлительные, с их точки зрения, темпы истребления людей в Майданеке, Бухенвальде или Освенциме. И лагерь в Треблинке был задуман как более усовершенствованная, механизированная, круглосуточно действующая человеческая бойня.

Но после катастрофы армии Паулюса на берегах Волги нервы фашистских палачей явно дрогнули, и, оставив в действии десятки «обыкновенных» лагерей типа Майданека, они решили уничтожить и замести следы Треблинки. Сам Гиммлер, приехав зимой 1943 года в Треблинку,

внимательно познакомившись с «работой» лагеря-бойни, поблагодарил администрацию за отличное руководство и приказал... немедленно ликвидировать лагерь.

Однако скрыть правду о Треблинке не удалось. Документы, рассказы очевидцев, свидетельские показания, признания самих палачей — сотни фактов и неопровержимых доказательств были собраны и сохранены. Многие из них вскоре фигурировали на Нюрнбергском процессе, а спустя семнадцать лет на процессе обер-палача Эйхмана.

В просторной хате польского крестьянина мы слушаем рассказ человека, на долю которого выпал редчайший жребий: он видел своими глазами треблинскую бойню и остался в живых. От его спокойного, неторопливого повествования кровь стынет в жилах.

А на другой день мы присутствуем при допросе шести пойманных «вахманов» — охранников треблинского лагеря. Самое, пожалуй, ужасное то, что это подлые изменники Родины, холуи и прислужники гитлеровских палачей. Они угрюмо описывают систему и организацию человекобойни, приводят различные подробности лагерного быта, начиная от специальной дрессировки комендантской овчарки Бари до заучивания идиотских сентиментальных стишков в школе немецкого языка для таких, как они, предателей.

...Еще в пути, на дорогах Белоруссии, когда приходила моя очередь занимать переднее место рядом с водителем Леной Рулевой (согласно неписаному дорожному закону, пассажиры через определенное время менялись местами), я как старый автомобилист-любитель с большим интересом присматривался к управлению «виллисом». Мне очень хотелось испробовать эту машину.

Несколько раз собирался я предложить свои услуги в качестве напарника Лены, но понимал, что эта идея не вызовет у моих спутников энтузиазма. Наконец, набравшись духу, я небрежно, мимоходом сказал:

— А не сесть ли мне за баранку, что ли? Пусть Лена немного отдохнет.

Мирно беседовавшие полковники враз умолкли, и на лицах у них появилось такое выражение, будто я предложил свернуть с дороги на минное поле.

Потом последовали вопросы, касавшиеся моих умственных способностей, и выражались сомнения в моей психической полноценности.

Я замолчал и надулся.

И вот должно же было так случиться, что как раз в то утро, когда нам надо было выехать на передовую линию, Лена Рулева почувствовала себя нездоровой и вышла из строя. Достать другого водителя или другую машину не было возможности.

Полковники растерянно стояли возле «виллиса» и, косясь в мою сторону, о чем-то совещались. А я, сдерживая злорадство, с преувеличенным равнодушием прогуливался по двору, засунув руки в карманы.

Наконец, полковник-писатель, откашлявшись, обратился ко мне:

— Борис Ефимович, а вы в самом деле могли бы... э... повести машину?

— Не знаю, не знаю... — отвечал я подчеркнуто вяло. — Можно, конечно, попробовать, но... Боюсь, не справлюсь. Еще не угодишь столь капризным пассажирам... Да и ответственность за, так сказать...

— Ладно, ладно, — заговорили полковники, — будет вам. Поедем. Вы знаете, что другого выхода нет.

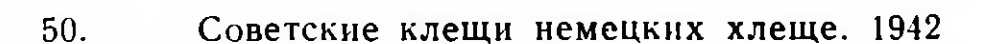
Я торжествовал и сменил гнев на милость.

Сразу же скажу — со своими шоферскими обязанностями я благополучно справился, что вынуждены были признать и мои присмиревшие спутники. Осторожно и бережно провел я наш «виллис» по вздыбленным после вчерашнего боя дорогам переднего края, заботливо тормозя на

вспаханных снарядами рытвинах, аккуратно объезжая воронки, сгоревшие танки и вздувшиеся трупы лошадей.

Мы въехали во двор красивого помещичьего фольварка, где разместилось управление наступавшей дивизии. Тут же во дворе корреспонденты «Красной звезды» встретились с озабоченным, торопящимся начальником штаба и получили от него краткую характеристику происходящей операции.

В конце разговора Василий Гроссман решил пошутить и сказал:



50. Советские клещи немецких хлеще. 1942

— Кстати, а это, знакомьтесь, наш шофер Борис Ефимов.

Начальник штаба посмотрел на меня с недоумением, явно не понимая, зачем, собственно, в этой горячке ему надо знакомиться с корреспондентским шофером, и ничего не ответил.

Затем он подозвал проходившего старшину и сказал:

— Вот что, Руденко, проводите товарищей полковников в командирскую столовую. И шофера не забудьте у себя покормить.

Гроссман покраснел.

— Э-э... Вы меня не совсем поняли, — сказал он, сконфуженно косясь в мою сторону, — это ведь, так сказать, известный...

— Да, да, — рассеянно сказал начальник штаба, торопливо направ-

ляясь навстречу въезжавшему в ворота мотоциклисту. — Добро. Как пообедаете, так подойдете ко мне.

Я наслаждался смущенным видом Василия Семеновича.

— Разрешите быть свободным, товарищ полковник? — ядовито спросил я, козыряя по всей форме. — Когда прикажете подавать машину?

Впрочем, в командирскую столовку мои спутники не пошли, а попросили накрыть стол во дворе, под открытым небом, где мы и обедали все вместе, дружески перебрасываясь колкостями. А затем мне пришлось

51. Похороны мифа о непобедимости. 1942



неожиданно переключиться на свою основную профессию: ко мне подошли товарищи из дивизионной газеты и попросили быстренько нарисовать карикатуру. Номер уже сдавали в типографию. Вооружившись авторучкой Гроссмана и листком из его же блокнота, я оперативно смастерил рисунок под названием «Красноармейская шарада», состоявший из двух кусков. На первом — приклад советского бойца с размаху ударяет в перекошенную харю Гитлера. Под этим подписан первый слог: «На!» На втором — злобно и жалобно ревущий фюрер, а под ним второй слог: «рев». Все вместе — Нарев. Карикатура понравилась, но в последний момент один из редакционных товарищей усомнился:

— Одну минуточку, товарищ Ефимов, — сказал он. — Река, кото-

рую мы форсируем, называется На-рев, а не На-рёв. Так? А если кто-нибудь ревет, то мы говорим, что слышен рёв, а не рев. Так? Значит, не получается шарада? Ведь следует считаться с правильным произношением слов. Так ведь? Все посмотрели на меня. На лице Гроссмана появилась совсем по-детски озорная улыбка, которая, как я знал, предвещает какое-нибудь добродушно-ехидное замечание по моему адресу.

— Ну и что? — ответил я. — Все-таки это очень близкие, почти совпадающие по звучанию слова, и смысл шарады нисколько не нарушается. Нельзя быть таким дотошным. Это ведь карикатура для солдатской газеты, а не диссертация. Наконец, попросите Василия Семеновича, и он напомнит нам пушкинские строки:

На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.

Думаю, что Александр Сергеевич тоже разбирался в произношении слов.

— Мне кажется, что Борис Ефимович прав, — примирительно сказал Гроссман. — И потом, самое главное, все-таки то, что Гитлер крепко получил здесь по морде и мы с вами находимся на берегу Нарева.

На том и порешили. А вслед за тем я из карикатуриста снова превратился в шофера. Мы сели в машину, выехали из ворот фольварка, и я лихо притормозил возле начальника штаба, стоявшего с несколькими офицерами у обочины. Он начал было объяснять спецкорам «Красной звезды», как проехать на командный пункт генерала Панова, потом махнул рукой и обратился прямо ко мне.

— Слышь, шофер, — деловито сказал он, — ехай прямо по этой дороге. Прямо и прямо. Метров через триста, где лежат побитые лошади, свернешь направо в лес. В лесу возьмешь правее, по танковой колее. Метров через двести увидишь — стоят виллиса. Там и будет ка-пе.

Не оглядываясь на своих пассажиров, я откозырнул и эффектно рванул с места. Только потом я обернулся назад, и мы все трое дружно рассмеялись. (Между прочим, свидетелем этой забавной сценки случайно стал служивший тогда в армии Б. С. Рюриков, впоследствии известный критик, редактор «Литературной газеты» и «Иностранной литературы». Когда бы мы потом ни встречались с Борисом Сергеевичем, он неизменно вспоминал этот эпизод и со смехом рассказывал о нем окружающим.)

Итак, я в точности выполнил полученные мною указания, миновал трупы лошадей, въехал в изрядно искалеченный артиллерийским огнем лес, и мы быстро нашли командный пункт Панова, оказавшийся наскоро вырытой землянкой. Увидели молодого, богатырского сложения комдива, спокойно руководившего боем, который вело его «хозяйство».

Наши войска форсировали Нарев у Пултуска, захватили плацдарм за Вислой у Пулавы и взяли предместья Варшавы. В военных действиях на этом фронте наступила пауза, присутствие спецкоров стало необязательным, и полковники начали собираться в Москву.

Мы вернулись вместе на самолете.

Эту богатую впечатлениями поездку в Польшу мне напоминает и выцветшая фотография, на которой видны двое худощавых военных, беседующих на фоне запыленного «виллиса». Этот снимок, сделанный где-то возле Треблинки, спустя много лет подарил мне поэт Евгений Долматовский, сделав на обороте надпись своим бисерным почерком:

О чем мы разговаривали,
Уже не помню, Боря.
У Вислы ли, у Нарева ли
Среди огня и горя.
Давно мы — люди штатские,
И фото пожелтело,
Но навсегда солдатскою
Зову я дружбу смело.

По странам освобожденной Европы

Первый, кого я вижу, проснувшись утром в Вене, — это... Иоганн Штраус. Да, да, это может показаться надуманным и банальным, но именно он, автор прославленных вальсов «Голубой Дунай» и «Сказки Венского леса», смотрит на меня с цветной гравюры, висящей на стене одной из просторных комнат корреспондентского пункта «Красной звезды» в Вене. Совсем недавно в Москве с огромным успехом прошел кинофильм «Большой вальс», рассказывающий о жизни талантливого композитора. И хотя исторически достоверный Штраус, изображенный на гравюре с пышными усами и бакенбардами, в ярко-красном фраке, мало похож на свое модернизированное голливудское воплощение, я с удовольствием приветствую его как доброго знакомого.

Итак, я впервые в Вене — прекрасном историческом городе, только что освобожденном от унизительного и варварского гитлеровского господства доблестью и мощью советского оружия. Известно, что немецко-фашистские войска отстаивали столицу Австрии с исключительным ожесточением и упорством. (Может быть, в этом сыграло некоторую роль и болезненное «патриотическое» самолюбие бывшего австрийца Адольфа Шикльгрубера, сменившего впоследствии свою неблагозвучную фамилию на другую — Гитлер.)

Оголяя свой западный фронт перед англо-американо-французскими войсками и фактически прекратив там всякое сопротивление, гитлеровское «оберкоммандо» перебросило на защиту Вены лучшие, отборные части и целую эсэсовскую армию. С бешенством обреченных кидались эсэсовцы в атаку на советские линии, но были опрокинуты и рассечены стальными клиньями армий Малиновского и Толбухина. Продолжавшиеся семь дней и семь ночей упорные уличные бои закончились полным разгромом врага. Советское знамя поднялось над Веной. Несколько странное впечатление производят поэтому на венских улицах горделиво-надменные фигуры фланирующих с победоносным видом офицеров союзных армий, пришедших сюда, как говорится, на готовенькое, не проливших для этого ни единой капли крови.

Нельзя пройти по городу, чтобы мимо тебя где-нибудь, оглушительно сигналя, не промчался «виллис» с американскими военными, высоко задравшими ноги на сиденье.

А вот на полном ходу летит по центральной улице целый кортеж: впереди, завывая мощными сиренами, мчатся мотоциклисты военной полиции в эмалированных белых касках с красными буквами «MP» («Military Police», — военная полиция), затем «виллисы» с белыми звездами, потом длиннющий лимузин с развевающимися по обеим сторонам огромными американскими флагами, за ним другие легковые машины с флагами поменьше, утыканные радиоантеннами и прожекторами, и в арьергарде — снова ревущая стая мотоциклистов в белых касках. Все это проносится мимо с невероятным шумовым эффектом в стиле и темпе детективного фильма. Видно, едет какое-то большое военное начальство.

В центре Вены, на старинном Шварценбергплатц высится недавно воздвигнутый величественный монумент в честь победы Советской Армии. Советский воин, опираясь на щит, держит в руке знамя. Перед памятником, на зеленой лужайке посреди площади, между четырьмя трогательными елочками стоит боевой советский танк «тридцатьчетверка». Под его сенью две могилы наших танкистов, павших на этом самом месте. К могилам часто подходят жители Вены. Сняв шляпы, они внимательно читают надписи на гранитных надгробиях.

«Theater an der Wien», то есть «Театр на Вене» (имеется в виду река Вена), стоит на набережной этого крохотного притока Дуная.

Один из старейших музыкальных театров австрийской столицы, миниатюрный, изящный, уютный, белый с золотом.

Здесь впервые шла «Волшебная флейта» Моцарта. Еще сейчас над сценой висит специально написанный к премьере «Флейты» занавес. И в этом же самом зале Бетховен дирижировал оркестром на первом представлении своей оперы «Фиделио», состоявшемся 20 ноября 1805 года. За неделю до этого в Вену вступила французская армия. Наполеон поселился во дворце австрийских императоров Шенбрунне, но завоеватель, как известно, не удостоил посещением оперу гениального композитора. Премьера «Фиделио» прошла при полупустом зале, встретив холодный и недоброжелательный прием публики, большинство которой составляли французские офицеры.

Сегодня, ровно через сто сорок лет, в «Театре на Вене» тоже идет «Фиделио». Оркестром управляет известный венский дирижер Иозеф Крипс. Звучит музыка — могучая, напряженная, драматическая. Сидящая рядом со мной женщина плачет.

Интересно, что для оформления эпизода в тюрьме использована оголенная каменная коробка театра, как когда-то у Мейерхольда.

Мы едем на футбольный матч между советской и французской армейскими командами.

Состязание происходит в Пратере, известном парке народных гуляний. Все разнообразные аттракционы Пратера лежат в развалинах, уцелело только огромное колесо-карусель. С одной стороны футбольного поля — небольшая деревянная трибуна, с другой — прямо на траве расположились зрители, главным образом солдаты союзных армий. Французы играют в изящных темно-синих футболках и элегантных кремовых трусиках с разрезиками по бокам, с кармашками для носового платка. Наши одеты попроще, и носовой платок (чего греха таить...) заменяется иногда стремительным и точным движением указательного пальца. Зато что касается игры, то тут уж, как говорится, «утирают нос» французам... Рядом с советской ложей — английская, и сидящие по соседству с нами британцы, явно болеющие за французскую команду, постепенно захвачены напористой игрой наших, хохочут от удовольствия и даже частенько аплодируют. Советские футболисты играют корректно, хотя время от времени, говоря спортивной терминологией, применяют законные «силовые приемы». Тогда с поля слышится умоляющий тенорок нашего капитана: «Ребята, ребята, аккуратнее!..» Французы отчаянно трудятся, но не могут забить ни единого гола.

Позади нас большая группа французских офицеров непрестанно орет: «Allez, allez!» и «Donnez boire!» *, но эти азартные возгласы мало-помалу стихают и сменяются унылым молчанием. Матч заканчивается со счетом 7:0. Конечно, не в пользу французской команды...

Однако мы уже здесь третий день, а еще не видели Венского леса, куда нас властно зовут воспоминания о «Большом вальсе», о молодом обаятельном Штраусе, о вскружившей ему голову красивой певице, о симпатичном старичке извозчике и его кобыле Рози, о том, как... впрочем, не буду пересказывать содержание знаменитого фильма, а скорее в путь!

Расспрашиваем у прохожих дорогу, и тут выясняется, что так называемый Венский лес занимает огромную территорию, охватывая пол-Вены, и нас просят уточнить, каким именно местом мы интересуемся. При этом все очень искренне рекомендуют посетить некий Каленберг. Но мы решаем сначала поехать в Шенбрунн. Надо сказать, что если с Венским лесом связаны музыкально-кинематографические ассоциации, то слово

* «Давай, давай!» и «Дайте им пить» (франц.)

«Шенбрунн» у меня лично вызывает в памяти хорошо известный в годы моей юности спектакль «Орленок» по одноименной пьесе Ростана и трогательно-сентиментальный образ герцога Рейхштадтского — сына Наполеона.

Мы едем улицами венских предместий со старинными, словно сошедшими с гравюр XVIII века, домиками под высокими черепичными кровлями.

За массивной чугунной оградой панорама Шенбруннского дворца. Однако войти в него нельзя — в нем разместилось командование британских

52. Смена дорожных указателей. 1944



вооруженных сил, о чем мне сообщает английский сержант в синем берете неслыханных размеров, строго указывая на вьющийся над дворцом флаг Соединенного королевства. Все же, видимо, из уважения к «некоторому участию» советских войск во взятии Вены, он любезно разрешает нам посмотреть знаменитый дворцовый парк с прелестным, расположенным на невысоком холме павильоном «Глориетта».

Парк, действительно, замечательный. Это произведение искусства, в котором материалом для художников послужили не холст и краски, не мрамор и бронза, а сама природа — деревья, кустарники, цветы, всевозможные зеленые насаждения, образующие сложную композицию аллей, площадок, цветочных ковров и дорожек, то расходящихся лучами, то пересекающихся в красивых перспективах и неожиданных сочетаниях, создающих очаровательные уголки и виды. На лужайках — деревья-шары, деревья-пирамиды, деревья-конусы. Поразительны терпение, настойчивость и мастерство, с которыми здесь подчинили и выдрессировали растительный мир. И вместе с тем в зрелище вымуштрованной, подтянутой, казарменно надраенной природы есть что-то нехорошее, вызывающее внутренний протест. Почему-то жалко становится эти могучие столетние деревья, которых заставили принять какие-то придворные угодливые позы, не свойственные им искусственные геометрические формы, унизительно вытянули, перекроили, сплющили.

Ну, а теперь, наконец, в Венский лес! Мы долго колесим по пригородам Вены. После бедноватых, закопченных домов фабричных предместий попадаем в заросшие густой зеленью кварталы нарядных вилл и особняков и в конце концов выезжаем на так называемый «серпантин» — вымощенную аккуратной брусчаткой спиральную дорогу. Каждый виток «серпантина» открывает живописные ландшафты, один лучше другого, и дорога незаметно приводит нас к Каленбергу (в точном переводе «Лысая гора») — большой ровной площадке, откуда открывается изумительный вид на Вену. В ресторане современной архитектуры с уютными террасами много празднично приодевшейся публики (сегодня воскресенье). Кельнеры подают слабенькое пиво и абсолютно несладкий лимонад. Жители Вены, сидя за столиками, потягивают напитки и не спеша едят принесенный с собой хлеб, тщательно нарезая его миниатюрными аккуратными кусочками. (Продукты в Вене выдают строго по карточкам.)

Рядом с рестораном — довольно простенькая часовня. На ней укреплена мемориальная доска, гласящая, что «с этого места, утром 11 сентября 1683 года войска короля Яна Собесского выступили на бой за освобождение осажденной турками Вены». Полюбовавшись с «Лысой горы» городом и выпив за столиком пива (хлеба с собой не догадались захватить), мы расстались с «Венским лесом».

«Четырехсторонность» управления Веной проявляется в самых разнообразных областях жизни города — политической, административной, продовольственной. Она вошла и в быт населения.

Театр-кабаре «Централь Паласт». Публика сидит за столиками и на диванах, именуемых ложами. Благообразные кельнеры разносят жиденькое пиво в массивных бокалах, а к концу вечера появляются «коктейли» — кисленькая фруктовая болтушка со слабым запахом вина. Однако некоторые зрители из союзных армий явно навеселе. Программа открывается джазом, после чего на сцене появляется высокая брюнетка с большим белозубым ртом. Она приветствует публику «четырехсторонне» — на немецком, английском, французском и русском языках («Сдрастуйте, товаричи!») и бойко произносит вступительный конферанс, в основном на ту тему, что жители Вены получили возможность легко, просто и, главное, бесплатно путешествовать из страны в страну: достаточно пройти один квартал от «Централь Паласта», чтобы из Франции попасть в США, а еще через две улицы — из США в Англию.

Потом начинается программа. На подмостках чередуются певцы, жонглеры, фокусники, роликобежцы. Все это подается весело, непринужденно, в хорошем темпе. Далее идет большое музыкальное обозрение «Reise durch die Welt» * — монтаж из национальных мотивов разных стран. Начинается с Венгрии (чардаш), потом следует Италия («О, Мари!»), Англия («Типперери») и т. д. Мы с интересом ждем своей очереди. Наконец девица-конферансье объявляет, что мы прибываем в Россию, «страну необъятных просторов, лесов и полей». Джаз берет несколько аккордов «Эй, ухнем!», после чего поднимается с места аккордеонистка и поет:

Ветшерний сфон, ветшерний сфон!
Как много тум, ветшерний сфон!

Однако это не все... Конферансье объявляет, что «после песен старой России будут исполнены песни новой, индустриальной России, страны новой большой культуры». Звучит танго И.Дунаевского из кинофильма «Веселые ребята», и та же аккордеонистка поет:

Сьерце, тьебе не хочется покоя,
Сьерце, как харашо на свьете шить...

Зрительный зал настроен доброжелательно и благодушно, охотно аплодирует всем номерам и мелодиям.

Но наибольший успех имеет исполнитель «интимных песен» — пожилой мужчина с седеющей шевелюрой. Сначала он под неумолкающий смех исполняет юмористические куплеты, пересыпанные непонятными для нас жаргонными венскими словечками, а под конец поет песню примерно такого содержания: «Мы проходим сейчас по нашей бедной Вене, видим ее разрушенные дома, изуродованные площади, улицы и переулки и говорим: «Милая наша Вена, что с тобой сделали? Это не та Вена, какой ее создали бог и люди, а только то, что от нее осталось...»

— Но мы верим, — патетически повышает голос певец, — что Вена снова станет Веной, и для этого все мы должны работать не покладая рук!

Песня эта, видимо, затрагивает у венцев самые больные струны. Зал гремит рукоплесканиями. Мы тоже усердно хлопаем. Многие поворачиваются в нашу сторону, чтобы посмотреть, как реагируют советские офицеры, и, довольные, улыбаются, переглядываясь между собой. Вечер закончен. Зрители поднимаются со своих мест, но за одним из столиков сильно подвыпивший француз с компанией девиц не желает покидать зал. Перед ним немедленно вырастает «четырехсторонний» комендантский патруль: долговязый американский «эмпи» в лакированной белой каске, англичанин в огромном берете, француз в шикарном кепи и советский лейтенант в скромной фуражке. После некоторого сопротивления француз ворча удаляется со своими дамами.

Ровно через двадцать лет я снова увидел Вену, на этот раз как турист, а не как военный корреспондент. Должен засвидетельствовать, что уверенность исполнителя «интимных песен» полностью оправдалась: от былых разрушений не осталось и следа. Улицы, тогда изуродованные обгорелыми развалинами домов, стали нарядными, лощеными, шикарными. Освобожденная от гитлеровского рабства Советской Армией, получившая возможность мирного процветания, благодаря миролюбивой и принципиальной политике СССР, «Вена снова стала Веной».

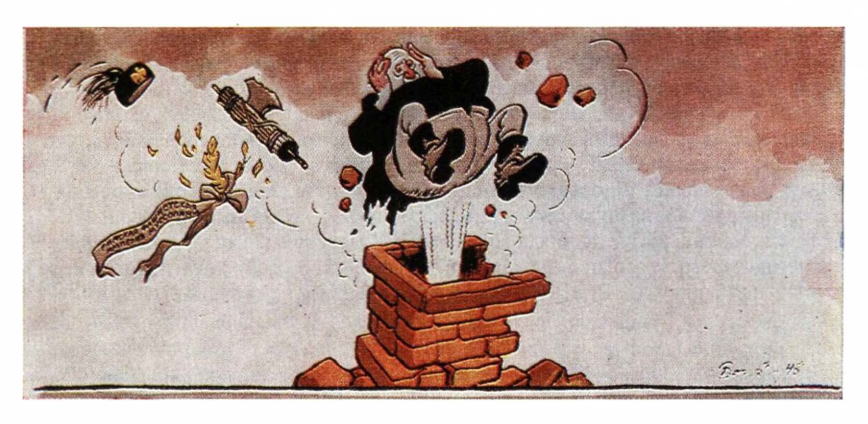
Ясным холодным утром мы покидаем Вену — город, очарованию которого невозможно не поддаться, который и сейчас, пройдя через горнило уличных боев, сочетает в себе изящную красоту Парижа с солидной респектабельностью довоенного Берлина.

* «Путешествие по свету» (нем.)

Проезжаем основательно разрушенные окраины, разбомбленные дома, иссеченные пулеметами стены. Асфальтовое шоссе, красиво обсаженное на всем его протяжении могучими ветвистыми деревьями, испещрено наспех засыпанными воронками, на которых то и дело подскакивает наш «Адлер» — малолитражная машина, предоставленная в распоряжение корреспондентов «Красной звезды» майора М.Леснова и майора Б.Ефимова для дальнейшей их поездки. На «Адлере» я замечаю техническую новинку: рычаг переключения скоростей смонтирован на руле. Мое

53. Под Курском аукнулось... 1945





автолюбительское сердце встревожено. Надо как-нибудь попробовать, думаю я, но, памятуя поездку в Польшу на «виллисе», пока помалкиваю, рассчитывая, что соответствующий момент настанет в будущем. И, кстати сказать, не ошибся.

Дорога ведет через маленькие симпатичные городки с уютными каменными домиками под черепичными кровлями, часто ныряет под своды готических ворот со средневековыми башенками и гербами. Один из городков расцвечен красными флагами, в центре которых проступает более яркий, невыцветший след споротого круга со свастикой.

По понтонному мосту через бурно текущие воды глинисто-желтого (совсем не «голубого») Дуная, мимо разрушенных и искореженных портовых построек, груд обгорелого железного лома и кирпичей мы въезжаем в Братиславу.

Проезжая мимо вокзала, останавливаемся возле густой толпы людей и наблюдаем любопытную картину почти вавилонского «смешения языков». Вот группа югославских солдат возвращается из немецкого плена на родину. Тут же кучка возвращающихся домой румын в немецкой форме, но с национальными румынскими розетками на груди. Болгарин, наоборот, пробирается в Германию искать угнанную гитлеровцами жену. Пестрое, невообразимое сплетение человеческих судеб, толчея демобилизованных, командированных, отпускников, выздоравливающих, перемещенных лиц, столкнувшихся на этом отдаленном перекрестке Европы. К тому же сложнейшую неразбериху создала здесь денежная путаница. У людей на руках австрийские шиллинги, венгерские пенго, оккупационные немецкие марки, чешские (пражские) кроны, словацкие кроны, на которых наклеена почтовая марка с портретом президента Массарика, и словацкие кроны, на коих этой марки нет. Здесь, в Братиславе, имеют хождение только кроны с Массариком. Официальный размен валюты очень сложен и практически почти невозможен, что стихийно привело к образованию самодеятельной денежной биржи. Происходит это совершенно открыто. «Кто едет в Венгрию?» — вопит личность в больничном халате, из-под которого виднеются тощие ноги в кальсонах, и потрясает свертком измятых банкнотов. «В Польшу, в Грецию?..» На ломаных языках чуть ли не всех европейских стран стоит галдеж над этим пестрым торжищем.

...С особым интересом я жду свидания с Будапештом.

И не только потому, что со школьной скамьи я знаю о его репутации как одного из самых красивых и живописных городов Европы. Люди моего поколения помнят, с каким волнением советские люди следили за газетными сообщениями о героической и неравной борьбе Венгерской советской республики, задушенной белогвардейцами и интервентами в 1919 году. Кто не знает фотоснимка, на котором радостный, улыбающийся Ленин беседует на первомайской Красной площади с прилетевшим в Москву венгерским военным комиссаром Тибором Самуэли? Многим хорошо запомнился яркий, драматический очерк «Что могло быть», написанный советским журналистом, который, обманув бдительность хортистской жандармерии, смог в 1927 году побывать в Будапеште и дать выразительную картину скованного белым террором города. Этим журналистом был Михаил Кольцов.

Почти двадцать лет спустя, в сгущающихся сумерках осеннего дня мы въезжаем в вырванную из фашистских лап столицу Венгрии. По крутым, разбитым снарядами улицам высокого берега Буды спускаемся к мосту через Дунай и попадаем в широко раскинувшийся до самого горизонта Пешт. Немного понадобилось времени, чтобы убедиться, что молва о величественной красоте Будапешта нисколько не преувеличена. Она изумляет и сейчас, когда город тяжело изранен железом и сталью, обожжен огнем, искалечен злой рукой фашистских преступников. Лежат в руинах многие из красивейших зданий Будапешта, великолепные вокзалы

зияют провалами огромных стеклянных крыш. Мрачным обугленным остовом поник огромный королевский дворец... — ведь гитлеровцы дрались за Будапешт еще более свирепо и отчаянно, чем за Вену.

Но широкие проспекты Пешта не утеряли пышной красоты своего великолепного ансамбля. Оживленные магистрали Терез-керут, Эржибет-керут и Йожеф-керут плавным полукольцом опоясывают городской центр. Стройные ряды густолиственных деревьев шелестят на прямой, как стрела, перспективе Андраши-ут, вливающейся в огромную площадь Героев, где эффектная колонна Тысячелетия Венгрии окружена гордо гарцующими на конях бронзовыми королями и полководцами. Внушительные фасады аристократических кварталов Будапешта демонстрируют настоящую архитектурную «энциклопедию» — нарядные особняки и дворцы, здания банков, магазинов, торговых фирм. Роскошные, богатые, монументальные. Бесчисленные статуи, затейливые фронтоны, чередование вычурных аркад, башен и прихотливых орнаментов, причудливое смешение классики, готики, барокко, Ренессанса — все это эклектическое сочетание различных стилей, которое в начале нашего века само стало своеобразным стилем, получившим название «сецессион».

Одно из самых великолепных сооружений Будапешта — построенный Имре Штейндлем венгерский парламент — необъятная, раскинувшаяся на дунайской набережной каменная громада, в которой готические мотивы переплетены с мавританскими. Снаружи парламент поврежден, золоченый купол его залатан досками, но внутренние апартаменты остались в целости, сохранив все богатство вычурной отделки, лепки, раскраски, несметное количество цветной скульптуры. С особенно торжественной феодальной роскошью отделан главный зал заседаний. По карнизам розовомраморных стен вьется сложное золотое кружево. Раззолоченные витые колонны лож и галерей плавно переходят в мощные золотые балки, сливающиеся в центре купола, образуя грандиозную золотую люстру.

Скорейшее возрождение Будапешта — самое горячее и страстное желание венгерского народа. Тысячи рук упорно и самоотверженно работают над этой нелегкой задачей, и медленно, но непрестанно идет процесс выздоровления израненного города. Приводятся в порядок бульвары Пешта, узкие улицы Буды очищаются от железных пятнистых гитлеровских «пантер» и «фердинандов». На набережной Дуная группа салашистов под присмотром часовых уныло разбирает заржавленный танковый лом. Стучат молотки плотников, чинятся и ремонтируются витрины магазинов. Уже многие здания щеголяют свежеоштукатуренными фасадами, у частично разрушенных домов изобретательно удаляются поврежденные перекрытия и заменяются новыми. Их лечат и бинтуют, как больных людей, и приятно видеть дом, который снова вступает в строй, как выздоровевший человек, отбрасывая в сторону ненужные костыли лесов.

Мы переезжаем Дунай по Эржибетхиду (мосту Елизаветы), полупогруженному в воду, но искусно приспособленному нашими саперами для пешеходного и автомобильного движения. Нашей очередной целью является посещение так называемой «Турецкой крепости» в Буде. Пыхтя и задыхаясь, мы с военным корреспондентом «Правды» поэтом Леонидом Первомайским добросовестно преодолеваем крутой, перепаханный снарядами и засыпанный осколками склон. У старинных каменных бастионов нам преграждает путь надпись «Дальше идти опасно». После некоторого колебания мы пренебрегаем этим предостережением и вознаграждены за это изумительным видом на Пешт.

Все мосты через Дунай, соединявшие обе части венгерской столицы, взорваны отступавшими гитлеровцами.

Особенно грустно выглядит знаменитый Цепной мост. Построенный в 1849 году, он десятилетиями считался чудом техники, был гордостью Будапешта, его прославленной достопримечательностью.



54. В освобожденной Вене
Слева — Б.Е.Ефимов. 1945

На высоком берегу Дуная передо мной вдруг встает картина далекого прошлого: я вижу себя на 25 лет моложе, на высоком берегу Днепра у другого Цепного моста, также бывшего гордостью своего города — родного мне Киева — и также варварски искалеченного чужеземными захватчиками. Рассказывают, что здесь, в Будапеште, мост был взорван гитлеровцами подло, злодейски, внезапно, среди бела дня, когда его заполняла густая движущаяся толпа мирных жителей.

...Большая фотография разрушенного Цепного моста висит в черной траурной рамке на стене просторного кабинета в одном из домов на улице Андраши. Неопровержимой документальной уликой одного из бесчисленных фашистских преступлений выглядит это фото. У другой стены, под портретом славного венгерского поэта и революционера Шандора Петефи сидит за огромным письменным столом маленький спокойный человек с черными усами и тронутыми сединой волосами. Это — бывший подпольщик, коммунист, ныне начальник будапештской политической полиции. Он предъявляет фотографию взорванного моста пойманному преступнику.

Ференц Салаши мрачно отворачивается от траурного снимка. Ему нечего сказать, нечем оправдаться. Он сидит, блуждая вокруг воспаленным взглядом. Ему, без сомнения, очень хорошо знакомо это комфортабельное помещение — здесь был в недавнем прошлом собственный его, Салаши, кабинет. Ведь мы находимся в здании бывшего центрального штаба его, Салаши, хунгаристской партии, и не за этим ли самым столом недолговечный фюрер Венгрии сочинял свои напыщенные приказы и воззвания?!

Я разглядываю Салаши с любопытством: не так давно, когда по воле Гитлера он вынырнул на поверхность политических событий, возглавив, вместо впавшего в немилость старого Хорти, фашистскую власть в Венгрии, мне приходилось рисовать сию личность в карикатурах. Удостоверяюсь, что подлинный Салаши не имеет ничего общего со своим условным сатирическим изображением (что, кстати сказать, не имеет ни малейшего значения для смысла и политического звучания карикатуры). Если карикатурный Салаши был пузатым коротышкой с лихо закрученными усиками, то реальный главарь хунгаристской партии — это представительный, гладко выбритый мужчина с импозантной актерской внешностью и ухватками опытного митингового оратора. Одет он в темный пиджак, зеленую спортивную рубашку с расстегнутым воротом и бриджи. На ногах высокие шнурованные сапоги. Шнурки, впрочем, вынуты.

Многословно и туманно разглагольствует он о хунгаризме, фашизме, нацизме, выкладывая свои идеологические воззрения настолько подробно и длинно, что допрос приобретает довольно скучный, «теоретический» характер. Задается, например, вопрос: верил ли он, Салаши, в победу гитлеровской Германии и когда он эту веру потерял? Салаши пускается в сложнейшие «философские» умствования о различии между возвышенной, эмоциональной «верой» и прагматической «уверенностью» в конкретных практических целях, о диспропорции между «трансцендентной» интуицией Гитлера и «равнодействующей» реального соотношения сил, корректируемой неуправляемым сцеплением случайностей, и т. д. ....

«Как странно, — думаю я. — Этот человек совсем недавно встречался с Гитлером, преданно смотрел ему в глаза, был счастлив, что фюрер оказывает ему доверие, вручает власть в Венгрии. А теперь сидит в собственном кабинете и пытается чем-то оправдаться перед совершенно неведомыми ему людьми в советской военной форме. Интересно, за кого он нас принимает? За следователей? Разведчиков? Впрочем, сейчас ему не до этого... Понимает ли он, что дни его сочтены? Или на что-то надеется? Боже, он все еще говорит... Дай-ка и я задам ему какой-нибудь вопрос».

Вежливо извинившись, я прерываю плавно текущую речь Салаши и задаю вопрос, когда он в последний раз видел Гитлера.

Салаши недовольно останавливается, собирается с мыслями и переключается на новую тему. Так же подробно и многословно, с бесчисленными отступлениями, которые наш переводчик, видимо, просто опускает, он рассказывает о своем приезде в ставку фюрера и встрече с Гитлером и Риббентропом. Не забывает сообщить даже меню обеда, которое поразило его аскетической скромностью: овощной суп, консервированное оленье мясо с горохом и черный кофе с одним(!) бисквитом. Приходится снова прервать неутомимого оратора: я спрашиваю, как он сегодня, после поражения и самоубийства Гитлера, расценивает его стратегические таланты и пресловутую трансцендентную интуицию.

Следует длиннейшее и мутнейшее рассуждение о том, что необходимо понимать различие между «руководителем войны» и «руководителем вооруженных сил», каковые качества сочетались у Гитлера, видите ли, не в стабильном, а «диффузионном» соотношении. Не следует также упускать из виду, — разглагольствует Салаши, — что современная война...

Мы уже полностью увяли, наш добровольный переводчик, известный венгерский художник, майор Советской Армии Шандор Эк совершенно взмок, а Салаши все говорит, говорит, говорит...

«Допросу» не видно конца, так как на самый простой вопрос Салаши отвечает не меньше 20—30 минут. Я начинаю понимать, что он просто-напросто оттягивает неприятный момент возвращения в свою одиночную камеру: твердая рука демократической власти держит фашистских преступников отнюдь не в санаторных условиях, как это практикуется в западных зонах. Со вздохом облегчения расставшись, наконец, с Салаши, мы спускаемся в подвальный этаж и обходим камеры других, недавно доставленных в Будапешт предателей и палачей венгерского народа, сидящих в тех же «апартаментах», куда они раньше заключали антифашистских борцов.

Крепкий парень в простой спортивной куртке отодвигает тяжелые засовы, отпирает узкие, обитые чем-то мягким двери, мы заглядываем в сводчатые камеры и буквально лицом к лицу сталкиваемся с их обитателями. Тупо и безжизненно смотрят на нас вчерашние «столпы» фашистского режима — министры и генералы. Одна из камер пустует — жилец ее, бывший премьер-министр Бардоши, на допросе. Возвращаясь наверх, мы заглядываем туда. Багрово разрумянившийся старикан с лисьей физиономией и пышной седой шевелюрой бойко диктует свои показания прямо на машинку. Время от времени он с разгону спотыкается о хмурые вопросы и реплики молодого черноволосого следователя в белом свитере. Тогда водянистые глазки Бардоши начинают растерянно бегать по сторонам, тонкие пальцы конвульсивно сжимаются и разжимаются.

Мы выходим на улицу. Уже сгущаются сумерки, но еще отчетливо видны расклеенные на стенах домов многочисленные предвыборные плакаты. Больше других привлекает внимание большой лист, сделанный в суровой и простой реалистической манере: человек в рабочей блузе, твердо сжав губы и напрягая могучие мускулы, вырывает с корнем чудовищный сорняк реакции и спекуляции. Трудно более образно и выразительно символизировать непреклонную волю венгерской народной демократии.

Этот плакат сделан рукой замечательного художника-коммуниста Шандора Эка, человека интересной и трудной судьбы. Сын венгерского рабочего класса, он с юных лет принял участие в революционной борьбе, на службу которой он отдал свой незаурядный талант плакатиста и сатирика. В годы фашистской реакции он жил и работал в Советском Союзе под именем Алекса Кейля. Мы частенько встречались с ним до войны в Москве, а сейчас неожиданно столкнулись в Будапеште, куда вчерашний политэмигрант пришел в рядах Советской Армии, освободившей его родину.

Пограничные формальности свелись к тому, что мы приветливо откозыряли югославскому «войнику», который бегло ознакомился с редакционным удостоверением «Красной звезды». Остановка у шлагбаума длилась ровно столько, чтобы навести объектив «лейки» на доску: «Демократска Федеративна Югославия».

Непостижимые в своей загадочности надписи на венгерском языке остались позади. На первом же чисто выбеленном домике знакомыми русскими буквами выведено красной краской достаточно ясно и понятно: «Смрт фашизму, слобода народу!» И рядом — красная звезда.

В облике югославской столицы есть много знакомого. Местами она удивительно напоминает Киев, Харьков, Одессу. В городе много зелени, бульваров. Он широко, свободно распланирован. В центральных кварталах вокруг площади Теразии — большие здания современного типа, уни-

вермаги, отели. Много кинотеатров (по-здешнему — биоскопы). Проносятся выкрашенные в красный цвет трамвайчики. На каждом четкая надпись: «Смрт фашизму, слобода народу». Вход и выход в любую дверь на любую сторону. Хочу платить за проезд, но кондуктор улыбается и отрицательно качает головой: «Русски официри не платно»... В здании Народного музея сегодня в присутствии маршала Тито, членов правительства, депутатов Народной скупщины и генералитета торжественно открывается большая «изложба» — Выставка народно-освободительной войны. Под высокими белыми сводами горячо звучат слова благодарности за неоценимые заслуги Советского Союза в освобождении югославской земли.

Обходим залы. Я смотрю не столько на экспонаты выставки, сколько на ее посетителей — загорелых пышноволосых девушек с пистолетом у пояса и плечистых юнаков в пилотках с красной звездой, как бы сошедших с висящих на стендах фотографий, запечатлевших эпизоды антифашистской борьбы. Те же большие выразительные глаза, красивые орлиные носы, твердые подбородки. Это они, бойцы-партизаны — молодые и старые, плохо вооруженные, босые и голодные — выдержали и отразили семь вражеских «оффензив», семь бешеных натисков отборных гитлеровских дивизий, усиленных пестрой фашистской сворой усташей Недича и Михайловича. Выдержали и дождались помощи Советской Армии.

Группа бойцов со смехом разглядывает фотографию пресловутого Драже Михайловича. Со снимка смотрит дикая физиономия изменника, заросшая до самых глаз косматой щетинистой бородой. На крючковатом носу круглые роговые очки. На голове колпак с четническим знаком. Известно, что Драже Михайлович и его головорезы дали обет не стричься и не бриться до возвращения короля в Югославию. Легко представить себе горе парикмахеров, для которых навсегда потеряны столь выгодные клиенты...

Холуйское пресмыкательство предателей родины перед их берлинскими хозяевами зафиксировано нелепой закорючкой собственноручной подписи Адольфа Гитлера: в стеклянной витрине лежит большой лист эрзац-пергамента, на котором «фюрер» извещает своих верных слуг — усташских генералов Славо Штанцера и Артура Густавича — о награждении их орденами «Германского орла». Ордена, своевременно снятые с генеральских грудей, лежат тут же.

Идем дальше. Можно подумать, что фашистские оккупанты специально позаботились доставить народному правосудию наиболее полный и неопровержимый материал о своих злодействах. С маниакальным усердием снимали гитлеровцы сцены бесчисленных казней и расправ над партизанами. Это страшные, незаменимые человеческие документы: фотоаппараты беспристрастно запечатлели и отвратительные садистские гримасы палачей, и мужественные одухотворенные лица народных героев, не опускающих глаз перед топором и виселицей.

Аккуратные зеленые афиши на немецком и сербском языках устанавливают за «преступления» партизан точную меру, своего рода кровавый «прейскурант» наказания: за каждого убитого немца — 100 югославских жизней, за каждого раненого — 50. Например: 21 октября 1941 года в Крагуеваце в результате подрыва немецкого воинского поезда убито 10 и ранено 26 офицеров и солдат германской армии, вследствие чего — извещает немецкий комендант — расстреляно 2300 жителей Крагуеваца. В селе Скела совершено нападение на немецкую автомашину. Никто не пострадал, но зеленая афиша сообщает: «50 жителей Скелы повешены, после чего село сожжено и сравнено с землей».

Ответ на эти неистовства палачей дан рукой неизвестного художника-патриота. Всего пять рисунков. Они сделаны яркими красными штрихами на глубоком черном фоне и изображают неустрашимых героев-партизан. Эпическая надпись гласит:

В крови мы сдружились
В крови мы окрепли
В крови мы победили.

И прекрасным апофеозом у выхода с выставки возвышаются над пестрой грудой поверженных гитлеровских штандартов, усташских и четнических флагов, мундиров, значков и орденов победоносные красные знамена с пятиконечной звездой.

Мы едем к памятнику Неизвестному юнаку, что торжественно высится на вершине Авалы — поросшей курчавым зеленым лесом горы в полутора десятках километров от Белграда. Нам сопутствуют в этой поездке два молодых югославских генерала, оба смуглолицые, худощавые и подтянутые, у обоих на серо-стальных кителях ордена Партизанской звезды 1-й степени и рядом — ленточка советского ордена Кутузова. У городской заставы нашу машину останавливает военный патруль. Золотые генеральские ромбы не производят на солдат ни малейшего впечатления, но, увидев мои майорские погоны, они козыряют и разрешают следовать дальше. Один из наших генералов, высокий, рано поседевший черногорец по имени Арсе, заразительно хохочет. «Вот как у нас обстоит дело, — говорит он, — раз русский, значит всюду можно, а меня без пропуска вернули бы обратно».

Машина с бешеной скоростью мчится по опоясывающей Авалу асфальтовой спирали. Она приводит нас на обширную, вымощенную камнем площадку, откуда величественная гранитная лестница с монументальными бронзовыми светильниками подымается к темно-серому гранитному мавзолею. Восемь гигантских женских фигур, изваянных из мрамора, — сербка, хорватка, черногорка, словенка, боснянка, герцеговинка, македонка и далматинка, — держат на себе полированную кровлю над скромной солдатской могилой. Мавзолей не замкнут четырьмя стенами — это, собственно, открытая арка, сквозь которую смотрит голубое южное небо, а с далеких, но хорошо видимых отсюда балканских вершин прилетает теплый ветерок, шевелящий цветы и ветви многочисленных венков, ленты национальных флагов.

Бывший дворец принца-регента, так называемый «Белый дом», теперь резиденция главы правительства. Мы входим в красивый вестибюль, откуда нарядные адъютанты приглашают нас в гостиную, где мы прежде всего видим двух респектабельных джентльменов в элегантных фраках с крахмальными манишками. Это, оказывается, не члены дипломатического корпуса и не приезжие английские лорды, а... популярные артисты московской эстрады Л.Миров и Е.Дарский: вместе с нами, корреспондентами газет, на прием к премьер-министру Броз Тито приглашена гостящая в Югославии советская концертно-гастрольная группа. Приезжают наш посол, глава военной миссии, их жены, другие члены советской колонии в Белграде, и вскоре в черном штатском костюме к гостям выходит маршал Тито.

В двухсветном беломраморном зале, где стоит огромный ярко-красный рояль с золотыми украшениями, советские артисты дают концерт. Отлично звучат голоса солистов, скрипичные пьесы, великолепно танцует наша известная эстрадная пара — Анна Редель и Михаил Хрусталев, остроумно ведут концерт Миров и Дарский. Комизм их парного конферанса построен на забавном приеме: Дарский изображает опытного, уверенного в себе конферансье-учителя, а Миров — начинающего, старательного, но робкого и бестолкового конферансье-ученика.

На другой день мы на «приеме» в чисто выбеленной хате старого крестьянина Велемира Макаровича. Мы сидим за простым деревянным столом на увитом плющом крыльце и слушаем неторопливый рассказ хозяина о том, как в дни гитлеровского террора здесь, в этой самой хате укрывалась от гестаповских ищеек семья одного партизанского команди-

ра. Тут же за столом сидит и этот самый командир, молодой черноволосый генерал, посмеиваясь и попивая вместе с нами свежее виноградное вино. Степенно покуривая длинные трубочки, принимают участие в беседе и трапезе соседи, пришедшие поглядеть на приезжих московских людей. Затем все дружно подтягивают партизанские песни, которые запевают две симпатичные девушки — Нада и Ярушка.

Потом, сквозь залитые лунным светом виноградники мы ходили на крутой берег Дуная смотреть место, где партизаны внезапным и дерзким налетом овладели вооруженным пароходом усташей. Руководил этой смелой операцией тот же молодой черноволосый генерал, с которым по этому поводу мы еще раз чокнулись тяжелыми глиняными кружками.

...На площади Теразии под яркими балканскими звездами шумит, бурлит народное «коло».

Изумительное зрелище! Крепко взяв друг друга за плечи, юноши и девушки ритмично кружатся сначала медленным, потом все более и более убыстряющимся хороводом, замыкая в веселом своем кольце лихих танцоров-одиночек, неутомимо показывающих свое искусство удалой пляски.

Коло размножаются, вырастая одно из другого, сходясь и расходясь, сплетаясь и расплетаясь, накатывая и откатывая, как волны морского прибоя — вот их уже два, четыре, пять, десять... И вот их уже не счесть, и уже центральная площадь столицы стала тесной для этой жизнерадостной задорной молодежи, над головами которой звонким многоголосым хором взлетают слова дружбы и братства.

Москва — Белград!
Москва — Белград!

Для сегодняшнего молодого читателя, знающего Болгарию как твердо ставшую на социалистический путь страну народной демократии, странно прозвучат, наверно, такие строки из моих путевых заметок:

«Противники Отечественного фронта торгуют любым недоброкачественным политическим товаром, занимаются оптовыми операциями по части клеветы, лжи и дезинформации, спекулируют на экономических и хозяйственных трудностях... Оппозиционная печать охрипла, совершенно свободно «доказывая», что в Болгарии «нет свободы». Оппозиционные политиканы лезут вон из кожи, клевеща на демократическое правительство и требуя его отставки. Они вопят, что страна гибнет, и грозят болгарскому народу «вмешательством Запада»...»

К этому следует добавить, что враги народного строя в Болгарии не только грозились на словах, они пускались и на весьма подлые дела.

Нам сказал редактор армейской газеты Исаев:

— Сегодня вечером Илья Эренбург приезжает. Из Румынии.

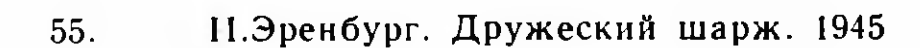
Мы с Лесновым переглянулись.

— Илья Григорьевич приезжает? Так надо обязательно его встретить! Куда он денется вечером, прямо с вокзала? Да и старику будет приятно увидеть на перроне знакомые лица.

Нам рисуется умилительная картина: на безлюдный перрон софийского вокзала выходит из вагона Илья Эренбург, тоскливо оглядывается вокруг, и вдруг — о, радость! — к нему подходят свои родные «краснозвездовцы», заботливо усаживают в машину и везут в свое офицерское общежитие, где и устраивают на ночлег.

Условливаемся с Исаевым встретиться в центре и вместе поехать на вокзал. Вечером, в ожидании Исаева, мы прогуливаемся по ярко освещенным луной улицам Софии среди густой толпы, фланирующей между

парламентом и университетом. Слышны отдаленные взрывы. Кто-то кому-то объясняет, что это рвут скалы для постройки дороги. Мы присаживаемся отдохнуть в сквере, и в это время из уличного репродуктора раздается громкий голос, предлагающий избрать почетный президиум собрания. Называются имена руководителей братских коммунистических партий, что встречается долгой овацией. Где-то, видимо, происходит большой митинг. Взрывы тем временем продолжаются, не привлекая, впрочем, особого нашего внимания.


55. И.Эренбург. Дружеский шарж. 1945



Наконец, подъезжает «виллис», из которого выскакивает невероятно возбужденный Исаев.

— Вы знаете о событиях?

— О каких?

— Совершена крупная диверсия!

— Как? Эти взрывы... Разве это не для постройки дороги?

— Какое там!.. Летят на воздух склады боеприпасов.

Толкая друг друга, мы лезем в машину. По пути Исаев рассказывает: на восемь часов вечера был назначен большой митинг Отечественного фронта, где должен был впервые выступить недавно приехавший в Софию Василь Коларов. Без пятнадцати минут восемь раздался первый взрыв, и вот уже около часа полыхают артиллерийские склады.

По широкой улице Царь Фердинанд мы выезжаем за город и попадаем на шоссе, ведущее в лес. Тут нас останавливает болгарский патруль.

— Братушки, дальше ехать нельзя. На шоссе летят осколки снарядов. Опасно. Поворачивайте обратно.

— Ерунда! — в азарте кричит Исаев. — Проскочим!

Мне не очень улыбается перспектива получить осколок болгарского снаряда в бок, но возражать не приходится. Мы мчимся на максимальной скорости по шоссе, устремив взоры направо, где ревет чудовищный костер, на огненном фоне которого еще более ярким, ослепительным пламенем вспыхивают клокочущие взрывы. Это похоже на извержение вулкана.

— Жми, Лаврентьев! — орет Исаев.

Лаврентьев жмет. Мы проскакиваем самый опасный участок, и нас останавливает другой болгарский патруль. Весь лес оцеплен войсками и полицией. Беспрерывно сигналя, несутся машины, броневики, мотоциклисты, бегут саперы в стальных касках. Даже проносится на рысях отряд болгарской кавалерии. Видимо, все пришло в движение. Демократическая власть не дает себя запугать. Диверсанты получат по заслугам!

Мы едем обратно и снова на полном ходу наблюдаем ревущий огненный кратер. Страшное зрелище!

Несмотря на весь этот переполох, мы решаем встречать Эренбурга («старику будет приятно...» и т. д.). Тем более что, как выяснилось, поезд запаздывает и прибудет в Софию ночью. Нам снова рисуется умилительная картина: на ночной перрон робко выходит одинокий Эренбург и вдруг — о, радость! — и т. д.

А вот что произошло в действительности.

В здание вокзала мы пробились с огромными усилиями сквозь густую толпу, запрудившую всю привокзальную площадь. Перрон и платформы были забиты тысячами людей, над головами которых флаги, приветственные плакаты, транспаранты различных общественных организаций. Среди них — Общество по борьбе с расизмом «Иля Еренбург» и другие. Несмотря на поздний час, народ все прибывает, и железнодорожное начальство вынуждено закрыть доступ на вокзал. Недовольство, вопли, столпотворение. Наконец, прибывает поезд. Эренбурга, приехавшего в отдельном вагоне, встречают восторженными возгласами и приветственными речами, забрасывают цветами и на руках выносят на площадь, откуда целая кавалькада машин сопровождает его в отель «Болгария». В нашем «Адлере» явно нет надобности...

На другой день — торжественное открытие Съезда болгарских писателей в красивом зале кинотеатра «Балкан». На сцене — президиум, но не за длинным столом, как принято у нас, а в свободно поставленных креслах. В центре президиума — делегация Союза советских писателей: И.Эренбург, А.Сурков, Н.Погодин. Выступления, речи, приветствия, аплодисменты, вспышки фотоламп.

А вечером Министерство информации и искусств дает в честь съезда банкет. Мы тоже приглашены и по пути, как условились, заезжаем в отель «Болгария» за Эренбургом. Застаем, однако, Илью Григорьевича в плачевном состоянии: один глаз у него воспален, распух и причиняет адскую боль. Немедленно начинаем вызванивать врача из нашей армейской санчасти, откуда скоро является целая бригада — один подполковник и два майора медицинской службы. Нужен более яркий свет для осмотра больного глаза, я хочу включить настольную лампу и мгновенно создаю короткое замыкание. На всем этаже воцаряется мрак. Из коридора несутся недоуменные возгласы, вопли, звонки. Не проходит и получаса, как свет восстановлен. Подполковник осматривает эренбурговский глаз, находит сильное нагноение и сообщает, что должен съездить за соответствующими инструментами. Илья Григорьевич просит нас пока что пойти на банкет (происходящий в этом же отеле) и объяснить причину его отсутствия.

Спускаемся в окруженный галереей ресторанный зал, где давно идет пир горой. Рассказав нашему послу С.П.Кирсанову о неприятности с Эренбургом, я занимаю свободное место за столом рядом с заместителем командующего советскими войсками генералом Черепановым и оказываюсь насупротив... Его Блаженства митрополита Стефана I, экзарха Болгарии. Это — румяный старик с черными усами и окладистой седой бородой, в модных золотых очках. На нем белоснежный клобук с бриллиантовым крестом, на черной рясе золотая панагия с камеей богородицы. Левая рука его позванивает золотыми четками. Кирсанов представляет меня экзарху. Его Блаженство любезно сообщает, что знаком с моими работами, и, после крохотной заминки, добавляет, что давно хотел со мной познакомиться... Завязывается гладкий застольный разговор, в основном о красотах и святынях города Киева. Экзарх горячо возмущается вандализмом гитлеровских захватчиков, ограбивших Киево-Печерскую лавру.

Кирсанов просит меня узнать, не сможет ли Эренбург спуститься хотя бы на пятнадцать минут. Я поднимаюсь наверх. Врачи еще не приезжали, но Илья Григорьевич, выслушав меня, встает, открывает дверь в коридор и... возвращается обратно:

— Нет, не могу. Невыносимая боль. Я просто не смогу сказать ни слова. Буду ждать врача.

На банкете уже началась концертная программа, чередуются музыкальные и вокальные номера. Неожиданно раздаются дружные аплодисменты — это с галереи, страдальчески улыбаясь, с повязкой на глазу спускается Эренбург. Министр информации Димо Казасов бежит к нему навстречу, усаживает за центральный стол, знакомит с экзархом. После концерта показывают кинохронику, дают свет, и все подымаются с мест.

Его Блаженство произносит небольшое слово в честь писателей и отдельно благодарит Эренбурга за его борьбу с фашизмом, а также за то, что, будучи в болезненном состоянии, нашел все же возможным прийти на сие собрание.

Экзарх троекратно лобызается с Черепановым. Болгарские министры поочередно целуют у Его Блаженства руку. Вечер закончен.

Нет никакого сомнения, что в дни нашей поездки по Венгрии, Югославии и Болгарии в этих странах происходили гораздо более значительные политические, экономические и общественные процессы, чем то, что нашло отражение в моих очерках об этой поездке.

Но, увы, таково несовершенство субъективного восприятия художника, да к тому же сатирика: внешние черточки заслоняют для него подчас более существенные моменты.

Так, например, ярче некоторых крупных событий мне запомнились детали нашего возвращения из Софии в Вену. Не буду пересказывать их подробно — получилась бы целая трагиюмористическая повесть в духе Джерома К.Джерома. Назову только основную сюжетную завязку: наш многострадальный малолитражный «Адлер» исчерпал, наконец, все свои возможности. Он, как выражаются шоферы, «забарахлил» и требовал серьезного ремонта. Пускаться на такой машине через трудные горные перевалы, отделяющие Болгарию от Румынии, было по меньшей мере рискованно. И после всестороннего обсуждения создавшейся ситуации мы приняли решение отказаться от поездки в Румынию, не тратить время на капитальный ремонт «Адлера», а погрузить его на платформу (как казенное имущество, подлежащее возврату) и самим тоже вернуться в Вену поездом.

Первым этапом нашего обратного путешествия была, естественно, доставка нашего «Адлера» на железнодорожную станцию Софии своим

ходом. К этому моменту у нас уже не было шофера, и мне пришлось сесть за руль. Тем самым моя голубая мечта — испробовать автомобиль с переключением скоростей на руле — исполнилась. Но при каких прискорбных обстоятельствах! Достаточно сказать, что у бедного «Адлера» не действовали тормоза, не функционировали фары и сигнал.

И при этих условиях я совершил деяние, которое по сей день считаю единственным подвигом в своей биографии: вечером, по незнакомым, плохо освещенным улицам я провел нашу машину из конца в конец большого города и благополучно доставил на станцию. В особо ответственных местах сигнал заменялся Лесновым, который высовывался из машины, размахивал рукой и самодеятельно свистел.

Погрузив машину, мы не без труда нашли себе места в пассажирском вагоне, и этим начался наш обратный путь из Софии в Вену. Ох, как мало напоминал он недавнее путешествие из Вены в Софию...

Уже не мчались мы в машине по шоссе, обдуваемые ласковым ветерком, любуясь красивыми пейзажами, лихо козыряя на пограничных заставах.

Теперь, стиснутые плотной толпой разношерстных пассажиров, озабоченных и угрюмых, забивающих купе и проходы немыслимым количеством мешков, корзин и чемоданов, мы мучительно медленно тряслись в грязных дребезжащих вагонах с выбитыми стеклами. Уныло и беспросветно простаивали мы часами на неведомых станциях, с боем захватывали места при пересадках с поезда на поезд, штурмуя вагоны в мощных рядах отпускников, командированных, демобилизованных, мешочников, перемещенных и прочих дорожных человеческих категорий.

Особенно запомнилась колоритная переправа через Дунай возле югославского города Петроварадин. Выехав из Белграда и миновав Земун, мы вскоре останавливаемся у входа в туннель, вблизи от взорванного железнодорожного моста. Выйдя из поезда вместе с другими и ознакомившись с обстановкой, мы вступаем в переговоры с владельцем двухколесной арбы, в которую запряжен средней величины осел. Хозяин арбы погружает наши вещи и набирает чемоданы еще у десятка пассажиров, после чего большой группой во главе с ослом мы шествуем по шоссе к Дунаю. У берега виднеются какие-то старинные крепостные стены и казематы. Я смутно вспоминаю, что по этим местам мы не так давно красиво прокатили на нашем «Адлере». «Бывали дни веселые...»

Выходим, наконец, к реке и видим весьма безрадостную картину: у переправы сгрудились сотни машин, подвод, тележек, людей — понтонный мост разведен для прохождения пароходов. Ждать несколько часов нет смысла, и мы шагаем километр вниз по течению туда, где работает паром. Здесь, однако, тоже вавилонское столпотворение. Дальше идти некуда, мы прощаемся с ослом, платим его хозяину по 20 динаров и протискиваемся к берегу.

Вскоре медленно причаливает паром, и начинается высадка на наш берег людей, лошадей, повозок, автомашин. Я стою у края пристани, озабоченный главным образом тем, чтобы в суматохе не спихнули в воду. Однако именно это и происходит, когда выгрузка заканчивается и толпа с ревом устремляется по сходням. Меня выручает какой-то солдат, который одной рукой принимает у меня чемодан, другой рукой хватает меня за пояс, и я, крутясь в людском водовороте, оказываюсь на пароме. Леснова тоже сначала где-то затирают, но и он пробивается на паром. Плывем!

На другом берегу та же картина, но только наоборот: здесь мы высаживаемся, преодолевая свирепый напор погружающихся. Ослы тут, к сожалению, отсутствуют, но нам с несколькими попутчиками удается нанять какую-то случайную подводу.

Мы в Нови-Саде — оживленном, чистеньком, видимо, совершенно

не пострадавшем от войны городке с хорошо вымощенными улицами, аккуратными домиками и магазинами. Есть несколько современных зданий, виднеются и уютные, увитые зеленью особнячки. Приветливо звеня, пробегает совсем игрушечный одновагонный трамвайчик, у ярких реклам кинотеатров толпится веселая, празднично одетая молодежь. И все это мы наблюдаем, позорно взгромоздясь на кучу запыленных чемоданов и неопрятных мешков, трясясь на виду у всех на какой-то допотопной телеге.

На новисадском вокзале делаем привал в помещении местного военного коменданта, который весьма любезен, с серьезным видом обещает предоставить нам отдельное купе в поезде на Суботицу и даже посылает молодого «войника» заблаговременно занять таковое в формирующемся составе.

Значительно повеселев, мы отправляемся в «ресторацию» перекусить и там знакомимся за столом с интересным человеком. Это старик-партизан, воевавший под Мадридом в Интербригаде. Говорит, что хорошо помнит Лукача и Клебера, вспоминает разные боевые эпизоды.

Тепло попрощавшись с ветераном, мы неторопливо направляемся на перрон и как раз вовремя: поезд подают к платформе. О, ужас! Любезные обещания коменданта оказываются чистейшим мыльным пузырем — знакомый нам молодой «войник», соскочив с подножки, беспомощно разводит руками: поезд переполнен до отказа, да и никаких отдельных купе здесь нет и в помине. Перед нами захудалые, пригородного типа вагончики, в один из которых мы с трудом втискиваемся. Поздно вечером прибываем в Суботицу. Отсюда начинается уже Венгрия.

Заходим погреться к коменданту вокзала. В его кабинете сидит за отдельным столиком переводчик, видимо, из белоэмигрантов. Пожилой, лысый, с нафабренными усами, в старомодном пенсне, он похож на бывшего инспектора реального училища дореволюционного времени. С деловым, озабоченным видом он перелистывает какой-то объемистый том, изредка бросая на нас высокомерные взгляды. Мне захотелось незаметно заглянуть в эту книгу. Она оказывается комплектом журнала «Нива» за 1909 год.

В Суботице еще одна пересадка. Снова с невероятными усилиями внедряемся в битком набитый вагон, в котором отсутствуют оконные стекла, а заодно и двери. Холод собачий. Начинается бессонная, тоскливая, бесконечная ночь. Время как бы останавливается. Все реальные признаки жизни исчезают, существуют только мрак и холод, так что я сам себе начинаю казаться каким-то одиноким космическим телом, несущимся в безвоздушном пространстве. Впрочем, движение весьма относительное, так как поезд то и дело останавливается и подолгу безнадежно стоит.

Наконец, светает, но от этого не становится ни теплее, ни веселее. После нескончаемой кошмарной ночи медленно тянется нескончаемый томительный день. В силу необходимости пробиваюсь на одной из остановок наружу и, выйдя на полотно, имею возможность полюбоваться нашим поездом. Зрелище гомерическое... Вагоны облеплены людьми так, что даже на крышах нет свободного места. Все забито мешками: везут кур, гусей и даже свиней.

Долго, мучительно ползем мы по мокрой, осенней равнине, не упуская ни одной возможности постоять на каком-нибудь полустанке или просто среди поля.

Но всему на свете приходит конец, и к вечеру мы прибываем в Будапешт. Вскоре я попадаю в дружеские объятия Шандора Эка и его товарищей по политотделу. Нам гостеприимно отводят комнату, угощают обедом, мы с удовольствием моемся, чистимся и через час едем с Шандором в будапештскую оперу.

Таковы превратности путешествия. Днем — в обшарпанном вагоне, среди хмурой толпы мешочников, вечером — в роскошном театре сре-

ди фешенебельной публики. Сидя в ложе в красном бархатном кресле, я любуюсь великолепным зрительным залом, напоминающим по стилю внутренние апартаменты венгерского парламента — та же импозантно-пышная лепка, тяжелые колонны, монументальный плафон с золотой люстрой. Вестибюль и лестницы отделаны розовым мрамором, всюду фрески, мозаики, цветные скульптуры. Все это в полной сохранности, хотя снаружи театр поврежден.

Зрители партера и лож в большинстве своем — «высшее общество». Холеные дамы, сверкающие бриллиантами и дорогими мехами, элегантные господа в смокингах и с моноклями, совсем как в классической венской оперетте. Не хватает только гусар в расшитых золотом ментиках и лакированных сапогах.

В Будапешт мы попали к горячим денечкам: выборам в столичный муниципалитет, вокруг которых развернулась острейшая политическая борьба. Меряются силами демократический и мелкособственнический блоки. Город заклеен плакатами, воззваниями, декларациями, все охвачены азартом избирательной кампании и предвыборной агитации. Целый день разъезжаем мы с Эком по улицам Будапешта, заходим в избирательные участки, вступаем в разговор с избирателями. Обсуждение хода выборов, шансов борющихся сторон идет и на квартире у представителя СССР в Союзной контрольной комиссии — К.Е.Ворошилова. Мы приглашены на обед, но засиживаемся до поздней ночи. Беспрерывно звонят телефоны, принося сообщения о ходе голосования.

На другой день с попутной военной машиной мы выезжаем в Вену. Здесь меня ждет телеграмма из редакции — указание срочно вернуться в Москву. Мне предстоит новая поездка — на процесс главных гитлеровских преступников. Он начнется через три недели в Нюрнберге.

В Нюрнберге

Рослый солдат американской военной полиции бросает беглый взгляд на наши пропуска, цедит неизменное «о'кэй», и мы выходим из подъезда гостиницы на центральную площадь города. Прямо перед нами в мглистом тумане ноябрьского утра проступает огромное здание вокзала, левее — многоэтажный главный почтамт, на углу — массивный фасад рейхсбанка. Все эти строения разрушены.

Ледяной, злой ветер свищет в зияющих глазницах окон, скрипит кирпичами расколотых стен, громыхает искореженными железными листами крыш. Не проходит и дня, чтобы не обрушилось два-три разбомбленных дома, и прохожие опасливо задирают головы. Облезлые и потертые, увешанные всевозможными рюкзаками, сумками и корзинками, они понуро бредут вдоль мостовой и толпятся на остановках желтого трехвагонного трамвая. С лязгом и грохотом проносятся огромные американские грузовые «студебеккеры», лихо управляемые шоферами-неграми. Мокрый снег грязным, скользким месивом покрывает улицу.

Мы в Нюрнберге.

Слава этого города — как добрая, так и дурная — исходит из разных источников. Прежде всего он известен с давних времен как «город-музей»: в Нюрнберге в полной целости и сохранности остались дома, соборы, укрепления, мосты и другие здания, сооруженные в XIV—XV веках, причем сохранились не как отдельные памятники старины, уцелевшие среди современных построек, а просто весь средневековый город целиком дошел до наших дней в том виде, в каком он существовал 500—600 лет назад. С той, конечно, поправкой, что в старинные дома было проведено электричество, водопровод, телефон — всевозможное оборудо-



56. П.Н.Крылов, Б.Е.Ефимов, Д.Лоу, Н.А.Соколов, М.В.Куприянов в Нюрнберге. 1945

вание современного комфорта, да и жители этих домов носили не средневековые плащи и камзолы, а прозаические пиджаки и брюки.

С Нюрнбергом связано имя замечательного немецкого художника Альбрехта Дюрера. Здесь происходили знаменитые состязания мейстерзингеров — «нюрнбергских мастеров пения», давших Рихарду Вагнеру сюжет для его известной оперы. До войны можно было видеть в полной сохранности и здание, где состязались средневековые певцы, — монастырь св. Катерины, служивший, кстати, и своего рода «Оружейной палатой» Германии — здесь хранились имперские сокровища и реликвии, вроде меча, скипетра и державы Карла Великого, основателя Первого рейха.

Неудивительно, что к этому историческому городу обратились взоры основателей и Третьего, гитлеровского рейха, когда им понадобилось создать «священную столицу» нацистского движения, достойную цитадель «культа Вотана» и прочей зловещей бутафории немецко-фашистского варварства.

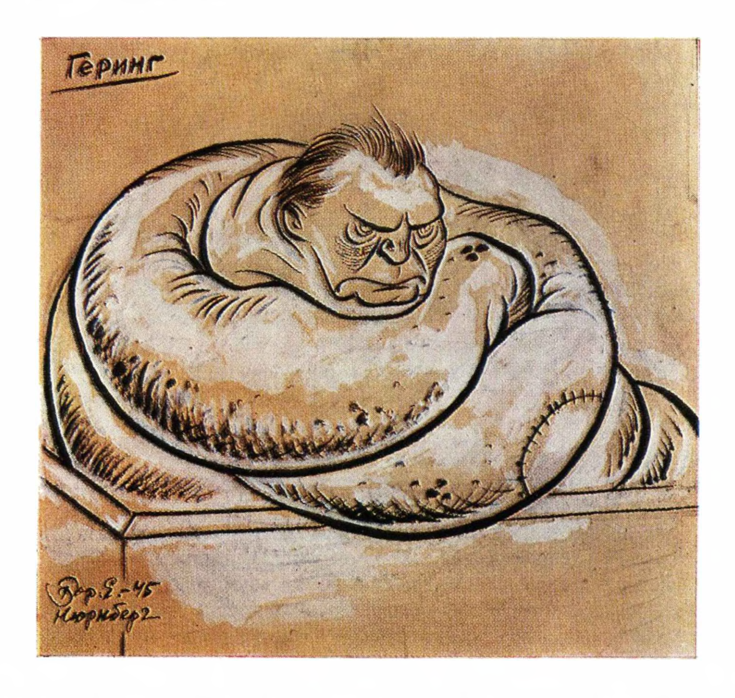
Конечно, не творческая слава Дюрера или поэта Ганса Сакса, не мастерство создателей всемирно известных нюрнбергских игрушек привлекали при этом гитлеровских главарей. Им мерещились совсем другие картины, песни и «игрушки». Их садистским, изуверским устремлениям и наклонностям импонировал Нюрнберг — город безжалостных ландскнехтов и кровавых истязаний, достойным памятником которых остался самый известный в Европе по богатству «экспонатов» музей пыток с его знаменитой «нюрнбергской железной девой». Город фанатических религиозных войн и погромов, город нетерпимости и жестокости, до наших дней бережно сохранивший такие уютные наименования, как «Мост казней» или «Набережная палачей».

И вот новая мрачная страница открылась в истории Нюрнберга, новое, модернизированное средневековье обосновалось в его средневеко-

вых стенах. В Нюрнберге зажглись первые костры, в которые швыряли книги Маркса и Гейне, Толстого и Роллана, Горького и Фейхтвангера. По его улицам прошли первые «факельцуги» беснующихся штурмовиков и эсэсовцев, на его площадях стали традиционно проводиться зловеще-шутовские шествия, парады и смотры гитлеровской орды, в специально построенном здании начали ежегодно собираться «рейхспартейтаги» — съезды нацистской партии.

Именно здесь, в Нюрнберге, была составлена Гансом Глобке,

57. Геринг. 1945



утверждена Адольфом Гитлером и подписана Рудольфом Гессом бредовая булла человеконенавистничества и мракобесия, получившая название «нюрнбергских расовых законов». И не случайно гаулейтером, то есть партийным главарем Нюрнберга, стал наиболее омерзительный среди омерзительных подручных Гитлера, рекордсмен антисемитизма, сопряженного с эротоманией, редактор пресловутого погромного журнальчика «Дер штюрмер» — Юлиус Штрейхер.

Естественно, что, когда стал вопрос о выборе места для суда над заправилами гитлеровского рейха, все взоры снова обратились к Нюрнбергу — настолько очевидна была великая историческая логика и закономерность того, чтобы именно здесь, в нацистской «Мекке», видевшей восхождение, торжества и триумфы фашистских извергов, они понесли справедливую кару.

Группа советских журналистов, писателей, кинооператоров, фотокорреспондентов и художников вылетела из Москвы утром и около 5 часов пополудни приземлилась в аэропорту Адлерсфельд в Карлсхорсте —

берлинском пригороде, где шесть месяцев назад была подписана безоговорочная капитуляция Германии. С интересом осматриваем мы здание, в котором произошло это историческое событие. Отлет в Нюрнберг назначен на утро, и мы успеваем совершить короткую автомобильную экскурсию в Берлин. Проезжаем по Унтер ден Линден, мимо Бранденбургских ворот с покосившейся квадригой, мимо рейхстага.

Среди моря разрушенных домов я с большим трудом распознаю улицы, знакомые мне по довоенным посещениям Берлина.


58. Кальтенбруннер. 1945



Конец дня омрачен досадным и огорчительным происшествием: когда К.А.Федин неосторожно выходил из машины на левую сторону, встречный грузовик задел открытую дверцу, и она с силой ударила Константина Александровича по ноге. Федина немедленно отвозят в военный госпиталь. О дальнейшей его поездке в Нюрнберг не может быть и речи.

«Нас утро встречает прохладой» и отвратительной погодой. Все же мы стартуем из Адлерсфельда, так как американская воздушная служба обещает в районе Нюрнберга хорошую видимость. Пока что, однако, нет не только хорошей, но и плохой видимости — она вовсе отсутствует: самолет движется в сплошном непроницаемом тумане, так называемом «молоке».

Долетев вслепую до Нюрнберга и убедившись в абсолютной невозможности посадки, пилот повел наш самолет на Лейпциг, застал там также полное отсутствие видимости и после этого, на последних каплях

бензина, долетел до Берлина, приземлившись на том же аэродроме Адлерсфельд, с которого мы несколько часов назад стартовали.

После такого полета часть делегации, в том числе мы с Кукрыниксами решили ехать в Нюрнберг на автомашинах.

В Потсдаме к нам присоединилась группа украинских товарищей — среди них Юрий Яновский и Ярослав Галан, — и мы, отправившись рано утром из Берлина, сделав остановку в Лейпциге и заночевав в Цвиккау, достигли утром следующего дня границы американской оккупационной зоны. Вскоре мы выехали на превосходную, заблаговременно построенную Гитлером автостраду (рейхсаутобан) и, промчавшись по ней на бешеной скорости, еще до захода солнца прибыли в Нюрнберг, оказавшись там примерно в одно время с нашими товарищами по делегации, но совершив при этом интереснейшую поездку по Германии.

Однако пора, уделив некоторое место малосущественным бытовым деталям, перейти к рассказу о самом главном — описать обстановку, атмосферу и стиль этого небывалого в мировой истории процесса, попытаться передать чувства, мысли и впечатления очевидца, которому пришлось присутствовать на беспримерном суде в Нюрнберге.

Для этого вернемся к началу главы. Итак, мы с вами, читатель, вышли из подъезда «Гранд-отеля», чтобы отправиться на очередное утреннее заседание Международного трибунала. Он заседает во «Дворце правосудия» — бывшем Баварском областном суде (Ландесгерихт). Есть некоторая символика в том, что Дворец правосудия — одно из немногих уцелевших в Нюрнберге строений, — сохранившийся как будто специально для того, чтобы правосудие над гитлеровскими преступниками могло иметь место именно в столь любезном их сердцу городе.

Впрочем, это может быть объяснено и тем, что Ландесгерихт расположен на стыке Нюрнберга с плотно примыкающим и сливающимся с ним городком Фюрт. А американские бомбардировочные прицелы обладают, оказывается, странным несовершенством: весьма точно обрушив град тяжелых бомб на уникальные памятники средневекового зодчества в «городе-музее», они никак не смогли попасть в огромные промышленные предприятия Фюрта, куда, как говорят, было инвестировано немало заокеанских долларов.

Сегодня следовало бы поехать во Дворец правосудия на трамвае, так как при сильном ветре, как я уже говорил, разрушенные дома имеют обыкновение обваливаться или в лучшем случае сбрасывать на прохожих десяток-другой обгорелых камней. Трамвай здесь удобный и, благодаря резиновым прокладкам, бесшумный. На груди у кондуктора висит на ремне миниатюрное подобие магазинной кассы, выбивающей билеты, как чеки, при вращении боковой ручки. Он очень аккуратно объявляет остановки, называя улицы и переулки, хотя все это чистейшая условность — кругом сплошные, совершенно одинаковые руины. Последнюю, конечную остановку он объявит примерно за 500 метров до Дворца. Дальше путь преграждают оплетенные колючей проволокой рогатки, у которых стоят солдаты американской военной полиции в белых лакированных касках, имеющих форму наполовину срезанного крутого яйца, с белыми пистолетными портупеями и с белыми резиновыми дубинками в руках, затянутых в белые перчатки. Здесь уже следует предъявить пропуска — их два: зеленого цвета для входа в здание трибунала, синего — для входа в зал заседаний.

К этому же контрольному пункту мы придем, если не воспользуемся трамваем, а пойдем пешком через так называемый Старый город Нюрнберга. Предпочтем второе. В ветреную погоду это, как я уже говорил, более рискованно, но зато и более интересно.

И вот мы движемся сквозь запутанные каменные джунгли, хаотическое нагромождение мрачных развалин — то, что раньше называлось

«городом-музеем», а сейчас следовало бы назвать «городом-мертвецом». Угрюмо поникли черные скелеты готического собора св. Зебальдуса и знаменитой Фрауэнкирхе, еще сравнительно недавно видевших перед собой помпезные парады штурмовиков. Война, которую с таким циничным упоением разжигали германские фашисты, которую, захлебываясь, славословили хриплые глотки гитлеровцев с трибуны нацистских «рейхспартейтагов», в честь которой трещали барабаны и фанфары на улицах и площадях Нюрнберга, — эта война вернулась в свою нюрнбергскую берлогу с удесятеренной яростью и неистовством... И уютные средневековые улочки «города-музея», так заботливо оберегаемые и лелеемые немцами на протяжении столетий, рассыпались бесформенной грудой обгорелых камней. Только кое-где выглядывают неизвестно как уцелевшие домики с черепичными крышами, как бы сошедшие с иллюстраций к сказкам братьев Гримм. Каким-то чудом сохранился и дом, где жил и работал Альбрехт Дюрер.

Скажу откровенно: советских людей, видевших израненные гитлеровцами Петродворец, Новгород или Киев, трудно разжалобить руинами Нюрнберга. Но как досадно видеть бессмысленное уничтожение несомненных художественных ценностей, вобравших в себя столько человеческого труда, искусства и умения.

Пересекая центральную площадь Старого города, мы проходим мимо большой подземной общественной уборной, которая, однако, используется сейчас не по прямому своему назначению, а как жилье. Причем, говорят, что поселившиеся там нюрнбержцы считаются ловкачами и людьми, умеющими устраиваться в жизни, по сравнению с теми своими согражданами, которые зимуют в землянках и дощатых шалашах.

Возле этого «общежития» кто-нибудь из нас обязательно вспоминает о «жизненном пространстве», которое Гитлер обещал немцам, а Юрий Яновский неизменно произносит украинскую поговорку: «Бачилы очи, що купувалы — теперь ишьте, хошь повылазьте...»

Наконец, мы оставляем за собой мертвый Старый город, выходим на широкую, тоже полностью разрушенную Фюртерштрассе, в конце которой, у самого Фюрта, расположена серая громада Дворца правосудия. Его хмурый монументальный фасад оживляют только яркие полотнища государственных флагов четырех союзных держав. Наружную охрану Международного военного трибунала поочередно несут воинские караулы четырех союзных армий. Сегодня на страже стоят советские гвардейцы — простые, крепкие, загорелые ребята. Они пришли сюда с берегов Волги, о чем свидетельствует на их груди поистине символическое сочетание медалей за оборону Сталинграда и за взятие Берлина. Русские солдаты, они пришли и встали у входа в нюрнбергский Ландесгерихт как живое воплощение несокрушимой силы советского народа и непреклонной его воли требовать и добиться справедливого и сурового приговора гитлеровским преступникам.

Мы предъявляем первый свой пропуск, идем нескончаемым лабиринтом длиннейших коридоров, выложенных скользкими и звонкими каменными плитками, подымаемся по лестнице и здесь предъявляем второй. Американец в белой каске, смотря по настроению или характеру, небрежно скользит краешком глаза или же долго и глубокомысленно сравнивает оба пропуска, тщательно сверяя аутентичность двух наших собственноручных подписей. Иногда он вдобавок слегка похлопывает по вашим карманам (оружие!..) и заглядывает в портфель. Наконец, в должной мере проявив бдительность, он открывает темную дубовую дверь, ведущую в Зал заседаний. Суд еще не выходил, скамья подсудимых пока пустует, и в нашем распоряжении достаточно времени, чтобы внимательно осмотреться вокруг.

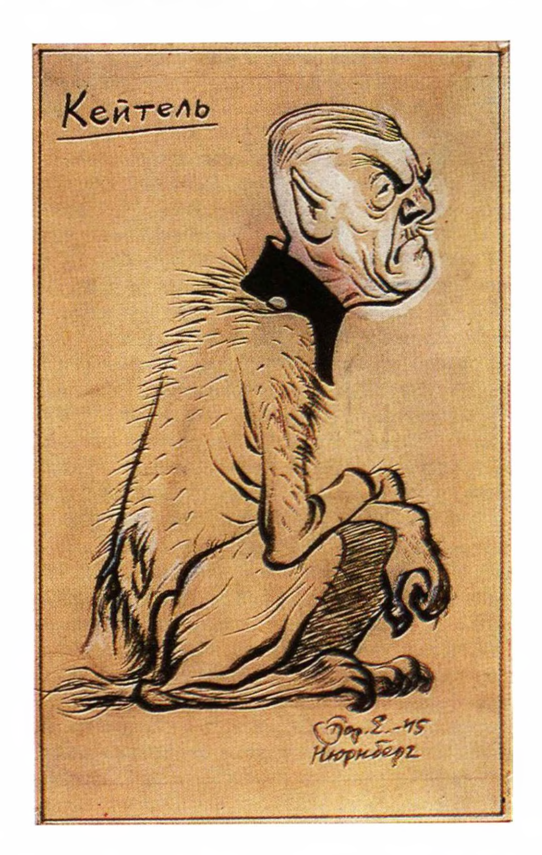
Зал невелик. Он был еще меньше, но для данного процесса его

расширили, увеличив количество мест для публики, которой, впрочем, строго говоря, нет, так как все эти кресла занимают представители печати.

Длинные электрические трубки «дневного света», помещенные под потолком, ярко освещают внутренность главного зала Ландесгерихта, где заседает Международный трибунал.

Зал богато отделан темными дубовыми панелями со всевозможными аллегорическими барельефами, вроде традиционных «весов правосудия», библейских скрижалей и даже... грехопадения Адама и Евы. Это

59 Кейтель. 1945



архаическая символика сочетается здесь с ультрасовременным техническим оборудованием: зал электрифицирован, радиофицирован, кинофицирован, оснащен сложной системой перевода сразу на четыре языка и т. д. Помещение суда настолько насыщено всевозможными приборами и опутано проводами, что все время где-нибудь что-нибудь портится. Особенно часто — линии перевода.

Однажды при мне произошел маленький забавный эпизод. Читая какой-то материал, английский обвинитель вдруг остановился, поднял голову, потянул носом и сказал:

— По-моему, что-то горит. Я чувствую запах горелой резины.

Все, не исключая подсудимых, стали принюхиваться, заглядывать под столы, стулья, ковровые дорожки, порядок в зале был нарушен, и председательствующий лорд-судья Лоуренс, тоже раза два потянув носом, сказал:

— Объявляется перерыв судебного заседания для выяснения причин запаха.

Такая, очень английская, манера выражаться довольно забавна. Как-то, например, шел допрос свидетеля, гитлеровского разведчика Лахузена. Допрос был закончен, но через несколько минут Лахузен снова понадобился. Лоуренс просит снова ввести его. Входит комендант.

— А где же свидетель? — спрашивает лорд-судья.

— Его нет, — отвечает комендант.

60. Штрейхер. 1945



— А где он?

— Его увели.

— Кто?

— Те, кто его привели.

— Куда?

— Туда, откуда привели.

Трудно было удержаться от смеха, слушая этот чисто диккенсовский диалог.

Звучат предупредительные звонки. Занимают места в специальных стеклянных кабинах переводчики, усаживаются секретари, журналисты, налаживают свое оборудование кинооператоры. Громко и развязно переговариваются между собой адвокаты, кучками столпившиеся у своих столов, плотно примыкающих к высокой двухрядной скамье подсудимых и являющихся, говоря военным языком, ее передним краем. Здесь собра-



61. В зале заседаний Нюрнбергского процесса
В первом ряду — Вс.Вишневский. Во втором ряду третий слева — Б.Ефимов.
В третьем ряду слева направо: М.Куприянов, Н.Соколов, П.Крылов. 1945

лись самые опытные и прожженные крючкотворы Германии (среди них, между прочим, четыре «бывших» члена нацистской партии) — все эти Штаммеры, Зайдели, Диксы, Серватиусы, Кленки. Чем-то средневековым и изуверским веет от их суетливых ханжеских фигур, похожих на хищных птиц в своих нелепых черных балахонах и беретах.

Тяжелая узкая дверь, незаметная среди покрывающих стену дубовых панелей, открывается, и за ней показывается одутловатая физиономия Геринга. Покачивая отвислым брюхом, он пролезает вперед и занимает свое место, первое в первом ряду скамьи подсудимых. За ним появляется американец-полицейский, затем Гесс. Потом снова полицейский и — Риббентроп. Снова полицейский и — Кейтель. Так, чередуясь с конвойными, выходят из двери и усаживаются все подсудимые.

Перед нами, за исключением Гитлера, Гиммлера, Геббельса и Бормана, в полном составе вся головка Третьего рейха. Рассмотрим их по порядку.

Вот — Герман Геринг. Он занимает крайнее место в первом ряду, ближе всех к публике. Сколько раз любому карикатуристу доводилось изображать жирную тушу этого «нациста № 2», разряженного в придуманные им самим маскарадно-помпезные униформы, мундиры и плащи, от подбородка до паха увешанного орденами, крестами, цепями, лентами, всевозможными дорогими побрякушками и регалиями. Теперь на нем глухо застегнутый двубортный серый китель без погон. Остались только пуговки.

Геринг держится развязно и нагло, всячески подчеркивая, что если в гитлеровской иерархии он был вторым, то здесь, на скамье подсудимых, он — первое лицо. Из него так и прет активность. Он беспрерывно и деятельно реагирует на все, что происходит на процессе, подчеркнуто внимательно слушает чтение материалов и показания свидетелей, то снисходительно кивая головой, то саркастически кривя рот. Он часто записывает что-то в блокнот или глубокомысленно покусывает карандаш. На его надутой тщеславной физиономии как бы написано: «Смотрите только на меня! Это я — Герман Геринг, центральная фигура процесса! Смотрите, как я величествен и уверен в себе!»

Я думаю, что Геринг втайне гордится и тем, что к нему приставлен «персональный» полисмен. В то время как вся остальная стража находится за спинами преступников, позади скамьи подсудимых, этот, «прикрепленный» к Герингу охранник стоит вплотную возле него спиной к публике, заложив руки назад и поигрывая резиновой дубинкой. Я видел, между прочим, как однажды, в самом начале процесса, эта дубинка была пущена в ход. Еще, видимо, не совсем освоившись с новой обстановкой и продолжая чувствовать себя персоной высшего ранга, Геринг очень непринужденно и свободно перевесился через барьер, чтобы поговорить со своим адвокатом Штаммером. Тогда бесцеремонный янки, не говоря ни слова, энергичным толчком дубинки вернул толстяка в исходное положение. Надо было видеть глупое и злобное выражение на лице оторопевшего Геринга... Мы получили большое удовольствие.

И еще бывало приятно во время одного из небольших перерывов, когда подсудимых не выводят из зала, подойти к самому барьеру и, стоя в полутора метрах от Геринга (можно рукой достать...), сосредоточенно на него уставиться. Так в террариуме зоопарка вы близко и пристально изучаете шевелящего своими отвратительными кольцами жирного удава, которого, кстати, очень напоминал Геринг своими холодными, злыми глазками пресмыкающегося, лягушачьим ртом, скользящими движениями тяжелого туловища.

Сначала Геринг делает вид, что не обращает никакого внимания на назойливое разглядывание. Потом оно начинает его раздражать, и он нервно отворачивается, метнув исподлобья свирепый взгляд. Наши глаза на долю секунды встречаются, и мне почему-то приходит на память пойманный фельдмаршал Требон из фейхтвангеровского «Лже-Нерона». Хочется сказать:

— Ну что, рейхсмаршал? На лейпцигском процессе ты чувствовал себя уютнее, когда грозил Димитрову виселицей?

А во взгляде Геринга я читаю:

— Попался бы ты мне раньше...

Рядом с пухлым, воспаленно разрумянившимся, возбужденным Герингом особенно контрастно выглядит Рудольф Гесс — землисто-серая, бескровная, высушенная, как у тысячелетней мумии, маска с невообразимыми мохнатыми бровями и настолько глубоко провалившимися глазами, что они кажутся пустыми, как у черепа, глазницами. Плотно сжатый безгубый рот и огромные уши нетопыря дополняют эту немыслимую физиономию.

Первые дни процесса Гесс просидел в состоянии полной прострации. Адвокат довел до сведения трибунала, что его подзащитного постигла полная и непоправимая потеря памяти (амнезия), наличие которой было подтверждено компетентной медицинской экспертизой. Более точно, как потом оказалось, определил его состояние опытный криминалист Л. Шейнин, который, поглядев прищурившись на погруженного в меланхолию бывшего заместителя фюрера, сказал, применяя вполне уместную в данном случае «блатную» терминологию:

— По-моему, братцы, Гесс филонит под психа.

Что в переводе на общепонятный язык означало: Гесс симулирует душевное заболевание.

На десятый день процесса Гессу, видимо, наскучило «филонить» и сидеть с отсутствующим идиотским видом. Он попросил слова и заявил, что к нему неожиданно вернулась память, вследствие чего он готов давать показания. Можно себе представить «конфуз» ученых экспертов, только что авторитетно установивших абсолютную и необратимую амнезию...

Следующий за Гессом — Риббентроп, гитлеровский министр иностранных дел и пресловутый «сверхдипломат». Некогда вылощенный светский фат и сердцеед похож на старую, облезлую, всклокоченную гиену.

У него настолько неряшливый опущенный вид, так уныло висят седые космы, что это даже вызывает некоторое удивление на местах прессы.

— Смотрите, — говорит кто-то, — какой помятый вид у Риббентропа.

— Ничего, — находчиво отвечает кто-то другой, — *отвисится*...

Зато сосед «сверхдипломата» — матерый гитлеровский волк фельдмаршал Кейтель всеми силами старается сохранить бравый подтянутый вид: аккуратно выстриженный затылок, тщательно причесанная седая щетина на голове, колючие встопорщенные усики, выутюженный мундир. Старый прусский солдафон лезет вон из кожи, чтобы показать, что он не потерял амбиции. Позиция Кейтеля на суде проста: он, видите ли, только солдат. Он только воевал, выполнял приказы фюрера, ни к каким зверствам и преступлениям касательства не имеет — и точка.

К сожалению для Кейтеля-«солдата», слишком много кровавых улик оставил Кейтель-палач. Я уже рассказывал о кровавом «прейскуранте», установленном гитлеровцами в Югославии и других оккупированных странах. Автором этой «таксы» был Кейтель. Он же подписал чудовищно подлую инструкцию о... клеймении советских военнопленных каленым железом. И мало есть таких гнусных военных преступлений, к которым не приложил руки «солдат» Кейтель.

Олицетворение бездонной и бессильной злобы — это «знаменитый» Альфред Розенберг, идеолог и «теоретик» нацистского мракобесия, неутомимый провозвестник бредового «культа Вотана», главный блюститель чистоты арийской расы и «истинно германского духа». В дни войны Розенберг — рейхсминистр Восточных областей, то есть захваченных украинских и белорусских земель.

Сейчас у «рейхсминистра», пожалуй, наиболее угнетенный и мрачный вид среди всех обитателей скамьи подсудимых. Панический черный страх перед приближающейся виселицей, видимо, пронизывает его насквозь и как бы выпирает наружу: со дня на день, буквально на глазах, Розенберг становится все чернее и чернее. Тяжелым свинцовым взглядом он изредка обводит зал и снова погружается в оцепенение. Глядя на него, я вспоминал строки из гоголевской «Страшной мести»: «Не мог бы ни один человек на свете рассказать, что было на душе у колдуна... То была не злость, не страх и не лютая досада. Нет такого слова на свете, которым бы можно было его назвать. Его жгло и пекло, ему хотелось бы весь свет вытоптать...»

Сосед Розенберга — Ганс Франк, темная ядовитая гадина с изжелта-смуглым лицом и лысым лбом, на котором блестит тонкая маслянистая прядь волос. Маленькие жирные губки сморщены кривой улыбочкой, огромные черные очки закрывают половину лица, как разбойничья полумаска. Это тоже одна из самых отвратительных и кровавых тварей нацистской верхушки — «генерал-губернатор» Польши — обер-палач Майданека, Освенцима, Треблинки и других страшных лагерей.

За Франком виднеется стриженый квадратный череп старого полицейского пса, бывшего рейхсминистра внутренних дел Фрика. Его тяжелые челюсти судорожно сжаты, маленькие свирепые глазки испуганно и злобно бегают по залу.

Как обычно, что-то жует огромным слюнявым ртом мерзкая человекообразная жаба, старый пакостник Штрейхер — бывший гаулейтер Франконии, сатрап Нюрнберга, любимец Гитлера. Это он изо дня в день, из года в год вел бешеную человеконенавистническую пропаганду со страниц своей антисемитской и одновременно порнографической газетки «Дер Штюрмер», лично пытал и насиловал в нюрнбергских застенках. Курьезная подробность: Штрейхер — единственный, кто вторично находится в этом зале в качестве подсудимого. Лет пятнадцать тому назад он сидел здесь по обвинению в растлении малолетней, но смог выпутаться.



62. На нюрнбергском стадионе
Слева направо: М.В.Куприянов, Н.А.Соколов, П.Н.Крылов, В.В.Иванов, Б.Е.Ефимов, Л.М.Леонов, Ю.И.Яновский. 1945

Совершеннейшей чистопородной «арийской» свиньей выглядит заместитель Геббельса Функ, сонно моргающий заплывшими веками. Но, несмотря на свою комическую внешность, это один из самых деятельных и циничных нацистов, правая рука «рейхсминистра» пропаганды.

Последний в ряду — Шахт, бывший директор рейхсбанка, руководитель всех финансовых махинаций гитлеровской банды, окаменелая физиономия в блестящих очках, курьезная помесь бульдога и филина. Шахт, как известно, занял на этом процессе «твердую позицию»: он, видите ли, только «чистой воды финансист», совершенно не причастный к военным и прочим преступлениям. Доказывает он это положение следующими «убедительными» аргументами: являясь по утрам на скамью подсудимых, он со своими бывшими коллегами не здоровается, подчеркивая этим, видимо, что ничего общего с ними не имеет... Когда демонстрировался кошмарный фильм об ужасах гитлеровских лагерей смерти, Шахт ухитрился просидеть все эти три с половиной часа в каменной неподвижности, скрестив руки на груди и повернувшись спиной к экрану. Это должно было, по-видимому, означать, что поскольку он, Шахт, никакого отношения к этим зверствам не имеет, то и смотреть ему на них незачем.

Не знаю, стоит ли подробно описывать и остальных подсудимых — двух старых морских хищников, «гроссадмиралов» Редера и Деница; смазливого молодежного «фюрера» Бальдура фон Шираха, выглядывающего, подобно хорьку, из-за спины Геринга; плешивую крысу, работорговца Заукеля; прилизанного седого фон Папена, помесь лисы и павиана; буйво-

лообразного министра строительства Шпеера; огромного костлявого стервятника Кальтенбруннера, заместителя Гиммлера; носатого геббельсовского попугая Фриче. Все они — и старые и помоложе, тощие и толстые, флегматичные и нервозные, как правило, аккуратно побритые и вычищенные — стремятся сохранять как можно более респектабельный и непринужденный вид. Но это им плохо удается. В каждом движении и взгляде этой своры убийц, еще недавно носивших пышные титулы рейхсмаршалов, рейхсминистров, рейхслейтеров, рейхсфюреров — высших сановников Третьей империи, сквозит животный страх, невыносимое ожидание расплаты.

Шелестят листы бесчисленных документов, то спокойно и сдержанно, то гневно и страстно звучат голоса обвинителей и свидетелей обвинения, жужжат киноаппараты, бросая на экран кадры душераздирающих кинодокументов, часто заснятых самими палачами... Медленно и размеренно вращается сложная, громоздкая машина трибунала, неотвратимо приближается час возмездия.

Возмездие... Великое и святое слово.

Как-то в один из дней процесса я вдруг услышал в своих радионаушниках знакомые слова: Треблинка... Газовые камеры... Комендант Линген...

Я насторожился... Ведь ровно за год до нюрнбергского суда мне довелось увидеть своими глазами остатки треблинского лагеря-бойни, слышать рассказ чудом уцелевшего узника этого лагеря, присутствовать на допросе палачей-вахманов. И единственное, что давало силу выслушать до конца свидетельства о том, что происходило в Треблинке, была святая вера в то, что палачей постигнет справедливое возмездие. И если бы кто-нибудь сказал там, на разбухшей от крови и трупов земле Треблинки, что мне предстоит присутствовать на суде над гитлеровскими извергами и, в частности, над одним из прямых организаторов треблинского ада — Кальтенбруннером, то я, наверно, представил бы себе судилище столь вопиющих злодеяний величественным и грозным, как «Страшный суд» Микеланджело.

И вот час возмездия настал. Я оглядываюсь вокруг.

Кальтенбруннер тупо и сонно глядит в одну точку — монотонное чтение документов явно нагоняет на него дремоту. Геринг, сняв с головы наушники, лениво перелистывает какие-то записи в своем блокноте. О чем-то вяло переговариваются Франк и Папен. Позади меня шепот и тихий женский смех — какой-то не очень серьезный разговор ведут между собой высокая американская журналистка и француз, корреспондент «Фигаро». Насколько я понимаю, они уговариваются вместе провести вечер. Сидящий рядом со мной англичанин с нашивкой военного корреспондента пишет письмо. Другой нетерпеливо посматривает на часы — скоро ли перерыв на завтрак. Невозможно поверить, что в это время оглашаются свидетельства, от которых могут зарыдать камни...

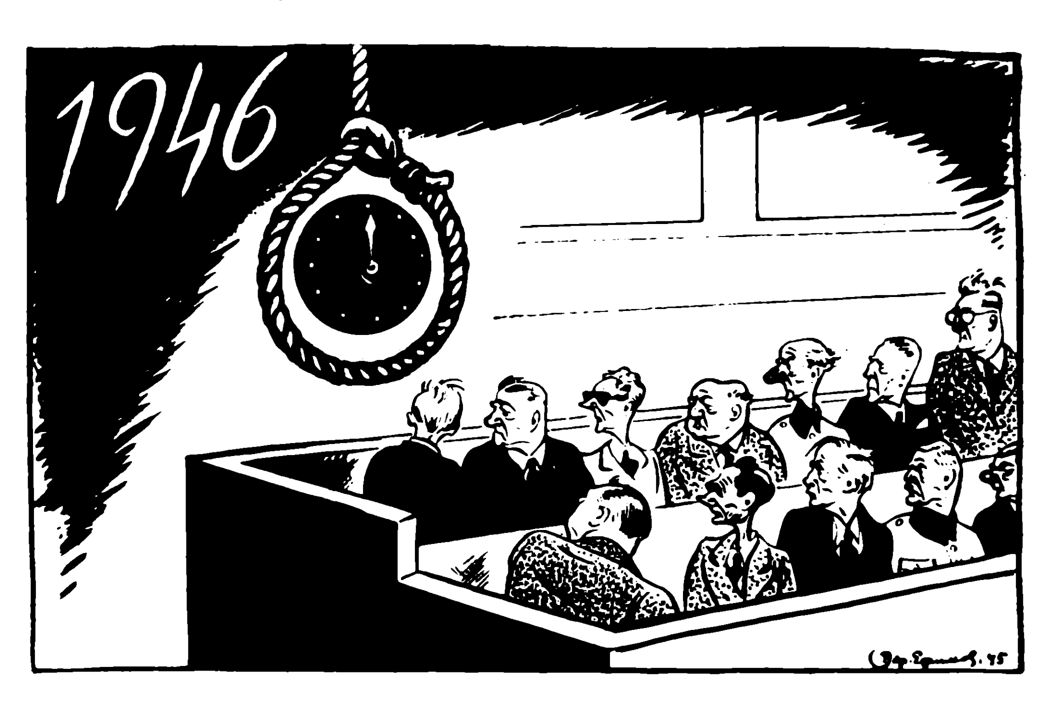
Я почувствовал горечь и разочарование, но потом подумал: разве существо возмездия во внешних эффектах и импозантных атрибутах? Разве возмездие не грянуло во всей своей справедливой силе великим громом советского оружия, беспощадным огнем наших армий, свинцом и сталью пушек, гвардейских минометов, автоматов и гранат партизан-мстителей? Разве оно не разразилось над головами гитлеровцев, испепеляя их в битве под Москвой, на берегах Волги, на Курской дуге, в Бобруйском котле и в десятках других сражений? Оно преследовало палачей по пятам, оно пришло к Гитлеру в бункер рейхсканцелярии, где он извивался отравленной крысой. Его видел перед собой Гиммлер, когда судорожно раскусывал зашитую в воротник ампулу с ядом.

И возмездие пришло сюда, в Нюрнберг. Пусть Геринг и Кальтенбруннер принимают «скучающий» вид. В подсобных помещениях Ландесгерихта уже строится для них виселица. Мученики Майданека и Треблинки! Вы не остались неотмщенными!

— Мне подсказывает интуиция и одновременно кое-какой накопленный судебно-процессуальный опыт, — сказал мне Л. Шейнин, — что сегодняшнее утреннее заседание не представит острого интереса и, более того, будет на редкость тягомотным. Исходя из указанной презумпции, не махнуть ли нам, Боря, в Фюрт и ознакомиться с его жителями, нравами и достопримечательностями? И вернуться к обеденному перерыву.

— Не буду скрывать, глубокоуважаемый Лев Романович, — ответил я, подхватывая его манеру разговаривать, — что высказанная вами

63 Двенадцатый час фашистских преступников. 1945



идея представляется мне столь же приятной, сколь и целесообразной. Короче говоря, Лева, есть махнуть в Фюрт.

Фюрт, бойкий промышленный городок, представляет собой фактическое продолжение Нюрнберга, но отличается от него полным отсутствием разрушений.

В Фюрте мы с Шейниным несколько задержались и, вернувшись к концу обеденного перерыва, убедились в том, что столовая самообслуживания при трибунале уже закрыта. Встревоженные, мы ринулись в ресторан гостиницы «Гранд-отель», но и там обеденное время пришло к концу. С большим трудом удалось нам выпросить две порции консервированной индейки. Мы уселись за столик, но в этот момент к нам подошел кто-то из администрации и попросил срочно выйти в вестибюль, так как некий, только что приехавший господин требовал к себе кого-нибудь из руководителей советской делегации.

— Боря! — сказал Шейнин, — умоляю вас! Я дико проголодался и не в состоянии двинуться с места, пока не поем. Не в службу, а в дружбу — поглядите, кого это принесло.

Я вышел в вестибюль и увидел человека в берете и оранжевом дубленом тулупе. Человек этот был в состоянии крайнего раздражения.

— Илья Григорьевич! — радостно сказал я.

— Здрасте, — сухо ответил Эренбург и весьма сердито продолжал: — Что у вас тут делается? Я только что приехал из Праги на машине, которую мне дал генерал Свобода, замерз, сутки ничего не ел, устал. А этот портье не пускает меня в гостиницу, требует какой-то пропуск, которого у меня, естественно, нет. Разберитесь, пожалуйста.

— Одну минуточку, Илья Григорьевич, — сказал я несколько растерянно, — сейчас мы что-нибудь сделаем.

Я кинулся за Шейниным, который уже успел расправиться с индейкой, и мы вдвоем напустились на администратора отеля. С пеной у рта я принялся ему объяснять, что речь идет об известнейшем советском писателе и антифашистском деятеле, невнимание к которому будет иметь серьезные последствия. Кроме того, подчеркивал я, такова личная просьба господина генерала Шейнина, руководителя советской делегации. Лев Романович при этом утвердительно кивал головой. То ли озадаченный моими криками, то ли поколебленный солидной рекомендацией, но администратор уступил, и Эренбург был устроен. Кроме того (считаю это фактом своей биографии), я уступил Илье Григорьевичу свою, почти остывшую индейку.

Впрочем, тут же возник еще один организационный вопрос, и я, уже весь в мыле, снова прибежал из вестибюля в ресторан.

— Илья Григорьевич, — спросил я, — а как быть с шофером? Он спрашивает, можно ли ему вернуться в Прагу или же оставаться здесь?

— Оставьте меня в покое, — ответил Илья Григорьевич, — и дайте спокойно поесть. Как хотите, так и поступайте.

Этим, однако, мои заботы не кончились. На другой день Эренбургу следовало получить пропуск на процесс, и Илья Григорьевич доверил мне функции своего проводника и переводчика в хождении по американским бюрократическим орбитам.

Два или три раза совершаем мы путешествие на «виллисе» по обледенелым мостовым Нюрнберга из «Гранд-отеля» в «Пресс-кемп», оттуда в здание Международного трибунала, потом в обратном порядке по тем же местам — и все в поисках некоего неуловимого полковника американской армии Мэдери, имеющего право выдать пропуск. Все остальные офицеры, сидящие в кабинетах американских военных канцелярий, невозмутимо объясняют, что выделенный для советской стороны лимит пропусков на процессе уже исчерпан и они ничем не могут быть полезны. Эренбург постепенно доходит до белого каления.

— Скажите ему, — нервно говорит он в очередном кабинете, — что я приехал сюда только на два дня и, если мне немедленно не дадут пропуск, я сейчас же уеду. И пусть всем станет известно, что Эренбурга не пустили на процесс гитлеровских преступников!

Выслушав мой перевод, очередной капитан или майор с видом большого огорчения разводит руками, но дальше этого дело не идет.

Наконец, Эренбургу дают пропуск одного из сотрудников советской судебной группы и он преспокойно проходит в зал под чужой фамилией.

Появление его лохматой седой головы и сутулой фигуры в грубошерстном коричневом костюме с многочисленными орденскими ленточками на груди не остается незамеченным. На него устремляются многочисленные взоры, и даже на скамье подсудимых происходит некоторое движение. Я вижу, как обращается к вошедшему мутный взор Розенберга, слегка поворачивает надменную физиономию Кейтель и «сам» Геринг косится на него заплывшим, налитым кровью глазом.

...И вот мы снова летим в Нюрнберг. Однако что это? Почему рядом со мной в кресле вовсе не Николай Соколов (Кукрыниксы), а совсем другая личность? Я озираюсь вокруг. Позвольте, да ведь я нахожусь не в приспособленном для пассажиров военном самолете, а в современном

комфортабельном лайнере «Люфтганзы». Не озабоченный руководитель нашей делегации Шейнин, а мило улыбающаяся стюардесса заглядывает в пассажирский салон. Не зловещее «молоко», а голубизна безоблачного неба виднеется в изящных иллюминаторах. И сегодня не ноябрь сорок пятого, а июнь семьдесят первого года. Со дня разбойничьего нападения Гитлера на Советский Союз прошло ровно тридцать лет, а после суда над гитлеровскими преступниками — двадцать пять. Но как я опять оказался на пути в Нюрнберг?

Это произошло так. Летом 1971 года с художником Рубеном Вардзигулянцем мы были командированы Союзом художников СССР на открытие выставки советской графики в западногерманском городе Киле. Городские власти Киля были безукоризненно гостеприимны и внимательны к советским гостям. И когда я как-то, упомянув о своем присутствии на Нюрнбергском процессе, поинтересовался, как выглядит этот город сегодня, мне предложили посмотреть на него собственными глазами.

...Щеголеватый портье отеля «Меркур» вместе с ключом от номера вручает красивую пластмассовую коробочку с надписью «Нашему дорогому гостю». В коробочке пестрый набор изящно оформленных парфюмерно-ликерно-галантерейных сувениров. Впрочем, все это я рассмотрел потом, а сейчас у меня нет желания зря тратить драгоценное время — ведь наше пребывание в Нюрнберге исчисляется часами. Скорей, скорей! Оставив чемоданы в номерах, мы устремляемся на улицу.

...Не спеша идем мы по сегодняшнему Нюрнбергу хорошо знакомой мне дорогой через улицы и площади Старого города. Конечно, никаких развалин нет и в помине. Разрушенные дома полностью реставрированы, точнее говоря, заново построены по старым образцам и лоснятся чистеньким камнем, розоватым и блестящим, как затянувшийся свежей кожей рубец. Это, если можно сказать, новехонький «Старый город», в котором благородную седину и паутину столетий, художественную неповторимость искусства старины заменили глянец и лакировка строительного модерна. Дома в характерном средневековом стиле как бы залиты густым слоем ультрасовременной архитектурной техники с ее новейшими материалами, алюминием, пластмассами, зеркальными стеклами.

Даже к чудом уцелевшему подлинному дому Альбрехта Дюрера впритык пристроен модный бетонный куб новейшего выставочного зала, вход в который прорублен прямо из вестибюля дюреровского дома-музея.

Современный Нюрнберг плотно обволакивает своего средневекового предка, пропитывает все его поры отлично надраенным рекламно-туристическим сервисом, заслоняет нарядными витринами дорогих магазинов и универмагов, фасадами шикарных ресторанов, солидных торговых фирм, банков и страховых компаний. Уличная толпа, естественно, тоже мало напоминает пришибленных и потертых нюрнбержцев сорок пятого года — это причудливая смесь респектабельных бюргеров в крахмальных воротничках и степенных фрау в старомодных шляпках с карнавально-пестрыми юношами и девицами в курточках, джинсах и шортиках.

Дождь загоняет нас в простенькую закусочную, где мы отдаем честь знаменитым нюрнбергским жареным колбаскам и светлому пиву. Наступил вечер. Уже в полную силу полыхают, переливаются, угасают и снова вспыхивают неоновые рекламы всех цветов радуги, а главный пункт нашей нюрнбергской программы еще не выполнен. В путь! Еле передвигая усталые ноги, мы возвращаемся к «Гранд-отелю» и подходим к знакомой мне остановке трамвая № 4.

Широкая и прямая Фюртерштрассе ярко освещена фонарями и витринами заново отстроенных домов, среди которых темной массой выделяется знакомая массивная громада Ландесгерихта. Помню, когда мне пришлось в 1946 году прочесть целую серию докладов о своих нюрнбергских впечатлениях, то в любой аудитории вызывало веселое оживление то

обстоятельство, что здание Ландесгерихта оказалось чуть ли не единственным, которое не пострадало от бомбардировок, и тем самым гитлеровские главари получили возможность сесть на скамью подсудимых в своем возлюбленном городе.

Мы пересекаем вымощенный брусчаткой двор, входим под тяжелые гранитные аркады. Вот у этого подъезда двадцать пять лет назад каждые четыре дня несли караульную службу советские гвардейцы с медалями «За оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина». Советских часовых сменяли американские, английские и французские. Бесконечные коридоры огромного здания кишели сотрудниками трибунала, адвокатами, журналистами, экспертами, фотокорреспондентами. До позднего вечера не затихали шум и движение сложной многоликой и разноязыкой машины Международного трибунала. Сейчас здесь пусто и темно. Впрочем, в просторном вестибюле горит свет. Мы входим внутрь. Навстречу нам устремляется вахтер в форменной фуражке и с золотыми ключиками в петлицах.

— Что вам угодно?

— Нам угодно посмотреть это здание.

— А кто вы такие?

— Мы туристы.

— А, тогда все понятно! Вы хотите увидеть зал, где происходил процесс над военными преступниками?

— Совершенно правильно.

— Но это, к сожалению, невозможно. Уже поздно, и все закрыто.

— О, какая жалость. А мы приехали издалека специально, чтобы посетить это здание. Нельзя ли что-нибудь сделать? Мы будем вам весьма благодарны.

— Я очень сожалею, но... Кстати, из какой вы страны?

— Мы из Советского Союза.

— Что? — Он смотрит на нас, и лицо его одновременно выражает удивление, недоверие и интерес. — Из Советского Союза? Прямо из Москвы?

— Да, прямо из Москвы.

— Тогда идите за мной.

Мы выходим из вестибюля, и он ведет нас по двору, подробно рассказывая, где находились представительства союзных стран, где размещались караулы, где были расположены тюремные камеры и т. д. Мы подходим к правому крылу здания, и он показывает три больших неосвещенных окна на третьем этаже — окна того самого зала.

— Все это очень интересно, — говорю я, — но нам хотелось бы войти в зал.

Вахтер явно огорчен.

— Ничего не могу сделать, — говорит он. — У меня просто нет этих ключей. Но вот что я придумал. Дело в том, что в этот зал туристы не допускаются. Туда можно пройти только по делу, назвав фамилию определенного судебного деятеля — адвоката или прокурора. Я сейчас скажу вам, кто будет завтра присутствовать в суде, и если вы приедете к 10 часам утра...

— Спасибо за вашу любезность, — сказал я, — но завтра в 10 часов мы уже будем в воздухе на пути в Москву. А теперь разрешите спросить: сколько вам было лет в 1945 году?

— Десять лет.

— А что вы думаете об этом процессе?

Немного помолчав, страж Ландесгерихта говорит:

— Это были очень плохие люди. Они сделали много зла, и дай бог, чтобы это никогда больше не повторилось. Пусть никогда больше не будет войны между нашими народами.

Наше полное согласие с таким мнением закрепляется московскими сигаретами «Тройка», которые наш собеседник весьма охотно принимает в дар, и, пожав друг другу руки, мы расстаемся.

Мне хочется о них рассказать...

Демьян Бедный

Это имя было мне хорошо знакомо задолго до того, как я увидел самого поэта. Ведь поэзия Демьяна вошла в сознание моего поколения вместе с событиями гражданской войны, как неотъемлемая часть боевой революционной агитации, как проявление волнующей романтической борьбы за новый мир, за Советскую власть.

В те незабываемые годы мы читали стихи Демьяна на сатирических плакатах, на агитационных листовках, на ломкой шершавой бумаге красноармейских газет. Простые, незамысловатые, пусть иногда даже и грубоватые, но сочные демьяновские строки озорно и ядовито высмеивали белогвардейцев и интервентов, бичевали трусов, кулаков, спекулянтов, меньшевиков.

С каждым новым стихотворением, песней, частушкой, басней росла и ширилась популярность Демьяна.

Помню, с каким наслаждением читали мы на Украине, в редакции фронтовой газеты, где я работал, только что полученную из Москвы «Правду» с демьяновским «Манифестом барона Врангеля». Буквально каждая строфа вызывала дружный смех. Мы хохотали над вложенным в уста барона призывом:

...Слюжите старому начальству,
Вложите в ножницы ножи!

Смеялись и над концовкой «Манифеста»:

...Подписал собственноручно
Вильгельма-кайзера слуга
Барон фон-Врангель бестолковой
Антантой признанный на треть:
— Сдавайтесь мне на шестный слово.
А там... мы будем посмотреть!

«Манифест» был немедленно перепечатан в нашей газете (как и во всей красноармейской печати), причем я сделал к нему сатирическую иллюстрацию: генерала Врангеля с хищно протянутыми лапами и оскаленными зубами. Тогда, конечно, мне и в голову не приходило, что не за горами время, когда мои рисунки будут не раз появляться на газетной полосе вместе со стихами Демьяна.

Отгремели сражения гражданской войны, пришли новые времена, новые задачи стали перед страной, и вместе с ними пришли и новые, злободневные стихи и песни Демьяна. И вновь восхищало и захватывало нас, читателей, удивительное умение поэта говорить о самых серьезных политических вопросах самыми простыми, доходчивыми словами, легким, понятным поэтическим языком, звонкой крылатой рифмой.

Как живо и образно писал он о важнейшем повороте в экономической политике партии — нэпе, с юмором рассказывая о переживаниях поэта, который «...столько лет вопил, что час победный наступил».

С огорчением, но и с улыбкой признавался Демьян:

Увы, мы лишнюю страницу
Перевернули впопыхах.
Я журавля сулил в стихах,
А жизнь подносит нам синицу...

Мне очень нравилось стихотворение «Моя отставка», из которого взяты эти строки, нравились звучные, запоминающиеся, «классические» ямбы Демьяна. Бывало, работая над очередным рисунком для газеты,

я с удовольствием бормотал себе под нос шутливое демьяновское «Заявление» наркоминделу товарищу Чичерину:

Прощайте! Я себе занятья
Вне дипломатии найду.
Я в наркомземские объятья
С Сосновским вкупе упаду.

Или:

И если скажет кто затем,
Что я касаюсь «скучных» тем,
Что «где навоз, там нет геройства»,
Того я быстро излечу,
Послав на взбучку... к Ильичу!

Эти мысли Демьяна живо перекликались с настроениями многих из нас, молодых художников агитационного плаката и сатиры, которым также от ярких, боевых сюжетов гражданской войны приходилось переключаться в своем искусстве на «скучные темы» — восстановление транспорта, заготовку дров, ликвидацию сыпного тифа и т. п. И поэтому так важна была в тот момент веселая и решительная «декларация» поэта революции:

...Там, встав на новую дорожку,
Писать я буду про картошку...

Внешность Демьяна Бедного я представлял себе такой, какая литературно «положена» революционному поэту-агитатору: горящие глаза на бледном аскетическом лице, саркастическая улыбка, непокорные черные кудри, выбивающиеся из-под буденовки с красной звездой...

И я был, естественно, несколько огорошен, когда впервые увидел знаменитого поэта в Москве. Демьян оказался очень плотным мужчиной с гладко выбритым облысевшим черепом, здоровым румянцем на щеках и аккуратно подстриженными рыжеватыми усами. Маленькие светлые глаза лукаво прищурены, в смеющихся полных губах — янтарный мундштук с папиросой. Поэт пришел в редакцию только что созданного «Крокодила» (дело происходило в 1922 году) вместе с фельетонистом «Правды» Л.Сосновским, с которым был тогда очень дружен.

Маленький кабинет редактора «Крокодила», старого правдиста К.С.Еремеева стал как будто еще теснее, когда в нем появилась атлетическая фигура Демьяна, затянутая в коричневое кожаное пальто, зазвучал густой голос поэта, его богатырский смех.

Константин Степанович Еремеев, улыбаясь, смотрел на Демьяна, я сказал бы, влюбленными глазами. Соратники по дореволюционной «Правде», они были связаны давней дружбой, и Еремееву был ценен и приятен живой интерес, проявленный Демьяном к новорожденному сатирическому журналу — любимому детищу Еремеева.

Я несколько раз видел Демьяна на «темных» (от слова «тема») заседаниях. Поэт принимал темпераментное участие в коллективном сатирическом творчестве крокодильцев и сам не раз, заразительно хохоча, придумывал сюжеты для карикатур.

Хорошо помню, как Демьян предложил в связи с сообщением о погромах в панской Польше изобразить «социалиста» Пилсудского, разбивающего в хулиганском раже портрет Карла Маркса. Этот рисунок поручили сделать мне, и он был напечатан в 3-м номере «Крокодила». Доводилось мне рисовать по темам Демьяна и другие карикатуры.

Однако более тесно и плодотворно мне довелось работать с Демьяном не в «Крокодиле», а в «Известиях». Демьян начал печататься в этой газете после того, как ее редактором был назначен Иван Иванович Скворцов-Степанов, старый большевик, видный партийный публицист.

Первое совместное мое выступление с Демьяном на страницах «Известий» произошло так.

Однажды дома у меня зазвонил телефон.

— Алё-алё, — услышал я, — это Ефимов? Говорит Демьян Бедный. Вот какое дело. Я сегодня даю в «Известия» стихотворение ко Дню МОПР. Не сделать ли вам к нему рисунок? А? Сейчас я вам его прочту. Алё-алё? Вы слушаете?

— Да, да, Ефим Алексеевич, — закричал я. — Конечно! С удовольствием! Буду очень рад.

64. Демьян Бедный. Дружеский шарж. 1966



— Ну, так вот, — зычно откашлявшись, сказал Демьян, — слухайте внимательно. Алё-алё?

Прощался сын с отцом, со старым, мудрым греком.
Прижавши юношу к груди,
сказал ему отец: — Клеон, мой сын, иди,
и возвратись ко мне великим человеком...

Неторопливо и вкусно скандируя строки, время от времени перемежая их вопросительным «алё-алё?», Демьян прочел мне все стихотворение. Оно представляло собой изложение древнегреческой легенды. Ушедший из дому сын дважды на протяжении ряда лет возвращался к отцу — сначала богачом, а потом мудрецом, но оба раза отец отказался признать его величие. И только, когда в третий раз он возвратился в отчий дом вырванным из неволи узником, только тогда:

...Клеону радостно сказал отец-старик:
— Смой кровь с себя, смени истлевшие одежды.
Ты оправдал мои надежды:
Твой подвиг — истинно велик!

— Алё-алё, — сказал Демьян, закончив чтение легенды. — Как?

— Очень здорово, Ефим Алексеевич, — ответил я немного растерянно. — Сильная вещь. Но... Как бы вам сказать... Это ведь не сатира. К этому карикатуры не нарисуешь.

— И не надо карикатуры, — сказал Демьян. — Зачем? Надо сделать красивую, хорошую иллюстрацию. Нарисуйте старика-отца, Клеона. Серьезно, благородно, без всякого шаржа. А на заднем плане изобразите Афины. Храмы там, колоннады всякие... Этакими тонкими, знаете, штрихами. Как фон. Алё-алё? Вы слушаете?

Я пытался возражать:

— Уверяю вас, Ефим Алексеевич, не получится это у меня. Вот если понадобится карикатура...

— В другой раз понадобится и карикатура. А сейчас я очень попрошу вас не отказываться. Алё-алё...

Я понял, что сопротивляться Демьяну бесполезно. Иллюстрацию к легенде я с невероятными муками осилил и даже, как хотел того Демьян, изобразил на заднем плане Афины тонкими штрихами. Рисунок вместе со стихотворением Демьяна под названием «Великий подвиг» был напечатан на первой странице «Известий» 18 марта 1927 года.

Не прошло и трех дней, как Демьян позвонил снова. Он был радостно возбужден.

— Алё-алё! Ефимов? Демьян Бедный говорит. Вот и карикатура понадобилась! Быстро за работу! Мне только что звонил Иван Иванович: Шанхай взят! Я сажусь за стол — стихи писать. А вы давайте готовьте рисунок.

Освобождение Шанхая кантонской революционной армией 21 марта 1927 года было, как известно, кульминационным событием первой гражданской войны в Китае.

Люди моего поколения помнят, с какой радостью была встречена эта весть советскими людьми, следившими за борьбой в Китае с неослабевающим вниманием и волнением. Эти чувства с замечательной поэтической силой выразил в стихотворении «Лучший стих» и Владимир Маяковский.

Стихи Демьяна начинались так:

Скворцов-Степанов мне звонит,
Редактор-друг меня торопит:
— Брось! Пустяки, что чай не допит.
Звони во все колокола!
Ведь тут такие, брат, дела!
— Что за дела? Ясней нельзя ли?
— Шанхай! Шанхай кантонцы взяли!

Я не стал долго раздумывать над сюжетом рисунка и, не мудрствуя лукаво, изобразил ликующего революционного солдата с винтовкой в руках, над которым победно реяло одно-единственное слово «Шанхай»!

Тут же был нарисован в растерянности и злобе схватившийся за голову Чемберлен, британский министр иностранных дел, ярый враг Советского Союза и революционного Китая. Лица его не было видно. Он был изображен со спины. И не случайно. Дело в том, что месяца за два до того Чемберлен прислал официальную ноту, в которой, перечисляя «прегрешения» Советского Союза перед английским империализмом и факты злокозненной советской «пропаганды», не забыл упомянуть и мою карикатуру в «Известиях». На этой карикатуре Чемберлен обнаружил свою собственную персону, что вызвало со стороны возмущенного лорда самый категорический протест...

После этого Чемберлен определенное время изображался мною в таком ракурсе, когда лица его не было видно, но все детали его внешнего облика и особенно «знаменитый» монокль на шнурке не оставляли у читателя никаких сомнений в том, что нарисован именно он, карикатурочувствительный Чемберлен. Кстати сказать, этот прием сатирического «камуфляжа», своего рода «эзопов язык» в карикатуре, придавал ей особую остроту и комизм. Художник и вместе с ним читатель как бы находили добавочное удовольствие в том, что враг был сатирически осмеян, а вместе с тем не изображен открыто и тем самым лишен возможности формально протестовать. Поди, докажи, что человек во фраке, с болтающимся на шнурке моноклем, это именно ты, сэр Остин Чемберлен!

Между прочим, Демьян Бедный охотно включился в эту игру. В стихах к карикатурам, на которых фигурировал «обезличенный» Чем-

берлен, он также не называл обидчивого лорда по имени, а применял ироническое и ядовитое иносказание. Например, в подписи к карикатуре по поводу инспирированного английскими империалистами провокационного налета китайских контрреволюционеров на советское полпредство в Пекине Демьян писал:

Закрывши физию свою,
Нам некто «подложил», как говорят, «свинью»...
Кто ж дрессировщик сей, упрятавший свой лик?
Секрет не очень-то велик,
Тут даже речи нет о тайне,
А просто потому сыграли мы в «секрет»,
Что дрессировщика портрет
И без того уже осточертел нам крайне!

К карикатуре «Разочарованный удильщик», где Чемберлен, нарисованный с затылка, был также обозначен с непременным моноклем, Демьян писал:

Понятно нам без дальних слов,
Кто этот горе-рыболов...

В одном из рисунков, относящихся к пекинскому налету, я пририсовал генералу-налетчику Чжан Цзо-лину чемберленовские атрибуты — цилиндр, монокль и орден Подвязки на генеральском сапоге. Демьян так «обыграл» эти детали в стихотворении под названием «Банд... мистер Чемб... Цзо... лин»:

...Читатель от китайских дел —
Вполне понятно — обалдел.
Про Чемберлена с Чжан Цзо-лином,
Об их совместном мастерстве,
Так начитался он, что оба в естестве
Ему мерещатся едином...

Как-то у нас с Демьяном произошла маленькая забавная «накладка». Рассказывая ему по телефону тему очередной карикатуры — военный представитель фашистской Италии выступил в Шанхае подголоском английских интервентов, — я сказал:

— Ефим Алексеевич! Я думаю, этого обезьянничающего фашиста надо изобразить в виде эдакой усердной мартышки, копирующей движения английского хозяина.

— Мартышкой! Мартышкой! Обязательно — мартышкой, — захохотал Демьян. — Это будет в самую точку!

Когда я приступил к работе над рисунком, мне пришло в голову изобразить британского империалиста также в виде обезьяны — огромного орангутанга. Та же мысль, как потом оказалось, возникла у Демьяна, и он написал:

Художник рисовал одно,
А мне мерещилось другое...
Не человека, нет, — какой бы в том изъян?
А злейшую из злейших обезьян
Копирует фашистская мартышка!

Таким образом, когда карикатура со стихами появилась в «Известиях», то оказалось, что, вопреки тексту, поэту и художнику «мерещилось» одно и то же...

Скоро мы с Демьяном, что называется, «сработались». Обсуждая очередную карикатуру в номер, понимали друг друга с полуслова, быстро находили сюжетное решение, взаимно подсказывали сатирические детали.

Опытный газетчик-агитатор, Демьян умел видеть в каждом политическом факте самое главное и существенное, умел остроумно и точно подчеркнуть смысл карикатуры меткими, образными, бьющими в цель словами.

Сотрудничество с Демьяном стало для меня подлинным творческим удовольствием. Меня всегда радовал очередной телефонный звонок поэта, приятно было слышать его жизнерадостный басовитый голос, характерное «алё-алё».

В 1923 году, в связи с пятилетием Красной Армии, Демьян Бедный был награжден орденом Красного Знамени. По этому поводу Реввоенсовет Республики издал приказ, в котором говорилось:

«За все время гражданской войны Демьян Бедный не покидал рядов Красной Армии. Он участник ее борьбы и ее побед.

Ныне Демьян в бессрочном отпуску. Пробьет час — и армия призовет его снова».

Этот час пробил в дни Великой Отечественной войны. Демьян вернулся в боевой строй поэтов-публицистов. Незадолго до этого и я после вынужденного перерыва возобновил работу как политический карикатурист. И мы снова встретились плечом к плечу на газетной странице.

Под первыми стихами Демьяна в «Известиях» стояла подпись «*Д.БОЕВОЙ*». В этом многозначительном имени звучала гордость поэта-бойца, радость старого солдата советской агитации, снова ставшего в боевой строй.

Художник революции Дмитрий Моор

Я думаю, если бы этот замечательный человек не стал выдающимся художником, то, несомненно, прославил бы свое имя в любой другой области человеческого деяния — в природе и характере его были щедро заложены такие качества и черты, которые отличают людей незаурядных, волевых, целеустремленных, настойчивых в решении поставленных перед собой задач, упорных в преодолении трудностей.

Я легко представляю себе его и смелым исследователем неизведанных пространств, и крупным ученым-изобретателем, и видным политическим деятелем, и талантливым военачальником.

Но он стал художником (кстати сказать, совершенно случайно), и неудивительно, что в его художественном творчестве рельефно и органично выступили все те черты, которые определяли и характеризовали его человеческую индивидуальность. Неудивительно, что искусство Моора было смелым, беспокойным, ищущим и новаторским, всегда проникнуто глубокой убежденностью, непримиримой и воинствующей гражданственностью.

Как же все-таки Моор стал художником? Вспомним его биографию.

Дмитрий Стахиевич Орлов (подлинная фамилия Моора) родился в 1883 году в Новочеркасске, на Дону. Отец его, по профессии горный инженер, происходил из старого казачьего рода, был человеком довольно консервативных взглядов и строгих правил. Естественно, ему не очень нравились свободолюбивые устремления сына, изучавшего марксистскую литературу, участвовавшего в кружках радикально настроенной молодежи. Но решительный и самостоятельный характер молодого Орлова бесповоротно определил его дальнейший жизненный путь. Будучи студентом Московского университета он примыкает к революционному движению и вскоре оказывается вовлеченным в бурные события 1905—1906 годов. Как член студенческой революционной дружины принимает участие в подготовке знаменитого декабрьского восстания на Пресне, хранит оружие для дружинников, строит уличные баррикады и т. д.

Одним из наиболее ответственных его дел была работа в подпольной типографии, печатание и распространение прокламаций, призывавших

к свержению кровавого царского режима. Для того чтобы доставать необходимые печатные шрифты, Моор устроился на службу в так называемую Мамонтовскую типографию «контролером по бумаге».

Именно здесь произошло рождение художника Моора. Вот как об этом рассказывает сам Дмитрий Стахиевич:

«Служба в Мамонтовской типографии часто проходила в ночные часы; однажды, борясь со сном, я чертил что-то карандашом на бумаге. Проходил мимо редактор одной из вечерних газет, взглянул на рисунок и спросил:

— А вы не учитесь рисовать?

— Нет, — ответил я.

— Напрасно, у вас, знаете, здорово выходит. Сделайте что-нибудь для нашей газеты.

Он дал тему. Рисунок был принят, и я получил за него свой первый гонорар — 3 рубля. Это происходило в 1907 году, когда мне было уже 24 года. До этого у меня не было и мысли о том, чтобы стать художником...»

Моор был в восторге от неожиданного открытия: он может рисовать, он — художник! Это граничило с чудом. Охваченный новым увлечением, Моор часами не выпускает из рук карандаш, рисует, рисует, рисует. Как будто сама природа подарила ему эту возможность выражать свои взгляды в броской художественной форме, воплощать свои политические симпатии и антипатии в острых сатирических образах — карикатурах.

Моор как бы создан был для профессии политического карикатуриста. Глубокий внутренний протест против несправедливости и угнетения, революционная приподнятость — все те чувства, которые привели его на баррикады, теперь, в обстановке наступившей реакции, стали движущей силой его художественного творчества. Тернист был путь сатирика-журналиста в условиях царского режима, и Моор в достаточной степени изведал прелести полицейской цензуры, вдосталь хлебнул всевозможных административных предупреждений, запрещений и репрессий. Однако это нисколько не ослабило его решимости продолжать полюбившуюся ему деятельность газетного карикатуриста, не помешало тому, что Моор, по его собственным словам, «несмотря на тяжелые годы... т. е. проходя через 1906—1909 годы реакции, навсегда сохранил в себе юношеские мечты 1905 года, а потому определился навсегда как политический рисовальщик».

Определился навсегда! Лучше не скажешь! Именно таким, навсегда определившимся, твердо убежденным, революционно настроенным политическим рисовальщиком Моор встретил Октябрьскую революцию. Перед ним не вставал вопрос: признавать или не признавать Советскую власть. Не в пример некоторым другим «не определившимся» или не сразу определившимся, он без малейших колебаний и шатаний занял свое место в боевом строю сторонников революции, безоговорочно и с радостью отдал ей душу и сердце борца, талант и темперамент художника-агитатора. Ведь победа рабоче-крестьянской революции была поражением всего того злого, косного и низменного, что всю свою жизнь он презирал и ненавидел.

Вот почему страстная сатирическая и патетическая графика Моора так органично, уверенно и звонко «вписалась» в советское агитационное искусство. По словам самого Моора, он стремился к тому, чтобы язык художника звучал наравне с речью политического оратора. Такой трибуной стал для Моора революционный плакат.

Плакаты гражданской войны... Заботливо прикрытые стеклом, они бережно хранятся теперь в музеях рядом с легендарными тачанками, комиссарскими маузерами и клинками буденновских бойцов, они тщательно воспроизводятся на меловой бумаге искусствоведческих исследований, вошли в золотой фонд советского искусства, стали его классикой. А я помню их еще пахнущими свежей краской, наклеенными на стены домов и ва-

гоны направляющихся на фронт красноармейских эшелонов. Красочным, «шершавым» языком плаката звали они к борьбе и победе. И с этой овеянной пороховым дымом «плакатной трибуны» самым мощным, волнующим и убедительным звучал набатный призыв Моора. Суровая, патетическая сила таких его неувядаемых листов, как «Ты записался добровольцем?», «Враг у ворот!», «Будь на страже!», «Смерть мировому империализму!», «Врангель еще жив — добей его без пощады», и многих других захватывала зрителя, поднимала, вела за собой.

Моор был безбоязненным и в своих творческих поисках. Он смело экспериментирует над изобразительной структурой плаката, не боится решительно, новаторски деформировать манеру и стиль рисунка, построение композиции для наиболее сильного и острого выражения своей сатирической мысли. Не боится отойти от канонов анатомии и перспективы, не колеблется пренебречь внешним сходством и правдоподобием ради наибольшей художественной и образной выразительности.

Но эта неустанная работа над формой никогда не была для Моора самоцелью, игрой, а прежде всего служила усилению идейного и эмоционального воздействия произведения. Он ставил себе главной задачей овладеть вниманием зрителя, взволновать его и, как выражался Моор, вывести из состояния душевного равновесия.

И это удавалось ему. Патетика и сатира Моора всегда активны, динамичны, напористы, представляя собой две одинаково близкие характеру художника и неразрывно между собой связанные средства выражения его мыслей, чувств, убеждений. В любом соотношении формы и содержания произведения Моора, отображающие великие события в жизни нашей страны, всегда пронизаны духом эпохи — романтически приподнятым, гражданственным, воинствующим. Таким и вошло творчество этого замечательного мастера в историю советского искусства.

Избрав путь политического карикатуриста и безошибочно определив этим свое подлинное призвание, Моор становится постоянным сотрудником известного в свое время сатирического еженедельника «Будильник», печатается и в других московских газетах и журналах прогрессивного направления. Свои рисунки он вначале подписывает «Дор», т. е. сокращенно «Дмитрий Орлов», но против этого запротестовал фельетонист-сатирик, писавший под псевдонимом «О.Л.Д'ор». Тогда художник, совершив небольшую перестановку букв, начал подписываться Д. Моор, что символически совпало с именем благородного героя знаменитой шиллеровской трагедии, как бы подчеркивая духовную близость с его борьбой за справедливость, ненавистью к тиранам и бунтарской непримиримостью.

В трудные, сложные годы между двумя русскими революциями — 1905 и 1917 годов — выковывалось искусство карикатуриста-публициста Моора, закалялась и приобретала свое особое лицо его сатира — гневная, резкая, обличающая, образы которой рождают не только и не столько насмешку, сколько ненависть и презрение к врагу. Творчеству Моора мало свойственно веселое высмеивание. Его смех — это суровый, не знающий пощады сарказм, бескомпромиссный и уничтожающий, дающий право отнести к Моору слова, сказанные Бальзаком о Домье: «В нем есть что-то от Микеланджело».

Увидел я впервые Дмитрия Стахиевича в Москве в 1922 году. Помню, как меня несколько удивило неожиданное несоответствие между его творческим и бытовым обликом. По его произведениям я представлял себе Моора человеком сурово-величественным с грозно нахмуренным челом, а он оказался удивительно простым, общительным и веселым. Мне довелось работать рядом с ним в только что возникшем журнале «Крокодил» и видеть, как благожелателен и по-дружески расположен был этот

большой прославленный мастер к молодым начинающим художникам. Обаятелен был его умный, чуть-чуть озорной юмор, подкупали его прямые, откровенные и глубокие суждения, горячее и открытое выражение своих симпатий и антипатий в искусстве.

В быту Моор отличался поистине спартанским безразличием к жизненным благам и неудобствам. Летом он носил простой полотняный китель «толстовку», зимой ходил в суконной куртке-френче и неизменном крестьянском кожухе, раскрытом на могучей груди, в высокой казачьей папахе. В зубах его обычно дымилась душистая «козья ножка» огромных размеров.

К сожалению, здоровье этого крепко сшитого, коренастого человека слишком рано стало ослабевать. Начало пошаливать сердце, появилась одышка. Его своеобразный, почти беззвучный, но какой-то всегда заразительный смех все чаще переходил в тяжелый астматический кашель. Однако творческий дух Моора не теряет своей окрыленности. Художник продолжает работать жадно, увлеченно, молодо. Он не ограничивается сатирической тематикой, а ставит себе новые, на первый взгляд неожиданные, художественные задачи: выполняет серию интереснейших и свежих по трактовке иллюстраций к «Слову о полку Игореве», приступает к циклу рисунков на темы пушкинской поэмы «Руслан и Людмила». Но эту последнюю работу ему не суждено было закончить. Мужественно сопротивляясь жестокой болезни, работая до самого последнего дня, он ушел из жизни всего шестидесяти трех лет от роду в 1946 году, успев увидеть великую победу советского народа над фашизмом, в которую он внес свою долю оружием сатирика так же, как на четверть века раньше вдохновенными агитационными плакатами участвовал в разгроме белогвардейцев и интервентов.

Выдающийся гражданин нашей страны, талантливейший самородок, революционер в жизни и в искусстве, человек острого критического ума, неутомимый общественник, воинствующий безбожник, пропагандист и педагог, художник-агитатор, трибун и боец — такой навсегда останется в нашей памяти яркая личность Дмитрия Стахиевича Моора.

О двух сатириконцах

Но сначала несколько слов о самом «Сатириконе» (позднее «Новом Сатириконе»).

Так назывался русский сатирико-юмористический художественный журнал, существовавший ровно десять лет — с 1908 по 1918 год.

Возник он при следующих обстоятельствах. Много лет подряд в Петербурге выходил в свет юмористический журнал «Стрекоза», издание довольно обывательского толка, бесцветное и беззубое. Группа сотрудников «Стрекозы», молодые талантливые художники и поэты, не раз предлагали владельцу журнала М. Корнфельду оживить «Стрекозу», сделать ее содержание более острым, злободневным, общественно значительным. Однако робкий Корнфельд, опасаясь неприятностей с царской цензурой, не соглашался ни на какие реформы, предпочитая тихое существование и даже примиряясь с явным снижением интереса к журналу со стороны читателей.

И все же жизнь взяла свое — уровень общественного развития уже не мог удовлетворяться «сатирой», представлявшей собой, по сути дела, плоское зубоскальство, пережевывание «извечных» сюжетов о злой теще, дачном муже и подвыпившем купце.

На основе корнфельдовской «Стрекозы» возник новый журнал, ставший через короткое время крупным явлением русской культуры, занявший в истории сатирического искусства и литературы нашей страны такое же место, как в Германии «Симплициссимус», в Англии «Панч» или во

Франции «Канар аншене». Нет необходимости анализировать здесь идейные позиции «Сатирикона» — был ли он органом фрондирующих радикалов или рупором ограниченных либералов; чего было больше в журнале — антимещанской сатиры или околомещанского юмора; лишенного социальной базы интеллигентского радикализма или талантливого и злого, но пассивного скептицизма. Предоставим это историкам и литературоведам.

Одно не требует доказательств — впервые возникла в России столь великолепная плеяда художников-карикатуристов, непревзойденных по блеску остроумия и мастерства. И в этом удивительном созвездии талантов звездой первой величины засверкало дарование художника Н. Ре-ми. Таким псевдонимом подписывал свои рисунки Николай Владимирович Ремизов.

Вряд ли это имя знакомо широкому советскому читателю. А между тем речь идет о выдающемся художнике-сатирике, творчество которого является, без всякого сомнения, одной из самых блестящих страниц отечественной и мировой карикатуры.

Как же так получилось?

Каким образом искусство талантливейшего русского мастера сатиры и юмора столько лет и по сей день остается в тени? Почему так безжалостно и неразумно преданы забвению его имя и замечательные работы?

Чтобы уяснить себе эту странность, обратимся к биографии художника.

Н. В. Ремизов родился в 1887 году в Петербурге в семье актера В. С. Васильева (сценическая фамилия — Ремизов). Еще будучи школьником, обнаружил незаурядные способности к рисованию и, по окончании училища, начал учиться в мастерской Академии художеств под руководством Д. Н. Кардовского. Здесь вскоре обнаружились сатирические наклонности молодого художника. Они привели двадцатилетнего Ре-ми в юмористический журнал «Стрекоза», на страницах которого и начали появляться первые опыты одаренного карикатуриста-самоучки. А после того как вместо пустой «Стрекозы» возник острый, задорный «Сатирикон», не было на протяжении десятилетия ни одного номера журнала без очередной карикатуры, сатирической зарисовки или шаржа Ре-ми, составивших целую огромную галерею смешных, злых, метких, запоминающихся образов — подлинную сатирическую энциклопедию событий, лиц и нравов эпохи, запечатленных карандашом художника.

В искусстве Ре-ми поражают зоркость его ви́дения, необычайная широта кругозора, разнообразие сюжетов, многогранность художественных приемов. Одни его рисунки, проникнутые едкой уничтожающей иронией, заострены против упоенной собой пошлости, самодовольного воинствующего мещанства, тупой и дремучей обывательщины. Другие — глубоко и беспощадно раскрывают темные и жестокие черты дореволюционного быта, беспросветное существование обездоленных общественных «низов», разоблачают наглый произвол полицейского государства, бичуют бездарность и продажность царской бюрократии. Во многих таких карикатурах больше боли и горечи, чем смеха, но это стократ усиливает их сатирическое звучание и действенность.

Давным-давно сметены и исчезли с исторической сцены явления и персонажи, которых высмеивала сатира Ре-ми, — махровые монархисты-черносотенцы, а также лидеры буржуазных партий, так называемые «кадеты» и «октябристы», трусливо пресмыкавшиеся перед царским престолом, перед всесильным временщиком, министром-вешателем Столыпиным. Для молодого поколения советских людей все эти Столыпины, Родзянки, Марковы, Гучковы, Пуришкевичи, Распутины и другие фигуры свергнутого

Февральской революцией строя — только мрачные тени далекого прошлого, давно истлевший на исторической свалке мусор. Вместе с тем, как в любой карикатуре, сохраняющей в себе приметы и характерные черты своего времени, так и в талантливых рисунках Ре-ми навсегда остаются доступными для рассмотрения и изучения эти «экспонаты» предреволюционной эпохи, увиденные художником сквозь сатирическую призму.

Но дело, конечно, не только в документальном, историческом значении созданной Ре-ми уникальной «галереи» образов, но и в непреходящей художественной ее ценности. Рисовальное мастерство Ре-ми поразительно! Для него как бы не существует ни малейших трудностей в технике изображения, лепке образов, композиционной и графической «оркестровке» сюжета. Одинаково уверенно и непринужденно использует он и сочный живописный мазок, и острый изящный линейный контур, и прозрачную акварельную размывку, и бархатистый сухой, шершавый штрих. Поразительная зоркость глаза и абсолютная зрительная память позволяют ему убедительно сочетать реалистичность рисунка с гротескной гиперболой, виртуозно передавать любую комическую ситуацию, выражение лиц, игру деталей, пластику жестов. Исключительно метко схватывает Ре-ми портретное сходство людей в несметном количестве созданных им «дружеских» и, еще больше, недружеских шаржей, не упуская этого сходства при самых смелых деформациях и трансформациях действующих лиц.

Должен сказать, что для меня лично творчество Ре-ми послужило в мои юные годы самой настоящей школой. Еще будучи школьником, я, заполучив свежий номер «Нового Сатирикона» и рассмотрев все рисунки, с особым вниманием и, не боюсь признаться, наслаждением изучал рисунки Ре-ми и даже перерисовывал в особую тетрадку отдельные их детали, в частности, руки изображенных на них людей. Я бы даже не мог объяснить, для чего это мне понадобилось. Просто приятно было!

В 1918 году в числе других органов буржуазной печати «Новый Сатирикон» был закрыт за злобное антисоветское направление. Да, к сожалению, бывший в свое время прогрессивным, сатириконский коллектив не принял Октябрьской революции, не понял большевистской правды. Впрочем, не все сатириконцы остались противниками нового строя. Лучшие художники журнала — А. Радаков, В. Лебедев, Н. Радлов, Б. Антоновский, А. Юнгер и другие отдали свое мастерство советской сатире, стали впоследствии активными сотрудниками советской печати, заняли почетные места в строю нашей публицистической графики.

К великому сожалению, среди них не было Ре-ми. Не поняв и испугавшись грандиозных революционных перемен, сбитый с толку, он последовал примеру своего друга-редактора Аркадия Аверченко и очутился за границей.

Какая трагическая ошибка!.. Какая потеря для отечественного искусства. Ведь так легко себе представить, какие яркие, талантливые рисунки и плакаты, разящие белогвардейцев, интервентов, фашистов, создавал бы Ре-ми. Как органично и плодотворно «вписался» бы он в славную когорту сатириков-бойцов плечом к плечу с Д. Моором, В. Дени, Н. Радловым, В. Лебедевым, Кукрыниксами и другими мастерами. Но этого, увы, не произошло.

Следует добавить, что на чужбине деятельность Ре-ми как карикатуриста полностью прекратилась. Он всецело посвятил себя декоративно-оформительской работе в театре и кино. До конца жизни он болезненно переживал потерю Родины, но, увы, не нашел в себе мужества, подобно, например, А. Куприну или сатириконцу-фельетонисту А. Бухову, возвратиться из эмиграции.

До нас дошли его письма к близким. Они проникнуты грустью, дают представление о том, как горек чужой хлеб. Н. Ремизов остался в воспоминаниях знающих его людей как человек чрезвычайно сдержанный и немногословный. Сдержанным остается он и в своих письмах. Но сколько в них скрытой горечи. И мы тоже читаем эти письма с горьким чувством. Подумать только: талантливый русский художник, который, без всякого сомнения, стал бы одним из ведущих и прославленных мастеров советского сатирического, да и театрального искусства, перебивается случайными заработками в волчьем мире бизнеса, зависит от милости «фармацевтов» и менеджеров...

Тяжело и обидно об этом думать.

По-иному сложилась судьба другого художника-сатириконца — Николая Эрнестовича Радлова.

Когда думаешь и вспоминаешь о нем, то прежде всего изумляешься разносторонней талантливости этого человека.

Веселый, озорной карикатурист и серьезный, вдумчивый искусствовед. Отличный тонкий живописец — пейзажист и портретист, — и неподражаемый мастер смешных картинок для малышей. Превосходный педагог-воспитатель и рисовальщик уморительных «технических изобретений», высмеивающих лентяев и халтурщиков. Автор ценных и глубоких критических исследований, острый и эрудированный рецензент, блестящий оратор, остроумный и находчивый полемист, интереснейший лектор, активный и инициативный общественный деятель... Всего и не перечислишь.

И в любом проявлении этой многогранной и неутомимой деятельности Радлова сказывались характерные черты его особой, «радловской» индивидуальности: самостоятельный и оригинальный склад ума, своеобразный иронический юмор, элегантная уравновешенность стиля, поведения, разговора, особое личное обаяние, которому не мог не поддаться каждый, кому доводилось общаться с Николаем Эрнестовичем, кому доводилось слышать его спокойные неторопливые высказывания, расцвеченные меткими, подчас парадоксальными, но всегда остроумными и интересными суждениями.

Под стать внутренним чертам Радлова был и его внешний облик — высокая, всегда подтянутая фигура, подчеркнуто корректная манера держать себя, лишенная малейших признаков важной маститости и вместе с тем не допускающая никакой фамильярности.

Радлов-сатирик обладал исключительным умением найти изобразительный ключ к любому из многочисленных сатирических и юмористических жанров. Он быстро проникал в суть стоявшей перед ним задачи и с кажущейся легкостью (на самом деле за этим стоял настойчивый и взыскательный труд) Радлов создавал и боевой антифашистский плакат, и смешную карикатуру на пошляков и мещан, и забавную иллюстрацию к юмористическому рассказу, и дружеский шарж на популярного писателя. Все, что выходило из-под карандаша Радлова, изобретательно придумано, комически эффектно, по-радловски смешно.

Творческий путь Радлова-карикатуриста начался еще в дореволюционные годы, когда он, придя в «Сатирикон» начинающим художником, за короткое время стал по заслугам в один ряд с прославленными сатириконцами — Н.Ре-ми, А.Радаковым, В.Лебедевым, Б.Антоновским и другими. После Октябрьской революции разносторонняя одаренность и энергия Радлова целиком отданы Советской власти. Он работает увлеченно и вдохновенно, с полной отдачей своих сил, способностей, знаний.

В первую суровую годину Великой Отечественной войны Радлов принял активное участие в работе боевого коллектива «Окон ТАСС»,

и в 1942 году он в числе небольшой группы художников-плакатистов был удостоен высокой награды — Государственной премии СССР.

К великому прискорбию, работа в «Окнах ТАСС» стала последней страницей в прекрасной творческой биографии Николая Эрнестовича. Контузия, полученная им в результате прямого попадания фашистской бомбы в дом, где жил и работал художник, привела к роковому исходу.

«Крокодилий секретарь»

Давно стало привычным и традиционным выражение: «старожилы этого не припомнят». Обычно оно применяется по поводу различных капризов природы — морозов или жары не по сезону, наводнений, снегопадов и тому подобное. Но частенько произносится в связи со всякими другими необычными и уникальными явлениями. Выражение это носит в общем довольно лестный для старожилов характер и означает примерно следующее: если уж такие почтенные, умудренные опытом и заслуживающие доверия люди, как старожилы, этого не помнят, то значит речь идет о чем-то действительно из ряда вон выходящем...

Однако приятный для старожилов смысл этого присловья как-то незаметно улетучился, и оно постепенно приобрело оттенок несколько иронический и почти обидный. Уже получалось вроде так, что старожилы вообще ничего не запоминают. Даже то, что не следовало бы забывать. Слово «старожил» стало чуть ли не равнозначным слову «склеротик».

Не пора ли восстановить справедливость? Почему, в самом деле, старожилы обязательно «не припомнят»? Вот я, например, имея абсолютно законное право причислять себя к крокодильским старожилам, отлично запомнил все, что связано с возникновением этого популярного журнала и выходом в свет первого его номера.

Оно произошло, как известно, 27 августа 1922 года. Новорожденный, смешно и выразительно нарисованный художником Иваном Малютиным, проклюнулся сквозь первую страницу «Рабочей газеты» и, просунув наружу голову и правую переднюю лапу, весело оглянулся вокруг. Несмотря на юный возраст он уже отлично понимал что к чему и поэтому первым делом представился своему ответственному редактору Константину Степановичу Еремееву.

— Вот и я, дядя Костя! — сказал зубастый младенец.

— Что ж, отлично,— ответил Еремеев.— Давай. Будем вместе работать. Знакомься со своими художниками — вот это Моор Дмитрий Стахиевич, Черемных Михаил Михалыч. А это твой родитель — Малютин Иван Андреич. Тебя, можно сказать, в муках рожал. А это наш Исаак Павлович Абрамский — ведает художественно-технической частью. Вот и другие сотрудники.

— Очень приятно,— сказал новорожденный.— А позвольте узнать,— прибавил дотошный малютка,— кто будет моим литературным секретарем?

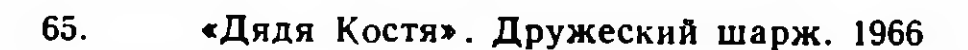
Еремеев молча показал своей трубкой, из которой вился легкий голубой дымок, на светлоглазого молодого человека с буйной золотистой шевелюрой.

— Лебедев-Кумач,— кратко представился тот и крепко пожал крокодилью лапу.

Описанная выше сценка носит, конечно, условно-фантастический характер, но фактическая сторона дела полностью соответствует действительности: Василий Иванович Лебедев-Кумач, тогда совсем молодой, но уже довольно известный поэт-сатирик, был в числе самых-самых первых зачинателей «Крокодила».

Имя журнала родилось в жарких спорах — «Крокодил»! И, кстати сказать, в муках родился также и изобразительный образ нового журнала. Об этом рассказал в своих воспоминаниях крокодильский старожил Абрамский:

«С именем Малютина связано создание обложки первого номера журнала. Когда наконец... было утверждено название «Крокодил», многие участники обсуждения выражали сомнение, понравится ли читателям изображение столь несимпатичного животного.


65. «Дядя Костя». Дружеский шарж. 1966



— А вот мы попросим Малютина сделать обложку первого номера,— улыбнулся Еремеев.— Иван Андреевич, нарисуйте красного крокодила, прорывающего «Рабочую газету», как бы из нее вылупляющегося. Докажите товарищам, что крокодил умеет смеяться и быть даже добрым с друзьями. А вот враг берегись его острых зубов!..

Малютин немедленно отправился работать: рано утром рисунок надо было отправлять в цинкографию. Как потом рассказывал художник, вначале у него ничего не получалось. Он был целиком во власти традиционного образа злого и двуличного крокодила, который, как известно, плачет лицемерными слезами, когда пожирает свою жертву. Он делал бесчисленные карандашные эскизы и тут же рвал их один за другим.

Он работал до пяти часов утра и сделал то, что казалось невозможным. Взгляните на обложку первого номера, и вы увидите новый образ крокодила — веселого, улыбающегося, но вместе с тем решительного и энергичного!»

Еремеев был самобытной и яркой личностью. Немало написано о нем в воспоминаниях соратников и друзей. Рассказы современников сохранили для нас облик и других корифеев-крокодильцев — Демьяна Бедного, Моора, Черемныха, Малютина, Дени. Я тоже не раз расска-

66. В.И.Лебедев-Кумач. Дружеский шарж.



зывал о них и не буду здесь повторяться. Сейчас мне хочется вспомнить главным образом «крокодильего секретаря» Василия Лебедева-Кумача.

Я увидел его впервые в одной из скромных комнат «Рабочей газеты» за столом, где он готовил материал к очередному номеру «Приложения», и протянул ему карикатуру, которую считал вполне удачной как по замыслу, так и по выполнению. Поэтому я был неприятно удивлен, когда Кумач отнесся к моему произведению довольно кисло.

— Понимаете, какое дело,— сказал он, деликатно подбирая слова, явно не желая задеть самолюбие молодого художника,— все это, может быть, здорово сделано, выразительно и все прочее... Но... Как бы вам сказать... Не по душе мне такой рисунок. Уж очень он, понимаете, вырисован, вылизан... Возьмите хотя бы эту вещь.— Кумач взял в руки лежавший на столе рисунок.— Пусть это небрежно, незакончено, размашисто... Но зато какая-то, черт его знает, легкость чувствуется, какое-то искусство. А у вас уж очень, извините, сухо, вымученно.

Я слушал Кумача недоверчиво. Мне казалось маловероятным, что ему всерьез нравятся такие вот нарочито небрежные, разболтанные,

сделанные под детский рисунок карикатуры. Они были бесспорно талантливы, живописны. Но что общего, думал я, между этаким лихим, эффектно незаконченным «левым» рисунком и политической карикатурой, где все должно быть ясно, понятно, целенаправленно.

Вместе с тем я понимал, что Кумач совершенно искренен в своих художественных взглядах и в чем-то безусловно прав. Я стал чаще задумываться над своей изобразительной манерой, в ту пору еще не совсем устоявшейся, но складывавшейся, как и у многих других карикатуристов, под сильным влиянием немецкого мастера сатиры Олафа Гульбрансона, для стиля которого была характерна чистая четкая линия, абсолютно законченный «стерильный» контур.

Мне к тому же нравилось акцентировать основные фигуры рисунка, дополнительно обводя их утолщенной, как проволока, линией. Мне казалось, что это придает изображению особую рельефность, и я не замечал, что рисунок получается при этом сухой, жесткий, скованный.

— Чувствуется, понимаешь, в рисунке пот,— заметил мне как-то по этому поводу Кольцов.

И я увидел, что это совпадает с отзывом Кумача.

Мне это запомнилось.

Лебедев-Кумач был мне симпатичен. Он вообще располагал к себе приветливым и корректным обращением, а главное, какой-то подкупающей искренностью и заинтересованностью в деле, которое мы вместе делали. На сатирический жанр он смотрел как на подлинное большое искусство, к смешному относился по-серьезному. Его суждения всегда бывали самостоятельны и принципиальны.

Высказывал он их обычно сдержанно и деликатно, но, постепенно разгораясь, начинал говорить порывисто и горячо.

Вообще я не могу вспомнить его безразличным или равнодушным к чему бы то ни было, что прямо или косвенно касалось «Крокодила». Впрочем, из первокрокодильцев трудно было бы кого-нибудь уличить или даже заподозрить в равнодушном отношении к журналу. Все были полны энтузиазма, активности, инициативы.

Особенно оживленно проходили еженедельные редакционные совещания, где происходили обсуждения планов очередных номеров и тем для рисунков. При этом спорили между собой горячо и задиристо, темпераментно полемизировали, даже повышали голоса, но никогда не «переходили на личности», оставались добрыми соратниками, спаянными общей гражданственной и партийной позицией.

Обязанности «крокодильего секретаря» были чрезвычайно многогранны и многозначны. Помимо самого непосредственного и действенного участия в составлении и подборе материалов для номера на его попечении было чтение читательских писем и ответы на них, прием посетителей, объяснения с иногда весьма настырными авторами и прочее. Кроме того, поэт проверял корректуру, обзванивал авторов, заказывал материалы, проводил совещания сотрудников. Да мало ли чего могло потребовать в любой день и час беспокойное редакционное хозяйство!

Но это еще не все! Кумач был одним из инициаторов и заводил массовой клубно-агитационной деятельности «Крокодила». В основе ее было посещение крокодильской агитбригадой того или иного крупного предприятия и выступление перед рабочей аудиторией с сатирическими интермедиями на местные злобы дня. Материал для этих выступлений готовился заблаговременно вместе с партийной и профсоюзной организациями завода или фабрики. Можно себе представить эффект, когда приехавший на предприятие «Крокодил» (само собой разумеется, было

сделано соответствующее, пустое внутри, красное чешуйчатое туловище, куда забирался «крокодилий секретарь»), обнаруживая прекрасную осведомленность в местных делах, называя конкретные имена и фамилии, критиковал с эстрады нерадивых руководителей, прохватывал бракоделов и прогульщиков, высмеивал выпивох и лодырей.

Все это бывало изложено в бойких, язвительных частушках и раешниках, заранее написанных Кумачом. Впрочем, иногда бригада приезжала на место, не успев подготовиться, и тогда, наскоро собрав материал, примостившись где-нибудь за сценой на краешке стола, «крокодилий секретарь» быстро и оперативно сочинял веселые колючие строки, забирался в крокодилью оболочку, брал в руки огромные бутафорские вилы и под общий смех и бурные аплодисменты выходил на сцену.

После выступления он вылезал из маски раскрасневшийся, потный, усталый, но счастливо улыбающийся, довольный успехом...

Говоря о роли Кумача в «Крокодиле», я еще ни слова не сказал пока об одной немаловажной детали — о его неустанной поэтической работе для журнала. А она шла рядом и неотрывно от всех его вышеперечисленных функций — секретарских, технических, организационных, клубно-эстрадных и всяких иных. Перефразировав известное «Ни дня без строчки», можно было бы сказать: «Ни одного номера «Крокодила» без строчек Кумача» — стихотворных фельетонов, памфлетов, частушек, эпиграмм, пародий, коротких подписей к рисункам, то лукаво высмеивающих, то едко иронизирующих, то гневно бичующих, но всегда остроумных, веселых, метко бьющих в цель.

В дружную жизнерадостную семью спаялись крокодильцы.

Конечно, как и во всякой семье, в ней происходили прибавления и убавления. Когда приятные, а когда и не очень.

Так с искренней грустью крокодильцы расстались со своим основателем и добрым наставником — Еремеевым. По решению партии он перешел из редакторского кабинета на командный мостик боевого корабля: в конце 1923 года Константин Степанович был назначен членом Реввоенсовета Балтфлота. Не совсем обычным в газетной практике, но от всего сердца идущим проявлением наших чувств при расставании с дорогим товарищем и редактором было «Постановление коллектива сотрудников «Крокодила», опубликованное в № 47 журнала за 1923 год. Оно гласило:

«Редактор «Крокодила» тов. К.С.Еремеев, возглавлявший наш коллектив с самого основания журнала, назначен членом Реввоенсовета Балтфлота.

Коллектив «Крокодила», художники и литераторы, желая сохранить живую и дружественную связь с дорогим Константином Степановичем и отблагодарить его за большую и плодотворную работу на пользу журнала, постановляет: избрать товарища Константина Степановича Еремеева почетным редактором журнала «Крокодил».

К десятилетию «Крокодила» Лебедев-Кумач писал:

С журналом нянчась, словно мать,
Дышали пылью мы свинцовой
И часто оставались спать
В «Седьмой» и «Первой Образцовой».
Наш крокодильский адмирал,
Душистый дым вокруг развеяв,
Упорно кадры подбирал
Добрейший «батько» Еремеев.

Малютин, Черемных, Моор
Спаялись крепко с «Крокодилом»,
И рос худкор, и рос крокор,
И рос тираж, и крепли силы.
Пришли Неверов и Кольцов.
Пришли Демьян и Маяковский.
И «Крокодил» в конце концов
Стал «Главсатирою» московской.
Без жарких схваток нет побед,
А кто горит, тот быстро тает.
И дяди Кости больше нет,
И многих, многих не хватает.
Но не роняли мы знамен,
К нам молодежь всегда ходила,
И сотни нынешних имен
Родились в недрах «Крокодила»!

В этих строчках о родном крокодильском доме сквозят нотки грусти. Слишком много было связано у каждого из первокрокодильцев с журналом, с которым «нянчились»» в свинцовой пыли типографий, так же как в табачном дыму редакционных помещений. Нелегко было расставаться по тем или иным причинам с полюбившейся работой, но многим из нас суждено было пройти через это — временно, а иногда насовсем.

Не избегнул этого и бессменный «крокодилий секретарь». Так случилось, что в какой-то момент в тридцатых годах пути его с редакцией журнала разошлись. И еще через какое-то время началась новая славная глава в творческой биографии поэта. Глава, овеянная всенародной славой.

Произошла удивительная вещь: почти что чудесное и для большинства из нас совершенно неожиданное раскрытие у поэта-юмориста, поэта-сатирика высокого эпического и лирического песенного дара. Одна за другой пронеслись над нашей страной на крыльях замечательной музыки Дунаевского песни Лебедева-Кумача, прозвучавшие, «как колокол на башне вечевой, во дни торжеств и бед народных».

Самые возвышенные и проникновенные чувства советских людей поэт выразил в песнях, сразу же подхваченных миллионами голосов и сердец. Он нашел для этих чувств самые простые и вместе с тем самые берущие за живое и волнующие слова. Без малейших стихотворческих ухищрений и стилистических эффектов, чистым, как родниковая вода, поэтическим языком, вдохновенно и горячо говорил Лебедев-Кумач своим соотечественникам о самом главном, самом нужном и святом. И слава поэта стала всенародной.

Это было похоже на озарение.

В самом деле. Добрых полтора десятилетия из-под пера Лебедева-Кумача выходили сатирические и юмористические фельетоны в стихах, эпиграммы, пародии, шутки. Поэта вдохновляла муза комедии, веселой и озорной иронии. И вдруг в какой-то таинственный миг ее сменила муза задушевной лирики и жизнеутверждающей героики, строгого, подчас сурового, мужественного пафоса.

Как известно, первыми шагами на этом пути были песни Кумача к кинофильму «Веселые ребята» и прежде всего — знаменитый марш «Легко на сердце от песни веселой». Наш замечательный певец народный артист СССР Леонид Утесов вспоминал:

«Стихи писались несколькими авторами. Сказать откровенно, стихи эти мне не очень нравились, но пришло время съемок и ничего не оставалось, как пройти в первой панораме под «Марш веселых ребят» и, скрепя сердце, пропеть такие безличные слова:

Ах, горы, горы, высокие горы,
Вчера туман был и в сердце тоска,
Сегодня снежные ваши узоры
Опять горят и видны издалека.

И так еще несколько куплетов, которые теперь я даже уже и не помню. Но конец припева запомнился мне на всю мою долгую жизнь. Обращаясь к стаду, я пел:

А ну, давай, поднимай выше ноги,
А ну, давай, не задерживай, бугай.

Хотя все уже было снято, пропето и записано, я, приехав из Гагры, где снимались натурные кадры, в Москву на павильонные съемки, тайно от всех встретился с В.И.Лебедевым-Кумачом и попросил его написать стихи... И особенно просил его позаботиться о рефрене — чтобы никаких бугаев! И он написал ставшие знаменитыми слова:

Легко на сердце от песни веселой,
Она скучать не дает никогда...—

и рефрен, превратившийся в символ того времени:

Нам песня строить и жить помогает,
Она, как друг, и зовет и ведет.
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет.

Кроме того, он написал и лирическую песню Кости «Сердце, тебе не хочется покоя».

Я с радостью забрал у него стихи, но так как всякая работа должна быть оплачена, заплатил Лебедеву-Кумачу свои собственные деньги, не посвятив его, естественно, в эту дипломатическую тонкость.

На студии я спел эти песни. И все пришли в восторг:

Кто, кто это написал?!

— Верните мне затраченные деньги, и я открою вам секрет! — пошутил я...» *

Как показало дальнейшее, песни к «Веселым ребятам» не были случайной удачей Лебедева-Кумача. Уже следующая его работа — песня «Широка страна моя родная» — стала непреходящим событием советского искусства, вошла в нашу жизнь, наш быт, нашу культуру, перешагнула рубежи нашей Родины. А музыкальная фраза Дунаевского, с которой начинается песня, стала великолепными позывными советского радио.

Отвечая на приветствия в связи с избранием его депутатом Верховного Совета РСФСР, Лебедев-Кумач сказал:

«Песня, которую поют миллионы,— это лучшая награда и праздник для поэта. Я бесконечно счастлив, что в моей песенной работе мне удалось угадать то, чем живет и дышит, и о чем мечтает советский народ».

Я мысленно перебираю в памяти наиболее популярные песни Кумача и в каждой нахожу яркие приметы времени, воскрешающие сегодня и предвоенную и военную эпохи, насыщенные атмосферой незабываемых дней, счастливых, трудных, грозных. Я вспоминаю чудесный сплав музыки и стихов в таких песнях, как (я называю не названия их, а неизгладимо вошедшие в память строчки) «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер», или «Капитан, капитан, улыбнитесь!», или «Чтобы тело и душа были молоды, были мо-ло-ды!», или «Отдыхаем — воду пьем, заседаем — воду льем, потому что без воды — и ни туды, и ни сюды», или «Если

* *Л.Утесов.* Спасибо, сердце. М., 1976, с. 272

завтра война, если завтра в поход...», или еще и такие же звонкие, задорные, напевные.

И венчает все это песенное богатство:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!

Василий Иванович Лебедев-Кумач навсегда вошел в летопись советской поэзии, навсегда остался в памяти народной как выдающийся поэт-гражданин, патриот, коммунист. И вместе с тем это воспоминание о нем для нас, крокодильских старожилов, неотделимо от облика веселого «заводного» рыжеволосого паренька, остроумного и доброго товарища, «крокодильего секретаря» Васи Кумача.

Беспощадный к себе

Имя Романа Кармена стоит в ряду выдающихся кинематографистов нашего времени. Его большие заслуги перед советским киноискусством достойно отмечены почетнейшими званиями нашей страны — Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР, лауреата Ленинской и Государственных премий. Трудно переоценить значение творческого вклада Кармена в отечественную кинопублицистику, достаточно вспомнить такие созданные им фильмы, как кинорепортаж из Испании, «Суд народов», «Повесть о нефтяниках Каспия», «Пылающий континент», «Товарищ Берлин» и многие другие.

Последней и, пожалуй, наиболее замечательной его работой стала «Великая Отечественная» — грандиозная двадцатисерийная киноэпопея, с исключительной силой, яркостью и убедительностью показавшая бессмертный подвиг советского народа, в небывалой по масштабу и тяжести битве сокрушившего гитлеровский фашизм.

И смелый замысел этого огромного кинопроизведения с его первостепенным политическим значением и поистине глобальным пропагандистским звучанием, и не поддающееся никакому представлению количество фактического материала, которое следовало собрать, изучить, продумать и организовать, и несметное множество проблем, которые в связи с работой над этим громадным фильмом следовало ставить и решать быстро, четко, безошибочно и буквально на ходу,— все эти компоненты сплавились в единую и цельную ответственнейшую задачу, решение которой оказалось по плечу именно Кармену и возглавляемому им коллективу. И он с этой задачей великолепно справился.

Но так случилось, что в разгар напряженной, целиком захватившей его работы над последними метрами этого фильма Кармен ушел из жизни. Как солдат на боевом посту, он умер на своем рабочем месте, за монтажным столом кинолаборатории.

Воспоминания о человеке легче писать, если они локализованы каким-то определенным периодом времени, конкретными событиями или обстоятельствами.

Труднее — если знакомство с этим человеком охватывает десятилетия, если в памяти возникает бесчисленное множество встреч в разных ситуациях, по разным поводам. О чем же вспомнить? Что рассказать?

Я впервые увидел Романа Кармена застенчивым юношей, начинающим фоторепортером и знал его более полувека вплоть до последних дней его жизни — убеленного сединой, прославленного, увенчанного многими почетными званиями и наградами мастера, выдающегося общественного деятеля.

Мы познакомились, как мне помнится, в доме нашего общего доброго друга, своеобразного и тонкого писателя Ефима Зозули. Еще

в Одессе Ефим Давыдович дружил с отцом Кармена, одаренным журналистом-очеркистом Лазарем Карменом, и перенес свои симпатии на его рано осиротевшего сына. Именно Зозуля привлек молодого Кармена к работе в незадолго до того возникшем «Огоньке», познакомил с редактором журнала. Много лет спустя Кармен писал с искренней душевной теплотой: «Я храню первое мое журналистское удостоверение — это корреспондентская карточка «Огонька», сентябрь 1924 года, подписанная ответственным редактором Михаилом Кольцовым. Помню, как он, приходя в редакцию, помещавшуюся тогда в нескольких комнатушках в переулке возле елисеевского «Гастронома», наполнял редацию веселым смехом, щедро оделял каждого сотрудника идеями, мыслями, темами».

Там, в огоньковских комнатушках в Козицком переулке, в кипучей, неугомонной, чуть-чуть озорной редакционной суете, мы и сдружились с Карменом. Он удивительно располагал к себе всем своим обликом — приветливый, жизнерадостный, смешливый, то, что называется «заводной» компанейский паренек, охотно откликающийся на любую интересную затею, будь то необычное редакционное задание или импровизированная дружеская вечеринка, которые именовались у нас тогда «междусобойчиками».

В те годы мы вращались в одном кругу, в среде молодой поросли журналистов, поэтов, художников, фоторепортеров двадцатых годов — горячих, боевитых, энергичных, дерзающих.

У меня сохранился фотоснимок, сделанный на пляже в подмосковной деревне Щукино. Вокруг своего редактора живописно сгруппировалась веселая ватага огоньковцев, среди которых видна и тонкая гибкая фигурка юного Римы Кармена (именно так называли его близкие — Рима, а не Рома). Меня самого на снимке не видно — я фотографировал, осваивал впервые попавший в мои руки фотоаппарат. Надо сказать, что Кармен, рассматривая этот снимок, отнесся к нему довольно критически, что меня, признаться, огорчило. Но оспаривать его мнение я не стал — уже тогда Кармен считался очень способным, подающим большие надежды фоторепортером, и компетенция его в моих глазах не вызывала сомнений.

Однажды Кармен пригласил меня к себе домой на маленькое семейное торжество: его ребенку исполнилось полгода. Впрочем, к себе домой — это не совсем точно: своей жилплощади у него тогда еще не было. Вместе с молоденькой прелестной женой они жили у ее отца, видного партийного публициста и общественного деятеля, в квартире, уставленной бесчисленными книжными шкафами. Гостей было немного: кроме меня еще двое. Это была уже тогда широко известная, а ныне можно сказать легендарная чета — Александр Довженко и Юлия Солнцева. За маленьким столом со скромным угощением было как-то удивительно симпатично и душевно. Юлия Ипполитовна рассказывала разные забавные истории, Кармен живо и остроумно описывал занятные эпизоды знаменитого Каракумского автопробега, в котором он принимал участие в качестве кинооператора, что, кстати сказать, было первым значительным этапом его творческой биографии.

Наша беседа, вероятно, так и прошла бы до конца в духе непритязательного и веселого застолья, но Довженко не был бы Довженко, если бы не внес сюда столь характерную для него патетическую интонацию. Он часто задумывался, внимательно поглядывая на молодых супругов, и наконец, слегка нахмурившись и ни на кого не глядя, медленно заговорил:

— Я что сказать хочу... Вот они сидят тут, молоденькие, по сути, совсем еще дети... А ведь у них здесь рядом, за стенкой, уже свое малое дитя спит. Крохотное существо... А ведь уже человек! Так то ведь есть наше новое советское поколение! Наше грядущее. И кто, как не мы, стар-

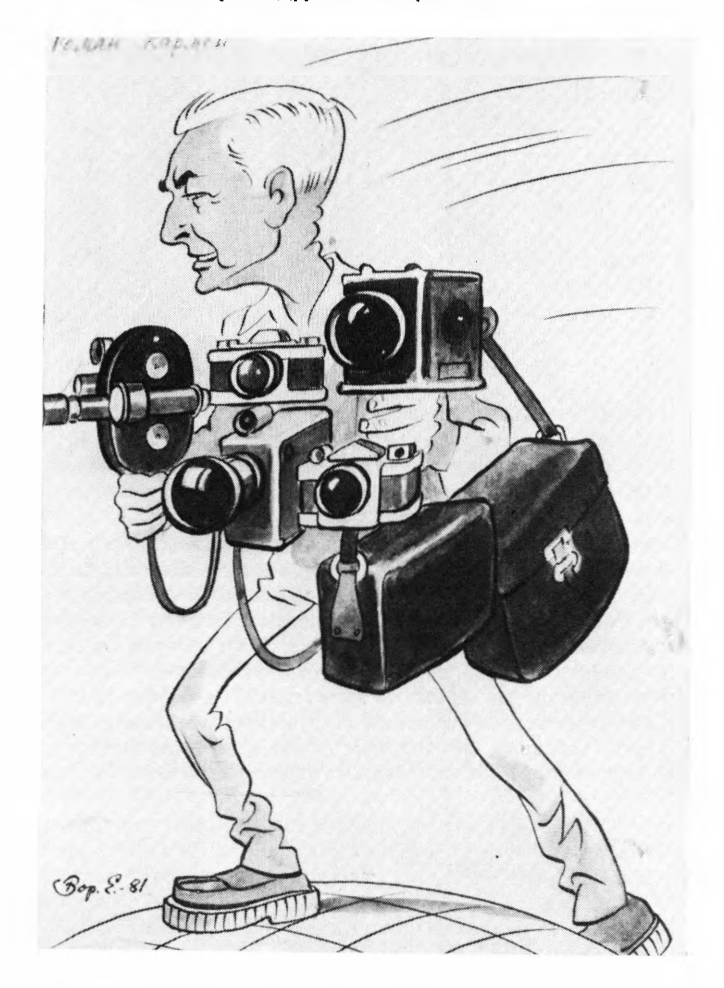
шне, за него в ответе перед страной! Перед историей! И если мы все... все. Если мы не обеспечим, не сохраним таким малышам счастливую жизнь на земле, то зачем мы тогда, спрашивается, живем на свете? Зачем?

Он поднял рюмку с вином:

— Так пусть же они, молодые, будут счастливы. Иначе и быть не может и быть не должно!

Все были искренне взволнованы. Марианна, жена Кармена, сер-

67. Роман Кармен. Дружеский шарж. 1981



дечно обняла Александра Петровича, Кармен растроганно пожал ему руку, мы с Солнцевой дружно зааплодировали. Все встали и выпили до дна.

Шли годы. В настойчивом и инициативном овладении мастерством кинематографиста-публициста Кармен шел от успеха к успеху, становясь одним из ведущих и весьма популярных работников этого боевого жанра. Вскоре одной из самых блестящих и романтических страниц его жизни в киноискусстве, его, как говорится, звездным часом стала поездка в Ис-

панию, охваченную грозой гражданской войны. Трудно переоценить историческое, общественное и политическое значение всего того, что было бесстрашно и выразительно запечатлено кинокамерой Романа Кармена на фронтах ожесточенной битвы на Пиренейском полуострове.

В Испании Кармену довелось работать рядом не с кем иным, как со своим первым редактором, корреспондентом «Правды» Михаилом Кольцовым. Тридцать лет спустя Кармен напишет: «И вот испанская земля! Какое счастье было оказаться бок о бок с Кольцовым. С гордостью вспоминаю, как месяцами мы были неразлучны и сколь неоценимым университетом боевой журналистики была для меня эта дружба». А на страницах кольцовского «Испанского дневника» мы не раз встречаем добрые и уважительные слова о Кармене, о его храбрости, о его неунывающем веселом характере. «Отличное сочетание талантов газетчика и кинематографиста» — эту лестную характеристику Кармена я сам слышал из уст Кольцова.

В едином строю воспринимались тогда миллионами советских людей кольцовские корреспонденции с испанских фронтов и карменовская кинохроника. Вместе с Кольцовым и Карменом мы как бы присутствовали при осаде толедского Алькасара, были свидетелями упорных боев в Университетском городке, переживали варварские налеты фашистской авиации, перелетали через линию фронта в мужественно сопротивляющуюся фашистам Астурию.

Война в Испании — первое серьезное столкновение с черными силами международного фашизма, предшествовавшее великой битве 1941—1945 годов,— явилась для Кармена первой настоящей боевой закалкой, суровым испытанием воли, мужества, стойкости и выполнения интернационального долга советским журналистом.

И уже тогда, на испанской земле, Кольцов прозорливо разглядел в своем молодом друге и товарище по оружию замечательные качества журналиста-бойца, с блеском проявленные Карменом в дни Великой Отечественной войны.

Не останавливаясь на случайных и мимолетных встречах с Карменом в предвоенные и первые военные годы, я хочу вспомнить более поздний период — 1944 год на освобожденной польской земле. Вместе с корреспондентами «Красной звезды» писателем Василием Гроссманом и военным обозревателем Петром Коломийцевым мы колесили тогда на «виллисе» по дорогам Польши, только-только приходившей в себя после четырехлетнего кошмара гитлеровской оккупации. Мы побывали в освобожденном Люблине, видели страшный лагерь смерти Майданек и еще более страшную Треблинку, беседовали с людьми, пережившими ужасы фашистского варварства и переживавшими теперь радость избавления от него.

В один из дней мы получили предписание редакции направиться в расположение войск, перед которыми была поставлена задача форсировать реку Нарев. Поздно вечером, изрядно проплутав по проселочным дорогам, мы добрались до деревни, где расположился штаб 65-й армии, получили у коменданта направление на ночлег и, смертельно усталые, растянулись на разбросанных по полу охапках сена.

Я уже засыпал, когда раздался стук в дверь и кто-то вошел в темную хату.

— Здесь, говорят, люди из Москвы приехали. Привет, товарищи! Расскажите о столице.

Я сразу узнал голос Кармена.

— Здрасьте, Рима,— отозвался я,— мы точно из Москвы, но выехали из нее две недели тому назад.

Кармен безмерно удивился.

— Боря? Вы-то как здесь очутились?



68. Роман Кармен (крайний справа) и Михаил Кольцов в Испании. 1936

Я познакомил Кармена со своими спутниками, и завязался оживленный разговор. С жадным интересом Кармен расспрашивал о Москве, о столичных новостях, об общих знакомых. Мы в свою очередь были посвящены в местные армейские дела и события.

— Ну, ребята,— сказал Кармен, прощаясь,— мне пора. Рано утром уже надо быть на передовой — снимать переход танков через Нарев. Встретимся завтра у командующего.

Так оно и вышло. Несколько забегая вперед, хочу сказать, что мне впоследствии довелось увидеть на экране заснятые Карменом на другой день кадры, показывающие, как наши танкисты, вздымая бурные каскады воды, прорывались под бешеным огнем противника с одного берега на другой. В числе участников этой трудной военной операции был награжден боевым орденом и отважный кинооператор.

К концу следующего дня мы, действительно, застали Кармена у командующего армией Павла Ивановича Батова, с которым Кармен был хорошо знаком еще по Испании, где Батов был военным советником у Матэ Залка — легендарного генерала Лукача. Как известно, Батов находился вместе с ним в автомашине, когда разорвался роковой снаряд, оборвавший жизнь Лукача. Батов был тогда тяжело контужен. К слову сказать, как и многие другие добровольцы в Испании, Батов носил условное имя, которое теперь звучало весьма курьезно,— «Фриц»...

Кармен представил нас генералу. Я смотрел на обоих с любопытством. Невольно думалось о том, какое нужно было сложное сплетение обстоятельств — и исторических, и личных, и случайных,— чтобы

эти два человека, генерал и киножурналист, познакомившись где-то в Кастилии, снова оказались рядом здесь, в Польше. С точки зрения военной субординации, между ними была огромная дистанция, но когда заговорили об Испании, они превратились в земляков-однополчан, связанных незабываемыми воспоминаниями об Интербригаде, о Мадриде, об общих друзьях...

Через день, когда мы уезжали, Кармен сказал прощаясь:

— Завидую я вам, братцы. До чего хочется увидеть Москву, хоть одним глазом.

Он вынул из кармана кожаный бумажничек, достал оттуда фотокарточку и протянул Гроссману. Тот внимательно рассмотрел ее и, возвращая Кармену, задумчиво сказал:

— Да. Я вас очень понимаю.

Снова встретились мы с Карменом ровно через год. Давно замолкли орудия великой войны, семь месяцев прошло со дня, когда знамя Победы было водружено над рейхстагом. Гитлеровский рейх позорно закончил свое существование, и пришел час возмездия за совершенные им чудовищные злодеяния.

Я уже рассказывал, что на процесс гитлеровских преступников в Нюрнберг была направлена большая группа советских журналистов, писателей, кинооператоров, художников и фотокорреспондентов. Шумной компанией вылетели мы из Москвы утром, и около пяти часов пополудни приземлились на берлинском аэродроме Адлерсфельд. Бригаду кинематографистов возглавлял Кармен, подтянутый и щеголеватый, в офицерской шинели с петлицами танковых войск. Веселый нрав его и любовь ко всевозможным розыгрышам не замедлили сказаться: самолет уже поднялся в воздух, когда Кармен подошел к моему креслу и притворно-озабоченно спросил:

— Боря, вас предупредили насчет часов?

— Каких часов? — удивился я.

—Да вы что? Не знаете, что мы летим на высоте, на которой часовые пружины лопаются? Немедленно остановите часы.

И он двинулся вдоль прохода «предупреждать» других пассажиров.

Я растерянно уставился на свой «Лонжин», потом бросился вслед за Карменом:

— Рима! Подождите! А как же... остановить часы? Что для этого надо сделать?

Но тут я увидел довольную озорную улыбку Кармена, и мы оба расхохотались. Смеялись и другие «жертвы» карменовской шутки.

К сожалению, следующий этап нашего пути — перелет из Берлина в Нюрнберг — оказался значительно менее веселым. Погода с утра была отвратительная: моросящий дождь со снегом, туман. Пилоты с сомнением поглядывали на небо, но все же мы стартовали из Адлерсфельда, так как американская служба погоды обещала в районе Нюрнберга хорошую видимость. Пока что не было не только хорошей, но даже плохой видимости — она вовсе отсутствовала. Самолет шел в сплошном непроницаемом тумане, так называемом «молоке». Поглядывая в окно, мы мрачно переглядывались с художником Н.Соколовым — одним из Кукрыниксов. Наши места были рядом, и мы имели полную возможность делиться довольно кислыми впечатлениями о сложившейся ситуации.

Руководитель делегации Л.Р.Шейнин поднялся со своего кресла и скрылся за дверью пилотской кабины. Через несколько минут он оттуда вышел. Выражение лица Шейнина нисколько не подняло наше настрое-

ние, особенно когда, грузно опустившись на мой, стоявший возле меня чемодан, он бодро произнес:

— Ну, старик, плохи наши дела.

— А что, собственно, происходит, Лев Романович? — с интересом спросил сидевший через проход Кармен.

— Характеристика обстановки, друзья, вряд ли приведет вас в восторг, однако считаю возможным кратко вас информировать. Слушайте меня внимательно. Полнейшее отсутствие видимости на всей трассе. (Тут я опускаю отнюдь не парламентское высказывание Шейнина по адресу американской службы погоды.) Впереди маячат какие-то горы, в которых я, откровенно говоря, никакой надобности не вижу. Подняться выше упомянутых гор нам не позволяет вполне реальная опасность обледенения крыльев и фюзеляжа. Повернуть обратно весьма рискованно, так как за нами вплотную следуют еще два самолета. Связаться с ними по радио никак не удается, так как все волны эфира густо забиты спортивным радиорепортажем из Лондона, где в эти минуты проходит футбольный матч между сборными СССР и Англии. Есть вопросы?

Информация Шейнина выслушивается с понятным вниманием, после чего общее настроение лаконично, но довольно точно выражает Кармен. Он оглядывает длинный ряд кресел, где сидят Леонид Леонов, Константин Федин, Всеволод Иванов, Всеволод Вишневский, Семен Кирсанов, другие известные в стране люди, и говорит тоном газетчика, раздобывшего в номер интересный материал:

— Какой шикарный некролог!

Писатель, сидящий в кресле перед «Никсом» (Н.Соколов), вдруг резко поворачивается к нам. На щеках его пятна лихорадочного румянца. Выбившаяся из-под меховой шапки прядь волос прилипла ко лбу.

— Руку! — отрывисто командует он.

Удивленный «Никс» протягивает ему руку.

— Не эту. Левую.

Бросив испытующий взгляд на левую ладонь Соколова, он обращается ко мне:

— Вашу.

Следует быстрое и внимательное изучение линий моей руки и хиромант-любитель, видимо, успокоенный, поворачивается к нам спиной. Мы с «Никсом» молча переглядываемся...

Остается досказать, что, долетев вслепую до Нюрнберга и убедившись в невозможности посадки, пилот повел самолет в Лейпциг, застал также и там полное отсутствие видимости, после чего повернул обратно на Берлин и на последних каплях бензина приземлился на том самом аэродроме Адлерсфельд, с которого мы несколько часов назад стартовали.

Этот «прелестный» полет вызвал острые разногласия между членами делегации. Одни считали, что следует терпеливо дожидаться хорошей погоды, не подвергаясь риску снова попасть в «молоко». Другие доказывали, что поскольку американцы дают неверные сведения как о плохой, так и о хорошей погоде, то нужно вылетать в Нюрнберг ежедневно наудачу, независимо от метеосводки. Третьи, наконец, предлагали немедленно двинуться в путь на автомашинах. Последнее течение с большим темпераментом возглавил Л.Леонов и вовлек в него Кукрыниксов. Я колебался. Но когда в последний момент «Ку» (Миша Куприянов), уже вытаскивая свой чемодан из самолета, вопросил страшным басом: «Так что же, Боря, вы с нами или нет?», я решил не отрываться от сатирической фракции.

Наш автомобильный караван, отправившись на следующее утро из Берлина, сделав остановку в Лейпциге и заночевав в Цвиккау, на другой день достиг границы американской оккупационной зоны. Щеголева-

тый американский офицер ознакомился с нашими документами, причем дотошный Леонид Леонов не преминул вступить с ним в маленький лингвистический спор о том, следует ли в слове «Нюрнберг» писать букву «е» перед буквой «н». Довольно скоро они пришли к соглашению, что не следует, после чего мы двинулись дальше. Вскоре мы выехали на превосходную, заблаговременно построенную Гитлером автостраду (рейхсаутобанн) и, промчавшись по ней на бешеной скорости, еще до захода солнца прибыли в Нюрнберг. «Воздушная» часть нашей делегации ненамного опередила нас. Но, прилетев из Берлина в тот же день утром, поспела на открытие процесса.

Вечером мы встретились с Карменом, и, не скрою, мне от него порядком досталось.

— Ну, Боря, не ожидал я от вас такого номера,— говорил он, язвительно улыбаясь.— Неприглядное, прямо скажу, это было зрелище, когда все вы, тряся задами, вытаскивали из самолета свои чемоданы. От кого-кого, но от вас...

— Подождите, Рима,— защищался я,— а что, собственно, такого произошло? Хорошо, что вам повезло и сегодня была приличная погода. А если бы опять туман? Мы приехали бы наверняка раньше вас. А вы куковали бы в Берлине. Потом ведь от художников не требуется такой железной оперативности, как от репортеров и кинооператоров. То, что нам нужно нарисовать, скажем, морды Геринга и Риббентропа на скамье подсудимых, мы успеем и на второй день процесса, и на пятый, и на десятый. К тому же...

— Ладно, ладно,— сказал Кармен.— Замнем для ясности. А все-таки нехорошо так безжалостно бросать коллектив. Не такие уж мы плохие люди.

Для съехавшихся со всех концов света корреспондентов американские власти организовали специальный «Пресс-кэмп» («Лагерь прессы»), разместив его в огромном загородном особняке, принадлежавшем памятному моему поколению карандашному фабриканту Иоганну Фаберу, так называемом «Фабербурге», построенном в стиле средневекового замка. Внешне наше «общежитие» выглядело очень импозантно, но имело весьма существенный недостаток — трудность сообщения с городом. Ездить три раза в день во Дворец юстиции, где происходил процесс, и обратно в декабрьский снегопад и гололед, по неосвещенным улицам и пригородным шоссе Нюрнберга было не очень приятно. Поэтому большинство из нас постепенно перебралось в хотя и частично разбомбленный, но зато расположенный в центре города «Гранд-отель», бывший в свое время резиденцией гитлеровских гаулейтеров, рейхсфюреров и прочих высоких нацистских чинов. Это было, правда, сопряжено с некоторыми трудностями — представителям печати полагалось квартировать в «Пресс-кэмпе», а не в гостинице, поэтому каждый из нас срочно обзавелся каким-нибудь негазетным званием. Рима Кармен стал именоваться «директором-распорядителем кинобригады», Семен Кирсанов — «советником московского муниципалитета», Всеволод Вишневский — «дивизионным комиссаром», Юрий Яновский — «членом украинского парламента» и т. п. Я лично превратился в сравнительно скромного «профессора изобразительных искусств».

Мы поселились в одном номере с Карменом, первое время жили душа в душу и даже впервые за много лет знакомства перешли на «ты». Однако вскоре я обнаружил, что живу, собственно говоря, не в обычном гостиничном номере, а на некоем оперативном и к тому же весьма беспокойном командном пункте. Наша комната превратилась в штаб подчиненной Кармену киногруппы, которой он управлял со свойственными ему энергией и решительностью. Беспрерывно звонил телефон, в подлинно кинематографическом темпе появлялись и исчезали, бряцая киноаппара-

турой, взмыленные кино- и фотокорреспонденты, папиросный, трубочный и сигарный дым плотной пеленой висел в воздухе.

Я понял, что среди этой железной когорты являюсь чужеродным телом, и, не встретив со стороны Кармена ни малейшего сопротивления, покинул его, объединившись с известным украинским писателем милейшим Юрием Ивановичем Яновским, с которым мы, будучи оба тихими, пожилыми и некурящими людьми, прожили в мире и согласии все оставшиеся нюрнбергские дни.

У нас с Карменом всегда были искренние дружеские отношения, встречаясь, мы неизменно обнимали друг друга, целовались. Но нас не связывало то главное, что, как правило, больше всего объединяет людей,— общая профессия, единство творческих интересов. Мы с ним трудились в почти не соприкасающихся плоскостях, в различных художественных жанрах и поэтому виделись только случайно, большей частью на общественных мероприятиях — съездах, конференциях, совещаниях, юбилеях, премьерах.

Одно из таких мимолетных свиданий, кажется, на встрече Нового года в Центральном Доме литераторов, мне очень запомнилось одной чрезвычайно характерной для Кармена фразой. Он работал тогда над фильмом «Сердце Корвалана».

— А знаешь, Рима,— сказал я ему,— в твоей группе работает оператором мой внук Витя. Как он там? Не жалуешься на него?

— Витя? Да есть такой. Неплохо работает. Так это твой внук? Подожди, так он что, сын Алика? — вдруг спохватился Кармен, имея в виду моего приемного сына, которого знал еще мальчиком. — Бо-же мой! Взрослый внук Бори Ефимова работает у меня оператором! С ума сойти! Какие же мы с тобой старые... А, кстати, что твой Витя говорит о своей работе?

— Говорит, что очень доволен, потому что проходит у тебя хорошую школу.

— Что ж, правильно говорит,— засмеялся Кармен.— Хотя, я знаю, трудно со мной работать. Я ведь, Боря, *беспощаден к себе* и от других требую того же.

Слова «беспощаден к себе» Кармен произнес уже без всякой улыбки, с какой-то большой внутренней силой и, как мне показалось, с оттенком горечи. Я подумал в эту минуту о его действительно неустанной и неутомимой деятельности, о том, в какие труднейшие и сложнейшие киноэкспедиции в самые отдаленные места нашей планеты пускался он со своим больным сердцем, едва оправившись после инфаркта или предынфарктного состояния... Сколько раз приходилось слышать:

— А Рима-то, оказывается, улетел в США (или в Латинскую Америку, или на Кубу, или в Индию, или во Вьетнам, или еще куда-то...).

— Как улетел?! Он ведь недавно лег в больницу?! Говорили, что-то с сердцем.

— Вот так и улетел. Ведь это же Кармен. Разве он может усидеть на месте? А ведь как рискует...

Последний раз я столкнулся с Карменом в вестибюле Дома литераторов.

— Рима! Вот хорошо, что я тебя встретил, а то поймать тебя немыслимо. Вот какое дело. С тобой говорил Костя Симонов относительно одного небольшого фильма?

— О Кольцове? Говорил.

— Рима, я знаю, что ты сейчас дико занят. Но, может быть, в твоих будущих планах найдется окно для двухчастевой ленты. Сценарий берется написать Герман Фрадкин. Ты его хорошо знаешь. В основу он думает положить давний очерк Симонова «Михаил Кольцов — борец против фашизма».

Кармен подумал:

— Понимаешь, Боря, я сейчас в страшной запарке, заканчиваю «Великую Отечественную». Здорово устал. Давай отложим этот разговор на месяц, другой. Фильм о Михаиле Ефимовиче я сделать хочу. Это мой долг.

Мы пожали друг другу руки и разошлись. А буквально через четыре дня, когда я вечером сидел у телевизора, на меня с экрана глянуло лицо Римы Кармена.

Оно было в красно-черной траурной рамке.

Судьбе было угодно, чтобы создание «Великой Отечественной» было не очередным, значительным и великолепным *этапом* творческой биографии Кармена, а стало достойным и возвышенным *финалом* его многолетней талантливой деятельности в киноискусстве.

Он был бойцом

Творческая жизнь Константина Симонова целиком прошла на глазах у людей моего поколения.

Я, например, впервые увидел его совсем молодым, хотя уже известным поэтом и одновременно прославленным, бесстрашным и вездесущим военным корреспондентом «Красной звезды», а через быстро пролетевшие три с лишним десятка лет стоял в почетном карауле у его покрытого цветами и венками гроба.

Как много вместилось в биографию этого удивительного труженика, всегда нацеленного на действие, спокойного и собранного, доброго и твердого, отзывчивого и принципиального, не знающего расхождения между словом и делом. В нем, как мне кажется, счастливо сочетались безудержная увлеченность работой и величайшая организованность, редкая способность четко и разумно распорядиться разносторонними талантами, которыми щедро одарила его природа. Я раньше познакомился со стихами Симонова, чем с ним самим. На каком-то концерте я услышал в исполнении чтеца Антона Шварца отрывки из поэмы «Суворов». Они мне понравились, и имя Симонова запомнилось.

С тех пор поэзия Симонова легко входила в мою душу и память. Стихи его — и лирические, и драматические, и иронические — воспринимались живо и искренне, затрагивали какие-то внутренние струны.

Из воспоминаний о Маяковском известно, что он постоянно твердил вслух различные чужие стихи, отвечавшие в данную минуту его настроению. Часто можно было понять, о чем он думает, по тем поэтическим строчкам, которые он в этот момент без конца повторял.

Наверное, это свойственно не только поэтам, но и простым смертным.

Наверное, у каждого из нас есть своя «обойма» любимых четверостиший или двустиший, через которые мы, иногда непроизвольно, выражаем свое расположение духа, внутреннее состояние, настроение.

Должен сказать, что я тоже подвержен этому поэтическому «рефлексу». И среди стихотворных отрывков, которые я вдруг начинаю бормотать за работой или на ходу на улице,— тут и Тютчев, и Блок, и Маяковский — немало симоновских. Трудно объяснить, почему приходят на ум именно эти строки, а не другие, как трудно объяснить, почему человеку нравится именно эта песня, а не та.

Люблю, например, повторять симоновское:

В Берлине, на холодной сцене,
Пел немец, раненый в Испании,
По обвинению в измене
Казненный за глаза заранее...

При этом в моих ушах как бы звучит грассирующая интонация Константина Михайловича.

Люблю скандировать и это:

Мой друг Самед Вургун, Баку
Оставив, прибыл в Лондон.
Бывает так: большевику
Вдруг надо съездить к лордам.

дальше:

...И вот поднялся сын Баку
Над хрусталем и фраками,
Над синими, во всю щеку
Подагр фамильных знаками...

Когда взгрустнется, приходит на память:

Я жил над школой музыкальной.
По коридорам, подо мной,
То скрипки плавно и печально,
Как рыбы, плыли под водой...
Потом играли на рояле:
До-си! Си-до! Туда-сюда!
Как будто чью-то выбивали
Из тела душу навсегда.

А при мажорном настроении:

Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не беда...
На пикапе драном
И с одним наганом
Первыми въезжали в города.

Во время войны я редко встречал Симонова — он носился по фронтам и появлялся в редакции «Красной звезды» всегда на короткое время. Единственный раз, когда мы провели бок о бок целых три дня, была поездка вместе с нашим редактором Ортенбергом на передний край Западного фронта, под Гжатск, поездка, о которой я уже рассказывал.

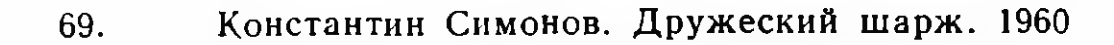
Шел январь 1942 года, только что отгремела великая битва под Москвой, гитлеровцы были отброшены от столицы, но их отступление, так же как наше наступление, в силу многих военных факторов приостановилось, и обе стороны закреплялись на занятых ими позициях.

В ту пору Симонов, выполняя корреспондентские обязанности для газеты, одновременно работал над задуманной им, а вскоре с огромным успехом поставленной чуть ли не всеми театрами страны пьесой «Русские люди». Совмещать оба эти дела было, наверно, не очень просто. Сам Константин Михайлович об этом рассказывал: «Когда я писал пьесу, я дважды отрывался от нее для поездок на фронт, но сказать «отрывался», наверное, не совсем точно, потому что и во время этих поездок жизнь подсказывала мне еще что-то нужное для пьесы. Может быть, я ее написал не медленнее, а быстрей именно потому, что отрывался от нее для поездок...»

Я не сомневаюсь, что «что-то нужное для пьесы» подсказала Симонову и та, памятная мне, поездка под Гжатск. Помню, как Константин Михайлович все время беспокоился о том, чтобы нам обязательно побывать в расположении дивизии Полосухина, и всячески наталкивал на это редактора. Как я понимаю, в недавнем боевом прошлом этой дивизии какие-то эпизоды перекликались с ситуациями задуманной пьесы, и Симонов-корреспондент как бы выполнял поручение Симонова-драматурга поближе познакомиться и поговорить с подлинными действующими лицами событий, зачерпнуть из реальной фронтовой жизни не заменимые для правдивости спектакля детали, подробности, штрихи.

Мне нет надобности рассказывать, какая широкая известность окружала имя Симонова в послевоенные годы, как росла его разнообразная и многогранная деятельность в качестве секретаря Союза писателей, депутата Верховного Совета, главного редактора «Нового мира» и «Литературной газеты», автора многочисленных новых книг и пьес,— это у всех на памяти.

В 1955 году была учреждена комиссия по литературному наследию Кольцова, в состав которой вошел Симонов, и я хорошо помню, как



69. Константин Симонов. Дружеский шарж. 1960

активно и заботливо содействовал Константин Михайлович переизданию произведений Кольцова, и в частности «Испанского дневника», вышедшего подряд двумя изданиями в издательстве «Советский писатель», которое в качестве секретаря союза курировал Симонов. Тогда же он написал отличный очерк «Михаил Кольцов — борец против фашизма», на основе которого впоследствии Роман Кармен предполагал сделать художественно-публицистический фильм. К сожалению, этот замысел не был осуществлен.



70. К.М.Симонов и Б.Е.Ефимов. 1970-е гг.

Я часто общался с Константином Михайловичем как член правления Центрального Дома литераторов, председателем которого, активным, инициативным, энергичным, во все вникающим, был до конца своих дней Симонов. В частности, чрезвычайно увлеченно занимался он делами изобразительной секции — разнохарактерными художественными выставками и экспозициями. Он любил и глубоко по-своему, по-симоновски чувствовал и понимал живопись, графику, прикладное искусство, высказывая свои суждения прямо и открыто, настойчиво, твердо осуществляя мероприятия, которые считал нужными и правильными.

Так было, в частности, с выставкой памяти талантливого и своеобразного художника двадцатых годов В.Е.Татлина, которую некоторые считали спорной и необязательной. Симонов преодолел все препятствия. Не щадя сил и времени, он сам разыскал и за свой счет реставрировал ряд полузабытых и полузатерянных произведений Татлина, вложив в это дело свойственные ему упорство и дотошность. Должен сказать, что в осуществлении татлинской выставки Симонову оказал содействие Союз художников СССР при некотором моем участии. Это обстоятельство отражено в шутливой надписи, сделанной Константином Михайловичем на подаренном мне двухтомнике «Разные дни войны»: «Дорогому Борису Ефимовичу, одинаково мужественному в дни войны и в дни мира, на фронте и в ЦДЛ...»

Симонов умел по-серьезному делать серьезное дело, умел и повеселиться, не чурался веселого розыгрыша. Мне самому как-то довелось стать «жертвой» забавной симоновской шутки. Дело было в одном из

кисловодских санаториев, куда я попал в одно время с Симоновым. Были там также писатель Лев Шейнин, фельетонист Григорий Рыклин, композитор Марк Фрадкин, другие общие знакомые. Дни проходили в оживленном дружеском общении. Но однажды я зашел зачем-то днем в свою комнату и, случайно бросив взгляд на свою постель, остолбенел. Небрежно развалясь на подушке, на меня косил свирепым глазом... огромный петух. К спинке кровати он был привязан моим лучшим галстуком. Какое-то время я не мог прийти в себя от неожиданности, потом при-

71. К.Симонов и Д.Ортенберг. Зарисовка. 1942



нялся безудержно хохотать, припомнив при этом, что по дороге к себе встретил в коридоре Симонова с Шейниным, которые как-то странно на меня посмотрели...

Впоследствии выяснилось, что они вдвоем посетили местный базар, и именно там Симонова осенила идея «сделать сюрприз Ефимову». Идея была незамедлительно претворена в жизнь посредством тут же купленного рекордной величины петуха. После меня петушиный сюрприз был по сценарию Симонова преподнесен и другим курортникам. Импозантный

кочет пребывал во многих номерах, неизменно вызывая сначала шоковое состояние, потом гомерический смех и подготовку дальнейших сюрпризов.

Так же как во время войны рассказывали легенды об оперативности Симонова — военного корреспондента, о его почти мистической способности оказываться раньше всех на нужном участке фронта, так же в послевоенные годы изумлялись его фантастической работоспособности и трудолюбию. Рассказывали о замечательных примерах его отзывчивости и обязательности, когда речь шла о том, чтобы сделать доброе дело, помочь людям, попавшим в трудный житейский переплет.

О нем сложилось мнение как о человеке рыцарского характера, смелом и справедливом, чуждом малейшего приспосабливания к чужому мнению, противоречащему его собственному, не боящемся твердо отстаивать свой взгляд там, где другие робели, виляли или уходили в кусты.

Почетная репутация!

Свои воспоминания об Илье Эренбурге, старшем товарище и соратнике, Симонов озаглавил: «Он был бойцом...»

Эти слова можно повторить, вспоминая Константина Михайловича. И прибавить к этому: как много мог бы еще сделать для литературы, для людей, для страны этот прекрасный Человек.

Мемориальная доска

Исключительно жарким выдался в Москве день 28 июня 1972 года.

Старожилы, как это им и положено, не смогли припомнить такого зноя за много лет. Солнце жгло немилосердно, и все живое стремилось на теневую сторону улиц и площадей.

И тем не менее большое количество людей собралось на солнечной стороне Страстного бульвара, на раскаленном асфальте у дома № 11. В этом здании в течение ряда лет, вплоть до 1939 года, находилось издательство «Журнально-газетное объединение» (ЖУРГАЗ).

Люди пришли сюда, откликнувшись на приглашение, отпечатанное на карточке из плотной белой бумаги:

УВАЖАЕМЫЙ ТОВАРИЩ!

Приглашаем Вас принять участие в торжественном открытии мемориальной доски в память советского журналиста и писателя Михаила Ефимовича КОЛЬЦОВА.

Открытие состоится 28 июня в 11 часов по адресу: Страстной бульвар, дом 11.

Правление Московской организации
Союза журналистов СССР
Правление Московской писательской
организации СП РСФСР
Главное управление культуры
исполкома Моссовета

Имя Михаила Кольцова можно нередко встретить на страницах газет и журналов. Оно упоминается по поводам столь же разнообразным, сколь разнообразна была его литературная и общественная деятельность. И это не просто уважительное поминание для почтения памяти. Нет. Творчество Кольцова продолжает существовать как живая, работающая клетка советской публицистики.

Вспоминают отдельные, вошедшие в классику советской журналистики фельетоны и очерки Кольцова; вспоминают его, в свое время получившие широкий отклик, общественные начинания, интересные эпизоды его газетно-корреспондентской работы; вспоминают и последний, испанский период творческого пути Кольцова — его деятельность боевого политработника-антифашиста.

Спецкору «Правды» Гаврилову довелось в 1964 году побывать в Мадриде. Советского журналиста влечет, конечно, к местам, связанным с героической обороной города от фашистов в 1936—1937 годах, и, рассказывая о посещении мадридского пригорода Каса-дель-Кампо, он не может, естественно, не привести выдержки из корреспонденции своего коллеги, спецкора «Правды» Михаила Кольцова от ноября 1936 года об ожесточенных боях на этом месте.

Конечно, не один Гаврилов вспоминает на испанской земле о Кольцове. Можно сказать без преувеличения, что за последние годы, пожалуй, ни один путевой очерк об Испании не обходится без цитат из кольцовского «Испанского дневника». А в 1977 году вышла целая книга — интереснейшая публицистическая повесть писателя Якова Хелемского «За холмами — Гренада», лейтмотивом которой служит знаменитое стихотворение Михаила Светлова, а многочисленные выдержки из «Дневника» выразительно и органично вплетены в ткань повествования.

Юрий Жуков в путевых очерках «Дунайские волны» вспоминает фельетон Кольцова о его поездке в наглухо закрытую тогда для советских людей Венгрию, находившуюся под властью кровавой диктатуры адмирала Хорти. Интересно привести и отзыв об очерке Кольцова венгерского журналиста Иштвана Кульчара в его корреспонденции «Моя столица», напечатанной в 1965 году в «Известиях»:

«Перечитывая этот очерк сегодня, невольно поражаешься фактам, которыми он насыщен. Ведь это — описание моего родного города!

...Будапешт — столица свободной страны, строящей социализм. С каким чувством прошел бы ныне по знакомым и незнакомым улицам пламенный интернационалист Михаил Кольцов!»

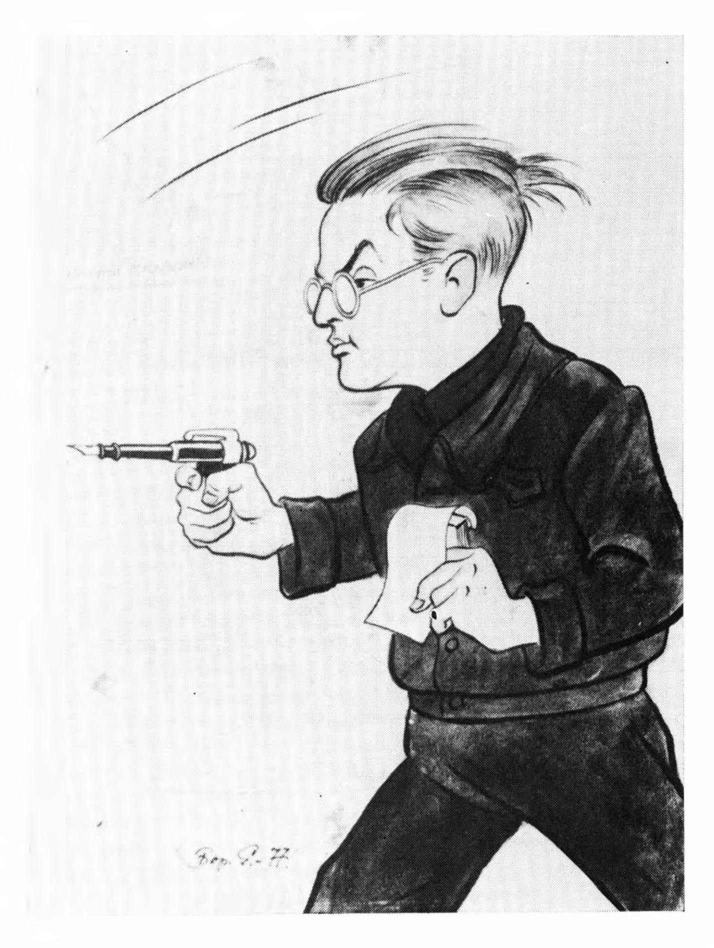
Такие публицистические переклички журналистов через года и десятилетия вполне логичны и естественны. Но вот доктор юридических наук Г. Свердлов выступает в печати по вопросам семейного права, и в частности бракоразводного процесса в СССР. В подкрепление своих соображений и доводов автор ссылается на очерк Михаила Кольцова «В загсе», напечатанный в «Правде» в 1936 году (кстати, в том же году, что и фронтовая корреспонденция из-под Каса-дель-Кампо...).

Напомню читателю: для того чтобы написать очерк о работе загса, Кольцов инкогнито выполнял в течение полного рабочего дня обязанности регистратора браков и разводов. Впоследствии, с легкой руки Кольцова, этот журналистский прием часто применялся в газетной практике и даже породил специальный термин «журналист меняет профессию». К этому же циклу принадлежат известные очерки Кольцова «Три дня в такси» и «Семь дней в классе». Любопытно, что отклики на оба эти очерка продолжаются и в наши дни. Больше того, каждый из них был основой для появления в свет отдельной книжки. Это, во-первых, работа журналиста Гудимова «Семь дней в такси», выпущенная издательством «Московский рабочий» в 1964 году, каждая глава которой, трактующая проблемы городского таксомоторного транспорта, предваряется эпиграфом из кольцовского очерка 1934 года. Во-вторых, книга писателя Старкова под названием «Семь дней и годы», вышедшая в 1980 году, в которой автор, спустя сорок с лишним лет после опубликования кольцовского очерка «Семь дней в классе», прослеживает жизненный путь героев этого произведения: директора школы, классного руководителя и некоторых учеников, ярко и выпукло изображенных Кольцовым.

При этом за судьбами этих отдельных людей красноречиво-выразительно встает судьба всей страны.

Иногда отдельные фельетоны Кольцова оживают в наше время не в виде цитат, а целиком и полностью, в том виде, в каком они появились в «Правде» много лет назад, нисколько не теряя при этом своей гражданственной силы, оставаясь злободневными, убедительными, работающими. Вот, например, астраханская газета «Волга» перепечатала сатирический фельетон Кольцова «О тех, кто угощает», бичующий «компа-

72. Михаил Кольцов. Дружеский шарж. 1977



нейских» агитаторов за выпивку, тароватых и настойчивых «угощателей». Редакция сопроводила фельетон примечанием: «Этот фельетон написан 30 лет назад, но и сейчас кое-кому прочитать его полезно».

«Известия» целиком перепечатывают в 1964 году статью Кольцова «Важный кирпич» о выходе Большой советской энциклопедии, опубликованную в «Правде» в 1926 году.

«Комсомольская правда» в связи с 45-летием ленинского плана электрификации (ГОЭЛРО) перепечатывает в 1965 году фельетон Кольцова «По поручению директора», впервые опубликованный в 1929 году.



73. Е.М.Ярославский, М.И.Ульянова и М.Е.Кольцов. 1926

А в 1984 году перепечатывает очерк Кольцова о прибытии в Москву вырванного из фашистской тюрьмы Георгия Димитрова, напечатанный в 1934 году в «Правде».

Эти примеры можно было бы умножить. И неудивительно. Ведь творчество Кольцова — фельетониста и публициста — отражало в себе все безмерное разнообразие действительности.

Кольцов был популярным и авторитетным советским журналистом. Естественно, что к нему стекались сотни и тысячи читательских писем, десятки и сотни людей еженедельно приходили к нему на прием. И отнюдь не с приятными беседами и дружескими излияниями. Фельетонисту «Правды» несли обиды на несправедливость, возмущение хамством и тупоумием, жалобы на волокиту, бюрократизм, головотяпство. Ждали и требовали от него помощи, совета, разоблачения и наказания виновников безобразий. Но Кольцов писал, конечно, не только о безобразиях. Как настоящий правдист, журналист ленинской школы, он не мог удовлетвориться стихийным наплывом этого, к сожалению, обильного материала о неустройствах, прорехах и теневых сторонах нашего быта. Кольцов не упускал возможности показать становление нового, светлого, рассказать о добрых, героических делах и достойных людях страны.

Проглядите одни только названия сотни-другой его фельетонов в «Правде». Какой широчайший диапазон фактов и явлений, тем и сюжетов. Жизнь огромной страны во всей ее многогранности и сложности, в причудах и гримасах быта, в столкновении хорошего и плохого, смешного и трагического зримо встает в этих коротких, отточенных газетных новеллах. Каждая из них представляет собой маленькое законченное литературное произведение, несущее в себе целенаправленную и точную кольцовскую интонацию — гневную или ироническую, юмористическую или патетическую.

Фельетоны Кольцова появлялись в «Правде», как правило, два-

три раза в неделю. А ведь за каждым из них стояла напряженная и ответственная работа — проверка материала, беседы с людьми, часто трудная и срочная поездка.

Очень часто появлением фельетона в газете дело не заканчивалось, а только начиналось: обиды, запальчивые опровержения, уязвленные самолюбия, угрозы, жалобы в вышестоящие инстанции, таскание автора по всевозможным комиссиям — столько все это требовало от фельетониста выдержки, терпения и нервов!

А ведь Кольцов был не рядовым журналистом, занятым только своей собственной литературной деятельностью. Он — руководящий работник редакции «Правды», член редакционной коллегии центрального органа партии. В определенные дни он отвечает за весь материал, публикуемый в газете, обязан внимательнейшим образом читать, проверять, редактировать и править все без исключения статьи, очерки, фельетоны, корреспонденции, рецензии, идущие в номер. Какая эта напряженная и изнурительная работа! Нескончаемая череда ночных дежурств, дневных летучек, вечерних планерок, утренних обсуждений.

При этом газета есть газета — никто не может предусмотреть, что принесет каждый следующий час. И вот в разгар редакционной горячки Кольцов вдруг срывается с места и стремительно куда-то уезжает.

Вот он вернулся из очередной командировки, и уже в его редакционном кабинете раздается веселый треск пишущей машинки. Вдруг машинка умолкает, двух-трехминутная пауза — и снова треск. Это, мерно шагая из угла в угол, обдумывая на ходу очередную фразу, Кольцов диктует фельетон, очерк, корреспонденцию. Иногда я попадаю к нему случайно как раз в эти минуты. Мы, как всегда при встрече, целуемся, брат указывает мне на кресло и обычно говорит:

— Сядь, подожди. Ты мне не мешаешь.

Но, посидев несколько минут, я тихо исчезаю, говоря:

— Ладно, Мышонок, работай. Позвоню тебе вечерком или завтра утром.

Однако когда утром я звоню ему на квартиру, удивленный голос домашней работницы отвечает:

— Да что вы, Борис Ефимыч? Михал Ефимыч с самого ранья уехал. В трудовую коммуну на собрание. Вернулся из редакции ночью, а уже к полседьмому машину подали.

Так складывались газетные будни журналиста Кольцова. Понятно, что одной этой работы было бы вполне достаточно, чтобы занять иного человека, что называется, с головой. Но журналистика в ее чистом виде была только частью кольцовской деятельности. Он не хотел и не мог ограничиться одним только писательским трудом — его неудержимо влекло ко всякой интересной масштабной организационной работе, и в частности редакционно-издательской.

Совсем еще молодой, двадцатипятилетний, по сути дела начинающий, хотя уже известный фельетонист «Правды», не оставляя ни на минуту работу в газете, он затевает в 1923 году издание массового иллюстрированного еженедельника «Огонек» (существующего по сей день). Никто не поручал ему создания журнала, никто не присылал ему выписку из решения, не выделял средств, не предоставлял помещения, не утверждал штатов — единственной и основной движущей силой нового издания были неугомонная кольцовская инициативность, молодая энергия, увлеченность интересным начинанием. Ближайшими помощниками Кольцова в этом деле были старый друг его писатель Е.Зозуля, журналист Л.Рябинин и опытный издательский работник Э.Голомб. Настойчивость и активность этой троицы, поддержанной многими писателями и журналистами столицы, преодолели все технические, финансовые и ведомственные сложности. «Огонек» разгорелся...

Помню горячую, дружескую, ни для кого не обидную тесноту крохотной редакции в Козицком переулке. В двух комнатенках — и редактор, и его заместитель, и секретарь, и немногочисленный аппарат редакции, и неубывающий поток авторов. Писатели, журналисты, поэты, художники, фотографы. Но вот фигура, которую увидишь в любой тесноте,— входит Владимир Маяковский.

— Здорово, Колечкин! Зашел «на огонек».

— Спасибо, Володя. Принес?

— Принес.

Маяковский читает вслух написанное им для первого номера «Огонька» стихотворение. В комнате воцаряется тишина. Все слушают, затаив дыхание, могучий рокочущий бас поэта. Это знаменитое «Мы не верим!» — взволнованный поэтический отклик на первый правительственный бюллетень, сообщавший стране о тревожном состоянии здоровья В.И.Ленина.

Впервые звучат ставшие хрестоматийными строки:

...Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
не územ оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
Грохотать
набатный
ленинский язык.

Проходит несколько лет, и вокруг «Огонька» вырастает большое, с удивительным размахом и активностью работающее издательство — Журнально-газетное объединение (ЖУРГАЗ), которым Кольцов управляет, вникая во все не только редакционные, но технические, полиграфические, материальные и финансовые вопросы, интересуясь каждой мелочью его сложного разветвленного хозяйства, зная в лицо и по имени каждого сотрудника.

Эта замечательная, чисто горьковская черта — неостывающая охота к большим общественно-значительным начинаниям — сблизила, а потом и подружила Кольцова с самим Алексеем Максимовичем.

О масштабе ЖУРГАЗа можно судить по тому, что в нем выпускалось свыше тридцати периодических изданий различного характера, таких как «За рубежом», «За рулем», «Советское фото», «Женский журнал», «Чудак», «Литературное наследство», а также полные собрания сочинений Л.Толстого, И.Тургенева, А.Чехова, В.Короленко, других выдающихся писателей.

Следуя советам Горького и при его помощи, Кольцов выпускает в ЖУРГАЗе монументальные книжные серии — «Жизнь замечательных людей», «Библиотека романов», «История молодого человека XIX столетия», а также интересно задуманное публицистическое издание «День мира», двадцать пять лет спустя повторенное издательством «Известия». В предисловии к известинскому «Дню мира», вышедшему в свет в 1961 году, мы читаем: «...Читатель, взявшийся за «День мира», может сначала прийти в смущение и недоумение. Как осилить этот том? И вообще — что это? Справочник, научный труд, обзор, комплект? Как надо с ним обращаться?.. Мы считаем «День мира» книгой для чтения. Перелистайте сначала ее, познакомьтесь с построением, бегло посмотрите иллюстрации, задержитесь на тех страницах, какие вас задержат. А потом, не спеша, погрузитесь в чтение, пусть с передышкой, но подряд. Вы не пожалеете. Могучая симфония человеческой жизни захватит вас и понесет с собой» *.

*
День мира. М., 1961, с. 5

Автор этих строк, с которыми редакция «Известий» обратилась в 1961 году к читателям, не назван. Кто же написал их? Когда? Где?

Их написал Михаил Кольцов на двадцать пять лет раньше, в осажденном Мадриде, куда ему, одному из двух редакторов «Дня мира», прислали из Москвы гранки книги на подпись. (Другого редактора — Алексея Максимовича Горького — уже не было в живых.)

И эта простая и проникновенная характеристика издания, осуществленного по замыслу Горького, эти слова о могучей человеческой симфонии, написанные как вступление к первому «Дню мира», прозвучали в полный голос и спустя четверть века в предисловии к «Дню мира» второму.

Так органично и плодотворно совмещал Кольцов боевую оперативную корреспондентскую работу на антифашистском фронте в Испании с работой редакторской и издательской, о которой, между прочим, рассказал в статье «Дни мира» Юрий Жуков:

«...Вспоминается сентябрьский вечер 1935 года, когда к нам на 6-й этаж, в редакцию «Комсомольской правды», поднялся неутомимый журналист и общественный деятель того времени Михаил Кольцов и, весело поглядывая на своих юных собеседников сквозь толстые очки, сказал:

— Послушайте, ребята. Вы помните, Алексей Максимович Горький еще на съезде писателей подал нам прекрасную идею — издать книгу обо всем том, что происходит на земном шаре в любой день, ну, скажем, 25 сентября, 7 октября или 15 декабря, это безразлично. Пусть это будет будничный день, каким его отразит мировая пресса на своих страницах.

Теперь мы беремся за это. Так вот, я к вам. Вы люди молодые, глаза у вас вострые, и я просил бы вас по-дружески принять участие в этом деле. Мы окончательно решили взять день 27 сентября. Пусть ваши корреспонденты в этот день выйдут на вахту и подготовят такой номер «Комсомолки», чтобы он внес свою лепту в задуманную Горьким книгу. Идет?»

Со своей стороны Горький доброжелательно и активно поддерживал многие задумки Кольцова, о чем свидетельствует целый ряд его писем, адресованных Кольцову. Эти письма, как и ответы на них Кольцова, касались серьезных литературных и издательских дел. Но сколько в этой переписке шутливых, веселых фраз, словечек, интонаций, каким жизнерадостным озорным юмором она окрашена.

Переписку открывает обращенная к Горькому просьба принять участие в новом, затеянном Кольцовым сатирическом журнале «Чудак». В этом письме Кольцов пишет:

«...«Чудак» — не принципиальный ругатель, наоборот, он драчливо защищает многих, несправедливо заруганных... Он охотно обращает свое колючее перо против присяжных скептиков и нытиков... Излишне добавлять, что при такой физиономии будущего журнала Вы, Алексей Максимович, нам дотошно нужны, не только, как генерал и как имя, а как реальный союзник, сотрудник, друг».

Горький отвечает:

(Сорренто. Ноябрь 1928 г.)

«Искренне поздравляю Вас, милейший т. Кольцов, с «Чудаком».

Считая Вас одним из талантливейших чудаков Союза Советов, уверен, что под Вашим руководством и при деятельном участии таких же бодрых духом чудодеев журнал отлично оправдает имя свое.

Что есть чудак? Чудак есть человекоподобное существо, кое способно творить чудеса, невзирая на сопротивление действительности, всегда — подобно молоку — стремящееся закиснуть.

Лично сотрудничать в журнале Вашем едва ли найду время,

но — разрешите рекомендовать вам знакомого моего Самокритика Кирилловича Словотекова. Самокритик — подлинное имя его, данное ему родителем при крещении. Человек он уже довольно пожилой, но «начинающий». Отношение к алкоголизму — умеренное.

Всего доброго и — хорошего успеха
А.Пешков».

А вот шутливая концовка письма Кольцова по поводу редакционной подготовки задуманной Горьким «Библиотеки романов» при «Огоньке»:

Москва, 30 ноября 1929 г.

«...Живу я сейчас серо и невыразительно, как черви слепые живут. Только изредка вынимаю из шкафа подаренные Вами пояса и вздыхаю, с шумом выпуская воздух из грудной клетки. Этим я хочу сказать, что скучаю по Вас. По-видимому, это кончится большим слезливым письмом, с жалобой на нечуткость людей и просьбой указать, как поступить на зубоврачебные курсы.

В счет этих будущих радостей — крепко жму руки.
Ваш Мих. Кольцов».

Ответ Горького:

Сорренто, 9 декабря 1929 г.

«О брате мой любезный!

Почто столь зазорно срамословишь, именуя ся червем слепорожденным? И отколь скорбь твоя? Аще людие древоподобны ропщут на тя, яко ветр повелевает, сотрясай смоковницы плодов не дающи и желуди дубов завидующи,— помни: ты не желудь есть и не на потеху свинию родила тя матерь природа, а для дела чести и смелости. Аще же пес безумен лаяй на тя, не мечи во пса камение, но шествуй мимо, памятуя: полаяв — перестанет!

В этом духе, я Вам, дорогой Михаил Ефимович, мог бы сказать много, но от старости, забыл уж сей превосходный язык, которым все можно сказать — исключая популярные фразы «матового» тона.

В самом деле: Вы что там раскисли? Бьют? И впредь — будут!

К этому привыкнуть пора Вам, дорогой мой!

Крепко жму руку
и — да пишет она
ежедневно
и неустанно
словеса правды!

Старец Алексий Нижегородский и Соррентийский. А «Огонек» следовало бы мне высылать!

А.Пешков».

А вот другое письмо Горького:

Сорренто. 25 декабря 1932 г.

«Многоуважаемый
Михайло Кольцов,
предприниматель, свирепый эксплуататор и вообще — зверь!

Нижеподписавшаяся рабочая сила почтительно намекает Вам о гонорарии. Оный,— по ее мнению,— должен быть предложен в такой форме: все книжки по «Истории молодого человека XIX столетия» в переплетах. Нижеподписавшаяся рабочая сила будет очень благодарна, получив сей знак внимания к ее сединам и усам...

Крепко жму руку
А.Пешков».

На этот откровенный намек «нижеподписавшейся рабочей силы» Кольцов отвечает 17 января 1933 года:

«Здравствуйте, сознательный ударник товарищ Алексей!

Уже давно на нашем предприятии обращено внимание на отменно отличную работу соррентийского района во главе с небезызвестным товарищем Пешковым, старым бригадиром и кавалером орденов.

Данный бригадир Пешков проявил высокое рвение к работе и особое усердие в деревообделочной специальности, обточив и обстругав громадное количество всякого рода деревянных, а иногда даже дубовых произведений современной литературы. Каковая работа требует большого умения, а главное терпения, в сочетании с неистощимой доброй волей.

Был у нас разговор, чтобы премировать бригадира Пешкова хромовыми сапогами, или гармонией двухрядной, или будильником системы «Точмех», или, наконец, собранием сочинений русского писателя Максима Горького. На что были возражения, что осенью видели сапоги на Пешкове совсем еще целые, а гармонию хорошую не достать. А будильник ему не нужен, потому встает с петухами. А сочинений Горького не захочет, потому что уже читал.

В разгар каковых споров прибыло письмо от самого Пешкова, в коем он просит, если возможно, премировать его «Историей молодого человека» в переплетах. Этот предмет ширпотреба, будучи недорогим по себестоимости, в самом деле может украсить скромное жилище нашего ударника и кавалера. Почему и будет выслан в Сорренто большой скоростью...

Известно ли Вам также, сознательный товарищ Алексей, о слухе, пущенном здесь? Будто итальянцы, не желая отставать в некоторых мероприятиях от великой северной державы, решили переименовать город Сорренто в NISCHNI NOVGOROD!

Сообщая о каковых событиях, остаюсь преданный Вам и любящий

Михаил Кольцов» *.

Немало было в деятельности Кольцова начинаний, которые не имели прямого отношения к журналистике, но возникали при содействии газеты и открывались, как правило, выступлением Кольцова на страницах «Правды». Так, после фельетона «Дача, так дача» закипела работа по организации под Москвой обширной зоны отдыха для трудящихся столицы под названием «Зеленый город».

Не берусь сейчас припомнить все этапы зеленоградской кампании. В памяти возникают только отдельные разрозненные моменты.

...Вот Кольцов за рулем легкового «газика», в котором мы трясемся по пересеченной местности где-то в районе Клязьмы. Плутаем по проселочным дорогам, то и дело останавливаемся. Брат ведет нескончаемые разговоры с работниками райсоветов, архитектурных управлений и земотделов, обсуждает с ними какие-то генпланы и территориальные пределы. Жарко, пыльно, хочется пить... Я не могу простить себе, что сдуру ввязался в эту утомительную поездку, злюсь на Мишу и одновременно дивлюсь его неугомонной энергии, его одержимости совершенно не касающимися его, с моей точки зрения, делами. Наконец, выезжаем на шоссе. Слава богу, скоро будем в Москве, дома... Но тут я слышу голос брата: «Ты не очень устал? Надо еще заехать в Пушкинский райсовет — там меня ждет Смирнов с проектами термолитовых коттеджей».

* Переписка М.Горького с М.Кольцовым была опубликована в журнале «Новый мир» (1956, № 6)

Я молча вздыхаю...

А вот и другой кадр... Приподнявшись на цыпочки в густой толпе и сильно вытянув шею, я вижу, как при большом стечении местных жителей и гостей из Москвы председатель Зеленоградского горсовета М.Е.Кольцов, стоя на железнодорожной насыпи, разрезает красную ленточку, символизируя этим открытие движения электропоездов до станции Братовщина, переименованной отныне в станцию Правда. Раздаются дружные аплодисменты, гремит оркестр...

С опубликованного в «Правде» фельетона «Хочу летать» началась другая интереснейшая и яркая страница общественной деятельности Кольцова — его активное участие в строительстве советского гражданского воздушного флота, многолетняя пропагандистская и организаторская работа в отечественной авиации.

Сегодня, когда густая сеть пассажирских линий Аэрофлота покрывает всю карту Советского Союза и всего мира, когда самые обыкновенные люди — деловитые хозяйственники, веселые отпускники, пожилые курортники, озабоченные мамаши с детьми, ворчливые старушки и застенчивые молодожены — входят в кабины самолетов дальнего следования так же спокойно и буднично, как в вагоны пригородных поездов, сегодня забавными и наивными могут показаться переживания и волнения, связанные с воздушными полетами в 30-х годах. Теперь, когда могучий советский лайнер одним беспосадочным броском покрывает необозримое пространство между Москвой и Гаваной, какими смешными и детскими вспоминаются заботы и тревоги, окружавшие, скажем, первый беспосадочный перелет на пассажирском самолете АНТ-14 из Москвы в... Ленинград.

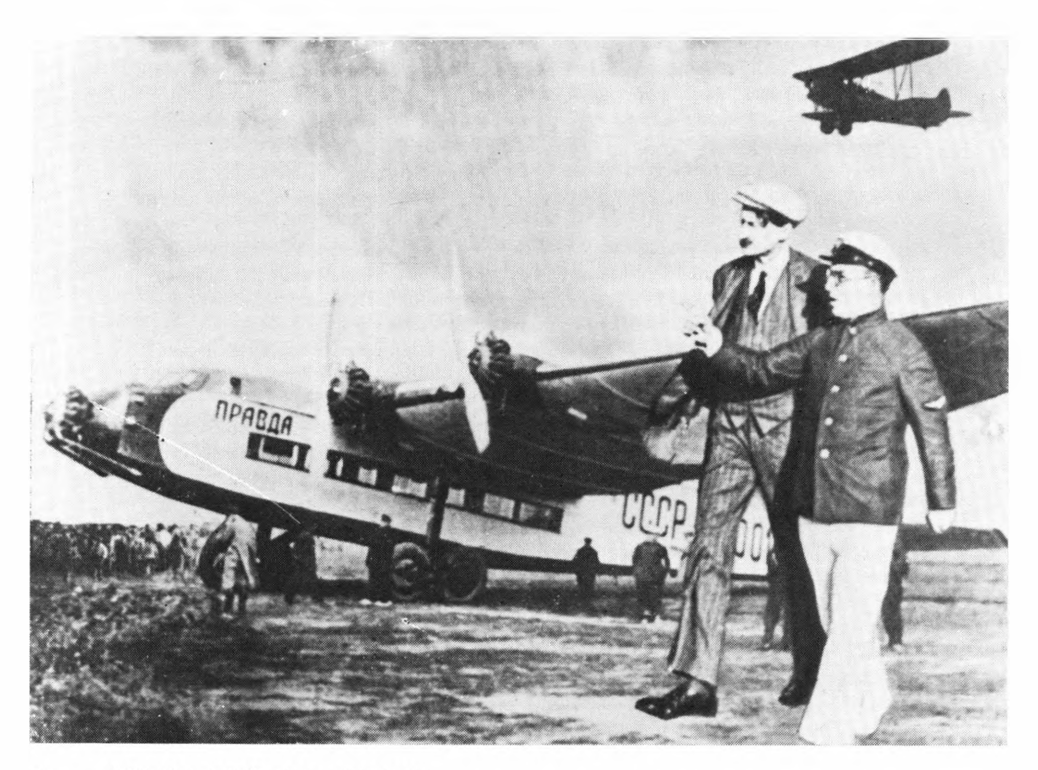
А ведь в то время, в 1935 году, этот перелет был настолько знаменательным и значительным общественным событием, что для участия в нем Кольцов пригласил целую группу известных журналистов и редакторов центральных газет.

Должен честно признаться, что совершенно не понимал трудностей этого перелета и даже поинтересовался, заметив явную озабоченность брата перед стартом:

— В чем дело, Мышонок? Что тебя тревожит? Ведь самолеты в Ленинград летают не первый раз. А тут такая здоровенная пятимоторная махина... К тому же это как будто не морской перелет — в крайнем случае где-нибудь сядем.

Кольцов улыбнулся, отрицательно покачал головой и терпеливо принялся мне объяснять:

— Во-первых, до сих пор все самолеты по пути в Ленинград делали одну или даже две посадки, а сейчас речь идет о прямом беспосадочном рейсе. Вся идея перелета и испытание пятимоторного АНТа именно в этом. Понял? Это — раз. Во-вторых, у нас есть, как говорится, *чем* садиться, но нет, на *что* садиться... Вот смотри. (Миша развернул передо мной портативную карту авиационного маршрута Москва — Ленинград.) Начиная от этого пункта, тянутся сплошные леса и болота. Нашему тяжелому самолету тут почти до самого Ленинграда негде сесть. Понял? Это — два. И, наконец, еще такая тихая подробность: при выходе из строя любого из пяти моторов, кроме среднего, необходимо немедленно выключить второй, ему симметричный, с другой стороны. На трех оставшихся моторах самолет вполне может дотянуть до Ленинграда или даже вернуться в Москву. Но если сдаст еще один мотор и снова придется выключить симметричный, то на одном или даже двух моторах самолет обязан *немедленно* садиться. А садиться, как я тебе уже



74. А.Барбюс и М.Кольцов. 1930-е гг.

полчаса объясняю,— негде. Теперь понимаешь, что мне не очень улыбается по пути в Ленинград угробить всю центральную печать. Вряд ли мне за это крепко пожмут руку.

— Понял я вас...— довольно кисло сказал я.

В кабине самолета «Правда» по пути в Ленинград царит веселое оживление. Несмотря на сильный шум моторов пассажиры отлично слышат друг друга, а поэт А.Жаров даже скандирует только что написанное стихотворение, посвященное перелету.

Слышен густой бас М.Бородина, что-то доказывающего К.Уманскому; оживленно переговариваются редактор «Комсомольской правды» В.Бубекин и редактор «Экономической газеты» Б.Таль; перебирает бумаги завкультпроп ЦК А.Стецкий; Борис Горбатов быстро заносит в свой блокнот какие-то записи.

Я обмениваюсь впечатлениями с Н.Беляевым, редактором автодорожного журнала «За рулем». Одновременно внимательно слежу одним глазом за одетым в белоснежную аэрофлотскую форму командиром перелета Кольцовым, который, почти не присаживаясь на свое место, подходит то к одному, то к другому участнику перелета и время от времени скрывается за дверью пилотской кабины.

Прислушиваюсь я и к мерному гулу моторов. Ритм его временами меняется, то притихая, то усиливаясь, но в общем, как мне кажется, все идет нормально. Я окончательно прихожу к выводу, что никаких оснований для беспокойства нет, и даже погружаюсь в некое дремотное состояние, из которого меня выводит резкий скрежещущий звук. Я открываю глаза. Из кабины пилотов выходит брат с настолько безмятежным лицом, что я, привыкший понимать его без всяких слов, сразу устремляю на него

вопросительный взгляд. Он обменивается шутливыми замечаниями с кем-то из пассажиров, потом подходит ко мне, наклоняется к самому уху и, улыбаясь, говорит вполголоса:

— Ну, все в порядке... Скис один мотор, но как раз центральный, так что бодро идем дальше. Думаю — проскочим.

Тут, видимо, следует объяснить, почему именно журналист Кольцов присвоил себе роль гостеприимного хозяина в совершенно иной, авиационной епархии.

Дело в том, что, написав фельетон «Хочу летать», Кольцов действительно начинает летать часто и много. Он первым из советских журналистов сел в самолет, летчик которого продемонстрировал корреспонденту «Правды» одну из наиболее знаменитых в то время фигур высшего пилотажа — петлю Нестерова (ранее известную под названием «мертвая петля»), после чего Кольцов удивительно доходчиво и убедительно рассказал об испытанных им ощущениях читателям газеты.

В двухместном сухопутном самолете, управляемом военным летчиком Межераупом, он перелетел Черное море по маршруту Севастополь — Анкара, что по тем временам было незаурядным воздушным подвигом.

Кольцов — один из организаторов и участников многодневного перелета 1929 года по европейским странам на самолете АНТ-9, носившем гордое и многозначительное имя «Крылья Советов».

Он — единственный журналист в составе экипажа, осуществившего беспримерный и рекордный по тем временам Большой восточный перелет 1930 года над неприступными вершинами Гиндукуша и безлюдными пустынями Средней Азии, прочертившего воздушную трассу Москва — Анкара — Тегеран — Кабул.

Литературными плодами кольцовских летных часов были корреспонденции «Перелет», «Серебряная утка», «На краю света», «Вместилище спокойствия» и целый ряд других, в которых публицистически выразительная характеристика политического, культурного, исторического и бытового облика тогда еще мало известных широкому советскому читателю стран Азии гармонично и художественно сочеталась с точным, деловым описанием авиационно-технической стороны перелета.

После Большого восточного перелета авиационная деятельность Кольцова получила не совсем обычное для журналиста, но более чем убедительное признание: в канун Октябрьской годовщины приказом Реввоенсовета СССР за подписью К.Е.Ворошилова от 6 ноября 1930 года «за участие во всех советских перелетах, сопряженных с большими трудностями», Кольцов М.Е. был зачислен в списки Н-ской авиабригады ВВС РККА с присвоением звания «летчика-наблюдателя». Тогда же наравне со всеми членами экипажа Большого Восточного перелета брат, первым среди советских журналистов, был награжден орденом Красной Звезды.

Вскоре, однако, Кольцова перестает удовлетворять такая «простейшая» форма авиационной деятельности, как участие в полетах в качестве журналиста-корреспондента, и он переключается на более масштабные дела и мероприятия.

В дни, когда Советская страна празднует сорокалетие литературной деятельности Горького, Кольцов выступает в печати с призывом: «Давайте в честь нашего Горького построим огромный, невиданный агитационный самолет! Самолет-гигант имени писателя-гиганта — Максима Горького!»

И вот уже кипит работа во Всесоюзном комитете по постройке самолета «Максим Горький», в который входят виднейшие писатели и журналисты, профсоюзные и научные деятели, представители заводов и фабрик. Председателем комитета избран правдист Михаил Кольцов.

С большим успехом проходит по стране сбор добровольных де-

нежных взносов и отчислений. Идея о крылатом «Максиме» постепенно облекается в стальную и алюминиевую плоть. Эту идею энергично, изобретательно и вдохновенно осуществляет талантливый коллектив авиастроителей, во главе которого стоит Андрей Николаевич Туполев. И так же увлеченно, как раньше с архитектором и землеустроителями, Кольцов теперь проводит долгие часы на совещаниях с инженерами и конструкторами авиационной промышленности.

Сколько трудностей, забот, волнений! Сколько неизбежных в таком новом и сложном деле ошибок, промахов и просчетов, несмотря на десятки контролей, сотни осмотров и тысячи проверок. Приходилось преодолевать неожиданно возникшие технические затруднения, сложности и задачи. Приходилось отчитываться в непредвиденных производственных задержках и простоях. Приходилось (и это было, пожалуй, едва ли не самое чувствительное) выслушивать заданный не без лукавства, добродушно-ворчливым окающим басом вопрос: «Неоднократно запрашивают меня, глубокоуважаемый Михаил Ефимович, когда будет закончен сооружением самолет моего имени. Не знаю, что и отвечать...»

И все это осталось позади! Могучая машина в один долгожданный день поднялась в воздух, а Первого мая 1935 года самолет «Максим Горький» впервые показался над Москвой, возглавляя парад Военно-Воздушных Сил. Мне посчастливилось в числе группы журналистов находиться тогда на борту крылатого гиганта, видеть сверху нарядную ликующую столицу, пролететь над торжественно-праздничной Красной площадью.

Задача комитета по сооружению самолета «Максим Горький» как будто выполнена, но инициатива пошла дальше, планы стали шире, смелее: организовано строительство целой серии агитсамолетов на средства газет и журналов, получающих при этом, по мысли Кольцова, право назвать самолеты своими именами. И вот уже необозримые воздушные пространства Советского Союза рассекают крылатые «Правда», «Известия», «Комсомольская правда», «Пионерская правда», «Огонек» и другие воздушные агитаторы, по размерам, конечно, гораздо более скромные, чем «Максим». А самолету «Крокодил» редактор этого популярного сатирического журнала Кольцов решил придать соответствующее внешнее оформление, и три художника-крокодильца Бродаты, Ротов и Ефимов, которым было поручено это необычное задание, немало потрудились над тем, чтобы выдающаяся вперед кабина пилота приняла вид смеющейся зубастой пасти, крылья стали похожи на когтистые лапы, а вдоль всего фюзеляжа, как на крокодильей спине, вырос чешуйчатый гребень. Само собой разумеется, что летающий «Крокодил», как и его земной печатный тезка, был окрашен в ярко-красный цвет.

Официальное наименование дружного семейства крылатых газет и журналов — «Особая сводная агитационная эскадрилья имени Максима Горького». Приказом Главного управления Гражданского воздушного флота СССР командиром агитэскадрильи назначен писатель летчик-наблюдатель Михаил Кольцов.

В июне 1921 года Кольцов был послан в Париж, для участия в подготовке Международного конгресса писателей-антифашистов, открывшегося во французской столице 21 июня 1935 года. Конгресс основал Международную ассоциацию писателей в защиту культуры и для руководства ею — Международное бюро. От советских делегатов конгресса в Президиум бюро был избран Максим Горький, а в секретариат — Михаил Кольцов и Илья Эренбург.

Надо сказать, что работой в области укрепления международных культурных связей СССР Кольцов занимался уже задолго до парижского конгресса. На протяжении ряда лет все делегации иностранных писателей и журналистов, приезжавшие в Москву, посещали, как пра-

вило, Журнально-газетное объединение, беседовали с его председателем и редакторами входящих в объединение изданий.

Кольцов затеял в ЖУРГАЗе общественные приемы для зарубежных гостей, проходившие живо, интересно и сопровождавшиеся небольшими импровизированными концертами. Звенел изумительный голос Ивана Семеновича Козловского; до слез смешил зрителей, спрятавшись за портативной ширмой, молодой кукольник Сергей Образцов; неизменным успехом пользовались юмористические миниатюры Рины Зеленой, веселые песенки Беранже в сочном исполнении Бориса Борисова.

На жургазовских вечерах можно было увидеть известных писателей, режиссеров, журналистов, ученых, дипломатических работников. Здесь царила непринужденная дружеская атмосфера, стоял многоголосый говор оживленных бесед, споров, горячего обмена мнениями. И быстро, энергично пронизывая во всех направлениях не очень просторные, но уютные помещения ЖУРГАЗа, появляется то тут, то там веселый гостеприимный хозяин. В одном месте он знакомит жизнерадостного шумного толстяка, писателя из Чехословакии, с золотоволосой женой маленького взъерошенного поэта. В другом — вставляет несколько примирительных слов в ожесточенный спор между красивым седеющим кинорежиссером и насупленным, плохо побритым критиком. Тут бросает задорную реплику театрально разглагольствующему щеголеватому дипломату, там несколькими спокойными фразами ликвидирует готовую вспыхнуть ссору обидчивого «ответственного работника» с ехидным автором злободневной комедии. Обменивается дружеской шуткой с двумя так непохожими друг на друга соавторами популярного сатирического романа, успевает шепнуть мне на ухо сделанное им веселое наблюдение и, мгновенно сделавшись абсолютно серьезным и собранным, вступает в деловой разговор с настороженным и подозрительным иностранным корреспондентом.

Небольшая подвижная фигура брата, его моложавое, почти мальчишеское лицо, все его существо как бы заряжены электричеством. Вокруг него возникает своего рода магнитное поле — он стремится к людям, людей притягивает к нему. Вряд ли найдется человек, который не имел бы что ему сказать, не хотел бы что-то у него спросить, выяснить или просто побалагурить. И Кольцов широко раскрыт для всех. У него находится слово для каждого, он всегда готов и к дружбе, и к бою, всегда готов ответить улыбкой на улыбку, остротой на остроту, колкостью на колкость, ударом на удар. Таков он в работе, и в жизни, и здесь.

Стоя в толпе гостей, я с удовольствием слежу глазами за братом. Ведь, в сущности говоря, мы так мало с ним общаемся, так редко видимся. Хлопотливая, беспокойная его жизнь, до предела заполненная делами, заботами, поездками, оставляла ему очень мало времени для родственных встреч. Хорошо, если удавалось иногда перезвониться по телефону. А то проходили, бывало, недели и недели, когда я и не видел его, вечно занятого, замотанного, куда-то торопящегося. Даже к нашим старикам ему редко-редко удавалось вырваться на часок, посидеть, отведать с детства знакомого маминого компота, выслушать папины сетования на пошатнувшееся здоровье. (Судьба, однако, определила, чтобы отец и мать надолго пережили своего старшего сына.)

Только первая половина воскресного дня сохранялась, как правило, для встреч с ближайшими друзьями. С теплотой и грустью вспоминаю я эти утренние беседы у брата, его полные ума, юмора и наблюдательности разговоры. Нередко это происходило сразу же по возвращении его из очередной поездки по Советскому Союзу или за границу. То в волнении затаив дыхание, то покатываясь со смеху, слушали мы его метко и точно схваченные впечатления, острые и забавные характеристики людей, сделанные со свойственным ему, почти артистическим умением изобразить манеры человека, его голос и интонации.

Должен сказать, что уже тогда я уходил от брата со щемящим чувством неосознанного беспокойства, со смутной досадой на то, что мы так мало и редко с ним общаемся. Я будто предчувствовал, что промчится еще немного времени, и мы расстанемся навсегда.

Боюсь, что в моем рассказе о Кольцове слишком часто встречаются слова «веселый», «шутливый» и им подобные. Может показаться, что речь идет о неистощимом остряке-балагуре, озабоченном прежде всего тем, чтобы развлечь и позабавить окружающих. Нет. Брат очень любил веселый анекдот, смешную шутку, но не имел ничего общего с теми утомительными весельчаками, которые, едва поздоровавшись с вами, начинают настойчиво выкладывать весь свой наличный запас анекдотов и дежурных острот. Но зато ни при каких обстоятельствах не покидало Кольцова чувство юмора. А как оно было ему необходимо! Как часто выручало его во многих, далеко не веселых ситуациях. Ведь он был окружен не только друзьями, соратниками, единомышленниками — не было у него недостатка в недоброжелателях, завистниках, тайных и явных недругах. И не мудрено: Кольцов был бойцом передовой линии, правдистом, солдатом партийной печати, ведущей повседневную непримиримую борьбу на широком и сложном фронте против старого мира. И старый мир мстил ему, как мог.

А ведь он был далеко не богатырского здоровья. Всю жизнь, с самого детства, его изводила мучительная мигрень. Никогда не ведал он, что такое полноценный продолжительный отдых — для этого он слишком всегда торопился и жаждал деятельности. Голова его всегда была полна планов, замыслов, проектов — ведь он был до мозга костей журналистом, ни на минуту не забывавшим о газете, о читателе. Даже вынужденное, по настоянию врачей, пребывание на курорте он использует для писательских наблюдений, зорко улавливая каждый интересный факт и любопытный сюжет, свежий материал и злободневную проблему.

Находясь как-то на лечении в Сочи, Кольцов случайно узнает, что где-то здесь лежит парализованный и слепой писатель-комсомолец. Заинтересованный, Кольцов навещает его, проходит немного дней, и вскоре на страницах «Правды» публикуется кольцовский очерк «Мужество», из которого миллионы людей впервые узнают о героической биографии и литературном подвиге Николая Островского. Тридцать пять лет спустя друг Островского Якущенко вспоминал:

«Я был у Островского, когда к нему, в небольшой приземистый домик на Ореховой, 47, вошел М.Кольцов, приехавший в Сочи. Молодой, среднего роста, в очках в роговой оправе, он приблизился к койке, на которой лежал Николай, и, осторожно взяв его руку, запросто сказал: «Давайте познакомимся, я — Кольцов, пришел навестить вас».

Это было в тот период, когда Островский готовился к работе над романом «Рожденные бурей». Они долго беседовали.

Островский говорил друзьям, что после встречи с Кольцовым он почувствовал себя бодрее и увереннее, что Кольцов одобрил то, что Островский задумал сказать в новой книге, чему посвятить ее».

В сочинском музее Островского хранится подлинник письма Кольцова, посланного им в домик на Ореховой из Шепетовки в мае 1935 года. Вот оно:

«Дорогой Коля!

Попал проездом в Шепетовку и вспомнил Вас. Ведь здесь — не так ли — прошло Ваше детство, и здесь начинается действие Вашего романа?

Сейчас в Шепетовке большое оживление — многое строится, много учащейся молодежи. В буфете на вокзале чинно обедают красные командиры. А ведь здесь, кажется, Вас таскали за волосы? Сейчас в киоске здесь продают Вашу книгу.

Желаю Вам сил и здоровья, чтобы дальше работать и держать связь с жизнью.

Ваш Михаил Кольцов».

В очерке «Мужество», напечатанном в «Правде» 17 марта 1935 года, Кольцов писал: «...Маленький бледный Островский, навзничь лежащий в далекой хатенке в Сочи, слепой, неподвижный, забытый, смело вошел в литературу <...> завоевал сам себе место в книжной витрине, на библиотечной полке. Разве же он не человек большого таланта и беспредельного мужества? Разве он не герой, не один из тех, кем может гордиться наша страна?»

Рассказ о парализованном, но продолжающем мужественно трудиться писателе-комсомольце всколыхнул, взволновал сердца миллионов людей по всей Советской стране. Скромный домик на Ореховой был буквально завален письмами и всевозможными откликами читателей.

Телеграмма Николая Островского:

«Москва, «Правда», Михаилу Кольцову. Пламенный первомайский привет. Глубоко признателен центральному органу партии «Правде» за большевистское внимание, защиту».

А 1 октября 1935 года ЦИК СССР постановил:

«Наградить орденом Ленина писателя Островского Николая Алексеевича, бывшего активного комсомольца, героического участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за Советскую власть здоровье, самоотверженно продолжающего оружием художественного слова борьбу за дело социализма, автора талантливого произведения «Как закалялась сталь».

Кольцов почти всегда бывал захвачен очередным необычным журналистским замыслом. Интересные идеи, созревая — иногда мгновенно, иногда постепенно,— не покидали его, пожалуй, никогда. Особенно притягивали его ситуации острые, из ряда вон выходящие. Он всегда искал возможность увидеть собственными глазами и рассказать читателям «Правды» о событиях и явлениях необыкновенных, парадоксальных, окрашенных драматизмом, романтикой. В этих случаях своим долгом советского журналиста он считал поступать смело и решительно, пренебрегая риском и опасностью.

Так под чужим именем он посетил страны Европы, где в ту пору у власти стояли реакционные, фашистские и полуфашистские режимы. Впечатления об одной из таких стран — скованной белым террором Венгрии — Кольцов описал в очерке «Что могло быть». Вот что впоследствии говорил выдающийся венгерский коммунист, один из руководителей Венгерской советской республики 1919 года Бела Кун:

«Побывав в Венгрии только несколько дней, Кольцов тем не менее сумел показать не только внешнюю картину жизни этой страны, но дать краткую историю всей венгерской революции. Дух этого фельетона был духом венгерского рабочего класса. Это говорит о том, что Кольцов не просто фельетонист, и прекрасный фельетонист, а большевик-интернационалист, который в своих произведениях может отобразить и жизнь своей родной страны, и революционную борьбу международного пролетариата».

Исключительный пример журналистской находчивости и смелости показал Кольцов своим посещением находившегося в заключении знаменитого немецкого революционера Макса Гельца.

Приведу рассказ самого Гельца об этом «Свидании», как назывался кольцовский очерк в «Правде»:

«За восемь лет моего пребывания в социал-демократических тюрьмах Германии очень часто моим друзьям, партийным товарищам запрещалось посещать меня. Даже депутатам рейхстага нередко был

закрыт доступ ко мне. В тюрьме Гросс-Стрелиц и Мюнстер случалось, что ко мне не допускали даже моих защитников.

...Мы, узники Зонненбургской тюрьмы, правда, слыхали о русском правдисте, о «неистовом» Михаиле Кольцове, но никто из нас не знал его лично, и нам не могло даже прийти в голову, чтобы журналист из Советского Союза проник внутрь железного кольца нашей изоляции. Тюремная администрация, директор тюрьмы и все служащие страдали прямо-таки неописуемым страхом перед всем, что идет из Советского Союза.

И вот однажды т. Кольцов предстал передо мной в кабинете директора Зонненбургской тюрьмы.

Вот он здесь, он приветствует меня, вот он обнимает меня, исполненный жизнерадостности и солидарности. Эта волнующая встреча принесла мне неописуемую радость... Товарищ из первого рабочего государства явился с приветом от русских рабочих и крестьян и передал этот привет немецким товарищам, томящимся в тюрьме!..

Находчивость тов. Кольцова сумела побороть хитрость тюремной администрации. Если бы директор Зонненбургской тюрьмы знал, кто со мной разговаривает, он бы в ярости немедленно приказал отвести меня обратно в камеру, а Кольцову указал бы на дверь.

...Еще неделями и месяцами после этого события мы разговаривали в тюрьме об удаче «неистового журналиста». Эта удача принесла огромную радость всем нам и значительно отвлекла нас от ужасного одиночества тюремного заключения. В Москве я взволнованно припомнил все обстоятельства этой поразительной встречи,— когда снова пожал руку т. Кольцову».

Несколько иного характера, но, пожалуй, не менее острая и пикантная ситуация послужила сюжетом для кольцовского фельетона «В норе у зверя» (1932). Под видом корреспондента французского иллюстрированного еженедельника Кольцов явился в законспирированный белогвардейский штаб в Париже и взял интервью у матерого контрреволюционера генерала Шатилова, бывшего в годы гражданской войны личным другом и несменяемым начальником штаба у самого барона Врангеля.

« — Справедливы ли, мон женераль, те сведения, какие за последнее время распространились в широких кругах, что руководимый вами союз является на самом деле монархической армией, расквартированной в разных странах и объединенной регулярным штабным и строевым руководством?

Заместитель генерала Миллера пожимает плечами слегка-слегка. Руками разводит только на сорок пять градусов, над столом. Он улыбается снисходительно и даже с оттенком сожаления к вопрошающему.

— Не знаю, нуждаются ли даже подобные слухи в опровержении. Это чепуха, распространяемая большевиками через «Юманите». Наша организация не имеет ничего общего с армией. Это чисто гражданское русское объединение бывших участников войны, ставящее себе задачи исключительно морального порядка <...>

— Кроме того, мы занимаемся экономической взаимопомощью, далее — воспитанием наших детей в национальном духе, любительским изучением военных вопросов, спортивными упражнениями, охраной наших уцелевших знамен и прочих реликвий.

— Но никак не регулярным военным обучением и не оперативной подготовкой нового реванша за ваше тяжелое поражение в России?

Ле женераль Шатилофф нахохлился и глядит враждебно-испытующе. Тон вопроса был в самом деле неосторожен. Генерал делает паузу... Нет, он не догадался. Он разводит руками уже более энергично <...> Но ведь я уже сказал вам и подчеркиваю еще раз <...> Мы ничего общего и похожего с армией не имеем. Мы являемся совершенно

цивильным, идейно-моральным, имеющим своей целью только воспитательно...

Я предупредительно записываю ответы в книжечку. Как он нагло разговаривает, этот гладенький женераль Шатилофф! Нагло и насмешливо. Почти издеваясь над французскими простаками-газетчиками, пришедшими слушать его нахальные откровения.

...Дай-ка я его сфотографирую. Как не заполучить в альбом большевика-газетчика эту хищную птицу!

— Мон женераль, вы разрешите сделать снимок?

Он что-то кокетливо бормочет о плохом освещении комнаты...

— Как же вы будете снимать? Здесь понадобится большая выдержка.

Он сам не знает, как он прав. Выдержка нужна большая. Надо собрать всю свою выдержку, чтобы стоять и на расстоянии трех шагов целиться в этого человека, <...> прошедшего огнем и мечом по рабочим кварталам, по крестьянским пашням Украины и Крыма, подготовляющего и сейчас, через пятнадцать лет, новый разбойничий набег.

Это похоже на тир в военной школе: мы стреляли на занятиях в деревянного белого генерала. Здесь генерал живой и очень близко <...> Генерал провожает до дверей и просит прислать снимок, если он будет удачным» *.

Нетрудно себе представить, какой скандал разразился в «норе» после опубликования фельетона о визите советского журналиста и с каким плачевным видом оправдывался опростоволосившийся «ле женераль Шатилофф» перед другими белогвардейскими «зверьми»...

Этот скандал можно сравнить, пожалуй, только с той «конфузией», которую год спустя претерпел редактор белогвардейского «Возрождения» господин «Семенофф», разоблаченный Кольцовым в фельетоне «От родных и знакомых», о чем я уже рассказывал на страницах этой книги.

Не надо думать, что журналистский азарт Кольцова был направлен только на рискованные, эффектные затеи, подобные вышеописанным. Нет, его живо интересуют и повседневные, будничные, малозаметные на первый взгляд, дела и события родной страны. То же неиссякаемое стремление к поиску публицистически примечательных явлений и фактов, бросавшее его в Зонненбургскую тюрьму или «звериную нору», закономерно приводило его на пуск Шатурской электростанции, на строительство бумажной фабрики в Балахне, в обувную мастерскую Болшевской трудовой коммуны или на Верхне-Середский текстильный комбинат, где впервые осуществлялся переход на семичасовой рабочий день. Вчера в комфортабельном экспрессе Париж — Женева, сегодня — в тряской телеге по пыльному проселку Рязанщины, завтра — в самолете Москва — Лондон, из любой поездки Кольцов возвращался в редакцию не с пустыми руками. Миллионы читателей, раскрывая «Правду», читали написанные по горячим следам корреспонденции, очерки, фельетоны, обязанные своим появлением острому взгляду наблюдателя, неиссякаемой «мобильности» журналиста, считающего своим долгом самому быть в гуще событий, все самому лично увидеть и почувствовать, быть, по выражению Кольцова, «честным глазом и ухом читателя».

Самые разнохарактерные явления, впечатления и факты контрастно сталкиваются и пересекаются в публицистике Кольцова, создавая яр-

*
Михаил Кольцов. Избранные произведения, т. 2, с. 182—187

кие и красноречивые сопоставления, выразительную и масштабную летопись времени.

Вот характерный пример кольцовского стиля. Журналист находится в далеком Заволжье, в колхозе тихого села Муханово. Кольцова привело сюда желание собственными глазами увидеть новинку — первое в истории мухановского колхоза снегозадержание. Он описывает, как «толпа людей, толпа обыкновенных российских баб и мужиков, в худых зипунах и кожухах, в грубых валенках из жестких колючих оческов, вышла до утренней зари за околицу и, прикрывая лица от ледяного ветра, двинулась за три версты в открытое поле».

Очерк о возникновении и первых шагах колхоза в Муханове автор начинает с оригинального международного обозрения: «<...> Король Альфонс выехал в Лондон, чтобы навестить свою тещу, принцессу Беатрису, перенесшую тяжелую болезнь <...>

В этот же день газеты взволнованно сообщили о потрясающей свадьбе французского чемпиона по плаванию Жоржа Буйи, который венчался со спортсменкой Марией Дельфед в бассейне для плавания, причем не только он и невеста, но и все свидетели, и приглашенные, и сам пастор были в купальных костюмах <...>

В этот же день парикмахерская в американском городе Сиэтле вывесила плакат: «Безработный должен быть свежо побрит, иначе у него нет никаких шансов получить работу»*.

Проникновенно и просто рассказав, как, подобно колхозникам Муханова, миллионы мелких, раздробленных хозяев по всей стране поверили партии большевиков, что жить будет лучше, если сделать труд и орудия производства коллективными, Кольцов заканчивает очерк, названный им «Действующие лица», так:

«Именно это, величайшее из событий, определяющих судьбы мира, проморгали те, кто, насилуя мировой эфир и телеграфную проволоку, поспешают за тещей испанского короля, за несравненным женихом в купальном костюме...

Действительность то, что секретарь и культпроп мухановской сельской ячейки, но никак не король Альфонс и его теща, принцесса Беатриса, призваны повернуть скрипучее колесо мира. Горе тому, кто обманывается в главных действующих лицах эпохи» **.

Одна из самых ярких страниц биографии Кольцова — это его работа в Испании. Люди моего поколения, да и более молодые, помнят, с каким волнением, с каким подлинным горячим чувством интернациональной солидарности следила Советская страна за мужественной, неравной борьбой храбрых и воодушевленных республиканских войск против фалангистов и марокканцев генерала Франко, итало-германских интервентов. Вестей из Испании все ждали с волнением. Корреспондент «Правды» Михаил Кольцов сообщал обо всем быстро, ярко, достоверно, поспевая всюду. Во всем блеске развернулись в дни испанской эпопеи его незаурядные качества журналиста — энергия, инициатива, бесстрашие. А веселый его нрав, остроумие, общительность снискали ему и там много друзей. «Я не видел более умного и храброго человека»,— писал о нем Эрнест Хемингуэй.

Но опять-таки Кольцов не был бы Кольцовым, если бы остался в рамках чисто газетной, корреспондентской работы. Думаю, что никто не был особенно удивлен, когда вскоре обнаружилась его весьма актив-

*
Михаил Кольцов. Избранные произведения, т. 1, с. 431—435

**
Там же, с. 435

ная не только корреспондентская, но и общественная деятельность. Насколько я знаю, никто специально такой работы Кольцову не поручал. Он ехал в Испанию только как писатель, журналист. Но удивительная его способность ориентироваться в любой ситуации, ясная голова, умение понимать людей и быть ими понятым — все это логично и неизбежно привело к выполнению им более широких общественных функций, облекло его новой большой ответственностью.

(Кое-что об этой деятельности Кольцова можно узнать из поведения и поступков одного из действующих лиц кольцовского «Испанского дневника» «мексиканского коммуниста небольшого роста» Мигеля Мартинеса...)

О деятельности Михаила Кольцова и его двойника — Мигеля Мартинеса в Испании написано немало. Добрая половина сборника воспоминаний «Михаил Кольцов, каким он был» посвящена испанскому периоду кольцовской биографии. Мне кажется, что в концентрированном виде характеристику роли Кольцова мы находим в очерке писателя Льва Славина: «Я помню одно из выступлений Всеволода Вишневского, только что вернувшегося из поездки в Испанию. Он сказал:

— Мы дали Испании танки. Мы дали Испании самолеты. Мы дали Испании Михаила Кольцова!» *

А мне самому довелось присутствовать на первомайском приеме 1937 года в Кремле, когда среди многих провозглашенных в Георгиевском зале здравиц был и тост, произнесенный народным комиссаром по военным делам К.Е.Ворошиловым. Он напомнил, что в Испании идет война. Упорная, нешуточная война. Воюют там не только испанцы, но и разные другие нации. «Затесались туда и наши, советские люди. Воюют они неплохо...»

И он предложил поднять бокалы за присутствующего в этом зале представителя наших людей в Испании Михаила Кольцова. (За несколько дней до первомайских праздников Кольцов был вызван в Москву для доклада.)

Интерес к событиям в Испании был огромный, и брату буквально с утра до вечера приходилось рассказывать о своих впечатлениях самым разнообразным аудиториям слушателей.

Как известно, второй международный конгресс писателей было решено созвать в Мадриде. В связи с этим Кольцов недолго оставался в Москве и был снова командирован в Испанию. Именно он и возглавил советскую делегацию на конгресс, в состав которой вошли такие выдающиеся литераторы, как Алексей Толстой, Александр Фадеев, Всеволод Вишневский, Илья Эренбург, Агния Барто и другие. Именно он произнес на конгрессе большую речь на испанском языке, хотя еще год назад знал по-испански только несколько слов.

Не могу отказать себе в удовольствии привести крохотный отрывок из кольцовского «Испанского дневника» о ночной бомбежке в Валенсии:

«...Делегаты дрыхли мертвым сном после дороги и дневных переживаний. Так они могли проспать все. Я приказал телефонистке «Метрополя» разбудить немедленно всю мою делегацию и торжественно повел ее в подвал. Сирены выли, зенитная артиллерия стреляла непрестанно, звук — как будто раздирают огромные куски полотна. Издалека слышались глухие взрывы бомб.— Каково? — спросил я тоном гостеприимного хозяина. Все были взволнованы и очень довольны. Вишневский спросил, какого веса бомбы. Но я не знал, какого они веса. Черт их знает, какой

*
Л.Славин. Портреты и записки.
М., 1965, с. 245

у них вес. Толстой сказал, что наплевать какой вес, важно, что это бомбы. Он был великолепен в малиновой пижаме, здесь, в погребе» *.

Для приехавших из Москвы писателей грозная музыка войны звучала ново и волнующе, звучала романтикой борьбы против врага культуры и человечности — фашизма, борьбы не только идеями, словами, книгами, но оружием в самом прямом, не переносном смысле этого слова.

Для Кольцова эта музыка была уже более знакомой и привычной. Напомню, что после короткого пребывания в Москве в мае 1937 года брат вернулся к исполнению своих обязанностей в Испании. На этот раз он направился не прямо в Мадрид, а в отрезанную от республики Страну басков. С большими трудностями и опасными приключениями Кольцов перелетел из Франции, из Тулузы, в осажденный франкистскими мятежниками Бильбао.

« <...> Мотор умолк. Издали высятся скалы вокруг острова-тюрьмы Сантониа, испанского замка д'Иф, мрачного зловещего места ссылки. Первозданная тишина струится над этим заброшенным безлюдным углом. Но скоро далекий орудийный грохот разбудил ее. Жадным глубоким вдохом я глотнул воздух, свежий, бодрый воздух моря, леса и гор. Еще раз грохот. Это опять Испания, опять война!» **

«Опять Испания, опять война», и опять глазами корреспондента «Правды» миллионы советских читателей видят картины неравной и героической борьбы испанского народа. Вместе с Кольцовым мы на улицах и в казармах Бильбао, на секторах обороны города, в траншеях укрепленного пояса («синтурона»); вместе с ним мы «облазили по горам все эти устройства, облившись при этом семью потами» и с горечью обнаружив в них целый ряд прорех и слабых мест.

«Произошло все это не случайно,— писал Кольцов.— Инженер, руководивший устройством пояса, оказался изменником, вредителем и недавно перебежал к фашистам. У мятежников есть все схемы «синтурона» и все объяснения к ним» ***.

Вместе с Кольцовым мы посещаем «любезного и элегантного президента Басконии сеньора Агирре», главнокомандующего баскским фронтом, и выслушиваем жалобы его на изоляцию и всевозможные затруднения; вместе с Кольцовым проводим два с половиной часа под бомбами германских самолетов. За четыре года до Великой Отечественной войны корреспондент «Правды», вероятно, первым из советских журналистов, испытывал на себе разбойничьи повадки фашистской авиации. Он как будто провидит горькие картины сорок первого года, первые тяжелые недели гитлеровского нападения:

«...Фашистские интервенты используют на бискайском фронте свое полнейшее превосходство в воздухе. Вернее, не превосходство свое, а почти полное отсутствие республиканской авиации, в котором они ясно убедились, обшарив побережье. С наглостью трусов фашистские командиры раскричали в своих сводках, что на севере теснят противника в воздухе. Им почти некого теснить... Авиация интервентов вдесятеро превосходит числом бискайскую республиканскую».

«...Наступление на Бильбао — это сокрушительный, безнаказанный террор массированной авиации. Об этом можно прочесть полтораста статей <...> Но чтобы почувствовать и понять, надо быть здесь» ****.

* *Михаил Кольцов* Избранные произведения, т. 3, с. 501—502

** Там же, с. 462

*** Там же, с. 403

**** Там же, с. 415

Из Бильбао Кольцов возвращается в Тулузу, оттуда летит в Барселону, где его в первый же день настигает весть о гибели генерала Лукача — Матэ Залки. Не пришлось Кольцову передать лично в руки храброму командиру 12-й бригады письма, которые он вез ему из Москвы, от жены и друзей. Из Барселоны брат мчится на машине в Валенсию. Там с последней декады июня разворачивается на полный ход подготовка к открытию Второго международного писательского конгресса — целый ворох организационных вопросов, дел, забот...

«...Занимаются этим одновременно два правительства — центральное и каталонское, и в них по три министерства <...> — и, кроме того, военное министерство, и генеральный комиссариат, и Альянса писателей, и еще все, кому не лень. Со всеми ними Ассоциации писателей приходится спорить и торговаться. Бюрократизм в Испании ленив и наивно высокопарен. Главная забота министерских чиновников — скрыть от делегатов тот неприличный факт, что в Испании сейчас происходит война. Для этого они придумывают тысячи мероприятий и ухищрений. Места для заседаний они предлагают в отдаленных и тихих районах, в загородных дворцах, укрытых парками. В программу экскурсий вставляют разную туристическую чепуху — рыбную ловлю, осмотр старинных развалин и стоянок доисторического человека. Я доказываю, что, если делегаты искали бы тишины и развлечений, они, пожалуй, нашли бы сейчас более подходящую страну для конгресса. Чиновников это не убеждает...» *

Конгресс открылся 4 июля, а через день большим автомобильным караваном перебрался во фронтовой Мадрид и 7 июля возобновил заседания.

«...На вечернем заседании большинство ораторов говорили по-испански. Конгресс поэтому перенесли в огромный зал кино «Гойя», чтобы мадридцы могли послушать.

Председательствовала Мария Тереса, очень торжественная и трогательная. Она предоставила слово командиру одной из дивизий, а потом мне.

Я волновался — впервые пришлось произносить большую речь на испанском языке».

Свое выступление на конгрессе Кольцов закончил так:

«...Фашизм хватает мир за горло. Наступают решающие исторические часы. Писатели и все честные интеллигенты мира! Займите свои места, подымите забрала, не прячьте своих лиц, скажите «да» или «нет», «за» или «против»! Вы не укроетесь от ответа! Отвечайте же скорее!

А тебе, благородный и трогательный испанский народ, тебе, окровавленный Рыцарь Печального Образа,— тебе наши мысли и силы. Мы будем с тобой, и так же, как и ты, мы верим, что твоя однажды разогнувшаяся спина никогда не склонится перед угнетателями, что ты никогда больше не дашь погасить светильник своей свободы. На гербе Дон Кихота Сервантес написал: «Post tenebras spero lucem!» — «После тьмы надеюсь на свет!» **

Как известно, из среды «затесавшихся» в Испанию советских людей, помогавших испанскому народу в его героической и неравной борьбе с фашистскими интервентами, вышло немало военных деятелей, имена которых были впоследствии прославлены подвигами Великой Отечественной войны. И такие из них, как Р.Я.Малиновский, К.А.Мерецков, Н.Г.Кузнецов, П.И.Батов и другие славные Герои Советского Союза, тепло и сердечно вспоминали свои встречи с Кольцовым на различных опасных и жарких участках испанских фронтов.

Но мне хочется привести то, что написали о Кольцове два сугубо

*
Михаил Кольцов. Избранные произведения, т. 3, с. 498
**
Там же, с. 510

штатских человека, его товарищи по профессии — писатели-журналисты Илья Эренбург и Эрнест Хемингуэй.

В книге «Люди, годы, жизнь» Эренбург вспоминает:

«Трудно себе представить первый год испанской войны без М.Е.Кольцова. Для испанцев он был не только знаменитым журналистом, но и политическим советником. В своей книге «Испанский дневник» Михаил Ефимович туманно упоминает о работе вымышленного мексиканца Мигеля Мартинеса, который обладал большей свободой действия, чем советский журналист. Маленький, подвижный, смелый, умный до того, что ум становился для него обузой, Кольцов быстро разбирался в сложной обстановке, видел все прорехи и никогда не тешил себя иллюзиями.

...Ко мне он относился дружески, но слегка презрительно... Однажды он мне признался: «Вы редчайшая разновидность нашей фауны — нестреляный воробей»... Конечно, никто не причислит Михаила Ефимовича к воробьям, а поскольку он однажды завел разговор о птицах, я назову его стреляным соколом. Мы расстались весной 1938 года»*.

Далее Эренбург вспоминает:

«Это было в марте 1937 года в Мадриде. Я жил в бывшей гостинице «Палас», превращенной в госпиталь. Кричали раненые, пахло карболкой. Здание не отапливалось. Еды было мало, и, как в Москве в 1920 году, засыпая, я часто мечтал о куске мяса.

Как-то под вечер я решил пойти в «Гайлорд», где жили наши советники, к Кольцову: там можно согреться и поесть досыта.

В комнатах, которые занимал Кольцов, как всегда, были люди, знакомые и незнакомые: «Гайлорд» соблазнял не меня одного. Я сразу увидел, что на столе большой окорок и бутылки. Михаил Ефимович хмыкнул: «Здесь Хемингуэй...» Я растерялся и сразу забыл про ветчину.

У каждого человека бывает свой любимый писатель, и объяснить, почему любишь такого-то писателя, а не другого, столь же трудно, как объяснить, почему любишь такую-то женщину. Из всех моих современников я больше всего любил Хемингуэя» **.

«...В «Гайлорде» Хемингуэй встречался с нашими военными. Ему нравился Хаджи, человек отчаянной смелости, который ходил во вражеский тыл (он был родом с Кавказа и мог легко сойти за испанца). Многое из того, что Хемингуэй рассказал в романе «По ком звонит колокол» о действиях партизан, он взял со слов Хаджи» ***.

В романе имя Кольцова не упоминается. Но одним из действующих, и активно действующих лиц романа является некто Карков — подвижной, маленького роста журналист, корреспондент московской «Правды»...

Хемингуэй рассказывает от лица главного героя романа, американского корреспондента Роберта Джордана:

«У «Гайлорда» ему не понравилось, а Карков понравился. Карков — самый умный из всех людей, которых ему приходилось встречать. Сначала он ему показался смешным... Но Роберт Джордан не встречал еще человека, у которого была бы такая хорошая голова, столько внутреннего достоинства и внешней дерзости и такое остроумие» ****.

После международного конгресса Кольцов оставался в Испании еще примерно месяца четыре, продолжая корреспондировать в «Правду»

*
И.Эренбург. Собрание сочинений. М., 1967, т. 9, с. 132

**
Там же, с. 148

***
Там же, с. 150

****
Эрнест Хемингуэй. Собрание сочинений. М., 1968, т. 3, с. 356



75. На открытии мемориальной доски М.Е.Кольцова. 1972

о все более и более тревожных событиях на испанских фронтах, о все более и более трудном положении мужественных защитников Республики. Предательская политика «невмешательства», проводимая Леоном Блюмом и Невиллом Чемберленом, давала свои ядовитые плоды, хотя сопротивление все более наглеющим франкистам и интервентам продолжалось. Тяжело было на сердце у всех друзей испанского народа.

В ноябре 1937 года брат был отозван в Москву, где сразу окунается в напряженную работу — газетную, общественную и писательскую. Одновременно он принимается за «Испанский дневник», над которым работает в каком-то лихорадочном темпе, торопясь поскорее закончить книгу. После утомительных ночных бдений в редакции, почти не отдыхая и не высыпаясь, он диктует, диктует, диктует... «Дневник» печатается частями в журнале «Новый мир», и над автором дамокловым мечом висят жесткие сроки сдачи рукописи в набор. Однажды случается так, что, задержавшись на срочном дежурстве, он опаздывает со сдачей материала и находит выход из положения в том, что, приехав в типографию, диктует очередную главу... прямо на линотип. Случай, пожалуй, уникальный в издательской практике.

Ко всем прежним обязанностям прибавляются еще и очень почетные: Кольцов избран депутатом Верховного Совета РСФСР и членом-корреспондентом Академии наук.

В сентябре 1938 года Кольцова срочно командируют в Чехословакию, над которой нависла удавная петля позорного мюнхенского сго-

вора. То была тяжелая, безрадостная поездка. Как и в последние месяцы в Испании, корреспонденту «Правды» приходится быть свидетелем трагедии опутанного предательством и трусостью народа, выданного с головой торжествующему фашистскому зверю. Корреспонденции Кольцова из Праги проникнуты горечью. Но всем своим существом он непоколебимо верит, что в последней, решительной схватке Гитлер сломает себе шею. Глубоким патриотическим чувством была проникнута его статья в праздничном ноябрьском номере «Правды».

...В январе 1955 года секретариат Союза писателей СССР образовал комиссию по литературному наследству Михаила Кольцова. В нее вошли — Д.О.Заславский (председатель), Б.Н.Агапов, К.М.Симонов и Б.Е.Ефимов.

Комиссия подготовила к переизданию избранные произведения Кольцова — фельетоны и очерки, а также «Испанский дневник», быстро ставшие библиографической редкостью. Мгновенно исчез с книжных прилавков и сборник воспоминаний «Михаил Кольцов, каким он был», в котором творческий и человеческий облик Кольцова воскресили Алексей Толстой, Александр Фадеев, Корней Чуковский, Лев Кассиль, Борис Агапов, Лев Никулин, Роман Кармен, Татьяна Тэсс, Наталья Сац, Иван Майский, Леонид Ленч, Софья Виноградская, Виктор Ардов и многие другие — всего 37 авторов.

Выступая от имени комиссии на открытии мемориальной доски Кольцова, я сказал:

— Литературное наследство Кольцова — это огромное, практически неисчислимое количество очерков, фельетонов, корреспонденций, статей, выступлений, в которых во всем своем величии встает целая эпоха становления и утверждения Советской власти начиная с Октября семнадцатого года. Неповторимая и захватывающая летопись жизни, труда и борьбы советского народа, его радостей и печалей, испытаний и свершений.

Кольцов все делал быстро, энергично, увлеченно и весело, не зная отдыха. Всегда в мобилизационной готовности, всегда на службе, не теряя ни минуты времени, как будто предчувствуя, что судьбой ему отмерен очень короткий срок жизни.

Тридцать четыре года назад Кольцов навсегда ушел из этого дома. Сегодня, по воле партии, по решению Московского Совета он навсегда возвращается сюда в граните мемориальной доски.

Художник-гражданин

Николай Пономарев принадлежит к тому поколению советских художников, самостоятельный творческий путь которых определялся в трудное время — в первые послевоенные годы, когда чуть развеялся горький дым пожарищ на родной земле, когда страна еще только начинала залечивать тяжкие боевые раны и засучив рукава восстанавливать разрушенное вражеским нашествием.

Вот почему закономерно и знаменательно, что первая значительная работа молодого Пономарева — это серия графических листов под простым, но таким выразительным по своему внутреннему пафосу названием: «Донбасс восстанавливается». Нельзя не услышать в этих двух незамысловатых словах несказанную радость художника-патриота за свой родной, так жестоко перестрадавший край (родился Пономарев на руднике «Артем» города Шахты в феврале 1918 года), за долгожданное счастье собственной рукой отобразить возрождение его из руин...

Интересно, что незадолго до того, как художник приступил к осу-

ществлению задуманной им донбасской серии, судьба предназначила ему участие в волнующем и романтическом эпизоде конца Великой Отечественной войны, ставшем одновременно интереснейшей страницей истории мирового искусства,— в спасении уникальных художественных сокровищ Дрезденской картинной галереи. Хорошо известны обстоятельства этой захватывающей эпопеи, описанной в книгах и даже ставшей сюжетом экранизации. Хорошо известно также, с какими трудностями, сложностями и опасностями были сопряжены перевозка и охрана бесценных полотен.

На долю Пономарева, тогда студента Художественного института имени В.И.Сурикова, как младшего и поэтому самого безотказного участника «спасательной группы» художников и искусствоведов, выпадали, естественно, самые беспокойные и рискованные поручения. Насколько я знаю, он с ними успешно справлялся.

И мне видится какая-то очень глубинная, может быть, даже не до конца осознанная связь между этими двумя, столь различными по характеру, событиями в жизни молодого художника — прикосновением к чудом избежавшим гибели шедеврам мирового искусства и собственным, скромным, но из глубины сердца идущим вкладом в художественную летопись Родины, сокрушившей лютого врага.

Начиная с проникновенного графического рассказа о восстановлении родного Донбасса, тема Труда, или, точнее сказать, Человека в труде, становится главной и ведущей в творчестве Пономарева. Именно Человек — сильный, мужественный, благородный, увиденный во всем многообразии и полнокровии его трудового и духовного бытия,— находится отныне в центре внимания и замыслов художника. Каждый его новый графический цикл, будь то «Шахтеры Донбасса» (отмеченный в 1950 году Государственной премией СССР), «О людях Советской России», «Северный Вьетнам» или «По Индии»,— это всегда повесть о человеческих судьбах, пронизанная ярко ощутимым личным отношением автора. Во всех этих работах Пономарева безошибочно улавливается суть изображаемых им ситуаций. Действие всюду динамично и напряженно, гармонично связанные между собой штрих и цвет чутко передают состояние людей и природы, точно характеризуют настроение действующих лиц и самого художника. Мне думается, что именно эта острота ви́дения, эмоциональность восприятия и умение приковать интерес зрителя к тому, чем захвачен сам художник, составляет самую сильную сторону таланта Пономарева.

Идейная и творческая позиция художника всегда ясна. Я назвал бы ее публицистичной в самом глубоком понимании этого слова, хотя она часто бывает высказана автором и в задушевно-лирической, и интимной, и поэтической интонации. Здесь нет никакого противоречия: любой рисунок Пономарева, всегда окрашен душевным волнением художника, порождающим в свою очередь взволнованность зрителя.

В произведениях Пономарева нам предельно ясна точка зрения художника, ее нравственный заряд, неизменно несущий в себе открытую, ничем не завуалированную эмоцию — симпатию или протест, нежность или боль, сочувствие или осуждение. И эмоция эта всегда обращена к людям, в характере и деяниях которых Пономарев черпает образную действенность своего искусства.

Неудивительно, что человечное, правдивое дарование Пономарева с особенной силой проявляется в его чисто портретных работах — таких, например, как поразительный по силе «Портрет матери», «Старый рыбак», «Наташа», «Портрет хирурга В.С.Савельева». Каждая из этих и многие

другие работы проникнуты любовью и интересом к человеку, оживающему под кистью или карандашом художника, и, проникаясь его чувствами, мы вместе с ним внимательно вглядываемся и в милое личико вьетнамской девочки, и в белозубую улыбку усталого, но довольного результатами своей работы шахтера, и в суровые, иссушенные ветрами пустыни черты старого араба.

Даже в композициях, где нет образов людей, например, в пейзажах, к которым в последнее время все чаще обращается Пономарев, мы ясно ощущаем присутствие человека в самой атмосфере произведения, причем не только в индустриальных ландшафтах, где это само собой разумеется, но и в таких, до известной степени условных, поэтических листах, как, скажем, «Паруса Подмосковья».

Искусство Пономарева глубоко национально и вместе с тем овеяно духом подлинного интернационализма, не отделимого от ясного понимания происходящих за рубежами нашей Родины исторических процессов, преобразующих сегодня лицо мира. Именно поэтому, кстати сказать, его произведения, созданные в результате поездок по странам Востока, лишены малейшей «ориентальной» красивости, дешевой экзотики, соблазняющей подчас поверхностного наблюдателя. Серьезно и вдумчиво наблюдает Пономарев жизнь дальних краев, с глубокой симпатией показывает людей труда на разных меридианах планеты, как бы сближая в своем художническом и социальном восприятии советского горняка с вьетнамским рыбаком или индийским рабочим.

Следует подчеркнуть, что творческие интересы Пономарева отнюдь не ограничиваются станковой графикой и книжной иллюстрацией — динамические черты его дарования и острое чувство современности не могли не привлечь его к такому оперативному и боевому жанру, как плакат. Этому в решающей степени способствовало общение с замечательным мастером и одним из зачинателей советской политической графики — М.М.Черемныхом. В содружестве маститого и молодого художников родилась первая в нашей стране плакатная мастерская при Суриковском институте, которой ряд лет руководил М.М.Черемных, а после него возглавил Пономарев. Ценнейший вклад вносит эта мастерская в воспитание молодых кадров художников плаката, вооружая их богатым арсеналом пластических и колористических приемов и пониманием особенностей плакатного образного мышления, прививая реалистические и гражданственные принципы.

Я не ставлю себе задачей подробно рассказать здесь обо всех этапах художественной биографии Пономарева и тем более о его дальнейших творческих планах. Но не сомневаюсь, что многое еще накапливается и созревает в его внутренней художнической лаборатории, требует и ждет своего осмысления и претворения в образы и решения. Я уверен, что многое, задуманное Пономаревым, уже «в пути». Но ох как не прост и не скор этот путь от рожденного в воображении мастера замысла до показа его на стендах выставочного зала... Тем более, если силы, время и творческий потенциал художника отнюдь не принадлежат ему целиком, а властно отнимаются неотложными государственными и общественными обязанностями.

Давайте на минуту задумаемся: о какой спокойной, систематической, плодотворной работе с кистью в руках в тиши мастерской может идти речь, если на плечах человека лежит ответственность за сложнейшую разветвленную деятельность многотысячного и многонационального коллектива мастеров советского изобразительного искусства? Перефразируя известные пушкинские строки, я сказал бы об этом коллективе: какая смесь проблем и лиц, вопросов, жанров, устремлений!

Я вспоминаю завершение работы V съезда Союза художников СССР в Большом Кремлевском дворце. Этот представительный форум

обсудил актуальные проблемы советского изобразительного искусства, наметил задачи и перспективы его дальнейшего развития, еще раз подчеркнул высокое призвание художников верно служить своим искусством общенародному делу. И на пост председателя правления крупнейшего творческого союза страны был снова избран Николай Афанасьевич Пономарев.

И снова он вместе со своими ближайшими соратниками находится в эпицентре многоплановой, кипучей, неустанной работы, где ежедневно, ежечасно скрещиваются сотни творческих, организационных, производственных, а также личных художнических, порой весьма деликатных, вопросов, проблем, интересов, а подчас и амбиций...

Нужно иметь широкий, поистине государственный кругозор и масштабность мышления, чтобы не растеряться перед этой лавиной дел, проявить, когда надо, твердость характера и душевную чуткость, хозяйскую заботу и должную неуступчивость, жесткую требовательность и товарищескую поддержку. И самое главное, проницательно отделив главное от второстепенного, найти в каждом случае правильное решение.

По моему глубокому убеждению, Пономарев всеми этими качествами обладает. У него несомненный природный дар руководителя, вожака.

Но его облик будет неполным, если не сказать о присущем ему своеобразном и неиссякаемом чувстве юмора. Я не помню такой встречи, заседания или собрания, которое не огласилось бы дружным смехом после какого-нибудь шутливого замечания или веселой, подчас озорной, реплики Пономарева. Он может, правда, быть подчас и резким, но это, мне кажется, нисколько не умаляет ни его человеческого обаяния, ни заслуженно завоеванного авторитета.

Мне думается, Пономарев-художник и Пономарев-руководитель неотделимы друг от друга. Больше того, на мой взгляд, деятельность председателя правления Союза художников СССР, депутата Верховного Совета СССР, народного художника СССР, действительного члена Академии художеств СССР, члена неисчислимых комитетов, выставкомов, художественных советов, международных культурных организаций, профессора Николая Афанасьевича Пономарева являет собой незаурядный пример целеустремленного, связанного с предельной отдачей всех душевных сил, служения избранному им пути художника-гражданина, для которого само понятие творчества равнозначно неразрывному единству профессионального и общественного долга.

Примерно тридцать лет тому назад в газете «Советское искусство» была напечатана статья о политическом плакате. В ней был, между прочим, помянут добрым словом молодой художник Н.Пономарев и высказана уверенность в дальнейших его успехах.

Сегодня, не скрою, мне приятно вспомнить, что автором этой статьи был я, и спустя прошедшие десятилетия сделать вывод, что, согласно народному присловью, я тогда «как в воду глядел»...

Вдали от Москвы

Хождение за восемь морей

...Бодро гремит «Марш энтузиастов» Дунаевского, теплоход «Победа» незаметно отделяется от одесского причала, ложится на курс и с этого момента, примерно на месяц, представляет собой самостоятельную, плавучую частицу Родины, своего рода маленькую автономную республику под алым советским флагом. Впереди — многодневное морское путешествие вокруг Европы, «хождение» за восемь морей — Черное, Мраморное, Эгейское, Ионическое, Тирренское, Средиземное, Северное и Балтийское.

Кроме них, хотя и недолго, «Победа» рассекает могучие волны Атлантического океана, и, мне кажется, особо следует упомянуть Бискайский залив, который по размерам своим может поспорить почти что с любым из перечисленных морей. Возможно даже, что злой и сварливый нрав Бискайя, сделавший его пугалом робких пассажиров, как раз и объясняется не совсем справедливым зачислением его в разряд заливов. В самом деле, чем Бискай не море?

На борту теплохода около четырехсот советских туристов — большая и жизнерадостная ватага людей различного пола, возраста и семейного положения, самых разнообразных профессий, характеров, темпераментов и вкусов, но при этом крепко сплоченных отличным настроением, хорошим аппетитом и приятным предвкушением увидеть в шести странах Европы уйму интереснейших вещей.

С первого же дня путешествия в лексикон пассажиров входит дотоле неведомое слово «круиз». Оно не значится в богатом словарном фонде великого русского языка, но быстро здесь прививается и даже обрастает целым семейством производных понятий: «круизный», «круизник», «по-круизному» и т. п.

Где-то в пути между Неаполем и Гавром неутомимый «культорганизатор» теплохода «Победа» Иван Иванович Чувильчиков на одном из вечеров отдыха объявил веселый конкурс на наиболее удачную и убедительную расшифровку загадочного слова. Поступило немало остроумных, забавных и даже озорных решений, большинство из которых было отмечено достойными премиями в виде надувных резиновых зверушек. Только одному весьма солидному дяде, который деловито и скучно разъяснил, что «круиз» происходит от английского слова «cruise», означающего «крейсерское плаванье», было единодушно отказано в награде, хотя его ответ был единственно правильным. Так сухарь и педант был заслуженно наказан за отсутствие чувства юмора...

На протяжении двадцати шести дней «Победа» совмещает в себе комфортабельный дом отдыха, хорошо оснащенную туристическую базу и квалифицированный лекторий, наглядными пособиями которому неплохо служат всемирно прославленные памятники культуры и искусства, которые вы имеете возможность увидеть собственными глазами. Каждый новый день круиза — это новый поворот изумительной движущейся панорамы портов, столиц, стран, новая смена пейзажей — морских и береговых, сельских и городских. Вы как бы листаете чудесную живую книгу, на страницах которой гений человека соперничает с природой в создании глубоко волнующих явлений красоты.

Волна сильных и неизведанных впечатлений накатывает на туриста, как могучий морской вал накатывает и покрывает с головой плов-

ца, выныривающего из-под него ошеломленным, взбудораженным и счастливым. Участники путешествия испытывают ни с чем не сравнимую «радость узнавания», ощущение встречи с чем-то давно и хорошо знакомым:

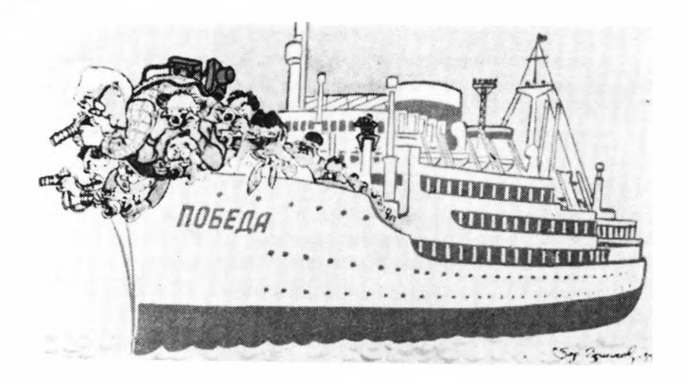
— Так вот он, Босфор!

— Так вот он, Акрополь!

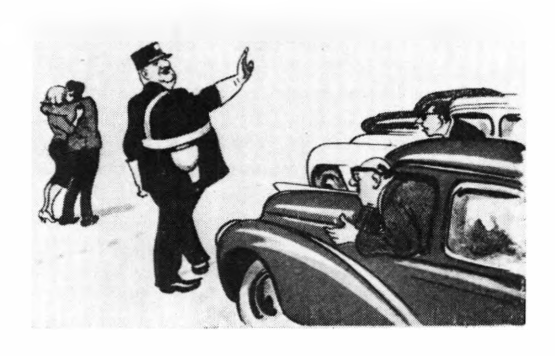
— Так вот она, Сикстинская капелла!

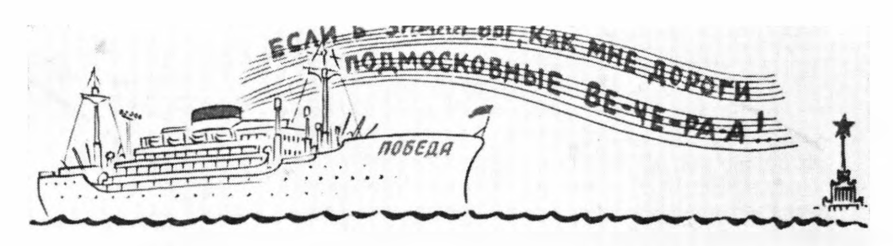
Туристы не только жадно и взволнованно воспринимают возникающие перед ними чудеса природы и человеческого мастерства, но на-

76. «Круизные зарисовки». 1959









чинают глубоко чувствовать явления искусства, серьезнее понимать накопленные веками эстетические ценности. Усиливается желание еще больше увидеть и узнать о творчестве великих художников прошлого, стремление обогатить свои познания в области искусства. Вот почему в читальном салоне теплохода большим спросом пользуются книги по искусству, географическая литература, популярные брошюры о государственном строе, экономике и культуре стран, не только лежащих на пути «Победы», но и находящихся за тысячи километров от нее. С огромным успехом проходят импровизированные лекции известного московского искусствоведа, с интересом слушают рассказ популярного драматурга о его поездке в США и т. п.

...Осталось позади Черное море, и перед нами необыкновенной красоты пролив, соединяющий два моря и разделяющий два континента,— Босфор. В прозрачном воздухе майского утра движется неповторимая панорама его берегов, живописная, все нарастающая по мере приближения к Стамбулу гряда садов, домов, парков, дворцов и древних зубчатых крепостей, достигающая высшей своей точки над Золотым Рогом, где, спесиво вонзая в небо острые минареты, теснятся грандиозные мечети и башни города, который являлся некогда, по словам Карла Маркса, «золотым мостом между Востоком и Западом».

Первыми предстают перед нашими глазами местные полисмены. На них мундиры свинцово-серого цвета, огромные многоугольные фуражки американского фасона. На груди, как у шерифов из американских кинофильмов, большие серебряные звезды. Другие просто-напросто одеты в американское обмундирование: белые каски с красной полосой, белые гетры и белые пистолетные кобуры.

Стамбул охотно раскрывает перед туристами свои сокровища. Это прежде всего прославленная Айя-София (построенная византийскими зодчими), саркофаг Александра Великого (творение греческих ваятелей), розовый обелиск (создание египетских мастеров), коллекция изумительного фарфора (работа китайских искусников), собрание замечательного хрусталя (сделанного руками богемских стеклодувов) и многое другое, что очень бережливо хранится и является уже как бы национальной гордостью. Без тени юмора местный гид обращает наше внимание на прелестную античную статую, сообщая при этом, что она фигурировала в павильоне Турции на Брюссельской выставке. Все это придавало бы турецкому искусству несколько, так сказать, «трофейный» характер, если бы не созданные турецкими строителями великолепная Голубая мечеть, султанский дворец Топ Капу и другие сооружения, представляющие собой подлинную художественную ценность. К их числу, кстати, мы никак не смогли отнести многоэтажный, построенный недавно в ультрасовременном стиле отель «Хилтон», хотя турецкий гид настойчиво и не без гордости обращает на него наше внимание...

Следующий этап нашего путешествия — Греция.

Мы в Афинах. Автобусы везут нас к храму Зевса Олимпийского, к Акрополю, к Парфенону... Какие слова! Какие названия! Они звучат в наших ушах с самого детства, связанные с древней историей и классическим искусством Эллады, с бессмертными образцами красоты и гармонии, воплощенных в этих благородных, величественных руинах, встающих перед нами на фоне не совсем обычного для Афин облачного неба. Впрочем, вскоре тучи расходятся, небо голубеет, горячее южное солнце вступает в свои права к особенной радости фотолюбителей. С каким-то особенным светлым чувством туристы отдаются созерцанию чудесных сооружений Акрополя.

Мы давно и незаметно для себя освоились с образом разрушенного Парфенона и так же привыкли представлять его себе без крыши, с изуродованной колоннадой, как, скажем, Венеру Милосскую без рук.

И как-то даже странно подумать, что великолепный храм Афины-Девы был некогда цел и невредим.

Ведь Парфенон построен около двух с половиной тысяч лет назад. Что же удивительного, если неумолимое время не пощадило...

Нет, оказывается, неумолимое время как раз-то его и пощадило — Парфенон стоял во всем своем величии почти до нашей эпохи. И только сравнительно недавно — всего двести с лишним лет назад — его не пощадило варварство захватчиков. В дивном создании греческих

77. Вид на Акрополь. 1962



зодчих завоеватели устроили... склад пороха и бомб, говоря современным языком — военную базу. Когда огонь войны охватил Афины, Парфенон взлетел на воздух...

Сидя на согретых солнцем мраморных обломках, мы смотрим с Акрополя вниз на переливающийся всеми красками изящный город. На этом историческом холме думаешь не только о его тысячелетнем прошлом — мысль невольно обращается и к совсем недавним временам: ведь именно здесь, на Акрополе, отважный сын греческого народа сорвал

и швырнул вниз нагло развевающийся над Афинами флаг гитлеровских оккупантов. И этот мужественный патриот не один год провел в тюремном каземате, брошенный туда фашистской хунтой, превращающей землю Эллады в пороховой погреб.

Такие мысли приходят в голову, увы, не только в Греции. Разве под сводами Сикстины, которую обессмертил титанический гений Микеланджело, в залах Луврского музея, перед волшебными витражами парижской Сен-Шапель или возле кружевных готических строений на Большой площади в Брюсселе можно забыть о том, что неувядаемая красота этих бесценных сокровищ может быть поставлена под удар безумием кучки империалистических хищников. Зловещая тень атомной угрозы падает на прекрасные создания человеческого труда и таланта повсюду, куда достигает рука североатлантических заговорщиков. Это знают, это понимают, это чувствуют простые люди Европы, и вот почему по сей день не стерты со стен французских городов огромные надписи: «Риджуэй, убирайся домой», которые мы видим из окон поезда Гавр — Париж и недвусмысленно адресованные сегодняшним риджуэям.

...Ведомая опытными руками, уверенно и точно движется красавица «Победа» по круизному маршруту, который ежедневно отмечается перемещением красного флажка на висящей в читальном салоне карте Европы. В салоне тихо шелестят газеты, деликатно постукивают шахматные фигуры и, несколько громче, костяшки забиваемого «козла». В музыкальном салоне кто-то упражняется на рояле, на прогулочной палубе щелкают шарики настольного тенниса, в прохладном бассейне с бодрым визгом плещутся любители купанья, репродукторы неиссякаемо разносят мелодии из кинофильмов, шумно острит группа энтузиастов, делающих номер стенной газеты, звенит периодически призывающий в ресторан гонг, и вся эта сложная симфония подкрепляется басовитым гуденьем мощных механизмов теплохода.

Размеренно и спокойно течет жизнь на «Победе». Но это ненадолго...

Ведь быт туристов-круизников складывается из двух частей: морской, то есть плаванья как такового, и сухопутной, то есть выполнения туристической программы. Эти два состояния ритмично сменяют друг друга. Еще вчера вы блаженствовали в шезлонге с приключенческим романом, раскрытым во все время путешествия на одной и той же странице, или благодушно наблюдали за резвящимися в синих волнах дельфинами, а сегодня теплоход прибыл в очередной порт, и вы уже не отдыхающий курортник, а подтянутый и дисциплинированный участник круиза, один из энергичных тружеников напряженного туристического плана. Этот план, надо прямо сказать, не свободен от элементов штурмовщины: все происходит в бешеной спешке. Посещение «объектов», то есть музеев, картинных галерей, соборов, исторических памятников, точно и неумолимо расписано. Счет времени идет на часы и минуты. Любая задержка или опоздание могут сорвать весь график.

Помню, как волновалась и нервничала вся наша пятая группа (всех круизных групп больше десятка), когда утром в Риме автобус, который должен был доставить нас к собору св. Петра, вдруг бесследно исчез. (Впоследствии оказалось, что он попал в уличную аварию.) Мы выехали на другом автобусе с опозданием на полтора часа и чуть не лишились из-за этого посещения Пантеона.

Впрочем, нет худа без добра: благодаря задержке мы попали в собор как раз к моменту, когда там давал публичную аудиенцию новый папа Иоанн Двадцать третий. Мы получили возможность прослушать не предусмотренную туристической программой проповедь его святейшества и избежали опасности, согласно известной поговорке, «быть в Риме и не увидеть папы».

Кстати сказать, поговорка эта, созданная, вероятно, набожными католиками, явно нуждается в пересмотре. Слов нет, белоснежное одеяние папы на фоне багряных кардинальских мантий выглядит весьма эффектно, округлые жесты и натренированный голос опытного оратора производят довольно приятное впечатление, но, честное слово, все это было далеко не самое волнующее и потрясающее из того, что можно за три дня увидеть в Риме.

Несравненно нелепее и досаднее было бы, без сомнения, «быть в Риме и не увидеть» Капитолий, Колизей или, скажем, фонтан Треви. И уж, конечно, самое дикое и обидное, что только можно себе представить,— это «быть в Риме и не увидеть Сикстинской капеллы». Именно так, мне кажется, должна звучать поговорка!

Когда стоишь в этом длинном, очень высоком и сравнительно узком зале, одном из самых знаменитых мест нашей планеты, то немыслимо поверить, что вся эта колоссальная роспись — одна из самых грандиозных живописных фресок, какие знает история, создана одним художником!

Но главное, конечно, не в огромном физическом напряжении, которое потребовалось от художника при выполнении невиданного по размаху заказа неистового папы-воителя Юлия II. Потрясают и захватывают прежде всего сила и глубина творческого воображения Микеланджело, его огромное живописное и композиционное мастерство, поразительное знание анатомии и перспективы, виртуозное владение ракурсом.

Взяв в основу своей росписи библейские сюжеты, художник вложил в них вечно живую глубину и накал реальных, непреходящих человеческих чувств, мыслей, страстей. Созданные его могучей и мрачной фантазией люди размышляют, страдают, движутся, борются — живут!

В небольшой церкви «Сан Пьетро ин Винколи» (Святой Петр в оковах) мы смотрим другое гениальное произведение Микеланджело — «Моисея». Знаменитая скульптура стоит не очень удачно, низко, в плохо освещенном углу. Кругом пыль, известка, строительный мусор — церковь, видимо, ремонтируется.

В облике библейского пророка, изваянного для гробницы папы Юлия II, Микеланджело дал сгусток целеустремленной воли и ума. Статуя Моисея — воплощение спокойного величия и вместе с тем сдерживаемой динамической силы, готовой рвануться к бурному движению и борьбе, к преодолению любых стоящих на пути преград.

Какой контраст с другим прославленным шедевром — стоящей в соборе св. Петра «Pietà», мраморной Мадонной с мертвым Христом на коленях, где с абсолютным художественным совершенством и полнотой внутренней гармонии выражены безысходная печаль и возвышенная, благородная покорность неумолимой судьбе.

Много трагических и бурных событий произошло в Италии и в жизни художника за те, примерно, пятнадцать лет, которые отделяют создание «Pietà» от «Моисея», и они, конечно, не могли не отразиться на умонастроении, миросозерцании и творчестве Микеланджело.

...Остались позади жаркие и напряженные «туристические дни» в Риме, трехдневное «perpetuum mobile» по улицам и площадям «Вечного города», брошены традиционные монеты в прозрачную бурлящую воду фонтана Треви, и мы снова в пути. Впереди — самый продолжительный морской переход — мимо острова Сардиния, вдоль берегов Испании и через Гибралтарский пролив, где справа от нас Европа, а слева (рукой подать!) — Африка, мимо португальского берега, по Бискаю и Ла-Маншу — в Гавр.

И вот — Париж!

Трудно сказать что-нибудь новое об этом прославленном городе, внешний облик которого как бы подернут благородной сединой, очень

старом и вечно молодом, роскошном и демократичном, изысканном и простом. Сколько бы раз вы ни приезжали в Париж, он все так же очаровывает вас изяществом своего облика, ошеломляет кипеньем уличной жизни, подкупает добродушием и общительностью простых людей. Он как будто ни капельки не изменился с тех пор, как 25 и 30 лет тому назад я шагал по его улицам вместе с Львом Никулиным и Всеволодом Ивановым, с Ильей Ильфом и Евгением Петровым. Уже тогда мы любили повторять — лучше ведь не скажешь! — строки Маяковского: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва».

И вот я снова на Больших бульварах, на Елисейских полях, на набережной Сены, вновь любуюсь красотой овеянных исторической романтикой архитектурных ансамблей.

...Советские люди с «Победы» проходят по аллеям кладбища Пер-Лашез, они возлагают венки живых цветов к подножию Стены коммунаров, возле которой в конце кровавого мая 1871 года были зверски расстреляны версальцами последние защитники Парижской Коммуны.

С памятью погибших коммунаров тесно связан у каждого из нас образ скорбной женщины с раскинутыми руками, по-матерински прикрывающей своим телом бойцов Коммуны, чьи суровые, мужественные лица неясно выступают на поверхности изъязвленной следами пуль стены. С большим огорчением прочел я перед самым путешествием в очерках известного советского писателя о том, что знаменитый монумент был уничтожен гитлеровскими оккупантами. К счастью, этого не случилось. Памятник существует, но находится теперь не на месте трагедии, а почему-то перенесен за пределы Пер-Лашез и стоит в обрамлении густой зелени у наружной стены кладбища.

Там же, на Пер-Лашез, мы склоняем головы перед могилами Анри Барбюса, Вайян-Кутюрье и Жана Ришара Блока, перед памятниками людям, погибшим от руки фашистских палачей в Освенциме и Маутхаузене. С волнением останавливаемся мы перед мраморной плитой с эпической надписью: «Здесь лежит неизвестный боец Сопротивления, жертва предательства и нацистского варварства. Ты умер, чтобы жила Франция». Невозможно забыть и трагическое изваяние из гранита — две скованные женские руки — памятник узницам Равенсбрюка, кошмарного гитлеровского концлагеря для женщин.

...И снова вращаются колеса круиза, движется дальше панорама морского путешествия. На палубах и в салонах «Победы» оживленно перебираются и обсуждаются впечатления только что пройденного туристического этапа, вспоминаются всякие забавные и курьезные эпизоды, круизники спорят, подтрунивают друг над другом, критикуют, шутят. А наиболее дотошные уже готовятся к посещению очередной страны. Сидя в читальном зале, они трудолюбиво выписывают из брошюр и справочников всяческие исторические и географические сведения, цифры, даты. Из репродуктора звенит голос Ивана Ивановича, возвещающего культурно-массовые мероприятия сегодняшнего дня. Идут «морские» будни круиза — некоторая передышка перед новой туристической программой, перед знакомством с новой страной, новой столицей, новыми людьми, пейзажами, нравами.

И снова белоснежный советский корабль уверенно и плавно пришвартовывается к чужеземному причалу. Алый «молоткастый и серпастый» флаг реет на высокой мачте. На мостике — массивная фигура капитана Ивана Михайловича Письменного. Четкие слова команды. Палубы заполнены туристами — к борту не протиснешься! Почти торжественная тишина взрывается задорными тактами жизнерадостного советского марша.

А на берегу... тихо. На пустынной набережной очередного причала только несколько товарищей из советского посольства радостно

машут нам букетами цветов и с подчеркнутым, ненатуральным безразличием нахохлились выутюженные жандармы в специфических позах: ноги широко расставлены, живот выпячен, руки заложены за спину. Такова, как правило, встреча.

Зато проводы... О них нельзя вспомнить без волнения. Но об этом дальше. А пока, после выполнения так называемых «полицейских формальностей», снова на берег. Вперед, на активное выполнение «сухопутной» туристической программы!

Десятками километров измеряются пути-дороги, пройденные мозолистыми ногами круизников по улицам и площадям, по лестницам и бульварам, по бесконечным анфиладам музеев и дворцов шести европейских столиц. Всего не упомнишь...

Мы дивились архитектурному чуду Айя-Софии, беспрекословно снимали обувь у входа в Голубую мечеть, любовались бессмертной красотой Парфенона и Эрехтейона, нас волновало скромное величие гробницы Рафаэля в римском Пантеоне, потрясала эпическая мощь микеланджеловского «Моисея». Изумляясь, шагали мы по вымощенным большими гладкими камнями улицам и переулкам Помпеи, мысленно переселяясь в быт людей, живших в этих домах две тысячи лет назад; глазели на символических римских волчиц на Капитолийском холме — бронзовую на постаменте и живую в клетке; толпились в изящной спальне Марии Антуанетты в Версале. На Капри мы наслаждались волшебным эффектом Лазурного грота и пожимали плечами, оглядываясь вслед немыслимым курортным дамочкам, напоминающим одновременно ящерицу и попугая. Мы отдавали должное мастерству и вкусу строителей нового вокзала в Риме и недоуменно разводили руками перед нелепыми абстракционистскими «скульптурами» в Париже. Со смехом обступали мы забавную статую «самого старого гражданина города Брюсселя», знаменитого Манкен Писа — беззастенчиво пускающего струйку мальчика,— и сосредоточенно слушали «малиновый» перезвон сорока пяти колоколов средневекового собора св. Ромбо в бельгийском городке Малин, специально для советских туристов исполнявших произведения Чайковского и Рахманинова, «Из-за острова на стрежень», «Широка страна моя родная»...

Обычно к концу дня круизники уже еле передвигали ноги, и только глубокий крепкий сон приятно уставших людей восстанавливал к утру их силы для новых туристических трудов.

Надо сказать, что к испытаниям физическим нередко присоединялись и душевные: применяя образы античных мифов, можно сказать, что туристы переживали подлинные «муки Тантала», когда осмотр прославленных шедевров мирового искусства приходилось втискивать в «прокрустово ложе» программы. В самом деле: что такое полтора часа на знакомство со скульптурой, мозаикой, керамикой и ювелирным искусством древних греков в Национальном музее Афин! Что такое 40 минут на осмотр Сикстинской капеллы! 30 минут на посещение картинной галереи Брюсселя с полотнами Рубенса и Брейгеля! На обход грандиозного собрания Лувра отведено два часа (!), так что увидеть, скажем, и «Скованных рабов» Микеланджело и фрески Боттичелли практически почти невозможно. Или — или! Только отдельным, обладающим незаурядной резвостью счастливцам удавалось посмотреть и то и другое.

Известный советский скульптор то отходит, то, как притягиваемый магнитом, снова возвращается к знаменитой античной статуе. Большой сильной своей пядью он что-то измеряет в произведении древнего коллеги, задумчиво теребит свою окладистую, рано седеющую бороду. Хочется еще и еще постоять, полюбоваться, поразмыслить, но... программа и автобусы не ждут — еще так много надо успеть!

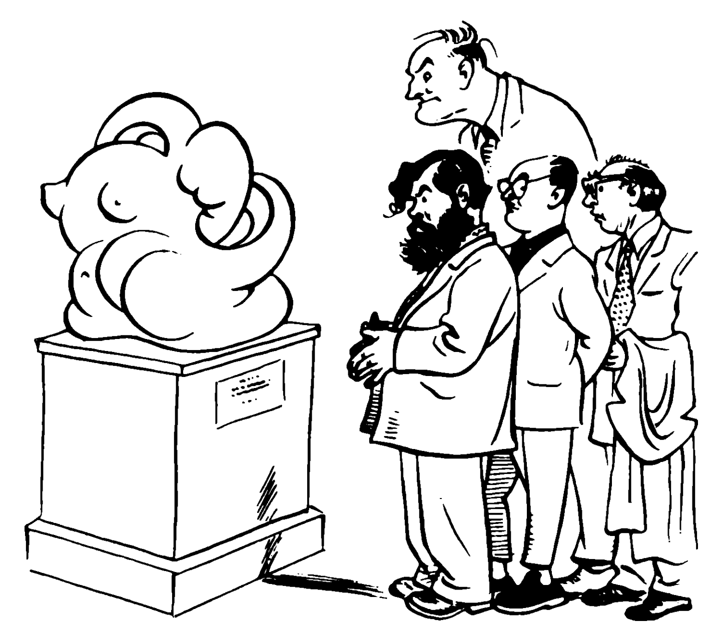
Во всех столицах неизменно повторяется одна и та же тяжелая

сцена: возбужденно сверкая глазами, экспансивный искусствовед чуть не со слезами убеждает руководителя группы «ужать» время осмотра менее важных объектов, чтобы «выкроить еще минуточек 15—20» на Микеланджело, на Рафаэля, на Родена, на Гальса...

Но местные гиды неумолимы, программа незыблема, туристические фирмы свято и добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, и осмотр запланированных достопримечательностей продолжается скоростным методом.



78. У «скульптуры» в Брюссельском музее. 1959



И вместе с тем впечатления участников круиза богаты, глубоки, разнообразны. Причем это относится не только к великим творениям прошлого шести европейских стран, но и к вполне современным жизненным проявлениям во всей их конкретной реальности. Перед глазами советских туристов, пусть калейдоскопически быстро, но достаточно выразительно, сменяются сценки быта и нравов сегодняшней Европы, картины присущих ей блеска и нищеты, упоенного довольства и устоявшейся безнадежности, вежливого угнетения и молчаливого отчаяния.

Мы видели, по существу, две Европы. Мы любовались эффектной внешностью нарядного Неаполя и с грустью смотрели на каменные ущелья промозглых домов, переплетенных бесчисленными гирляндами сохнущего белья — «классический» пейзаж кварталов итальянской бедноты. Мы восторгались величавыми сооружениями Рима и тут же натыкались на жалкие лачуги, воздвигаемые за одну ночь бездомными молодоженами, которых так трагически правдиво показал нам итальянский кинофильм «Крыша».

И поэтому в нашей памяти Рим, например, останется не только грандиозностью Колизея и великолепием собора Петра, но и жалкими подкрашенными женщинами, дежурящими у каждого подъезда на Виа Тритоне, хозяйской самоуверенностью раскормленных монахов, понурой

поступью «сэндвичей» — людей-реклам, унизительно таскающих на груди и спине крикливые плакаты.

Антверпен запомнится не только замечательным готическим собором и прелестным домом-музеем Рубенса, но, увы, и тягостным зрелищем улочек портового квартала, где в ярко освещенных витринах, как товар, несчастные женщины с книжкой или вязаньем в руках чинно ожидают очередного клиента...

А как удивляют и коробят в облике Парижа те специфические черты, на потребу которых с полной нагрузкой работает соответствующая промышленность, тоннами выбрасывая не совсем пристойные и совсем непристойные журналы, кинофильмы, открытки, игральные карты, авторучки и прочий порнографический ширпотреб, открыто и назойливо продаваемый на каждом углу. И не только это. Огромные неоновые рекламы всех цветов радуги зазывают в заполнившие район площади и улицы Пигаль развлекательные заведения всевозможных типов и разрядов, где, однако, происходит примерно одно и то же: одетые по последней моде молодые и красивые дамы, деловито и добросовестно, в два сеанса, раздеваются догола с музыкальным сопровождением. Это глубоко содержательное зрелище предназначено главным образом для заокеанских туристов и даже обозначается специальным, перекочевавшим сюда из Америки термином «стриптиз», метровыми электрическими буквами сверкающим чуть не на каждом из домов Пигаль.

Так, то красотой веками накопленного культурного наследия, то уродливыми гримасами эксплуататорского строя оборачивались к нам страны и города Европы. Но мы увидели не только это. Путешествие на «Победе» дало возможность советским туристам увидеть и живых, хороших людей Европы, простых и добрых тружеников, жаждущих прочного мира, стремящихся к дружбе.

Лицо этой Европы мы неизменно видели перед собой каждый раз, когда наступал час отплытия нашей «Победы», которое, естественно, гораздо труднее скрыть от населения, чем время прибытия.

...Пристань густо покрыта оживленной толпой — негде яблоку упасть на набережной. Далеко разносятся возбужденный веселый говор, приветственные возгласы, шутки, смех. Полицейских почти не видно: они оттеснены куда-то в сторону или же скромно стушевываются по собственному желанию. Идет бойкий и азартный обмен сувенирами. С теплохода и на теплоход дождем летят пачки сигарет, открытки, монеты, почтовые марки, матрешки... Обе стороны с увлечением выкрикивают весь имеющийся у них запас русских и иностранных слов. Весело. Радостно. Трогательно.

Наконец, наступает последняя минута — убирают трап, соединяющий корабль с причалом, и тут мягко, красиво и, я не боюсь сказать, величаво возникает мелодия крылатой песни, ставшей своего рода «гимном» круиза: под звуки оркестра «Победы» теплоход и берег дружно, с удовольствием поют «Подмосковные вечера». И ни кислые физиономии, ни косые взгляды полицейских не могут помешать неистовому маханию руками, платками, шляпами и беретами с обеих сторон, запретить многоголосый хор дружеских приветствий и пожеланий.

И нельзя было не испытать глубокого волнения, подступающего комом к горлу, когда в момент расставания — будь это в Пирее или Неаполе, в Гавре или Хельсинках — люди на чужом берегу и на советском судне во весь голос кричали друг другу самые теплые, самые нужные и самые понятные на всех языках слова:

— До свидания! Привет Москве! Дружба! Мир!

По городам Италии

...Последнее, что я вижу сквозь окно гостиницы, засыпая,— это купол.

Прозрачный, легкий, почти невесомый, он парит в воздухе, словно огромный сказочный парашют, нежно светясь в ночном небе Флоренции. Невозможно оторвать взгляд от этого волшебного зрелища. Но безмерная усталость после трудового туристического дня берет свое, и крепкий сон «смежает очи».

И первое, что я вижу, проснувшись утром,— это тот же купол. Но теперь он освещен ранним солнцем и стал совсем другим: массивный, мощный, пластически-рельефный — он стоит над городом торжественно-тяжело и неколебимо в нарядном своем уборе из золотисто-оранжевой черепицы, туго стянутой красивыми белыми полукружиями меридиональных ребер.

«Можно сделать купол больше, но нельзя сделать прекраснее»,— сказал об этом дивном создании зодчего Брунеллески человек, который и сам кое-что смыслил в архитектуре,— Микеланджело Буонарроти, «строитель Ватикана», воздвигнувший гигантский купол собора Петра в Риме.

Когда вспоминаешь Флоренцию, то прежде всего встают перед глазами два доминирующих над ней исторических памятника, два грандиозных сооружения в центре города, соединенных между собой узким оживленным коридором фешенебельной виа Рома.

Одно — это великолепно инкрустированный белым, розоватым и светло-оливковым мрамором, похожий на огромный драгоценный ларец собор Санта-Мария дель Фьоре с его могучей и стройной кампанилой, возведенной Джотто, и куполом Брунеллески, о котором я уже говорил. Другое — это старинная ратуша Флоренции, знаменитое Палаццо Веккьо, головокружительно вздымающее в небо суровую и изящную сторожевую башню, как бы воплощающую в себе гордый и изощренный дух итальянского средневековья.

Задумчивым часовым стоит у входа в Палаццо Веккьо мраморный Давид (копия прославленной статуи Микеланджело, хранящейся во флорентийской Академии), а под сенью монументальных аркад Лоджии деи Ланци, здесь же, на площади Синьории, бронзовый Персей, подлинник Бенвенуто Челлини, торжествующе поднимает отрубленную голову Медузы.

Часами можно сидеть на отполированных веками каменных скамьях Лоджии, зачарованно уставившись на изумительную площадь, любуясь неповторимыми творениями человеческих рук. Но времени мало, а еще столько надо увидеть! Разве можно попасть во Флоренцию и не побывать во всемирно известной галерее Уффици или в Палаццо Питти, импозантном дворце знатного флорентинского рода, собравших в своих раззолоченных залах несчетные полотна Тициана, Тинторетто, Боттичелли, Рафаэля!..

Разве мыслимо не посетить древний монастырь Сан Марко с его уникальными фресками Фра Анджелико и Гирландайо, не постоять в аскетической келье фанатического монаха Савонаролы, сожженного на той самой площади Синьории, на которой мы только что стояли между Давидом и Персеем (место казни обозначено круглым камнем с соответствующей латинской надписью).

А величайшее достижение Микеланджело — капелла Медичи, с детства знакомая каждому грамотному человеку по бесчисленным изображениям и репродукциям ее знаменитых статуй? А огромный собор Санта Кроче с надгробиями Данте, Микеланджело, Макиавелли, Россини? А миниатюрная, ювелирно-филигранная церковь Сан Миньято

аль Монте высоко на площади над Флоренцией? Отсюда в памятную осаду 1529 года Микеланджело руководил обороной родного города. Теперь эта площадь с прекраснейшим видом на Флоренцию носит имя великого художника и на ней установлена бронзовая копия «Давида».

Невозможно перечислить художественные сокровища и достопримечательности, которые раскрывает перед вами Флоренция, воскрешая романтические образы прошлого, словно сошедшие со страниц романа Гверацци, «Жизни Бенвенуто Челлини» или «Итальянских хроник» Стендаля, напоминая о трагических и кровавых делах средневековья, рассказывая о гениальных художниках, властолюбивых папах, жестоких кондотьерах.

Флоренция — только один из этапов нашей поездки по Италии. Позади остались Рим, Перуджа, Ареццо.

...И снова голубой автобус «Орланди-642» устремляется вперед, оставляя за собой десятки километров красочно орнаментированных пестрыми рекламами автострад Италии.

Множество различных фирм борются за внимание мчащегося автомобилиста. Для того чтобы заинтересовать его своим товаром, они располагают только считанными долями секунды, поэтому разноцветные щиты по обе стороны дороги предельно лаконичны и выразительны.

Борсалино предлагает вам шляпы, Мотта — шоколад, Зингер — швейные машины. Деликатно, но настойчиво вас просят приобрести шелк, вино, мебель, мыло и всякие другие полезные вещи, однако львиная доля автодорожных реклам принадлежит ожесточенно конкурирующим нефтяным компаниям: «Шелл», «Эссо», «Аджип», «Аквила» и другим.

Бензиновые магнаты подстерегают путешественника не менее терпеливо и хищно, чем это делали средневековые феодалы и кондотьеры-разбойники, суровые замки которых горделиво смотрят на нас с окружающих живописных гор.

Впрочем, современные нефтяные бароны не засели в неприступных башнях «кастелло», сложенных из мощных грубых камней, а предупредительно спустились к самой дороге в привлекательные, сверкающие стеклом, алюминием и неоном павильоны автозаправочных станций, возле которых дежурят элегантные вежливые работники в белоснежной униформе, с вышитым золотом названием фирмы на фуражках.

Но «Орланди-642», своевременно и заботливо заправленный, независимо пролетает мимо них.

Наш шофер Марио великолепен. Сидя за рулем в аккуратной светло-синей рубашке с погончиками, он ведет огромную машину на предельной скорости, виртуозно обгоняя впереди идущие автомобили. Почти не замедляя хода, он умеет хладнокровно и изящно, с точностью до одного сантиметра провести наш туристический автобус «в притирку» между колоссальным, ярко раскрашенным автофургоном встречного бродячего цирка и зазевавшимся пожилым велосипедистом, за спиной которого в специально приспособленном складном креслице сидит крохотный черноволосый мальчик с плюшевым зайцем в руках.

Временами водительское мастерство Марио вызывает несколько нервные улыбки наших женщин и восторженные возгласы мужчин. Кто-то даже замечает, что Марио владеет баранкой, как Давид Ойстрах смычком. Тем не менее на вопрос, случаются ли на итальянских автострадах аварии, мы получаем твердый и малоуспокоительный ответ: «Каждый день».

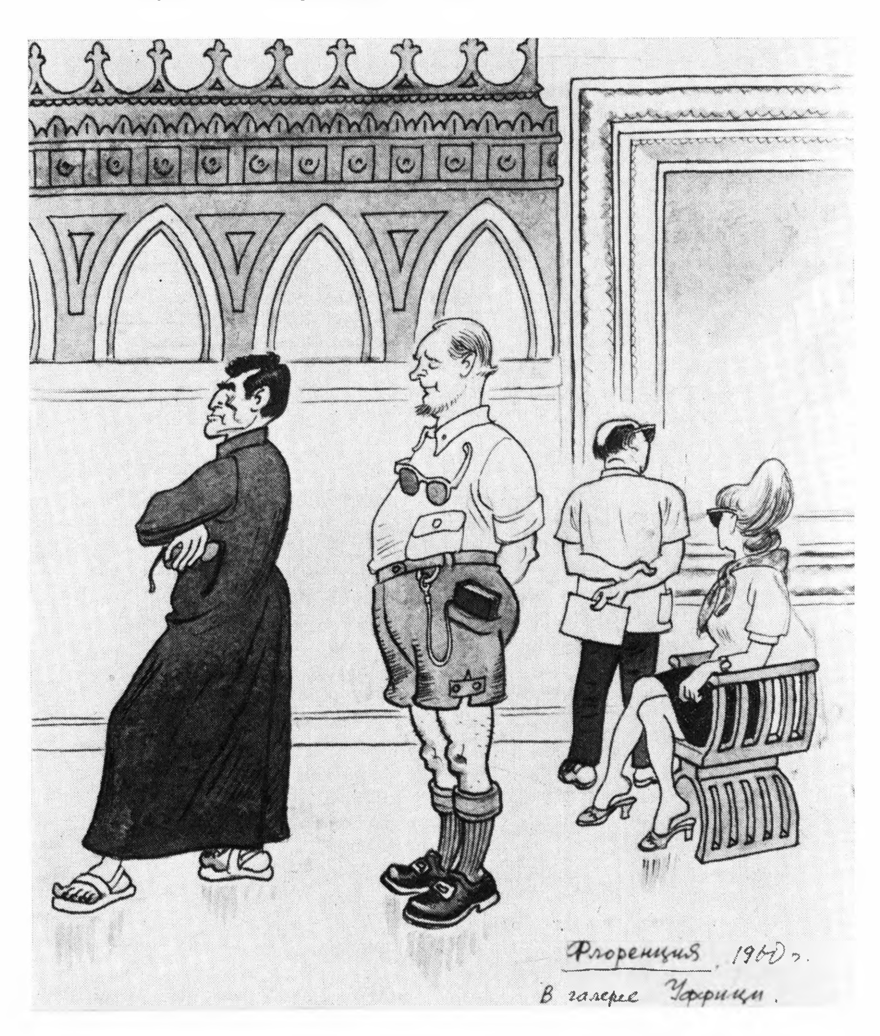
Мы — это группа советских художников и искусствоведов, совершающих организованную Союзом советских обществ дружбы с зарубежными странами поездку по Италии.

Темпы нашего путешествия целиком в духе времени: в два часа дня могучий ТУ-104 поднял нас с Шереметьевского аэропорта Москвы

и мгновенно (как нам показалось) перенес на парижский аэродром Ле Бурже. Гораздо больше времени (тоже с точки зрения относительности) понадобилось на переезд в автобусе по Парижу, который мы пересекли, направляясь в аэропорт Орли, откуда комфортабельная «Каравелла» помчала нас в Рим.

Солнце еще только клонилось к закату, и мы полностью насладились волшебным зрелищем сверкающих вечными снегами Альп, увенчанных Монбланом, а в быстро надвигающихся сумерках успели разгля-

79. Флоренция. В Галерее Уффици. 1960



деть очертания Корсики и апеннинского побережья. Было совсем темно, когда бисерным пунктиром бесчисленных огоньков внизу обозначились раскинувшиеся до самого горизонта улицы и площади «Вечного города».

Резко тормозя и при этом содрогаясь, вибрируя и скрежеща каждой гайкой (я очень мало смыслю в аэродинамике, но позволю себе обратить внимание французских конструкторов на этот неприятный мо-

мент), «Каравелла» пошла на посадку, приземлившись на освещенном фосфорическим сиянием неоновых труб аэродроме Чиампино.

Наш маршрут по Италии звучит как конспект по истории искусства эпохи Ренессанса: Рим — Перуджа — Ареццо — Флоренция —Пистойя — Болонья — Феррара — Венеция — Падуя — Виченца — Верона — Милан — прославленные города, подлинные сокровищницы, с названиями которых навечно связаны имена художников — гигантов Возрождения. И наша поездка как бы превращается в движение по нескончаемой и ве-

80. На Биеннале в Венеции. 1960



ликолепной экспозиции, на стенах древних соборов и монастырей, на каменных торцах средневековых площадей, в раззолоченных анфиладах княжеских палаццо и в строгих залах картинных галерей раскрывающей перед нами бессмертные творения Джотто, Донателло, Брунеллески, Боттичелли, Тинторетто, Тициана, Веронезе, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело...

Любому человеку, тем более художнику, впервые увидевшему собственными глазами все эти чудеса, простителен соблазн рассказать о нахлынувших на него впечатлениях, хотя это явилось бы абсолютно безнадежной и бессмысленной попыткой добавить что-нибудь существенное к тому, что уже написано рядом блестящих и глубоких исследователей искусства Италии, целой плеядой художников, искусствоведов, и писателей.

...Сикстинская капелла. Вавилонское смешение языков. Многоголосый гомон собравшейся со всех концов земного шара немыслимой по пестроте толпы туристов возносится к знаменитому плафону. Седые розовощекие бизнесмены в коротких штанах и хрупкие темноволосые

женщины в индийских «сари», пронзительные девицы в модных золотых сандалиях и простые крестьянки в национальных платочках, склеротические старики в лихих спортивных рубашечках и степенные молодые люди в крахмальных воротничках, немецкий инвалид войны с изображением железного креста на желтой нарукавной повязке и отлично говорящий по-русски монах-иезуит с аккуратной каштановой бородкой — «какая смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний...»

Многочисленные гиды всех мастей в поте лица дают объяснения, добросовестно перекрикивая друг друга и управляя своими группами при помощи флажков, звуковых сигналов, хлопков в ладоши, чуть ли не свистками...

Не впервые доводится мне видеть эту картину и хочется, как всегда, усилием воображения представить себе этот зал пустынным и безмолвным, каким он был в те, далеко ушедшие в прошлое месяцы, когда здесь, на высоких лесах под самым потолком, почти не зная сна и отдыха, круглые сутки, привязывая по ночам ко лбу фонарь, не раздеваясь и плохо питаясь, трудился угрюмый и раздражительный, неукротимый и гениальный человек.

С горьким юмором описал Микеланджело в стихах свою работу в Сикстинской капелле:

От напряженья вылез зоб на шее...
Живот подполз вплотную к подбородку,
Задралась к небу борода. Затылок
Прилип к спине, а на лицо от кисти
За каплей капля краски сверху льются
И в пеструю его палитру превращают.
В живот воткнулись бедра, зад свисает
Между ногами... От сгибания
Я в лук кривой сирийский обратился...

Рассказывают, что до Сикстинского плафона Микеланджело никогда не выполнял фресок, и эта работа была поручена ему папой Юлием II по проискам недруга Микеланджело архитектора Браманте, который надеялся, что художник опозорит себя неудачей.

Пора уходить из Ватикана. Мы бросаем последний взгляд на плафон и «Страшный суд». Не верится, что этот грандиозный труд создан вдохновением, волей и творческой силой одного человека.

Нарушая последовательность путевых впечатлений, я хочу здесь же вспомнить о другом гениальном произведении настенной живописи, которое постигла поистине трагическая участь. Я имею в виду знаменитую «Тайную вечерю» современника и соперника Микеланджело — Леонардо да Винчи.

Милан. В ранний утренний час стоим мы у входа в бывшую трапезную монастыря Санта Мария делла Грацие и терпеливо ждем, когда в назначенное время откроется тяжелая, окованная железом дверь. Впрочем, она не открывается, а медленно опускается вниз, скрываясь в глубоком проеме, пока верхний ее стальной край не становится порогом, через который мы не без волнения переступаем.

Все мы много слышали и читали о том, как несовершенство масляных красок, которые применил любивший всяческие эксперименты Леонардо да Винчи, плохое качество штукатурки и грунтовки, сырая почва, а также невежество и варварство безграмотных реставраторов — все это роковым образом соединилось, чтобы погубить дивную фреску, от которой почти ничего не осталось.

Но произошло неожиданное...

Уже первые наши взгляды, жадно устремленные на «Тайную вечерю», обнаружили такую яркость и прелесть очертаний уцелевших фигур и лиц и особенно нежного и прозрачного итальянского неба, ви-

димого сквозь окна за спиной Христа, принесли настолько светлое и радостное ощущение, что без труда можно было себе представить, какой прекрасной и обаятельной вышла эта картина из-под кисти великого художника. Даже в нынешнем изуродованном состоянии, при всех своих непоправимых потерях, шедевр Леонардо глубоко волнует.

Тем сильнее гнев и негодование при мысли о том, что это уникальное и многострадальное создание искусства едва не было окончательно уничтожено американской авиацией: в том же помещении мы видим на специальной подставке две освещенные электрической лампой фотографии с лаконичной и не требующей перевода надписью «Bombardate» и датой: «16 августа 1943 года». На снимках запечатлен вид трапезной, в которой мы сейчас находимся, обращенной в груду камней и щебня прямым попаданием тяжелой бомбы. Уму непостижимо, каким чудом уцелела «Тайная вечеря», кое-как «защищенная» футляром из досок и мешковины.

Трудно придумать более убедительное и потрясающее напоминание об ужасах войны, чем эти жуткие фото. А ведь находятся же в Италии политики, готовые играть с огнем в угоду авантюристам из Пентагона! Видно, кому-то нравится превращение мирной итальянской земли в американскую военную базу.

...Сквозь ветровое стекло голубого «Орланди» мы любуемся приветливой и благодатной природой Тосканы, вдыхаем прелестный аромат цветущих вокруг «чудес ботаники» — олеандров, мирт, магнолий, глициний, каких-то необыкновенных роз. Переплетенные виноградниками густолиственные сливы, платаны и каштаны раскинули мощные свои ветви по обе стороны дороги, а временами смыкают их над нашими головами, образуя тенистую аллею. В одном саду мы успеваем заметить несколько заботливо взращенных деревьев диковинной и редкой здесь породы — тонкие кудрявые березки. Все дышит миром и спокойствием.

И вдруг... В ласковый поэтичный пейзаж грубым инородным телом вторгается нечто неприятно тусклое, лягушачье-зеленое, зловещее. Оно нагло нарушает окружающую гармонию, угнетающе маячит перед глазами, заслоняя красивую перспективу дороги. Оно оказывается колонной громадных многотонных грузовых машин с четкой надписью белой краской: «Армия США. Военно-воздушные силы». Как в кинофильме «Плата за страх», грузовики густо уставлены большими канистрами тускло-зеленого цвета. Что везут они? Горючее? Взрывчатку?

Американские тяжеловозы нарочито не спеша катятся впереди нашего автобуса. Даже искусный Марио долго не может на узкой дороге оставить позади эти мрачные машины. Наконец, это ему удается, и мы отмечаем это обстоятельство дружными аплодисментами. Итальянец поворачивает к нам лицо и весело подмигивает.

Ни один из виденных нами двенадцати городов Италии не оставил нас равнодушными. Каждый произвел яркое, особое, непохожее на другие, впечатление, врезался в память чем-то своим, характерным, неповторимым. Вот, например, город, о котором великий английский драматург писал:

В Вероне древней и прекрасной,
Где этой повести ужасной
Свершилось действие давно,
Два уважаемых равно
Два славных и высоких рода
К прискорбию всего народа,
Старинной, лютою враждой
Влеклись — что день — то в новый бой.

(В.Шекспир «Ромео и Джульетта»)

Держа в руках полоски синей бумаги, на которых четким шрифтом напечатано: «Муниципалитет Вероны. Входной билет. МОГИЛА ДЖУЛЬЕТТЫ», мы входим в прелестный средневековый дворик, покрытый гравием и увитый пышной зеленью. Проходим мимо круглого каменного колодца, сухое дно которого густо покрыто серебряными монетами (туристская традиция!) и спускаемся в простой и суровый склеп, очень мало напоминающий эффектный и пышный мавзолей рода Капулетти в некоторых наших театральных постановках.

Больше всех, и это естественно, взволнован известный художник-

81. «Дом Джульетты» в Вероне. 1960

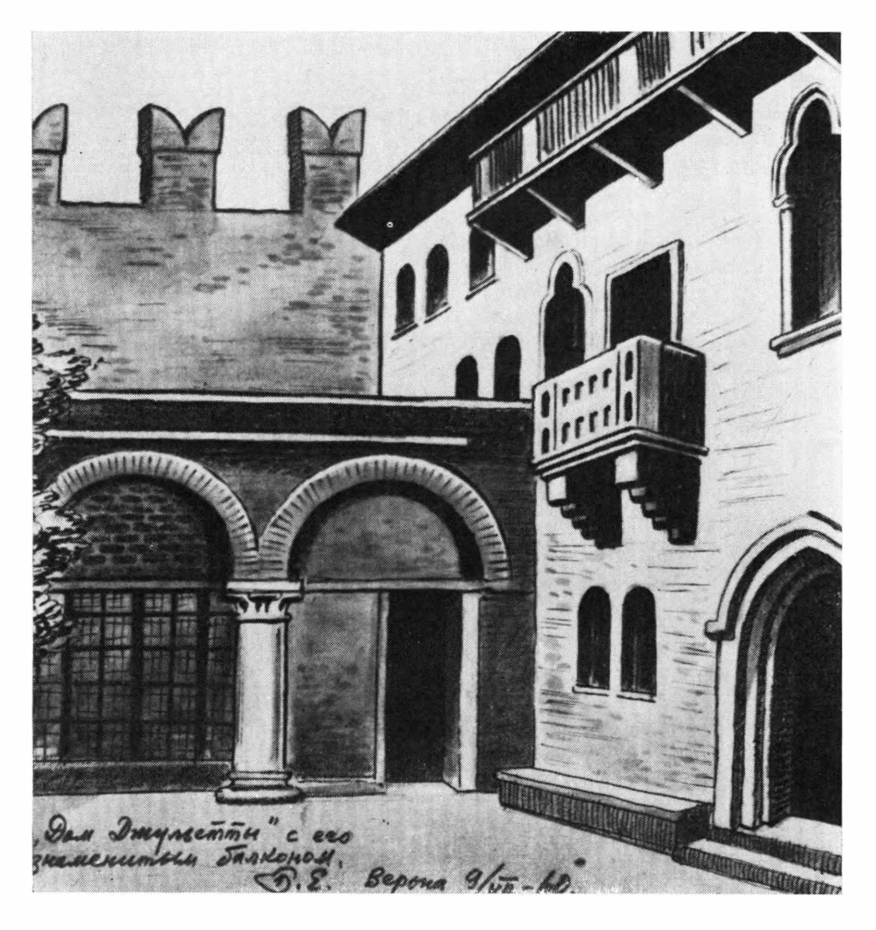


график Дементий Шмаринов, не так давно закончивший серию замечательных иллюстраций к неувядаемой трагедии. В Вероне он, как и мы, впервые, но руководит нами, как местный старожил, уверенно показывая и гранитную плиту, куда, как принято думать, положили труп Тибальда, и железную решетку, которую ломом и заступом взломал Ромео, чтобы проникнуть в гробницу, и другие памятные места «самой печальной на свете повести».

Недостаток времени позволяет нам только издали, на ходу автобуса взглянуть на палаццо фамилии Монтекки — «дом Ромео» и распо-

ложенный по соседству на Виа Капелла «дом Джульетты» со знаменитым балконом.

Зато в Кастельвеккио, владетельном замке герцогов веронских, мы проводим не менее получаса, рассматривая уцелевшие фрески. Во внутреннем дворе, окруженном грозными башнями (зубцы точно, как на кремлевских стенах), устроен театр под открытым небом — сцена, кулисы, скамьи для зрителей.

Мы не очень удивлены, прочтя на афише, что здесь ежедневно идет спектакль... «Ромео и Джульетта». Тень Шекспира витает над Вероной.

Витают над Вероной и другие, увы, зловещие тени... Полосатый флаг свисает над большой вывеской с уже знакомой надписью «US Army».

Живые и прочные нити связывают творчество многих советских художников с культурой и искусством Италии. Я уже говорил о Шмаринове. Кроме него, в составе нашей группы Андрей Гончаров, которому принадлежат темпераментные и тонкие гравюры к «Итальянским хроникам» Стендаля, Владимир Минаев — автор иллюстраций к итальянским народным сказкам, Екатерина Белашова, Георгий Рублев, Виктор Вихтинский и другие. Среди нас превосходный знаток искусства Возрождения Юрий Колпинский, свободно владеющий итальянским языком, другие квалифицированные искусствоведы, проявляющие глубокий и страстный интерес к художественным ценностям Ренессанса, изучению которых они отдали годы неостывающего увлечения и напряженного труда.

Легко себе представить, с какими усилиями приходилось отрывать их от фресок Пьеро делла Франческа или от картин Беллини и Мантеньи, с каким напряжением удавалось извлекать их из галерей Уффици, Питти или Брера и подвергать чуть ли не принудительному приводу в автобус, где их встречал укоризненный взгляд руководителя группы...

Пожалуй, единственная выставка, с которой наши художники и искусствоведы расстались без всякого нажима и, более того, весьма охотно, была венецианская «Биеннале», где в светлых, с большим вкусом оформленных павильонах кривлялись и выворачивались наизнанку бессмысленные абстракционистские экспонаты-уроды.

В Венеции нас застала волна прокатившегося по всей Италии протеста демократических сил против происков неофашизма и покровительствующей ему реакции. Внутриполитическая обстановка в стране достигла не виданной с 1946 года остроты. Кровь трудящихся обагрила мостовые Рима и других городов.

...Огромные афиши на стенах венецианских домов и старинных палаццо призывают к всеобщей десятичасовой забастовке солидарности. Они расклеены в утро последнего дня нашего пребывания в изумительном городе и лишают нас возможности посетить ряд исторических памятников и галерей, так как весь персонал прибрежных пароходств, команды катеров и даже живописные гондольеры прекратили работу.

Мы отрезаны от города, но нам и в голову не приходит огорчаться — настолько волнует и трогает до глубины души зрелище могучей и дисциплинированной солидарности трудящихся перед лицом наступающей реакции.

Есть стихотворение советского поэта, рассказывающее о раненом, истомленном жаждой забастовщике, жадно припавшем губами к уличному крану. Не получив из него ни единой капли воды, он радостно восклицает пересохшим ртом:

— Ура! Водопроводчики бастуют!

Мне вспомнились эти строки, когда, томимые жаждой увидеть прославленные художественные шедевры Сан-Рокко, Ка д'Оро, Дворца

дожей и других сказочных мест «Венеции златой», но запертые прекращением пароходного движения на острове Лидо, мы торжествующе восклицали:

— Ура! Транспортники бастуют!

Среди семиглавых кобр

Рассказ о зарубежной поездке начинается обычно так:

«Наш серебристый гигант плавно выруливает на стартовую дорожку шереметьевского аэродрома...»

Или:

«Аэропорт Шереметьево. Мы занимаем места в кабине нашего серебристого лайнера...»

Или:

«Стремительно взмыв с шереметьевского аэродрома, наш серебристый красавец лайнер уверенно ложится на курс...»

Правда, такие фразы уже считаются «запрещенным приемом» и встречаются больше в юмористических пародиях на зарубежные очерки, но вместе с тем трудно, мне кажется, полностью отказаться от упоминания о деталях перелета. Да, самолет стал привычным и будничным видом транспорта, но воздушное путешествие, по-моему, еще не потеряло присущих ему своеобразия и прелести, впечатления «с птичьего полета» не перестали быть удивительно интересными и подчас волнующими.

Можно ли забыть, например, полет над Грецией?

...Держа на коленях карманную географическую карту, я сверяю ее с подобной же, но в гигантском масштабе увеличенной рельефной картой, расцвеченной теми же красками — лазурно-синяя вода, золотисто-коричневая суша. Эта огромная естественная карта медленно движется под крылом нашего ТУ-104, она переливается нежными колористическими полутонами, акварельно тонкими нюансами воздушных потоков и морских течений, вспыхивает искорками солнечных рефлексов, едва заметно шевелит белоснежной тесемочкой окаймляющего сушу прибоя. Изумительное, сказочное зрелище!

Залитые полуденным южным солнцем, ясно и отчетливо вырисовываются прихотливые очертания греческих берегов и островов Архипелага. Вот остров, похожий на рыбу, другой напоминает ящерицу, третий — кошку. Расстилающаяся под самолетом «карта», в отличие от бумажной, не испещрена печатным шрифтом географических названий, но я без труда опознаю и Пелопоннес, и Коринфский залив, и Милос, и другие классические места, знакомые еще со школьных уроков древней истории и как бы еще звенящие бронзой античных мифов. Мы проходим над морем, в волнах которого погиб Икар — наш в некотором роде предшественник в полете над Элладой. Такое же, как сегодня, жгучее солнце растопило воск, скреплявший самодельные крылья, и бедный мифологический юноша утонул, не дождавшись появления более надежных и безопасных «серебристых лайнеров»...

Глядя вниз, я испытываю чудесное ощущение грандиозности пространства, и неожиданное, волшебное превращение в некоего сверхгулливера, по-хозяйски озирающего землю с высоты своего исполинского роста. Тут даже не скажешь «вид с птичьего полета» — мне думается, вряд ли найдется птица, которая заберется туда, где пролетает наш ТУ.

Мое восхищение, видимо, разделяет сидящий в соседнем кресле индиец-патер в модных очках, нейлоновой черной рясе и белоснежном крахмальном воротничке. На груди патера, на массивной золотой цепи, украшенной крупными рубинами, висит роскошное, инкрустированное

бирюзой распятие. Указывая мне в окно, индиец издает восторженные междометия.

Наискосок, с северо-запада на юго-восток, мы пересекаем остров Крит, и ровно через 30 минут (я слежу по часам) внизу возникают берега Африки. Темно-серым мощным треугольником врезается в голубизну Средиземного моря плодородная дельта Нила. Самолет значительно снижается, и становятся хорошо видны селения, дома, дороги, каналы, бесчисленные бархатисто-зеленые, коричневые и черные полоски полей. И вдруг этот ласкающий взор многокрасочный ковер возделанной человеческим трудом земли резко обрывается — под нами сплошная однообразная желтизна. Это пустыня...

Удаляясь от густозаселенного цветущего берега, самолет продолжает углубляться в жуткие безлюдные пространства. До самого горизонта, насколько может охватить человеческий взгляд,— желтый раскаленный песок, весь в нанесенных на него ветром волнообразных узорах. На этом ровном безжизненном фоне я вдруг замечаю едва различимые миниатюрные треугольнички. Возникшее в самолете оживление подтверждает мелькнувшую догадку: да, это знаменитые египетские пирамиды, грандиознейшие памятники древности, являвшиеся на протяжении веков примером подавляющего воображение монументального сооружения рук человеческих. Надо признаться, что из окна самолета они несколько теряют в своей внушительности...

Однако что, собственно, происходит? Где аэропорт? Кругом пески и пески. Неужели наш чехословацкий экипаж потерял ориентировку и нам предстоит вынужденная посадка в недрах Ливийской пустыни? Самолет, действительно, резко идет на приземление, но в этот момент среди первобытных песков появляются вполне современные здания и технические сооружения, и ТУ-104 упруго садится на широкую бетонную полосу. Мы — на каирском аэродроме, построенном на отвоеванном у пустыни клочке территории. Отсюда ровная, как линейка, автомагистраль ведет в столицу Египта.

При выходе из самолета нас у трапа встречает девушка, как бы сошедшая с древних египетских росписей,— тот же характерный профиль, крупный рот и узкие миндалевидные глаза, чуть-чуть подчеркнутые, правда, средствами современной косметики. Ожившая фреска затянута в элегантный черный мундирчик, на голове черный берет с кокардой в виде большого золотого орла. Египтянка вручает нам транзитные талоны в целлофановой обложке и сопровождает в зал ожидания, украшенный копиями древних изваяний. Черные, как антрацит, суданские негры, в живописных ярко-желтых одеяниях и высоченных алых фесках с черными кистями разносят пассажирам апельсиновый сок и кока-колу.

...Остались позади Суэцкий канал, Порт-Суэц и Красное море. Под нами Аравийская пустыня, более жуткая, пожалуй, чем только что виденная африканская. Там хоть какое-то движение — легкая песчаная зыбь, переливающаяся, как морская поверхность, здесь — затвердевшая, как камень, добела выжженная солнцем и потрескавшаяся равнина, изборожденная страшными морщинами безнадежно высохшей почвы, похожей на застывшую, но еще пышущую жаром лаву.

В памяти встают лермонтовские строки о «песчаных степях Аравийской земли»:

«И ныне все дико и пусто кругом...»

Короткая стоянка в аэропорту Дахрана — американской военной базы на территории Саудовской Аравии. Под сенью портрета тучного и бородатого короля Сауда в красивом бедуинском бурнусе мы выпи-

ваем за цветным пластмассовым столиком тесного и грязноватого буфета по картонному стакану кока-колы и продолжаем свой воздушный путь.

Уже совсем темно, хотя всего четыре часа дня. Всякая видимость за окном самолета исчезает, и я превращаюсь из сказочного Гулливера в обыкновенного пассажира очередного авиарейса.

Чем бы развлечься? Рядом что-то читает индиец-патер. Заметив мой скучающий взгляд, священник любезно предлагает мне иллюстрированный журнал. Это свежий «Пари-матч», который знакомит меня

82. Храм-гора в Ангкоре. 1961



с целым рядом ценнейших фактов международной культурной жизни. Прежде всего я узнаю, что по решению английского правительства министр внутренних дел больше не должен присутствовать при родах особ королевской династии. Таким образом, в частности, принцесса Маргарет, ожидающая появления ребенка, сможет теперь рожать под наблюдением одних только акушерок и врачей-гинекологов, без всякого министерского надзора. И еще одно замечательное новшество: вопрос об имени для новорожденного отпрыска королевского дома решается отныне самими родителями (подумать только!) без согласования с Палатой лордов.

Что ж, прекрасно. Листаю журнал дальше.

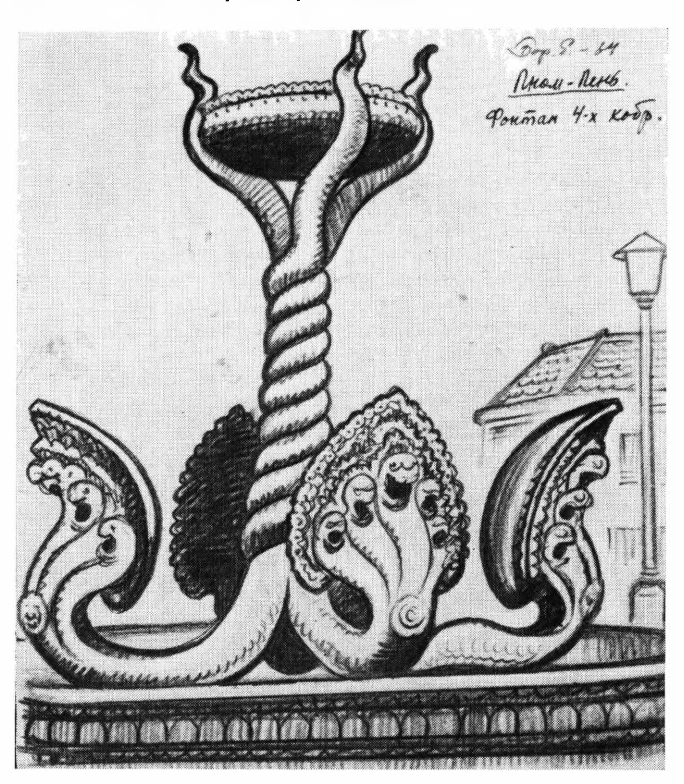
Что за наваждение? Опять матримониально-брачные события высшего света. Теперь уже речь идет о том, что породнились между собой семьи греческого миллиардера, владельца нефтеналивного флота Ставроса Ливаноса и герцога Мальборо, обладателя крупнейших латифундий Великобритании. Журнал изящно острит, что молодожены соединили «корабли и замки» (по-французски это звучит в рифму: «Les bateaux et les chateaux». Юная Тина Ливанос тем самым стала хозяйкой знаме-

нитого замка Бленхейм, особенно известного тем, что во время бала в вестибюле этого роскошного дворца рода Мальборо (роженицу не успели перенести в спальню) родился Уинстон Черчилль. Тина сможет теперь говорить своим гостям,— шутит «Пари-матч»,— вы знаете, Черчилль родился у меня в доме!

Все эти аристократические брачные истории постепенно нагоняют на меня сон.

Когда я просыпаюсь, за окном на бархатно-черном, как лучшая


83. Фонтан Четырех кобр. Пномпень. 1964



китайская тушь, фоне мерцают звездами бесчисленные огоньки, белые и цветные. Они разбегаются во все стороны сверкающим пунктиром, собираются красивыми кругами и эллипсами, вытягиваются уходящими вдаль перспективами, растут и приближаются к самолету. Это Бомбей.

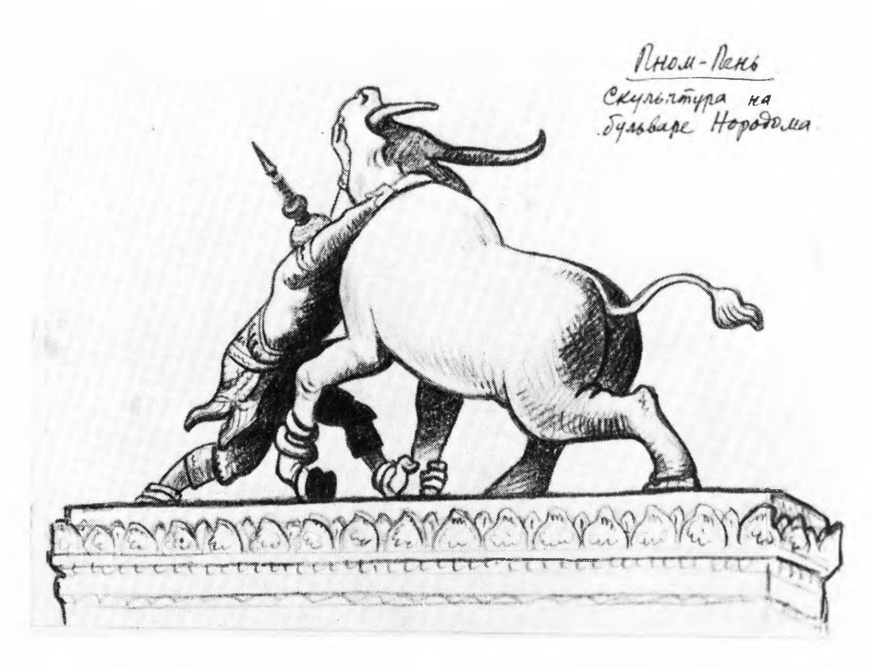
В знойном тропическом воздухе носится сладковато-терпкий запах неведомых растений. Прислонившись к балюстраде, окружающей зал для транзитных пассажиров, я без устали наблюдаю в течение двух часов разношерстную и многоцветную публику аэропорта.

Европейские пиджачки перемешаны с традиционными одеяниями Востока. Рядом с узорчатыми яркими «сари» индийских женщин — спортивные брючки бодрых седовласых дам из Англии. Возле шоколаднолицего коммерсанта из Мадраса в белоснежном тюрбане и кальсонообразных полотняных штанах — рыжий веснушчатый студент из Стокгольма в дорожной куртке со множеством «молний», возле американского биз-

несмена в сером нейлоновом костюме — бирманский дипломат в сиреневой шелковой юбке.

Из репродуктора раздается монотонный, типично «вокзальный» голос, приглашающий пассажиров занимать места в самолете, отходящем по маршруту Каир — Рим — Париж — Лондон — Нью-Йорк, и внушительный приземистый «Боинг», спрятав в своем чреве длинную вереницу людей с чемоданами, с ревом разбегается по взлетной дорожке и исчезает в ночном небе. Потом, в прямо противоположном направлении, отправляемся и мы.

84. Скульптура на бульваре. Пномпень. 1964



И снова медленно вращается под нами земной шар. Светает. Огнистая оранжевая полоса на горизонте возвещает скорое наступление дня. Остаются позади поблескивающие металлом воды огромного, как море, Бенгальского залива, и под самолетом появляются окутанные утренней дымкой пространства Индо-Китайского полуострова. Я смотрю на эти никогда не виденные мною диковинные края и думаю: как же все-таки велика наша Земля... Говорят, что в нашу эру новой техники во много раз сократились земные расстояния. Сократились, конечно, не расстояния. Сократилось время, необходимое для их преодоления, а расстояния остались прежние — неоглядные, влекущие, романтичные. И их масштабность, мне кажется, познается теперь уже с новой, воздушной точки зрения. Думаешь: до чего же, черт возьми, громадна планета, если мы летим с колоссальной скоростью уже вторые сутки, а навстречу нам вырастают все новые и новые пространства, конца края не видать горным хребтам и равнинам, морям и островам.

Серая поверхность суши вдруг начинает играть веселыми изумрудно-зелеными и розовато-охристыми отсветами, заблестели многочис-

ленные большие и маленькие озера, стали отчетливо видны поля и дороги — это взошло тропическое солнце.

Еще какой-нибудь десяток летных минут — и мы любуемся могучим течением одной из величайших рек Азии — Иравади. Вдоль ее берегов раскинулась красивая мозаика улиц, домов, садов. На овальной площади, как на столе, стоит нечто похожее на изящный позолоченный председательский колокольчик. Так выглядит сверху один из самых больших в Азии древний буддийский храм Шве Дагон. Мы садимся в аэропорту Рангуна.

Как полагается, и здесь мы не без торжественности шествуем в транзитный зал, ведомые на сей раз прелестной, как куколка, представительницей бирманской администрации, и получаем неизменный апельсиновый сок и кока-колу из рук щеголеватых официантов в белоснежной униформе с зелеными аксельбантами.

Весело припекает солнце. Мы снова занимаем места в самолете и делаем последний воздушный прыжок — через два с половиной часа ТУ-104 приземляется на аэродроме Пномпеня.

...По-южному темпераментная и пестрая толпа жителей Пномпеня плотно (как говорится, яблоку негде упасть...) заполняет набережную у слияния Тонлесап и могучего Меконга. Мы присутствуем на национальном празднике кхмеров с поэтическим названием «Праздник возвращения вод и приветствие луны». Я смотрю на необозримую ширь реки и думаю: если это называется «возвращением», то есть спадом вод, то что же здесь происходит в половодье?..

В шесть часов вечера, при жгучем солнце, начинается праздничная программа, состоящая из многочасовых водных состязаний, главное из которых — гребная регата.

Великолепное зрелище! По сверкающей речной поверхности с бешеной скоростью несутся длиннейшие ярко раскрашенные пироги. Посредине реки укреплены на якорях два небольших разукрашенных плотика с большими барабанами. Победительницей считается команда, главарь которой, сидящий на носу, первым ударит в барабан своим жезлом. И вот сорок бронзоволицых молодцов в живописных национальных костюмах и причудливых карнавальных масках, в одних пирогах стоя, в других сидя, изо всех сил налегают на весла, подбадривая друг друга ритмическими возгласами и задорными песнями.

Быстрая тропическая ночь вступает в свои права, и гребная регата заканчивается. Наступает следующий этап празднества: перед зрителями начинается прохождение нескончаемой, сказочно иллюминированной флотилии кораблей, несущих на себе огромные аллегорические изображения, светящиеся всеми цветами радуги.

...Каюсь, до поездки в Кампучию я не имел об Ангкор-Вате ни малейшего представления. Только узнав, что мне предстоит в составе советской культурной делегации посещение далекой и неведомой страны кхмеров, и познакомившись с соответствующей литературой, я прочел о существовании этого грандиозного и таинственного сооружения.

Я узнал, что великолепный архитектурный ансамбль, построенный в начале XII столетия средневековыми властителями и жрецами Кампучии и ставший столицей кхмерского государства, в последующие века подвергался нашествиям иноземных завоевателей, постепенно приходил в упадок, разрушался и в конце концов был заброшен кампучийцами, которые перенесли свою столицу в более безопасный Пномпень.

Опустевшие храмы и дворцы стали резиденцией диких зверей и гигантских змей, заросли непроходимой тропической флорой, на много десятилетий скрывшей Ангкор от людских глаз.

Лишь постепенно мир стал узнавать о существовании древних кхмерских сооружений, о них стали появляться упоминания в рассказах

путешественников. Испанец миссионер Марцелло де Рибаденейра писал в 1601 году: «Есть в Камбодже * руины древнего города, который, по мнению некоторых, был построен римлянами или Александром Великим. Примечательно, что никто из туземцев не может жить в этих руинах и они служат прибежищем диких зверей...» В 1606 году другой испанский миссионер, Кристобаль де Жак, рассказал в свою очередь, что в Камбодже открыт древний «город со множеством зданий; его окружает высокая и мощная стена, зубцы которой выложены с большим мастерством: они имеют вид единорогов, слонов, тигров, львов, лошадей, орлов и других животных, весьма искусно высеченных из камня. За этой стеной можно увидеть прекрасные дома и великолепные фонтаны...»

Таковы были отрывочные и скупые сведения об Ангкоре, проникавшие сквозь тайну и безмолвие, окружавшие древнюю столицу кхмеров, пока к ней не пробился французский ученый-натуралист Анри Муо. Путешествуя в 1861 году по Камбодже, бродя по джунглям, он совершенно случайно очутился перед одним из храмов Ангкора, могучие башни которого неожиданно возникли над зеленой чащей. В своем путевом дневнике Муо описал испытанное им ошеломляющее впечатление в самых восторженных словах: «...Это непостижимо и превосходит всякое воображение; смотришь, восхищаешься и, преисполнившись глубокого уважения, хранишь молчание... Как же велик был гений того Микеланджело Востока, который задумал подобное творение, с замечательнейшим искусством соединил в единое целое отдельные его части... Еще не удовлетворенный, он, казалось, снова и снова ставил перед собой трудные задачи, чтобы, преодолевая их, прославиться и потрясти умы грядущих поколений».

Вслед за Муо другие исследователи и путешественники начали изучать и описывать удивительные, ставшие знаменитыми руины Ангкора. Молва об этих фантастических сооружениях облетела мир.

И вот мне тоже доводится увидеть своими глазами эти чудеса. Ровно через сто лет после Анри Муо и, может быть, на том же самом месте я в молчанье стою перед колоссальной твердыней Ангкор-Вата.

Не будучи искусствоведом, я, естественно, не берусь рассуждать о взаимовлияниях индийской, таиландской и кхмерской культур, не рискую толковать о стилистических особенностях феодального искусства Юго-Восточной Азии.

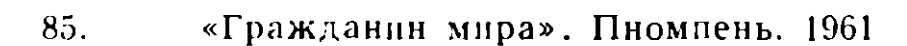
Мне хочется просто передать ошеломление и восхищение зрителя, перед которым в жаркой голубизне тропического неба вдруг встают торжественные каменные громады, захватывающие величием своих монументальных масштабов. Достаточно сказать, что один только дворец-храм Ангкор-Ват занимает полтора километра в длину и километр в ширину. (Вспомним, что длина Колизея около двухсот, а ширина полтораста метров.)

Потрясают не только размеры Ангкор-Вата, но и необычайное богатство и щедрость его пластических форм — архитектурных и скульптурных деталей, барельефов, статуй, фронтонов, наддверий. Огромный храм с его пятью высокими башнями буквально сверху донизу покрыт каменной резьбой, создающей богатую и контрастную игру света и тени. Здесь нет камня, которого не коснулся бы прилежный резец ваятеля. Каждый кирпич крепостных стен украшен изображением.

Внутренняя отделка храма не менее изощренна, чем наружная. С изумлением разглядываем мы знаменитые барельефы, покрывающие длинные галереи Ангкор-Вата сплошным каменным гобеленом, на кото-

*
Камбоджа — официальное название Кампучии с 1863 по 1976 г.

ром искусные и терпеливые руки неведомых умельцев прошлого как бы «выткали» картины жизни и быта древней Камбоджи. Ритмически повторяясь, подобно изысканному художественному орнаменту, движутся по стенам четкие шеренги воинов, вереницы загадочно улыбающихся девушек-танцовщиц — «апсар». Целые армии, оснащенные боевыми колесницами, слонами и многовесельными галерами, сталкиваются в жестоких сражениях — сухопутных и морских. Придворные церемонии и народные празднества, уличные сценки и семейные события, шахматные



85. «Гражданин мира». Пномпень. 1961

состязания и петушиные бои — все это продолжает жить в этих изумительных, вырезанных в мраморно-твердом песчанике барельефах-фресках, еще сохранивших кое-где следы первоначальной яркой раскраски.

Фантастикой Востока веет и от сооружений Байона. Это, как и Ангкор-Ват, так называемый «храм-гора» — пагода, в которой нет внутреннего помещения для молящихся: издали, на почтительном расстоянии, должны они созерцать величественное обиталище Будды, обращающего к ним свои лики. На основании, образованном концентрическими ступенчатыми галереями, поднимаются башни с огромными лицами, которые смотрят на все четыре стороны света. По существу, это даже не

здания, а колоссальные статуи, увенчанные высокими куполами-тиарами, каменные великаны не грозят, не запугивают — спокойная, мудрая и благостная улыбка играет на их губах.

Некогда великолепная столица кхмерского государства, пышная резиденция воинственных и гордых властителей, ныне фантастический мертвый город Ангкор, безусловно имеет мало себе равных во всем мире. Раскинувшийся на пространстве около шестисот (!) квадратных километров, этот грандиозный архитектурный ансамбль, созданный тысячу

86. В Ангкор-Вате. Дерево Фромаже. 1961



лет назад целой армией строителей и рабов, охватывает более ста храмов, дворцов, галерей, террас, бассейнов, всевозможных святилищ Будды и Вишну.

Мы идем по древнему городу, добросовестно поднимаясь и спускаясь по немыслимо крутым, почти отвесным каменным лестницам и не переставая дивиться богатству творческого воображения, вложенного в неисчислимые изваяния богов, царей, добрых и злых духов, слонов, львов и загадочных мифологических существ полуженщин-полуптиц «гаруд».

Но самое излюбленное, многократно повторяющееся здесь скульптурное изображение — это семиглавая кобра-нага. Наги везде и повсюду. Подняв огромные овальные капюшоны, они встречают вас еще на эспланаде, ведущей к воротам Ангкор-Вата. Их вытянувшиеся на сотни метров цилиндрические тела ползут вдоль парапетов и перил, окаймляют карнизы кровель, сплетаются хвостами, образуют фонтаны. Сам Будда безмя-

тежно сидит на туго свернутом спиралью туловище наги, как на троне, под сенью ее узорного капюшона.

...Неумолкающий ровный звон цикад стоит в ушах с такой силой, что иногда приходится повышать голос, как в кабине самолета.

То бодро шагая по раскаленным тропическим солнцем плитам, то осторожно ступая по скользкой зелени бархатного мха, покрывшего ступени темных портиков, где под высокими прохладными сводами шуршат летучие мыши, мы идем сквозь величественные руины Ангкора, густо

87. Пномпень. Музыканты. 1964



заросшие разнообразной и экзотической растительностью джунглей. «Цвели кругом чудеса ботаники»,— как говорил Маяковский. И вдруг в быстро сгущающихся сумерках, среди старинных сооружений появляется нечто странное — огромные, белесовато-серого цвета деревья, названные по имени впервые описавшего их французского путешественника «деревьями Фромаже». У них ничем не примечательная крона и самые обыкновенные листья. Но их голые, неприятно гладкие стволы на высоте примерно пяти-семи метров над землей вдруг резко расширяются во все стороны прямыми стреловидными гранями, напоминающими стабилизаторы ракеты, и расползаются толстыми цепкими корнями. Подобно гигантским бледным змеям, извиваются они по дорожкам и лестницам, взбираются на арки ворот, тянутся по перилам, проникают в трещины старых стен, расшатывают и дробят древние камни. Местами эти корни похожи на щупальцы чудовищных спрутов, местами — на хоботы огромных слонов.

Растительность, обвивающая седые памятники архитектуры, обычно приятна. Она трогает и радует присутствием жизни, бессмертием вечной природы. Но здесь почему-то появляется обратное чувство: становится жалко и больно за трудолюбиво созданные умными и талантливыми

людьми прекрасные сооружения, ставшие жертвой разрушающего их жуткого лесного чудовища.

...Солнце неистовствует. Впрочем, по местным понятиям, стоит приятная зимняя погода: термометр показывает только тридцать два градуса выше нуля...

На родине Шекспира

Мы шли по залам Британского музея, уже усталые от обилия впечатлений.

Нелегок труд туриста. Его быт, время, отдых, питание и даже сон — вся его жизнь в поездке подчинена жесткому, неумолимому конвейеру программы. Разнообразные, контрастные, неожиданные, зачастую противоречивые явления, факты и встречи быстро сменяются, не давая подчас возможности как следует понять и освоить то или иное впечатление, найти ему место в сознании и душе.

Знакомство с чужой страной, новыми людьми, незнакомыми городами, непривычными нравами и традициями, знаменитыми произведениями искусства, прославленными историческими памятниками старины — все это происходит в напряженном темпе, нервной спешке, постоянном цейтноте, непрекращающемся беспокойстве что-то пропустить, чего-то недоглядеть.

И все же да здравствует туризм! Да здравствует жесткий, неумолимый конвейер программы, динамика движения по туристическим объектам, неустанный калейдоскоп зрелищ и впечатлений!

...Накануне с утра, мимо шикарных гвардейцев в ярко-красных мундирах и медвежьих шапках, мы вошли под низкие массивные своды ворот, ведущих в лондонский Тауэр, и окунулись в эффектно-драматическую атмосферу английского средневековья. Сотни лет назад мрачные башни, переходы и лестницы были для людей привычной и обыденной обстановкой, совершавшиеся здесь казни, пытки и убийства — повседневной и знакомой реальностью. Теперь же все это смотрится почти театральным реквизитом, как будто созданным для нарядной и жизнерадостной толпы туристов, оснащенных фотоаппаратами и кинокамерами, весело снимающих друг друга на фоне тюремных решеток и плах. Бодрые старички и старушки, энергичные девицы в брючках всех цветов радуги, бородатые юнцы в спортивных курточках — весь неизменный состав неугомонного туристского племени снует по вымощенным грубыми камнями площади и переходам Тауэра, галдя, хохоча и шумно перекликаясь. Угрюмо нахохлясь, смотрят на эту пеструю толпу шесть старых «бессмертных» воронов (у каждого свое имя), живущих в особой огромной клетке и, согласно поверью, из века в век «охраняющих Тауэр и старую Англию».

Короткий «ленч», и мы уже держим путь в Стратфорд на Эйвоне, к шекспировским местам. Но по дороге решаем нанести визит всемирно известному скульптору Генри Муру.

Выехав за пределы Лондона, наш автобус долго колесит по пригородным шоссе, подъезжает к длинной металлической ограде, заросшей густой зеленью, и останавливается у широких ворот. После недолгого ожидания к нам выходит загорелый седой человек в простом спортивном свитере. Немногословный, корректный, сдержанный. Это — Мур. Он приглашает нас войти. За воротами оказывается большая усадьба с уютным жилым домом, подсобными строениями, конюшнями, гаражом. Мы идем по газонам и зеленым лужайкам, мимо яблоневых деревьев, гнущихся под тяжестью румяных плодов. В глубь парка тянутся тщательно

посыпанные желтым песком дорожки, по которым Мур ведет нас в свои мастерские. Это своего рода производственные корпуса. Одни из них оснащены сложной технической аппаратурой для работ из бронзы и меди. В других — на специальных станках обрабатывается деревянная скульптура, в третьих — гранит и мрамор. Отдельное ателье с бесчисленными наборами красок, кистей и фломастеров служит для создания предварительных эскизов. От всего муровского комбината веет деловым размахом, солидно поставленным коммерческим масштабом: ведь отсюда продукция прославленного скульптора расходится по всему миру, раскупается по бешеным ценам.

Произведения Мура — каменные, деревянные или металлические — замечательны великолепной законченностью формы. Они идеально вылеплены, отлиты, спаяны, отчеканены, обструганы, отшлифованы и бесспорно могут порадовать глаз эстетикой фактуры самого материала — теплотой дерева, массивной белизной мрамора, гибкостью и звонкостью металла. Прихотливы и сложны композиции, создаваемые фантазией художника. Вместе с тем их нельзя назвать чистой абстракцией — в произведениях Мура проглядывает некое изобразительное начало. Это, по сути дела, бесконечные и многообразные вариации на темы обнаженной женской натуры. Правда, среди этих вариаций не увидишь красивого женского лица, стройной девичьей фигуры. Женщины Мура, как правило, безголовы и безруки, зато выразительно и изобретательно варьируются скульптором в самых невероятных гротесковых комбинациях и сплетениях причудливо гипертрофированные формы торса, бедер и других округлостей женского тела.

...Мур вежливо провожает гостей к воротам своей резиденции и благосклонно принимает от наших дам сувениры — янтарные запонки и заколку для галстука.

Наш автобус берет курс на Стратфорд. Мы едем мимо сочных зеленых лугов, среди которых то и дело возникают могучие деревья-великаны, потрясающие размерами кроны и толщиной стволов. Едем мимо очаровательных, увитых домиков, сложенных из красного кирпича и отделенных от дороги разнообразнейшими низенькими оградами (у каждого домика на свой манер), тоже заросшими цветами и зелеными насаждениями. Зелень, зелень, зелень...

В городе Шекспира мы проводим положенное для туристов количество времени, очень точно рассчитанное на то, чтобы посетитель уехал отсюда с ощущением насыщенности и даже легкой приятной усталости от полноты впечатлений. Десятилетиями отработанная и устоявшаяся программа мягко и плавно ведет нас по достопримечательным шекспировским местам. Включаясь в неиссякающий людской поток, вы движетесь по чуть поскрипывающим внутренним лестницам дома, где родился великий драматург, осторожно касаясь перил, до блеска отполированных миллионами туристских рук. Невольно поддаваясь силе самовнушения, вы уважительно смотрите на колыбель Шекспира-младенца, хотя точно знаете, что она не подлинная, а только современной ему эпохи, как, впрочем, и почти вся обстановка исторического дома. И как тут не настроиться на философскую волну, если достаточно каких-нибудь двадцати минут, чтобы от места рождения Шекспира на Хенлей-стрит прошагать к месту его захоронения в часовне Святой Троицы, то есть проделать расстояние, в которое символически уложилось пятидесятидвухлетнее земное существование гениального драматурга. (Между прочим, день рождения Шекспира 23 апреля 1564 года совпадает с днем его смерти — 23 апреля 1616 года.)

В древней церкви сумрачно и прохладно. На скромном надгробном камне вырублена поэтическая суровая надпись:

Добрый друг, остерегись ради Христа
Потревожить лежащий здесь прах:
Да будет благословен человек, уберегший эти камни,
Да будет проклят тот, кто тронет с места мои кости.

Это заклинание, говорят, и стало причиной того, что останки Шекспира не были перенесены, подобно праху Байрона и других великих

88. В «Уголке ораторов». Гайд-парк в Лондоне. 1966



писателей Англии, в «Уголок поэтов» Вестминстерского аббатства в Лондоне.

С этими двумя памятными местами Стратфорда выразительно и впечатляюще гармонируют на улицах города прелестные средневековые домики, в которых гладкая чистая белизна оштукатуренных стен прочерчена характерным графическим узором грубых, просмоленных до черноты опорных балок. Среди этих домиков — жилища матери Шекспира Мэри Арден, жены Анны Хэтевэй, его дочери Сюзанны, многие другие трех- и четырехсотлетней давности строения.

После них довольно банальным выглядит памятник Шекспиру,

весьма заурядное по своим художественным достоинствам сооружение на берегу Эйвона. В центре, на «роскошно» украшенном всевозможными гирляндами и венками постаменте, сидит в кресле сам драматург, согласно лучшим классическим канонам устремивший вдаль задумчивый взгляд. На четырех углах площадки вокруг постамента разместились четыре персонажа шекспировских пьес — Гамлет, Фальстаф, леди Макбет и принц Генри. Взгляд машинально ищет и других не менее известных героев, созданных Шекспиром,— Отелло, короля Лира, Джульетту... Но их почему-то нет. Даже немножко обидно становится, скажем, за чистую и правдивую Корделию, которой предпочли интриганку и злодейку леди Макбет, или благородного Ромео, вместо которого поставили пронырливого принца Генри, возложившего на себя еще при жизни отца его корону.

Добросовестно исходив вдоль и поперек весь Стратфорд, мы обедаем в старинном отеле «Альвестон Мэйнор», чувствуя себя какими-то средней руки лордами или сквайрами среди антикварной мебели, фарфора, медных подсвечников, мраморных каминов и прочих бытовых аксессуаров эпохи Теккерея.

Уже совсем темно, когда мы выезжаем обратно в Лондон. Закончен еще один туристический «трудодень»...

В нашей программе — собор св. Павла, Оксфордский университет, Британский музей...

Но еще до официальной программы мы выкраиваем часок для одной широко известной и не менее широко разрекламированной лондонской достопримечательности. Это — знаменитый «Уголок ораторов» в Гайд-парке («Спикер корнер»).

Кому не приходилось читать или слышать об этой гордости «английской демократии» — «заповеднике» свободы слова, где любой человек может высказывать какие угодно взгляды, пропагандировать любые политические доктрины или религиозные воззрения, вообще — говорить все, что ему заблагорассудится, при одном только ограничении: он не должен хулить бога или оскорблять королеву. За соблюдением этого правила и вообще за порядком в «Уголке» присматривают дежурные полисмены.

«Спикер корнер» занимает крохотную часть огромной зеленой территории Гайд-парка и находится возле известной «Мраморной арки» — архитектурного сооружения весьма посредственного художественного уровня и прославившегося главным образом тем, что королева Виктория забраковала ее в качестве ворот для своего дворца. В этот сравнительно ранний час ораторов и слушателей в «Уголке» гораздо меньше, чем их бывает днем и к вечеру. Тем не менее стихия красноречия уже в полном разгаре, существуя здесь в самых разнообразных, текучих, ежеминутно меняющихся ситуациях и взаимоотношениях. Постояв и послушав одного златоуста, слушатель, если речи оратора не затронули его душу, переходит к другому, третьему, десятому. Никто ни на кого не обижается, никто никого не стесняется. Вот что-то горячо и уверенно доказывает пожилой мужчина в темных очках. Его никто не слушает. Я не знаю, о чем он говорит, но мне становится как-то совестно за него и жалко человека. А он продолжает к чему-то призывать, что-то утверждать, а может быть, отрицать. Возле него кто-то останавливается, минуту слушает, потом бросает короткую реплику и уходит.

Гораздо большим успехом пользуется стоящий рядом на табуретке юродствующий парень в надвинутой на лоб измятой шляпе и коротком дождевичке. Совершенно охрипшим голосом он беспрерывно вы-

крикивает что-то, очевидно, очень смешное, так как окружающая его толпа длинноволосых парней и косматых девиц в джинсах поминутно разражается хохотом.

В непосредственной близости степенно и негромко разглагольствует на переносной складной трибуне другой оратор — старик в подтяжках на вылинявшей рубахе. В руках у него зеленый деревянный крест, а за спиной плакат — «Ошибки дорого обходятся». Перед ним только один слушатель — молодой, чистенько одетый негр, который изредка

89. В «Уголке ораторов». Слушатели. 1966



вставляет в речь старика какие-то замечания. Между ними явно нарастает серьезный, но вполне корректный спор.

Когда мы через некоторое время снова оказались в этой части «Уголка», ситуация здесь коренным образом изменилась: возле хриплого остряка осталась только одна-единственная парочка слушателей, зато вокруг старика с зеленым крестом сгрудилась плотная толпа, с явным интересом следящая за его полемикой с молодым негром.

А вот и коллективное ораторское выступление: несколько чистеньких, аккуратно одетых старушек что-то поют слабенькими голосами и при этом пританцовывают. Среди них затесались и двое мужчин — молодой верзила, по виду студент, и пожилой, уморительно гримасничающий дядька в котелке. Сблизив головы и сосредоточенно глядя друг другу в рот, поют что-то вроде протяжного псалма двое: индеец с женской прической в виде конского хвоста и худощавый интеллигентный господин в огромных очках. Их окружает кольцо молчаливых, внимательных слушателей.

Многоголосый нестройный гомон стоит над фантасмагорическим разнообразием людских типов, характеров и одежд «Спикер корнера». Темпераментные и монотонные, страстные и флегматичные, задиристые

и елейные, звучат речи десятка ораторов, выкрики и реплики слушателей, иронические возгласы, хохот и даже улюлюканье. Но все это в пределах приличия, без нарушения порядка.

Два дюжих полисмена степенно прогуливаются вдоль «Уголка ораторов», не обнаруживая никаких признаков беспокойства: по-видимому, святость бога и репутация королевы никем не задеты...

Однако программа не ждет — впереди собор св. Павла и Оксфордский университет, а после них такой серьезный и требующий особой туристической выносливости объект, как Британский музей.

Тут я намерен просить прощения у читателя: вряд ли мне удастся добавить что-либо существенное к тому, что об этих достопримечательных местах напечатано в путеводителях и справочниках. Могу только засвидетельствовать, что сведения эти абсолютно совпадают с действительностью, и сразу перейду к одному из экспонатов,— к карикатуре на фараона.

Надо сказать, что история сатирической графики практически начинается с искусства Древнего Египта. Карикатуры более ранних периодов, например нижнего или верхнего палеолита, до нас, к сожалению, не дошли, хотя отдельные наскальные изображения каменного века, на мой взгляд, не лишены сатирического элемента. Все же ископаемые карикатуристы, по-видимому, проявляли свое чувство юмора прежде всего при помощи увесистой дубины или каменного топора, что, очевидно, вызывало у питекантропов или неандертальцев такой же дружный смех, как в наше время рисунки Кукрыниксов или Ивана Семенова.

Так или иначе, совершенно бесспорно, что потребность унизить врага меткой насмешкой, представить его в глупом и смешном виде была свойственна людям с самых отдаленных эпох и следы искусства карикатуры можно обнаружить в изобразительном искусстве всех времен и народов.

Однако факт остается фактом — древнейший известный нам сатирический рисунок — это карикатура, нарисованная на папирусе неизвестным египетским художником более трех тысяч лет тому назад и хранящаяся в Британском музее. Надо признать, что наш древнеегипетский коллега выбрал не очень удачное время для шуток: деспотическая власть фараонов и жрецов вряд ли поощряла сатирический жанр. Чтобы уяснить себе смысл воспроизведенной здесь карикатуры, надо вернуться далеко в глубь истории. Тщеславный фараон Рамзес III (он правил Египтом за добрых полторы тысячи лет до нашей эры) отличался, по свидетельству летописцев, весьма аморальным поведением, которое он не только не скрывал от общественности, но, напротив того, всячески афишировал. Так, например, он приказал расписать стены храма в Медина-Габу громадными фресками, изобразившими его интимную и притом далеко не добродетельную жизнь. Фараон показан на этих картинах в окружении совершенно обнаженных женщин, обмахивающих его опахалами. Сам же Рамзес занимается как раз абсолютно невинным занятием: он играет с одной из дам в шашки (!).

Неизвестный карикатурист использовал именно этот сюжет: он нарисовал на папирусе играющих в шашки льва и антилопу — прозрачный намек, который, вероятно, был достаточно ясен для современников. Очень тонко и комично переданы на рисунке хвастливо-самодовольное выражение на морде царственного зверя и робкий заискивающий взгляд его партнерши.

Эта прапрапракарикатура приводится во всех трудах по истории сатирической графики. Писал о ней в свое время и я. И самое курьезное, что я чуть-чуть не разминулся в Британском музее с этой сатирической реликвией. Дело в том, что, как я уже сказал в начале этой главы, мы прибыли в музей уже густо насыщенные предварительными впечатле-

ниями, и я шел по огромному египетскому разделу, довольно рассеянно поглядывая на бесконечные ряды мумий, саркофагов, надгробий, колесниц и тому подобных древностей. С некоторым интересом я остановился только у знаменитого «Розеттского камня», давшего ученым возможность, как известно, раскрыть тайны иероглифического письма.

С уважением рассмотрев камень, я двинулся дальше, но тут меня остановил художник Дементий Шмаринов, человек наблюдательный и дотошный.

— Посмотрите-ка,— сказал он,— это не та карикатура, о которой вы писали?

Я живо повернул обратно. Да, в стеклянном стенде на пожелтевшем папирусе играли в шашки лев и антилопа. Я прижался носом к стеклу, жадно изучая каждый штрих, каждую черточку, каждое пятнышко самой древней из нарисованных на земле карикатур.

Шлем самурая

В Японию я летел по приглашению газеты «Асахи», постоянный карикатурист которой Тойдзо Иокояма незадолго до этого побывал в Советском Союзе в качестве гостя газеты «Известия». Тем самым были в известной степени расширены рамки культурных обменов: после писателей, журналистов, кинематографистов, артистов и других деятелей культуры СССР и Япония обменялись карикатуристами. Занимая место в самолете прямого авиарейса Москва — Токио, я не мог, конечно, не вспомнить рассказы о трудностях этого длительного перелета для человеческого организма, связанных с резкой переменой климата, «перепадом» во времени, давлении, температуре и другими сложностями физической, биологической и всякой прочей адаптации.

К моему приятному удивлению, ничего этого не произошло, и никаких тяжелых ощущений я в самолете не испытал. Время перелета прошло почти незаметно, тем более, что моим попутчиком оказался общительный и веселый человек — кинорежиссер Марк Донской.

Самолет пошел на снижение и вдруг устремился в открытое море. Можно было подумать, что наш дальнейший путь лежит через Тихий океан. Но, сделав плавный разворот над водой, наш лайнер совершил посадку в аэропорту Ханеда. Сошли мы с самолета по старинке — по трапу, а не посредством гибкого коридора-присоска, как это теперь делается во всех современных аэропортах. И встречали нас тоже по старинке — тут же, у трапа на летном поле. Среди встречавших были представители «Асахи», корреспондент «Известий» в Токио и первый секретарь советского посольства.

Так курьезно сложились обстоятельства, что тем же самолетом, которым я прилетел в Токио, моя сноха, Ирина Ефимова, улетала в Москву. Тем самым проводы и встреча слились в единое мероприятие, которое и было дружески отмечено в затейливо оформленном баре аэровокзала Ханеды. Только представители «Асахи» были несколько озадачены: они прибыли для официальной встречи, а попали на какое-то семейное торжество. Пошептавшись между собой, они заявили, что приедут в аэропорт через два часа и встретят меня еще раз по всей форме как гостя их газеты. Так они и сделали. Уже в качестве представителя «Известий» я отбыл из аэропорта в автомашине под флагом газеты «Асахи» с изображением красного солнца с расходящимися лучами. Кстати сказать, слово «асахи» и означает по-японски «восходящее солнце».

Кабинет главного редактора «Асахи» облицован прямоугольными пластинами из какого-то темного металла. При ближайшем рассмотрении



В редакции «Асахи». 1970

это оказались типографские матрицы самых распространенных газет мира, издающихся в странах Европы, Азии, Америки.

Мы садимся за низенький длинный японский столик, а напротив нас за таким же столиком — руководители «Асахи». Завязывается любезная дружественная беседа. С интересом выслушивается, как мне кажется, мое изложение принципов советской политической сатиры.

— Мы слышали, что в вашей стране усиливаются меры по борьбе с алкоголизмом,— говорит редактор «Асахи».— Скажите, пожалуйста, какое участие принимают в этом художники-сатирики?

— Самое активное,— отвечаю я. И добавляю в шутку:— При этом они борются не только оружием сатиры, но и непосредственным уничтожением спиртных напитков.

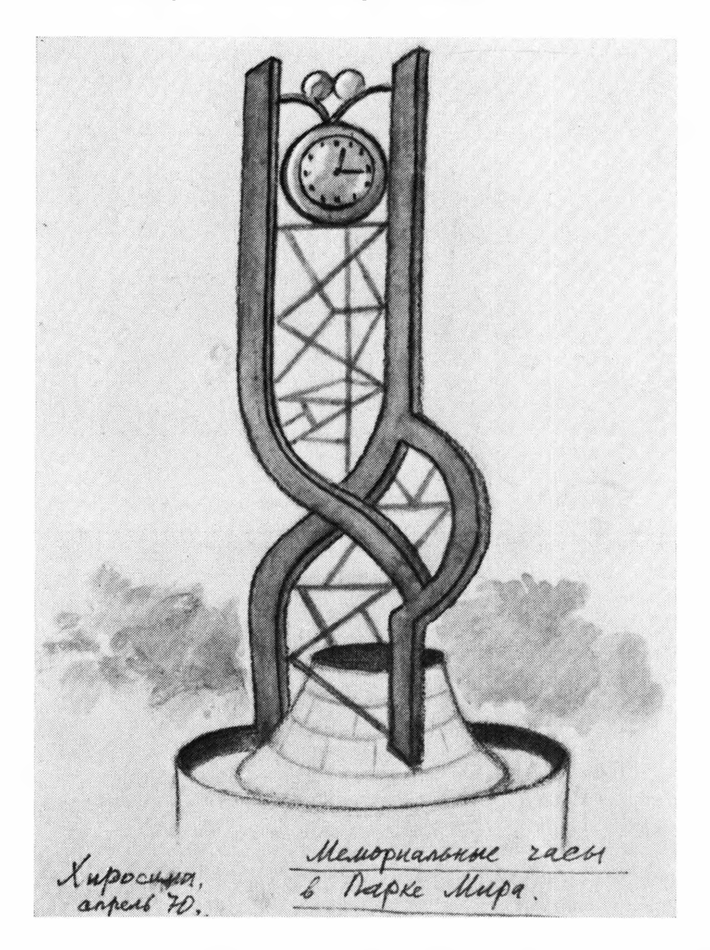
Японцы смеются. Я начинаю развивать мысль об огромной роли смеха как психологического, физиологического и публицистического фактора.

Закончив свою речь, я вручаю редакторам «Асахи» памятные подарки от редакции «Известий». Среди них — точная копия самовара, из которого пил чай в Ясной Поляне Лев Николаевич Толстой, о чем я не забываю упомянуть.

Мы в Хиросиме. Ходим по эпицентру атомного взрыва, грянувшего здесь двадцать пять лет назад, когда с американского самолета была сброшена урановая бомба с веселым прозвищем «Малыш» («Little Boy»).

Теперь на этом месте раскинут парк, где находятся символический мавзолей погибших людей, символический «Колокол мира», символические часы, звон которых каждое утро возвещает точное время катастрофы — 8 часов 15 минут. Да, собственно, и само слово «Хиросима» стало символом — напоминанием о хладнокровной расчетливой жестокости империалистических убийц. В бетонно-стеклянном параллелограмме хиросимского музея, построенном в этом же парке, тщательно собраны материальные следы катастрофы: расплавленные камни, обугленные кир-

91. Мемориальные часы в Хиросиме. 1970

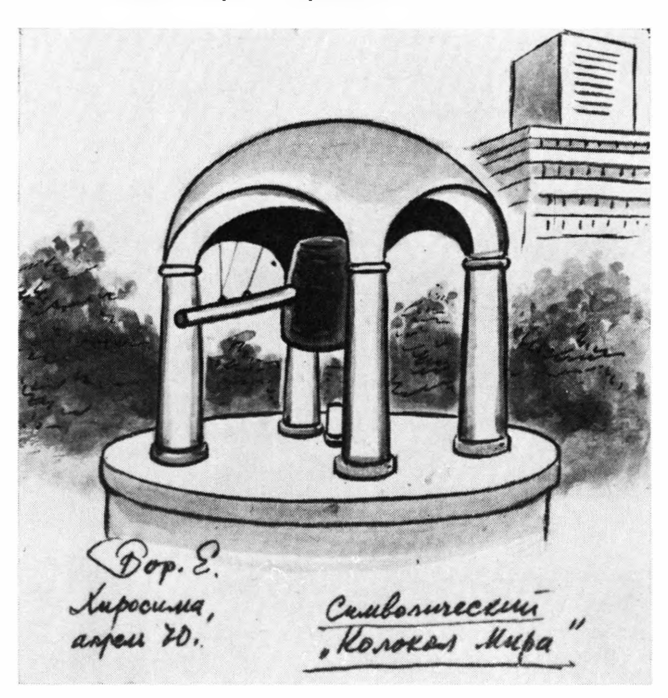


пичи, скрюченное железо, бесчисленные фотографии обожженных, искалеченных, испепеленных людей. Это ужасно. Но, странно, на меня гораздо большее впечатление производит огромное — во всю стену — живописное панно, которое отнюдь не символически, а предельно натуралистически, с максимальным внешним правдоподобием изображает страшный момент взрыва. Панно не обладает высокими художественными достоинствами. Ему очень далеко до тонкой, эмоционально насыщенной графики супругов Маруки или до могучей «Герники» Пикассо, но вместе с тем оно, может быть, наивно, но пронзительно дает ощущение совершивше-

гося здесь ужаса. С ювелирной точностью воспроизведены на картине улицы, дома и постройки Хиросимы 1945 года, пожираемые чудовищным, немыслимым, апокалипсическим костром. Это похоже на фотодокумент. Такой, вероятно, была бы цветная фотография, если бы кто-нибудь успел запечатлеть на пленку миг, когда «Малыш» обрушился на город.

На специальной подставке лежит объемистая книга, в которой расписываются посетители музея. Каждая страница разделена вертикальной чертой. Слева пишется фамилия, справа — страна, откуда прибыл.


92. «Колокол мира» в Хиросиме. 1970



Страницы быстро заполняются — посетители непрерывно сменяют друг друга у пюпитра с книгой. Расписываюсь и я, потом интересуюсь, кто мой предшественник. Им оказывается Ахмед Аркуб из Судана. А после меня вносит свое имя Брюс Файрстон из США. Подписи, подписи, подписи... Размашистые и бисерные, четкие и неразборчивые, небрежные и старательные, короткие и подробные, на разных языках, разных цветов, разными почерками, разными буквенными начертаниями — они смотрятся как собственноручное скрепление своего рода присяги. Миллионы людей всех континентов присягают человечности, протестуют против варварства.

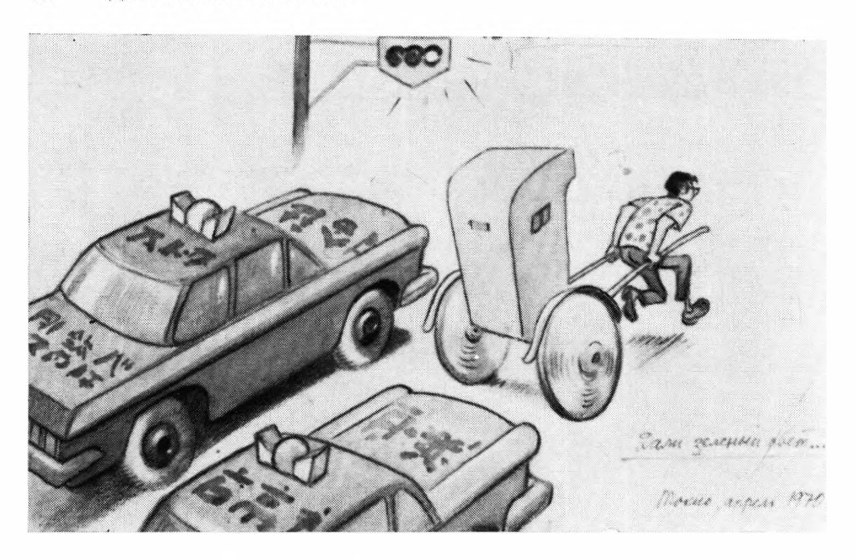
Обильные осадки сопровождали нас в поездке по стране.

В хиросимском аэропорту были даже отменены из-за непогоды все авиарейсы, и для поездки в Осаку пришлось срочно доставать билеты на скорый поезд, оказавшийся, естественно, переполненным. В вагоне, куда мы попали, все сидячие места были заняты игроками бейсбольной

команды «Джайентс» («Гиганты»), кумирами японских болельщиков. И четырехчасовое стояние на собственных ногах в бешено мчащемся экспрессе только отчасти компенсировалось живописным зрелищем, которое представляли собой плечистые «гиганты» в небесно-голубых спортивных костюмах, сладко дремлющие в комфортабельных креслах.

В Осаке нас встретил уже привычный бодрый дождик, не покидавший нас и на территории Всемирной выставки ЭКСПО-70, привлекшей миллионы зрителей. Мне посчастливилось стать одним из них.

93. Дали зеленый свет... 1970



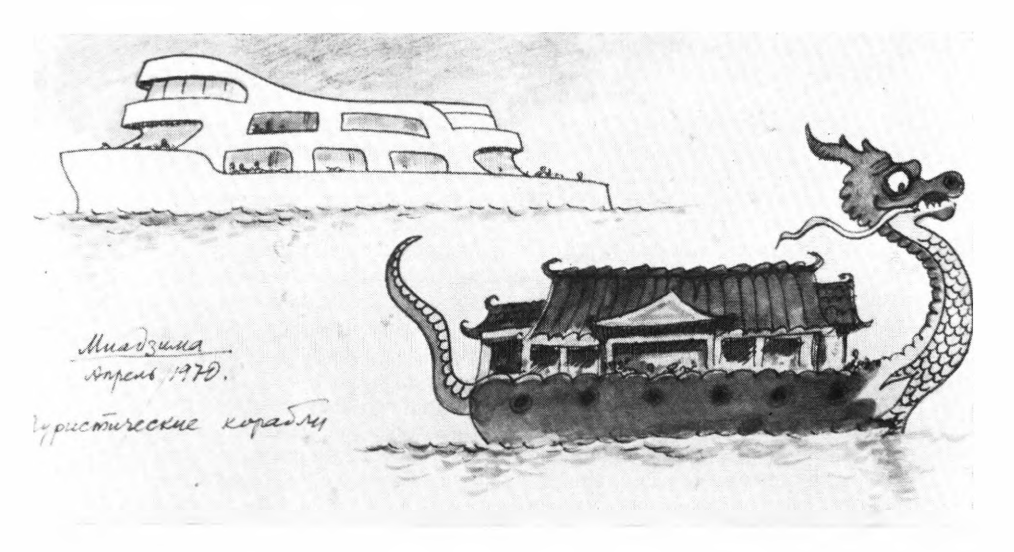
Не без растерянности оглядываюсь я вокруг. На что смотреть раньше? Да тут надо иметь не два, а двадцать два глаза... Прежде всего захватывает вид неописуемо красочного, непрерывного, калейдоскопически меняющегося движения потоков посетителей. Какое зрелище! Уж на что колоритен и разнообразен облик японской уличной толпы, где рядом со строгим черным костюмом увидишь пронзительно яркий, почти люминесцентный свитер и ультрамодные джинсы, рядом со старинным кимоно до самых пят — сверхмини-юбку, но здесь, на выставке, живописность и пестрота публики возрастают до степени маскарадно-карнавального костюмированного гулянья. Особенно экзотичны туристические группы из провинциальных японских городов. Все они, от пятилетних бутузов до древних стариков, видимо, чтобы не потерять друг друга, снабжены одинаковыми по фасону и цвету шапочками, картузиками, колпачками, соломенными «тирольками», широкополыми ковбойскими шляпами, узорчатыми сомбреро. Эти забавные головные уборы — алые, белые, бирюзовые, изумрудно-зеленые или золотисто-розовые — дополняются яркоцветастыми или прозрачными зонтиками, цветными лентами через плечо, нагрудными бутоньерками всех цветов радуги и другими «опознавательными знаками».

Передвижение зрителей по выставке происходит на двух уровнях: по земле — в изящных маленьких автокарах, бесшумно катящихся по особым, окрашенным в синий цвет дорожкам, при этом не сигналящих пешеходам, а как-то деликатно и нежно попискивающих, и по воздуху — в уютных вагончиках монорельсового электропоезда или же в прозрач-

ных тубах движущихся тротуаров, с которых эскалаторы доставляют посетителей прямо к павильонам.

Павильоны ЭКСПО-70... О них даже трудно рассказать. Состязаясь в фантасмагорической причудливости архитектурных решений, в оригинальности оформления, расцветки, структуры, строительного материала, они громоздятся вокруг, наступая друг на друга и как бы отпихивая локтями соседей. Здесь нашло себе применение и воплощение решительно все, что только могла изобрести изощренная фантазия десятков конструк-

Туристические корабли. 1970



торов, художников и строителей, оснащенных самыми последними новинками техники, электроники, кибернетики. Исчерпав, пожалуй, все известные геометрические формы — кубы, призмы, пирамиды, шары, конусы, октаэдры, додекаэдры и прочие,— архитекторы взялись за растительный и животный мир: возникли павильоны, напоминающие морские раковины, глубоководные голотурии, актинии, медузы, грибы, кактусы, похожие на что угодно и ни на что непохожие.

Всеми основными и дополнительными цветами спектра переливаются эти хитроумнейшие сооружения из стекла, алюминия, хлорвиниловых и пластических материалов, газосветных трубок, сферических зеркал и бурлящих водяных струй. Каким-то неправдоподобным марсианским городом смотрится скопление вертикальных и наклонных, винтообразных и спиральных конструкций, вращающихся, вертящихся, сверкающих и подмигивающих, беснующихся в бешеных усилиях ошеломить зрителя и одновременно утереть нос конкурентам.

За этими ошеломляющими эффектами и броской рекламой подчас пропадают сама сущность и благородный смысл девиза выставки в Осаке — «За прогресс и гармонию человечества». Подчас вы очень мало узнаете о жизни той или другой страны, а больше запоминаете экстравагантные оформительские трюки ее национального павильона.

Совсем другой характер носят немногочисленные павильоны социалистических государств, где проявлена серьезная забота не только о форме, но и о содержании показа. А из устремленного в небо, увенчанного на стометровой высоте алым серпом и молотом Советского павильо-

на выходишь с чувством патриотической гордости, полным искренней благодарности к его строителям и художникам, создавшим увлекательную и выразительную экспозицию — подлинную симфонию культурных, материальных и природных богатств советской державы, ее духовной, индустриальной и экономической мощи.

...Дождь затих. Выглянуло солнце. Я услышал какой-то своеобразный шелковисто-шелестящий шорох — это сотни японских зрителей, чинно стоявших в длиннющей очереди у входа в павильон СССР, складывали зонтики.

Еще только собираясь в Японию, я уже много знал о своеобразии этой страны, об удивительном, гармоничном сочетании в ее облике современности и старины, четырнадцатого и двадцать первого веков.

Я убедился в правильности этой характеристики, как только был вовлечен в стремительный и мощный поток японских впечатлений, острых, колоритных, озадачивающих. Хотелось «остановить» каждое мгновение, «вглазеться», по выражению Маяковского, в каждый новый кадр этого живого, многокрасочного широкоэкранного и стереоскопического «фильма». Тысячи вещей требовали внимания — и сияющая вершина Фудзиямы, на полсекунды заглянувшая в иллюминатор самолета, и сверхурбанистическое переплетение подземных и надземных автомобильных развязок в Токио, и розовая пена цветущей японской вишни — сакуры, и неоновые рекламы универмагов и торговых фирм Гинзы, и утонченно-суровая красота древних храмов Киото, и живописные пейзажи океанского побережья, и беспрепятственно горланящий посреди улицы фашистский оратор-реваншист, и теснимая полицией антивоенная демонстрация молодежи.

Своими глазами (а ведь «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать») увидел и ощутил я в Японии экзотический сплав ультрасовременной техники с изысканностью старинного уклада, кричащего сверхмодерна с незыблемостью вековых традиций. К этому сочетанию быстро привыкаешь, и я тоже скоро освоился с тем, что, надев на себя удобное, не стесняющее движений кимоно, садился на затянутый золотисто-упругой циновкой пол и, при помощи палочек управляясь с ломтиками сырой рыбы, политой острым соевым соусом, одновременно не спускал глаз с экрана цветного телевизора последней марки фирмы «Сони», на котором демонстрировался новый детектив с участием Жана Габена.

...Поджав под себя по-японски ноги, люди сидят на широких ступенях деревянной галереи, опоясывающей древний императорский дворец в Киото. Взоры всех устремлены на примыкающий к галерее прямоугольный дворик, покрытый мелким светлым гравием, среди которого там и сям торчат несколько изъеденных временем и непогодой камней разной величины, лежащих на маленьких островках травы. Гравий расчесан аккуратными параллельными бороздками, завихряющимися вокруг островков концентрическими кругами. Среди зрителей, сидящих на террасе и лестнице, царит сосредоточенное молчание.

— Что тут происходит? — шепотом спрашиваю я первого секретаря нашего посольства (по случайному совпадению — моего сына).

— Мм... Как бы тебе объяснить....— говорит мой спутник.— Люди смотрят на эти камни и отрешаются от всего мелкого, будничного, повседневного. Углубляются в собственные мысли, возвышенные раздумья...

— Углубляются, чтобы возвыситься? Что ж, допустим... А при чем тут камни?

— При чем тут камни, может понять только японец. Во всяком случае, факт таков, что в этот «Сад камней» на протяжении сотен лет люди приезжают со всех концов Японии, садятся на эти самые доски, часами созерцают эти самые камни и размышляют о жизни, о вечности, о своей судьбе.

Я призадумался.

— А ну-ка, давай и мы посидим немного,— сказал я,— посмотрим на камни. Попробую и я уйти в себя, призадуматься над смыслом жизни, над бренностью существования.

Однако, как я ни старался настроить себя на возвышенный лад, в голову лезли все какие-то суетные мысли и текущие заботы, связанные с программой поездки и даже с домашними поручениями. Я быстро понял, что воспринять японский образ мышления мне не удастся, и покинул «Сад камней». Такое же ощущение я испытал на представлении старинного театра «Но» в Миадзиме, городке храмов и пагод. Не больше пятнадцати минут смог я прослушать монотонное, заунывное песнопение хора и смотреть на стилизованно замедленное топтание на месте главного и, по сути дела, единственного действующего лица — актера в женской маске и огромном парчовом одеянии. А зрители смотрели, затаив дыхание, не отрывая глаз от сцены. Сидели мужчины и женщины, старые и молодые, почтенные супруги и юные парочки, интеллигенты и крестьяне. Это сидели *японцы.*

Накануне отъезда из Токио я снова посетил редакцию «Асахи». На этот раз меня принимал президент компании «Асахи Симбун» г-н Хироока, который, оказывается, еще главнее, чем главный редактор.

Действительно, на этот раз главный редактор сидел у низенького столика сбоку, а президент компании в центре. Г-н Хироока выразил сожаление, что не смог встретиться со мной раньше, поскольку он был в отъезде и только вчера вернулся из Пекина. Он выразил надежду, что моя поездка по Японии была для меня интересной и приятной.

В этот момент в кабинет внесли большой картонный ящик.

— Мы просим вас,— продолжал г-н Хироока,— принять этот скромный подарок на добрую память о нашей встрече — шлем японского самурая...

— Позвольте мне, уважаемый г-н президент компании,— начал я, откашлявшись,— подчеркнуть прежде всего те искренние и дружественные чувства, которые...

Первый секретарь посольства тихонько толкнул меня в бок.

— Не надо длинных речей,— сказал он вполголоса,— скажи просто: я побывал в вашей стране и очень рад.

«А ведь верно,— подумал я.— В этом вся суть».

И действительно, я очень рад, что побывал в Японии.

«Кильская неделя»

22 июня 1971 года минуло ровно тридцать лет с той зловещей ночи, когда, осуществляя тщательно продуманный и подготовленный план «Барбаросса», гитлеровские армии по-разбойничьи обрушились на советскую землю, неся пожары, разрушения, смерть.

Тридцать лет...

И так случилось, что эту недобрую годовщину мне доводится встретить на немецкой земле. Я — в западногерманском городе Киле.

С понятным интересом открываю я утром 22 июня местные газеты. И сразу вижу передовую статью под крупным заголовком «Черный день 30 лет назад. К нападению на Россию».

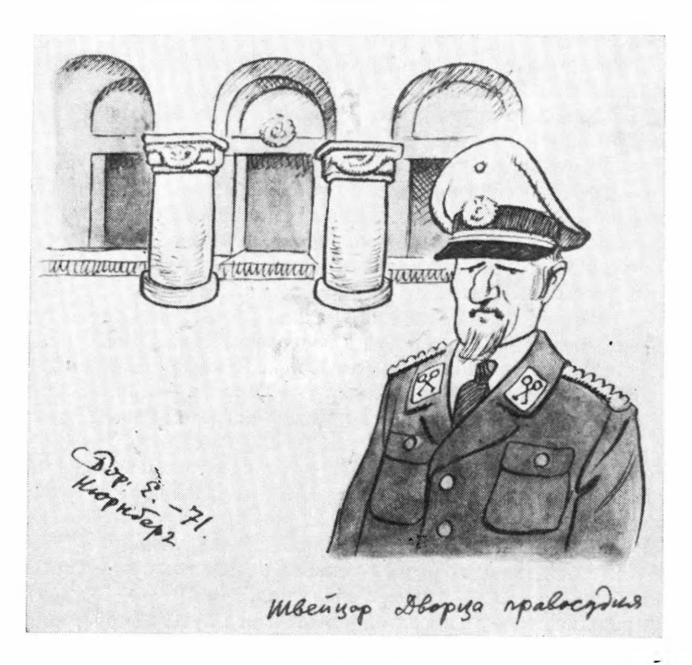
«Еще в два часа ночи 22 июня 1941 года,— гласят первые строки этой статьи,— советский товарный поезд пересек Буг у Брест-Литовска, следуя в западном направлении, а спустя 75 минут двинулась в восточном направлении военная машина великогерманского рейха».

Заканчивалась эта статья так:

«Обращаясь к урокам прошлого, мы прежде всего должны сказать: это не должно повториться! По-новому строятся теперь отношения между странами, и эти изменения укрепляют надежды и перспективы на улучшение отношений между СССР и ФРГ».

Мне приятно вспомнить здесь о мероприятии, в котором мне посчастливилось принять участие и которое явилось одной из «первых ласточек» культурных контактов между СССР и ФРГ — Выставке советского графического искусства в главном городе западногерманской земли Шлезвиг-Гольштейн—Киле.


95. Швейцар Дворца правосудия. 1971



...Вместе с художником Рубеном Вардзигулянцем мы проделываем довольно сложный воздушный путь. Сначала Москва — Амстердам. На этом оживленнейшем авиаперекрестке Европы проводим больше трех часов, не уставая глазеть на немыслимо пеструю, карнавально причудливую толпу пассажиров, нескончаемыми потоками движущихся по горизонтальным и наклонным эскалаторам вокзала. Вот это зрелище!

Переливаясь всеми цветами радуги, проплывают перед нами бородатые «хиппи» со своими подругами — и те и другие в затертых до блеска джинсах и ярчайших ковбойских шляпах; сиреневато-седовласые американки в бирюзовых брючках и оранжевых пончо; туристы, спортсмены, бизнесмены в дорожных куртках и жокейских безрукавках, в мушкетерских камзолах и кружевных панталонах, усыпанные бесчисленными значками, эмблемами и нашивками, увешанные кино- и фотоаппаратами, вдоль и поперек пересеченные застежками-молниями, ремнями и портупеями. Перед нами проходят десятки и сотни неописуемых персонажей, как будто специально придуманных и оформленных для этого фантасмагорического ревю.

Смотрю и думаю: а ведь всего несколько лет тому назад это было бы абсолютно немыслимо. Люди одевались просто, сдержанно. Хорошим тоном считалось не привлекать внимания, не выделяться своим нарядом. В дорожной толпе преобладали спокойные неяркие тона, серые или бежевые плащи, макинтоши, пальто. Что случилось с планетой? Когда и откуда взялась эта вакханалия пестроты?

Такие пуританские мысли мелькают у меня в голове, и одновременно я ловлю себя на том, что мне приятно и весело глядеть на этот многоязыкий, многоцветный «вавилон» и даже немного неловко за свой стандартный скучный костюм.

Однако пора на посадку. В длинном гибком «присоске», соединяющем аэровокзал с самолетом, медленно движется очередь пассажиров. Даже слишком медленно — временами создается маленький затор. В чем дело?

Оказывается, отлетающие подвергаются личному досмотру, правда, весьма поверхностному — просто два улыбающихся полицейских проводят руками вдоль туловища, просят повернуться спиной и повторяют ту же процедуру. С дамами эту операцию производит женщина в полицейском мундире. Пассажиры тоже улыбаются, острят — никто не в претензии. Все понимают, что наличие оружия проверяется в связи с участившимися за последнее время случаями угона самолетов.

Первая посадка нашей «Люфтганзы» уже на территории ФРГ, в Бремене, где совершаются краткие пограничные формальности, а следующая — в аэропорту Гамбурга.

В Гамбурге нас никто не встретил, и мы, постояв некоторое время в ожидании, двинулись к выходу в город. Но тут нас остановил молодой человек с модно опущенными вниз, как у древнего викинга, усами.

— Господин Ефимов? — обратился он ко мне.

— Да,— несколько удивленно ответил я,— а каким образом...

— О, я вас тотчас узнал по описанию господина Вернера Истеля, который недавно познакомился с вами в Москве. Меня зонут Брандт. Ганс-Петер Брандт. Мне поручено встретить вас и доставить в Киль.

Обменявшись приветствиями, мы направились к выходу из аэровокзала. По дороге я спросил:

— Если это не секрет, дорогой господин Брандт, то мне интересно знать, как именно описал меня господин Вернер Истель. Что-нибудь вроде того, что вы увидите лысого старикашку, похожего на лягушку?

— О, нет! — рассмеявшись, ответил Брандт.— Он сказал, что я встречу пожилого господина, очень живого и подвижного в свои восемьдесят два года.

— Восемьдесят два? — переспросил я.

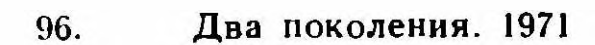
— Да. А что?

—Нет, нет, ничего. Господин Истель весьма любезен. Мы с ним подружились в Москве, и я буду рад снова встретиться с ним в Киле.

Брандт сел за руль темно-синего «мерседеса», и мы помчались. Наш спутник, как мы потом узнали, был одним из тех кильских деятелей культуры — художников, журналистов, архитекторов, которые были привлечены магистратом для встреч, сопровождения и помощи прибывающим в Киль гостям. С Гансом-Петером Брандтом нам просто повезло: он оказался на редкость симпатичным и гостеприимным гидом, с которым мы очень подружились, переименовав его вскоре в «Ивана Петровича», а потом и просто стали называть Ваней. По профессии архитектор, он работал в городском строительном управлении и принадлежал к тому молодому поколению трудовой германской интеллигенции, которое полностью освободилось от шовинистических предрассудков и антисоветской предвзятости, проявляя, как мы лично в том убедились, искренний интерес к культурной жизни СССР, дружелюбие к советским людям.

На следующий день назначено торжественное открытие «Кильской недели», но еще до того с утра нам показывают одно из самых забавных и трогательных ее мероприятий — детский художественный конкурс.

Для этого в распоряжение малышей предоставлено в восьми городских районах несколько улочек, полностью закрытых для транспорта. Каждому из юных живописцев предоставляются краски, кисти, ведерко с водой и маленький участок асфальтовой мостовой. Задание для всех общее — надо изобразить цветок, человека и жука.


96. Два поколения. 1971



И вот пестрым красочным ковром с сотнями цветков и жуков (с изображением человека справились далеко не все) покрылись конкурсные улицы. Неописуемо забавна эта протянувшаяся на сотни метров многоцветная наземная фреска, сотни и тысячи с детской непосредственностью нарисованных ромашек и одуванчиков, сотни и тысячи смешных человечков, изображенных по принципу «точка, точка, огуречик — вот и вышел человечек», сотни и тысячи невероятных жуков, не известных ни одному энтомологическому атласу... Уморительное зрелище представляют собой измазанные красками крохи, трудолюбиво орудующие своими

художественными принадлежностями и ревниво поглядывающие при этом на работу «конкурентов». Если кончается краска или иссякает вода, то на помощь немедленно приходят дежурящие на конкурсе парни из добровольной пожарной команды.

Веселый гомон и щебетанье ребят, потешные «творческие споры» и пререкания между маленькими «рембрандтами» и «дюрерами»» разносятся далеко вокруг. С полной серьезностью знакомится с готовыми произведениями и «жюри» конкурса. Объявлено, что будут отмечены 100 лучших работ и эти 100 маленьких лауреатов будут приглашены обер-бургомистром Бантцером на веселый праздничный прием в ратуше.

В день торжественного открытия «Кильской недели» выдалась прекрасная солнечная погода. Тысячи людей собрались на огромном зеленом лугу перед зданием ратуши. Видимо, желая подчеркнуть прогрессивные веяния времени, социал-демократическое руководство Киля решило, в отступление от старых традиций, что праздник «Недели» откроет не президент города, не обер-бургомистр и не какой-нибудь другой почтенный представитель властей, а одиннадцатилетний школьник Рихард Хёне, удостоенный этой чести за то, что занял первое место на городском конкурсе художественного чтения. Веселым звонким голосом светловолосый мальчик в алой «водолазке», подстриженный, как средневековый паж, произнес традиционную формулу открытия «Кильской недели»:

— Пусть будет восемь дней солнца и восемь дней ветра! Той-той-той!

Это пожелание было дружно подхвачено многоголосым хором толпы, но, к сожалению, оправдалось далеко не полностью: если с ветром, к радости участников парусной регаты, дело обстояло в общем благополучно, то солнце в дни «Недели» показывалось, увы, редко. Зато частенько шел дождь, в котором не было ни малейшей надобности.

После Рихарда Хёне к собравшимся обратилась президент города Киля г-жа Ида Хинтц, пожилая дама, весьма эффектная в нарядном белом костюме с вышитой на лацкане голубой эмблемой, а вслед за ней еще один президент Киля, только не западногерманского, а североамериканского из штата Висконсин, мистер Генри Стэйдж. Русское выражение «город-побратим» переводится на немецкий язык «швестерштадт», то есть «город-сестра». И участие в праздпестве представителей заокеанской «сестры» стало одной из забавных деталей «Кильской недели». По окончании митинга на зеленом лугу широко раскрылись массивные двери ратуши, и туда чинно и дисциплинированно устремилась собравшаяся публика. Мы тоже включаемся в этот людской поток и медленно движемся вместе со всеми по вестибюлям, лестницам и коридорам магистрата к залу заседаний. Тут, однако, движение толпы замедляется и даже образуется маленький затор. В чем дело? Оказывается, у входа в зал стоят с большими подносами официанты в белых кителях и выдают каждому гостю по микроскопической стопочке водки. В главном зале ратуши свирепствуют кинооператоры и радиокомментаторы, невыносимый жар исходит от осветительной аппаратуры, клубится ароматный дымок сотен сигар. С некоторым изумлением глядим мы на еще не привычные для глаза вечерние туалеты светских дам, многие из которых явились на прием в шелковых трусиках розового или лимонно-желтого цвета, вошедших недавно в моду под названием «Hot pants», что в переводе с английского означает «горячие штанишки». На ногах у дам сандалии с ремнями, переплетенными на античный фасон до самых колен.

Мы на борту комфортабельного теплохода «Том Киле», что, как выяснилось потом, не имя и фамилия, а означает на старинном местном диалекте «У Киля». Красивый белый корабль переполнен — поездка на «Том Киле» должна предоставить почетным гостям «Недели» возможность в самой непосредственной близости увидеть центральный и самый захватывающий номер ее программы — состязания парусных яхт всех спортивных классов.

Гости, как правило, одеты по-спортивному, хотя являются не столько участниками, сколько зрителями: лихие морские фуражечки с золотыми гербами различных яхт-клубов, эффектные свитера с живописными нашивками, элегантные непромокаемые куртки с капюшонами, «водолазки» всех оттенков спектра. Всеобщее внимание привлекает пара августейших спортсменов — это греческая королевская чета в изгнании: Константин Второй (ярко-синий пиджак, широкие светло-серые брюки, белая «водолазка») и его супруга Анна-Мария Датская (голубой пуловер, узкие темно-синие джинсы).

...Нас пригласили на встречу с группой местных художников-любителей. Они объединены в нечто среднее между творческой мастерской и искусствоведческим кружком, где периодически собираются, показывают друг другу свои работы, сравнивают, обсуждают, спорят о новых явлениях в области искусства.

Вход со двора, через довольно плохо освещенный коридор в более чем скромно обставленное просторное помещение. Простая непринужденная обстановка. Здесь и длинноволосые юнцы, и пожилые дамы, и смешливые девицы, и скептически настроенные старички. Советских людей видят здесь, по-видимому, впервые и встречают их с доброжелательным любопытством. Нас с Вардзигулянцем представляет присутствующим руководитель мастерской художник Хорст Ригер, высокий, плотный, немногословный мужчина. (Потом, между прочим, выяснилось, что он воевал на Восточном фронте, попал под Воронежем в плен и сохранил о нем в общем добрые воспоминания, а также десяток-другой русских слов.)

Для установления дружеского контакта с аудиторией я произношу небольшое и чуть-чуть шутливое вступительное слово, после чего мы приступаем к главному — показу диапозитивов с произведений советского искусства. Их смотрят с большим интересом, некоторые слайды просят подержать подольше или повторить, раздаются одобрительные восклицания, задаются вопросы о возрасте, биографии, творческом пути отдельных художников. В общем демонстрация работ советских живописцев, графиков, прикладников, скульпторов, показанная в широком жанровом, хронологическом и национальном диапазоне, произвела большое впечатление. Должен сказать, что этот показ произвел в свою очередь большое впечатление и на нас, но совсем в другом смысле. Мы были буквально ошарашены, чтобы не сказать потрясены, тем фактом, что для большинства собравшихся здесь любителей искусства, культурных людей большой центральноевропейской страны, показанные нами произведения советской изобразительной классики явились *открытием*. Да, да! Эти художники, искусствоведы, эрудированные критики, студенты *впервые* увидели работы Дейнеки, Сарьяна, Кончаловского, Фаворского, Петрова-Водкина, Иогансона... Было досадно и обидно за этих искренних и любящих искусство людей, так обокраденных политикой «холодной войны», господствовавшей здесь добрых (вряд ли, впрочем, это слово здесь уместно...) два десятка лет.

Открытие выставки «Советская графика» происходит в так называемой «Соннинхалле» — удобном и вполне современном экспозиционном зале, пристроенном к массивной круглой башне старинного кильского замка. Зал оборудован легкими изящными стендами, на которых чрезвычайно удобно для обозрения разместилось более двухсот офортов, гравюр и литографий, созданных художниками Москвы, Ленинграда, Киева, Таллина, Свердловска, Кишинева, Еревана и многих других городов нашей страны.

«Соннинхалле» залита жарким светом «юпитеров». Зал переполнен. Присутствуют городские власти во главе с «президентшей» города Киля Идой Хинтц. Торжественный вернисаж открывает приветственной речью импозантный представительный мужчина — обер-бургомистр Гюнтер Бантцер. Он произносит любезные гостеприимные слова в адрес советских гостей, подчеркивает важность и полезность культурных контактов между нашими странами. Потом слово предоставляется мне.

В кильской ратуше очередной торжественный прием. На этот раз в честь прибывшего на «Кильскую неделю» президента ФРГ Густава Хейнеманна. В числе прочих гостей президенту представляют и нас.

— Вы впервые в наших краях? — спрашивает г-н Хейнеманн.

— Мне не раз приходилось бывать в Германии,— отвечаю я,— но в Федеративной Республике и, в частности, в Киле первый раз.

— Ну и что? Оказывается, тут тоже люди живут и работают,— с шутливой интонацией говорит Хейнеманн.

— Да, господин президент.— отвечаю я в том же стиле,— и даже очень симпатичные люди.

Далее президент очень одобрительно отзывается о советской графике и с благодарностью принимает нашу просьбу отобрать для себя на память любое из экспонированных произведений, тут же припоминая эстамп, который ему особенно пришелся по душе. Это — лирический русский пейзаж ленинградского графика Б.Ермолаева.

Мы провели в Киле еще несколько дней, окруженные неизменными вниманием и дружелюбием, заключительным проявлением которых было предоставление нам возможности посетить Нюрнберг, о чем я уже рассказывал.

Юбилей в Копенгагене

Дул злой ледяной ветер и свирепствовал крепкий мороз, когда мы вышли на летное поле Внуковского аэропорта. Из Копенгагена в Москву прибывал выдающийся художник, сатирическое и юмористическое искусство которого было мне давно и хорошо известно, но с ним лично я не был знаком. С большим удовольствием я принял поручение встретить гостя, приветствовать его от имени советских коллег и проводить в гостиницу.

Самолет приземлился. Застегнув шубу на все пуговицы и поглубже надвинув ушанку, я двинулся навстречу прилетевшим пассажирам, среди которых сразу опознал художника по его собственным автошаржам. К моему ужасу, на нем были маленький спортивный берет и легкий дождевой плащ.

— Но вы же простудитесь! — завопил я. — Скорей в помещение!

— О, ничего, ничего,— ответил он, невозмутимо улыбаясь,— мне совсем не холодно.

Такова была моя первая встреча с Херлуфом Бидструпом.

Мне не раз приходилось выступать о нем в печати, рассказывать о его великолепном искусстве, всегда удивляясь при этом, как органично

и слитно уживаются в нем как бы два разных художника: беспощадный злой сатирик и добродушный мягкий юморист. Кажется непостижимым, что из-под одного и того же карандаша с равным успехом и блеском появляются и разящая политическая карикатура, и комическая жанровая сценка. Далеко не каждому сатирику это дано!

«Две половинки» Бидструпа чудесно дополняют друг друга — в резких бичующих сатирах живет веселый озорной юмор, а в милых, «чисто юмористических» картинках проступает лукавый сатирический подтекст.

И трудно сказать, в чем Бидструп сильнее — в прямых, «лобовых» сатирических ударах или в тонком завуалированном ироническом иносказании: выразительно и ярко проявляют себя обе грани его таланта, часто сочетаясь в рамках одного и того же рисунка.

Известно, что первой работой Бидструпа, опубликованной в печати и ставшей началом его творческой биографии, была карикатура на Гитлера. Об этом стоит рассказать подробнее.

Шел 1936 год. Невесело было на душе у выпускника Школы живописи при Академии художеств в Копенгагене. Мастерство молодого художника, приобретенное в Школе, не находило в буржуазной Дании никакого применения. Рассчитывать на то, что местные «маршаны» — перекупщики — будут приобретать картины никому не известного живописца, было по меньшей степени наивно. Тем более, что социальные и общественно-политические темы, волновавшие молодого художника,— наступление фашизма и опасность войны в Европе — не интересовали буржуазных «меценатов», поддерживавших и предпочитавших заумное, абстрактное искусство, далекое от реальных жизненных проблем. Международная обстановка была тяжелой и напряженной. Все более наглым и угрожающим становилось поведение германских фашистов. Зловещая тень гитлеровской агрессии уже ложилась на Европу, в том числе и на маленькую Данию, родину Бидструпа. Сидя однажды вечером у радиоприемника, Бидструп услышал очередную воинственную истерику «фюрера», и ему вдруг захотелось нарисовать Гитлера таким, каким он представлялся художнику в этот момент, используя при этом опыт своих школьных карикатур на товарищей и учителей. Херлуф взялся за карандаш. Получилась еще не в полном смысле слова политическая карикатура, но очень убедительная комическая серия зарисовок то спесивой, то разъяренной, то плаксивой физиономии захлебывающегося собственным красноречием оратора. В сочетании с подлинными цитатами из речи Гитлера рисунок производил убийственный сатирический эффект.

Орган Народного фронта Дании, журнал «Культуркампен» напечатал эту карикатуру, снабдив ее заголовком «Рисунки Бидструпа. Текст Адольфа Гитлера». То был не только день рождения Бидструпа-сатирика. Это было и началом общественной деятельности Бидструпа-публициста, антифашистского бойца, ощутившего в своих руках действенное оружие, с которым он с этого момента получил возможность принять участие в борьбе против всего, что было ему ненавистно,— против фашизма, реакции, угнетения, расизма.

Сатирическое творчество Бидструпа подлинно интернационально. Оно доступно и понятно в любой стране мира. Оно сближает и объединяет людей, говорящих на разных языках, связывая их нитями веселой улыбки или гневного смеха, мобилизуя их чувства умной шуткой или колючим сарказмом, всегда подчиненными доброй цели — высмеять и обличить все низменное, аморальное, человеконенавистническое. Искусство Бидструпа признано и любимо в Советской стране. Альбомы его рисунков не залеживаются на прилавках книжных магазинов. С этим даже связан маленький забавный факт: устав отвечать на бесконечные вопросы покупателей, работники большого книжного магазина в Москве выве-



97. Х.Бидструп, Б.Ефимов, Ж.Эффель. 1969

сили лаконичный, но не слишком точно сформулированный плакат — «Бидструпа в продаже нет». Это звучало курьезно и вызвало улыбку у самого Бидструпа, когда я рассказал ему об этом при встрече на Внуковском аэродроме, о которой я уже упоминал. Однако в этом анекдотическом плакатике (впоследствии в него было внесено исправление: «Альбомов Бидструпа в продаже нет»), который висит теперь в качестве сувенира в мастерской художника, я вижу более глубокий, символический смысл. Надо вспомнить первые этапы творческой биографии Бидструпа, когда его не соблазнили крупные гонорары и щедрые посулы буржуазных газет, весьма заинтересованных в сотрудничестве молодого талантливого художника, завоевавшего успех у читателей. Однако Бидструпа не удалось купить. Он предпочел скромную, во много раз меньшую оплату в коммунистической газете «Ланд ог фольк», в которой он работает с момента освобождения Дании от гитлеровской оккупации по сей день, помещая острые политические карикатуры под рубрикой «Ежедневный Бидструп» и еженедельные юмористические серии.

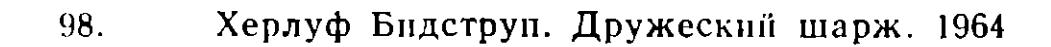
Да, «Бидструпа в продаже нет»... Его сатирическая муза неподкупна. Душой и сердцем он в строю социалистического лагеря, в рядах бойцов за мир и безопасность народов.

Подобно дозорному, Бидструп зорко следит за событиями в мире. От его внимания не ускользает ни один факт международной политики, и сатирические стрелы, пущенные его опытной рукой, метко попадают в цель.

Многолетний творческий труд Бидструпа отмечен в 1964 году присвоением ему почетного звания лауреата Международной Ленинской премии. Золотая медаль с изображением великого вождя, которую с гордостью носят виднейшие общественные деятели мира, впервые была вручена художнику-карикатуристу, и это явилось знаменательным призна-

нием роли и значения сатирического оружия в борьбе за мир. Это признание завоевал своей неутомимой деятельностью, своим бичующим и жизнерадостным смехом скромный, немногословный человек с рано поседевшей головой и по-детски застенчивой улыбкой.

10 сентября 1972 года Херлуфу Бидструпу исполнилось шестьдесят лет. Чествование художника, прославившего на весь мир сатирическое искусство своей родной страны, происходило отнюдь не в конференц-зале Академии художеств или в каком-нибудь другом центральном зале датской столицы.



98. Херлуф Бидструп. Дружеский шарж. 1964

Нет, для проведения юбилейного собрания арендовали весьма скромное, хотя и достаточно просторное помещение в одной из окраинных городских школ. И это, между прочим, как нельзя лучше подчеркивало демократический характер творчества юбиляра, его близость народу, живую связь с интересами и чувствами простых людей.

И люди пришли сюда как-то попросту, по-рабочему, целыми семьями, захватив с собой и малых ребят, которые (что греха таить) подчас нарушали чинный порядок торжественного собрания, непринужденно резвясь в непосредственной близости от ораторской трибуны.

Кстати сказать, одна такая шалунья сидела на коленях у своей молодой мамы как раз за моей спиной и, еле удерживаясь от смеха, время от времени толкала меня ножками. Я строго оборачивался и даже грозил ей пальцем, еще не зная, что у девочки имеются на это торжество особые права: озорница оказалась родной внучкой Херлуфа Бидструпа.

Программа чествования началась отнюдь не с появления на трибуне многочисленного президиума и не с полуторачасового доклада о творческом пути юбиляра, снисходительно слушающего приветственные речи, рассевшись на сцене в мягком кресле.

99. Хольгер Датчанин. 1972



Нет, этого ничего не было. Просто вышла на подмостки молодая девушка и под аккомпанемент рояля исполнила песни и стихи Бертольта Брехта. Потом заговорили о Бидструпе, который сидел в зале рядом с женой и первым секретарем Датской коммунистической партии. Говорили просто и задушевно, без шаблонного красноречия и юбилейных трафаретов. Никто, в частности, не произнес традиционную остроту о том, что тебе, дескать, дорогой Херлуф, исполнилось вовсе не шестьдесят лет, а два раза по тридцать. Никто не пытался многословно «пересказать своими словами» заранее написанный текст в дерматиновой папке. Гово-

рили без малейшей официальности и по-серьезному, но не без юмора, — в зале то и дело вспыхивал смех. Саркастической иронией было пронизано выступление выдающегося датского писателя Ганса Шерфига, остроумно высмеявшего правящие круги Дании, злобно бойкотирующие Бидструпа, делающие вид, что они абсолютно не замечают прославленного художника, любимого миллионами людей. Потом наступил, пожалуй, самый торжественный момент: прозвучало слово великой социалистической державы, обращенное к художнику, борющемуся своим искусством за мир и социализм. На трибуну поднялся посол Советского Союза. Он огласил Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Херлуфа Бидструпа орденом Трудового Красного Знамени, которым была увенчана многолетняя активная деятельность сатирика в защиту мира, его вклад в укрепление дружбы между народами Дании и Советского Союза.

Долго и дружно гремели рукоплескания. Все встали. Взволнованный Бидструп как-то растерянно разводил руками, обернувшись к залу, и мне показалось, что на глаза его навернулись слезы.

Чествование продолжалось. Был показан веселый мультипликационный фильм, сделанный в Москве по рисункам Бидструпа, после чего наступила очередь нашей маленькой делегации. Народный художник СССР Таир Салахов и я принесли юбиляру самые сердечные поздравления от Союза художников СССР, Академии художеств СССР, «Правды», «Известий», «Крокодила», от всех сатирических журналов советских республик, от «Союзмультфильма», от миллионов почитателей таланта Бидструпа в нашей стране. Мы вручили ему почетные грамоты и разнообразные подарки.

Не скрою, что особенно веселое оживление в зале вызвало подношение юбиляру только что выпущенной новой марки отличного коньяка «Херлуф Бидструп» с автошаржем художника на этикетке. Впрочем, все быстро догадались, что бутылка эта существует в единственном экземпляре и оформлена специально для данного случая.

В заключение выступил сам Бидструп. Как-то странно и непривычно было видеть его, всегда невозмутимого и спокойного, смущенным и взволнованным. И явно не по себе было ему в темном вечернем костюме с галстуком, а не в обычной спортивной рубашке с расстегнутым воротом. Негромко и немногословно поблагодарив за оказанное ему внимание (по его мнению, чрезмерное) и особенно за высокую награду Советского государства, он перешел к краткому отчету о своей творческой деятельности. Это было сделано в довольно оригинальной форме: вооружившись угольным карандашом, Бидструп подошел к развернутому на сцене пятиметровому листу бумаги и начал набрасывать физиономии хорошо знакомых читателям персонажей его политических карикатур в хронологическом порядке. Он начал с бесноватого «фюрера» и закончил сегодняшними приверженцами «холодной войны» и антикоммунизма.

Появление каждого нового шаржа из-под уверенной руки карикатуриста зал встречал взрывом смеха. «Героев» сатиры Бидструпа узнавали сразу, после первых двух-трех штрихов.

Торжественное собрание закончилось, но юбилейное веселье продолжалось, сначала в отличном клубе профсоюза маляров, а потом до позднего вечера в уютном крестьянском домике семьи Бидструпов в селении Лиллерёд.

Мы с Салаховым были в Лиллерёде и накануне с интересом разглядывали предельно скромную и вместе с тем отмеченную благородным вкусом обстановку, в которой живет и работает знаменитый художник.

После обеда Херлуф сел за руль своего маленького автомобиля и повез нас в Эльсинор, где на берегу моря высится величественный

и грозный замок-дворец Кронборг. Мы переходили из одного рыцарского зала в другой, поднимались и спускались по крутым каменным лестницам, и вокруг нас, казалось, возникали тени благородного принца Гамлета, коварного короля Клавдия, несчастной Офелии и других, обитавших здесь, по свидетельству Уильяма Шекспира, героев бессмертной трагедии.

Уже смеркалось, когда мы вышли во внутренний двор замка и через массивную железную решетку спустились в казематы — извилистые и мрачные подземелья, скупо освещенные тускло мерцающими лампами. В одной из этих катакомб мы остановились возле каменного изваяния. Это был спящий крепким сном Хольгер Датчанин — легендарный герой, просыпающийся, согласно древнему поверью, когда Дании грозит опасность.

Я не знаю, проснулся ли Хольгер Датчанин, когда на датскую землю обрушилось гитлеровское нашествие. Но хорошо известно, что другой, в ту пору еще молодой датчанин — Херлуф Бидструп — в это страшное для его родины время бодрствовал и его сатирические рисунки, бичевавшие захватчиков и их приспешников, заняли почетное место в датском музее Сопротивления.

Херлуф Датчанин и по сей день на своем воинском посту. Не спит его грозная муза, неутомимо разящая неофашистов, реваншистов, расистов всех мастей. Зорок глаз и всегда в боевой готовности сатирическое оружие художника-коммуниста, интернационалиста, патриота.

По Болгарии с композиторами

Сентябрь 1945 года — сентябрь 1962-го.

Итак, ровно семнадцать лет спустя я снова на болгарской земле, снова шагаю по улицам, бульварам и площадям Софии с обостренным любопытством человека, после долгого перерыва посетившего знакомые места, осматриваюсь вокруг, наблюдаю, сравниваю... Совсем по-другому предстает сегодня передо мной столица Болгарии — не израненная бомбардировками, не обожженная огнем войны, а помолодевшая, цветущая, нарядная. Ушли в прошлое суровые приметы пронесшегося над страной военного шквала. На месте закопченных развалин поднялись новые современные здания, красивые отели, универмаги. А рядом с ними я узнаю и с теплым чувством приветствую старых знакомых, нисколько не постаревших и не изменившихся за прошедшие годы,— таких как церковь «Святой Недели», храм-памятник Александра Невского или древнейший свидетель событий многовековой истории Болгарии мечеть Буюк-Джамия, где разместился Археологический музей.

Семнадцать лет назад я стоял перед ними в майорских погонах спецкора газеты «Красная звезда», колесившего в потрепанной автомашине по освобожденным странам Европы. А сегодня я мирный турист, комфортабельно путешествующий в группе известных московских композиторов, среди которых волею судьбы и Интуриста оказались и немногочисленные представители изобразительного искусства. Толково составленная туристическая программа плавно и заботливо ведет нас по живописным дорогам Болгарии, переносит из города в город, раскрывает красоты суровых горных вершин и золотых приморских пляжей, исторических достопримечательностей и социалистических строек.

Мы встречались с болгарскими композиторами и художниками, журналистами и виноградарями, рабочими и общественными деятелями. Обменивались сердечными изъявлениями дружбы, говорили об искусстве, слушали болгарскую и советскую музыку, пели песни, пили молодое болгарское вино. Надо сказать, что близкое, хотя бы и временное, общение

с музыкальными деятелями создает, по-видимому, определенный угол зрения и подсказывает соответствующие литературные сравнения. Так, например, мне хочется сказать, что наше путешествие по Болгарии было похоже на своеобразную симфонию, в которой воедино слились разнообразные мотивы — и дружелюбие людей, и обаяние природы, и красота древнего зодчества, и величие исторических памятников, хранящих славу русского оружия, дважды освободившего страну из-под чужеземного ига.

В эту туристическую симфонию органически вплетались и отдельные «сольные» номера. Это, скажем, звонкая и красочная мелодия Боянской церкви, на стенах которой неизвестный художник средневековья создал поразительные по жизненности и проникновенности фрески, изображающие болгарского царя Калояна, его жену Десиславу и их придворных.

А в городе Пловдиве мы восхищались великолепной золотой «сонатой» — найденным в 1949 году кладом, настоящим чудом античного ювелирного искусства. Это древнефракийский винный прибор, состоящий из филигранно выкованных из чистого золота блюд, амфор и кубков в виде богов, богинь, кентавров и других мифологических персонажей.

Еще раз подтверждая, что архитектура — это окаменевшая музыка, Шипкинский мемориал — мощный гранитный монумент, воздвигнутый на вершине Столетова, звучит торжественным и суровым реквиемом. Здесь, на легендарном Шипкинском перевале, куда нас приводит петляющая по лесистому склону горы дорога, восемьдесят лет назад стояли насмерть русские солдаты и болгарские ополченцы, преграждая путь многотысячной и отлично вооруженной турецкой армии.

И стоя у бронзового льва, как бы охраняющего памятник и символизирующего доблесть защитников Шипки, нельзя было не вспомнить знаменитый триптих В.В.Верещагина, полотно, изображающее занесенного ледяной метелью и стоически замерзающего на своем посту русского солдата, которое художник с горькой иронией назвал трафаретной строчкой из официальных сообщений царского штаба: «На Шипке все спокойно»...

А потом — как бы задуманный неведомым талантливым композитором контрастный переход от величественно-траурного марша Шипки к жизнерадостной ликующей пасторали казанлыкской Долины роз. Кстати сказать, миллионы растущих здесь благоуханных цветов не только услаждают зрение и обоняние, но и обеспечивают экспорт драгоценного розового масла, составляющего серьезную статью дохода в бюджете республики.

Мы с интересом разглядываем котлы, перегонные аппараты и другое техническое оборудование казанлыкского «розового» завода, превращающего поэтические лепестки в прозаическую товарную продукцию. Мы узнаем попутно, что для получения одного литра розового масла нужно загрузить в котел пять тонн роз. С удовольствием приобретаем мы благовонные сувениры — флакончики с розовой водой, которая накапливается в результате периодического прополаскивания котлов и находится по отношению к розовому маслу примерно в таком же соотношении, как какой-нибудь пятисотый литографский оттиск по отношению к оригиналу рисунка.

Заключительной частью нашей туристической симфонии был «Солнечный берег» — поэма о замечательном мастерстве болгарских архитекторов и строителей, за три года превративших пустынный участок черноморского побережья в чудесный курортный город, вобравший в себя и бесконечную ленту золотистых песков, и живительный морской воздух, и глубокую синеву неба, и белоснежное разнообразие многоэтажных отелей, изящных коттеджей, казино и ресторанов, живописной вере-

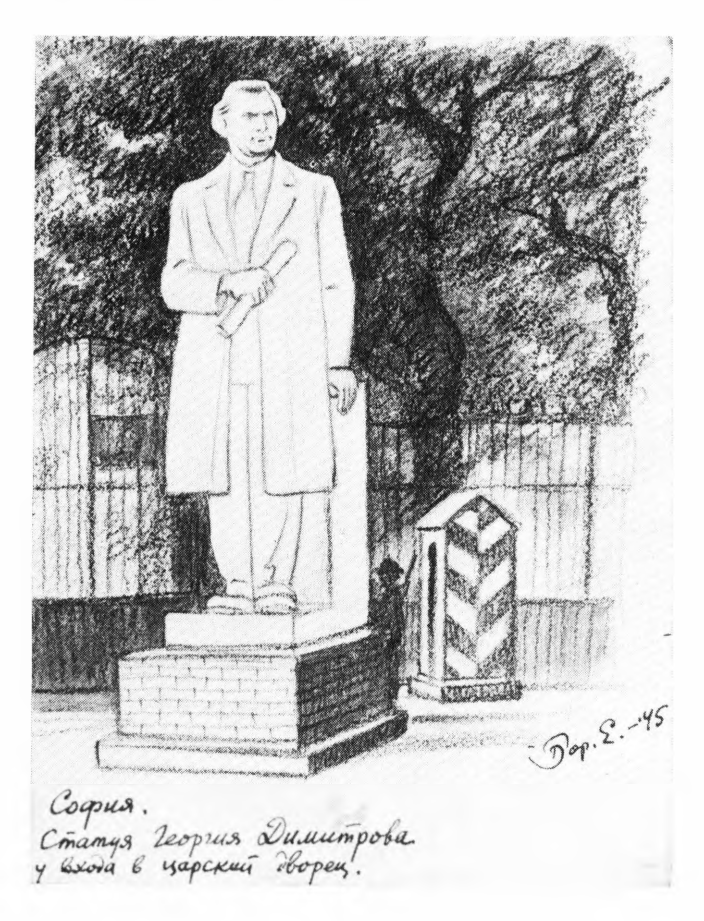
ницей выстроившихся вдоль многокилометрового пляжа от турецкой до румынской границы Болгарии. Великолепные климатические и природные достоинства «Солнечного берега» привлекают посетителей многих далеких и близких стран. Пестрая веселая курортная публика населяет «Юпитер», «Аполлон», «Юнону», «Орфей», «Арион», «Архелой» и другие отели, носящие, как правило, античные названия. (Нашей группе выпала судьба остановиться в «Венере».) Тысячами неоновых вывесок, реклам и огней сверкает «Слынчев бряг», шумит и звенит многоголосым говором, оркестрами, молодежными песнями.

100. Советские композиторы. Дружеские шаржи. 1961



Между прочим, общение с композиторами сказалось в те дни и на моей профессиональной работе как карикатуриста. Может возникнуть законный вопрос: в каком плане могут соприкасаться музыка и политическая сатира? Ответ очень простой: в арсенале художника-сатирика могут применяться любые изобразительные приемы и метафоры, в том числе и музыкальные. И когда редакция болгарской газеты «Земеделско знаме» во время нашего пребывания в Софии обратилась ко мне с просьбой сделать политическую карикатуру, у меня сразу как-то сам собой возник сюжет «Международного танцевально-музыкального обзора».

101. Статуя Георгия Димитрова. 1945



Продолжая придерживаться музыкальной терминологии, я хотел бы описать небольшое оригинальное «интермеццо», едва не ставшее непредвиденным финалом нашей болгарской «симфонии».

Дело было в Бургасе, куда мы прибыли, чтобы согласно программе совершить экскурсию морем в старинный городок Созопол. Веселой гурьбой поднялись мы на борт «Коварны», еще не подозревая, насколько она в самом деле коварна. Напротив, чистенько выкрашенное белой краской, сияющее металлом поручней и иллюминаторов суденышко берегового плавания производило самое симпатичное впечатление, и мы



102. Выступление в музее Г.Димитрова в Софии. 1979

предвкушали приятную морскую прогулку. Скоро наш кораблик отчалил от пристани и бойко устремился из бухты в открытое море, покрытое премилыми белыми барашками, на которые мы вначале как-то не обратили должного внимания.

Однако не прошло и четверти часа, как обнаружилась явная диспропорция между степенью волнения на море и устойчивостью «Коварны». Боковая и килевая качки, малозаметные в порту, стали весьма ощутимы, когда «Коварна» взяла курс на Созопол. Волны начали швырять судно из стороны в сторону вместе со всем его содержимым, то есть с нами. Вначале это забавляло и даже давало повод к шуткам, но минут через двадцать нам стало не до смеха. Мажорный лад нашего настроения довольно быстро сменился минорным. Пассажиры один за другим выбывали из строя... Кто-то предложил просить командира «Коварны» повернуть катер обратно в порт. Командир ответил, что в данной ситуации это очень рискованно: при подобном волнении судно могло бы на повороте опрокинуться. Следовало идти только вперед.

— Когда же все-таки мы придем в Созопол? — нервно спрашивал у капитана популярный автор лирических песен.

— Через петнайсе-двайсе минут,— отвечал тот, стараясь улыбаться.

Минут через двадцать был задан тот же вопрос и получен тот же ответ. Прошло еще двадцать минут, и этот диалог повторился в той же последовательности.

— Да что же это на самом деле? — возопил композитор. — Когда вас ни спросишь — всегда «петнайсе-двайсе»! Будет этому конец или нет?!

Капитан (сам тоже очень бледный) беспомощно разводит руками.

Временами «Коварна» почти горизонтально ложится набок, и проходит несколько томительных секунд, пока она снова выпрямляется.

«А ведь так и перевернуться недолго...», — думали, вероятно, многие из нас, не решаясь, однако, высказать это вполне резонное соображение вслух. А люди, склонные к мрачному юмору, начали импровизировать сообщение, имеющее шансы появиться в печати по поводу нашей морской прогулки. Предполагалось, что такое сообщение будет подписано «Группа товарищей» и содержать традиционные фразы, вроде: «Нелепый случай вырвал из наших рядов...» или «В расцвете творческих сил от нас ушел...» и т. п.

...Часа через три, вместо положенных по расписанию тридцати минут, показалась долгожданная набережная Созопола. Нас ожидала гостеприимная встреча: на пристани собрались местные власти, представители Общества дружбы, пионеры с цветами, оркестр. Сходившие на берег гости имели, честно говоря, гораздо менее торжественный вид, походка их не отличалась уверенностью, кое-кого приходилось поддерживать под руки, а для одного композитора даже понадобились носилки...

Тем не менее гости тепло ответили на приветствия, приняли букетики цветов и, с удовольствием ощущая под ногами твердую землю, отправились гулять по живописным улочкам старинного городка, осмотрели скромные музейные собрания и достопримечательности, отведали местного вина и отличного винограда.

Все, таким образом, закончилось благополучно, хотя следует признаться, что не для всех трехчасовая встряска на «Коварне» прошла бесследно. Некоторым участникам прогулки в Созопол пришлось на пару дней задержаться в местной больнице для приведения в порядок своих нервов и вестибулярных аппаратов. Но большинство из нас были довольны испытанными сильными ощущениями и тем, что если не потерпели настоящего стопроцентного жюльверновского кораблекрушения, то, во всяком случае, были близки к этому. Бодро и весело двинулись мы в обратный путь. В автобусе.

Амьенские встречи

«Ну, вот и снова в Париже, — подумал я, спускаясь по трапу самолета в аэропорту Бурже. — Когда же это я был здесь в последний раз? Что-то давненько... Дай бог памяти...»

Двигаясь к выходу в пестрой толпе пассажиров, я уточнил: был в Париже семнадцать лет назад. Приехал поездом из Гавра, где на три дня пришвартовался наш туристический теплоход «Победа», совершавший круиз вокруг Европы.

На этот раз мы вместе с рижским художником-плакатистом Гунаром Кирке прилетели сюда из Москвы на открытие выставки советского плаката. Нас встречает член правления Ассоциации Франция — СССР, любезная и энергичная мадам Элен Ярош, усаживает в свой крохотный юркий «Остин» и, с необыкновенной лихостью управляя машиной, везет в город. По дороге узнаем от нее, что, поскольку мы несколько задержались с приездом, устроители выставки, не имея возможности передвинуть сроки, открыли ее два дня назад в Амьене, главном городе провинции Пикардия, куда нам и надлежит в ближайшие дни выехать.

Амьен... А что я знаю об Амьене? Запрятанное в каких-то извилинах мозга «запоминающее устройство» начинает выдавать информацию. Прежде всего выплывают воспоминания далекой молодости. 1918 год. Киев, оккупированный войсками кайзера Вильгельма. Я с интересом слежу по газетам за драматическими событиями на Западном фронте. Вот уж никак не скажешь, что «на Западном фронте без перемен», как много лет спустя назовет свою нашумевшую книгу Эрих Мария Ремарк. Нет, там несколько дней назад началось генеральное наступление германских ар-

ний — отчаянный рывок, имеющий целью прорвать фронт, взять Париж и одним ударом решить войну в свою пользу. И в шумных, кричащих, хвастливых сводках германского генштаба изо дня в день повторяется слово «Амьен». Именно этот город, важнейший стратегический пункт и узел железных дорог, немцам необходимо захватить, чтобы разъединить англо-французские войска, выйти в тыл Парижу. Однако успешно начавшееся наступление ценой неимоверных усилий и потерь остановлено союзниками под самым Амьеном. Овладеть городом немцам не удалось.

103. Амьен. Памятник Жюлю Верну. 1976



Далее из глубин памяти выплывает имя обаятельного писателя, властителя наших детских душ — Жюля Верна. Да, именно Жюль Верн. Именно он прожил в Амьене всю свою жизнь и, никуда ни разу отсюда не выезжая, написал все свои чудесные увлекательные романы о необыкновенных, наполненных захватывающими приключениями путешествиях.

Но и это еще не все. Позвольте! Ведь Амьен — это тот самый город, где был заключен недолговечный (1802—1803) Амьенский мирный договор между Англией и Францией. А договор этот, я не раз упоминал об этом в своих статьях и выступлениях, интересен для художников-сатириков тем, что вошел в историю... карикатуры. Дело в том, что Наполеон I, доведенный до белого каления едкими карикатурами английского

сатирика Гильрэя, потребовал внесения в мирный договор довольно курьезного параграфа, гласившего, что «карикатуристы, осмеливающиеся высмеивать персону или политику императора, должны быть приравнены к убийцам и фальшивомонетчикам и выданы ему головой». Можно себе представить самочувствие бедного Гильрэя... К счастью, для него все обошлось благополучно — война возобновилась, возобновились и карикатуры Гильрэя на Наполеона, а грозный параграф самолюбивого императора остался в истории классическим и нравоучительным примером чрезмерной чувствительности сильных мира сего к сатирическому оружию...

Кстати сказать, дурные примеры заразительны: примерно полтораста лет спустя нечто подобное повторилось, когда некоторые советские карикатуристы были, как известно, внесены в списки гестапо для уничтожения за недостаточно почтительные изображения Гитлера.

Итак, Амьен.

Посоветовавшись с мадам Лярош, мы с Кирке решили, что коль скоро мы все равно опоздали на открытие выставки (по-французски оно обозначается торжественным словом «инаугурация» — «Inauguration»), то имеет полный смысл ближайшие праздничные дни — субботу и воскресенье — провести в Париже. Гунару этого, естественно, очень хочется, а я, кроме того, предвкушаю удовольствие показать человеку, впервые попавшему в знаменитый город, его достопримечательности.

Оба мы получаем полнейшее удовлетворение. Как гостеприимный хозяин потчует гостя, предлагая отведать то или иное вкусное блюдо, так и я предлагаю Гунару различные маршруты, один другого интереснее и привлекательнее, вспоминая при этом, как больше сорока лет назад выполнял такую же роль гида при Ильфе и Петрове.

И снова, как бывало, вокруг меня Париж «во всей невозможной красе»...

В скором поезде Париж — Лилль удобные сидячие места — мягкие откидные кресла, как в самолете. Мадам Элен нас не сопровождает, ограничившись напутствием, что на амьенском вокзале нас встретят представители пикардийского отделения Ассоциации Франция — СССР.

Однако, выйдя в Амьене на перрон, мы не увидели, чтобы кто-нибудь интересовался нашими персонами. Постояв на платформе, пока она совершенно не опустела, мы двинулись к выходу в город в некоторой растерянности, поскольку не имели понятия, кого искать и к кому обращаться. Но уже в дверях нас перехватил какой-то пожилой господин, вежливо спросив:

— Простите, не вы ли советские коллеги?

А вслед за ним подбежал, запыхавшись, молодой рыжий бородач, держа в руках картонный плакатик, на котором крупными печатными буквами было выведено только одно слово: «EFIMOFF». Мы поняли, что по замыслу предусмотрительной мадам Лярош это должно было послужить для нас опознавательным знаком.

В общем все уладилось. Нас доставили в уютный отель «Карлтон» и окружили всяческой заботой. Встречавшие нас секретарь Амьенского отделения Ассоциации Поль Лабори и его заместитель Анри Калле после завтрака передали нас симпатичной молодой супружеской паре — Клоду и Даниэль Энгельбах. После них эстафету гостеприимства переняли ветераны Ассоциации Морис Дюмон и Жильбер Барбье, за ними — другие неизменно приветливые и радушные активисты Ассоциации франко-советской дружбы, сердечно опекавшие нас все три дня, проведенных в Амьене. За это время мы не раз имели возможность порадоваться доброму отношению к советским людям со стороны амьенцев, разных и по возрасту, и по профессии, и по социальному положению, но объединенных искрен-

ним стремлением к дружбе с Советской страной, пониманием огромного значения этой дружбы для Франции.

Мы ощущали сердечность этих чувств и в скромной, богемно неприбранной мастерской художника, где было предложено неприхотливое угощение, состоявшее из салата с рисом и сыром, который запивался яблочным сидром; и в нарядной квартире видного профессора-филолога, где был сервирован утонченный ужин с шампанским; и в маленькой тесной мансарде молодого режиссера; и в комфортабельном двухэтажном особнячке известного адвоката.

Вместе с Морисом Дюмоном и членом общества «Жюль Верн» Даниэлем Компером на стареньком, видавшем виды «Рено» мы совершаем поездку по Амьену. Как и везде, старый и новый город существуют в тесном соседстве и взаимопроникновении. Суровая и изящная средневековая готика знаменитого Амьенского собора зеркально отражается в ультрамодерновом стеклянном кубе — бюро и ателье главного архитектора города. Бок о бок с красивыми чистенькими улицами центра — кривые переулочки с ветхими закопченными домишками и грязными канавами. Дюмон грустно разводит руками и отпускает несколько нелестных слов по адресу муниципальных властей.

Подъезжаем к дому Жюля Верна. Чуть было не написал по привычке — к Дому-музею, но, к сожалению, это не так. Никакого музея знаменитого писателя в этом здании нет. Здесь разместилась какая-то коммерческая организация — то ли страховое общество, то ли банкирская контора.

— А где находится музей? — машинально спрашиваю я.

— Музея нет, — отвечает Дюмон, — у муниципалитета не оказалось средств. Но есть памятник, здесь рядом, в скверике на площади.

Мы идем к скверику, где, действительно, стоит весьма посредственный и довольно запущенный монумент. Амьенцы снова нехорошо отзываются о равнодушии муниципалитета к памяти своего прославленного земляка.

Посещаем скромное помещение местной еженедельной коммунистической газеты «Рабочий Соммы и Эны» («Le Travailleur Somme et Aisne»), где в крохотной комнате редактора происходит обстоятельная и дружеская беседа, затрагивающая, как принято говорить, широкий круг вопросов — о культурных контактах и обменах, о современном и классическом искусстве, о реализме и абстракционизме, о свободе творчества и гражданственных позициях художника и т. д. С большим интересом выслушивается мой рассказ о масштабах работы многонационального Союза художников СССР, о системе и принципах Художественного фонда.

Наши собеседники, за исключением седовласого Дюмона, совсем молодые люди — горячие, увлеченные, серьезные. И озабоченные — ведь на их плечах лежит повседневная и нелегкая задача защищать интересы трудящихся в условиях безжалостного капиталистического общества. В их руках оружие печати — миниатюрный четырехполосный «Рабочий», по сути дела, сложенный пополам обычный газетный лист. И на этой микроскопической площади — разнообразная и обстоятельная информация, политическая и экономическая хроника рабочей жизни, публицистика, критика, рецензии и даже объявления. В сегодняшнем номере есть и некролог под заголовком «От нас ушел ветеран» — несколько сердечных слов о члене ФКП с ее основания в 1920 году, участнике первой мировой войны, а также бесчисленных стачек Сево Марсо.

В подзаголовке газеты стоит имя ее основателя — Жана Катела, члена ЦК ФКП.

Нам довелось увидеть его могилу на городском кладбище. По французскому обычаю, кроме венков и цветов на надгробие возложено множество имеющих форму раскрытой книги миниатюрных табличек от

родных, друзей, соратников. На каждой из них — взволнованные слова, дань любви и уважения: «Он умер, чтобы жила Франция», «Нашему Жану, казненному за верность защите Родины», «Бойцы Сопротивления не забудут тебя» и другие. На самом монументе выгравировано: «Жан Катела, 1894—1941. Член ЦК ФКП. За верность долгу защиты хлеба, мира, свободы гильотинирован по приказу Виши 24 сентября 1941 года в Риоме». И дальше — строки из предсмертного письма, отправленного Жаном Катела из тюрьмы: «Моя жертва не будет напрасной. Я оставляю вам факел нашей борьбы».

Имя Жана Катела носит и улица, на которой находится амьенский Дом культуры, где развернута выставка советского плаката.

Изящное и строгое, построенное в современном архитектурном стиле здание Дома культуры — гордость амьенцев. Интерьеры дома — Большой и Малый театральные залы, выставочные помещения, фойе, библиотека, дискотека, собственная типография, музыкальный и рисовальный кабинеты, кафетерии — все это великолепно оснащено по последнему слову техники, с большим вкусом оформлено, уютно обставлено. Советские плакаты, экспонированные здесь, мне, как правило, хорошо знакомы. Это произведения художников «хороших и разных», отлично владеющих пластическими приемами и колористической условностью плакатного языка, умеющих находить точное изобразительное воплощение идеи плаката.

Но наш плакат в данном случае не у себя дома, а в гостях, перед незнакомым зрителем. Он проходит здесь проверку на чужое восприятие, иные требования, другую точку зрения. Ведь со стороны, как говорится, виднее. И я попробовал настроить себя на точку зрения со стороны.

Поднимаясь вместе с публикой по широкой лестнице мимо красочных щитов, рекламирующих выставку «афишистов» из СССР, я старался перевоплотиться в рядового, неискушенного французского зрителя, пришедшего сюда познакомиться с доселе неведомым ему искусством художников из далекой Советской страны и тем самым в какой-то мере понять и эту страну. Рядом с ними и вместе с ними я перехожу из зала в зал, от плаката к плакату, внимательно следя за тем, какое впечатление производят на них те или другие листы наших художников. И с радостью убеждаюсь, что смысл, эмоциональный посыл и патетика произведений доходят до зрителей.

Творчество советских плакатистов рассеивает кое-кем усиленно навязываемое представление о советском плакате как о чем-то однообразном и примитивном. Разнообразие тематики, широкий диапазон индивидуальных манер и художественных почерков, богатство изобразительных средств становятся для французов настоящим открытием. Я испытываю подлинную патриотическую гордость, видя, какой живой интерес вызывают листы историко-революционного содержания с образом Ленина, плакаты, пропагандирующие мир и безопасность на планете, раскрывающие величие планов и свершений советских пятилеток. Отличное впечатление производят и наши театральные, цирковые, кинематографические афиши, подкупающие оригинальностью выдумки, эффектными композиционными и колористическими решениями.

Боевой, динамический характер советского плаката, его открытая гражданственность, публицистичность, злободневность — все эти замечательные качества, которые не могут оставить равнодушным никакого зрителя, ведут свое начало, как известно, от революционных плакатов гражданской войны, от знаменитых «Окон РОСТА», связанных с именами Владимира Маяковского и Михаила Черемныха.

Именно Маяковский назвал свою работу в плакате «записью революционной борьбы, переданной пятнами красок и звоном лозунгов». Именно ему, как известно, принадлежит крылатое «шершавым языком плаката».

И вот должно же было произойти такое знаменательное совпадение!

Одновременно с выставкой советского плаката в том же амьенском Доме культуры оказалась знаменитая выставка «20 лет работы Маяковского» — та самая, которую организовал сам великий поэт и сам открывал ее в Москве в феврале 1930 года. Так случилось, что здесь, далеко за пределами нашей страны, под одной крышей, буквально плечом к плечу встали в едином строю один из зачинателей советской наглядной агитации Маяковский и его «уважаемые товарищи потомки». Плакаты, разделенные почти полувековой дистанцией, прозвучали здесь в удивительной гармонии — революционной и эмоциональной.

Неожиданная встреча с выставкой Маяковского была для меня тем более волнующей, что я присутствовал на ее открытии в 1930 году. Да, выставка та самая — я узнаю ее. Но какой причудливый контраст во всем остальном — обстановке, окружении, отношении...

Статья в газете «Рабочий Соммы и Эны» озаглавлена «Не пропустите эту выставку» и начинается словами:

«Зачем эта выставка? Нельзя произнести имя Маяковского, чтобы тотчас же не вызвать в сознании явление эмоционального и страстного энтузиазма, носящее отпечаток революционной романтики, почти легендарную личность великого русского поэта, пылко и неистово декламирующего свои поэмы, бойца, трагически закончившего свои дни 14 апреля 1930 года».

Далее газета рассказывает о жизненном и творческом пути Маяковского, отмечает его необыкновенную одаренность не только как поэта, но и «драматурга, актера, оратора, художника, создателя агитационных плакатов и рекламы нового типа, карикатуриста, театрального декоратора, киносценариста, журналиста...» Напоминая о борьбе Маяковского за новые революционные формы в искусстве, о тесной связи его поэзии с важнейшими периодами в жизни его страны — войной 1914 года, революцией 1917-го, военным коммунизмом, нэпом, вплоть до тридцатых годов, автор статьи говорит:

«Под углом зрения этих различных моментов выставка «20 лет работы Маяковского» представляет особый интерес, а также большую историческую и документальную ценность, если тем более учесть, что она является точной реконструкцией юбилейной экспозиции, организованной самим Маяковским в 1930 году».

Большое место уделено выставке Маяковского и в бюллетене Ассоциации Франция — СССР. В нем напечатаны портреты поэта разных лет, его высказывания, выдержки из биографии, репродукции плакатов. Полностью приведено также его обращение к зрителям с нелестным отзывом о поэтах, «блеющих кучерявыми барашками»...

Из специальной листовки, выпущенной Домом культуры, я узнал также, что за несколько дней до нашего приезда состоялся музыкальный вечер, на котором исполнялись песни на тексты поэта и чтение его стихов. Прочел я также, что намечена встреча-диспут (rencontre-débat) с участием специально прибывающего из Парижа автора книги «Маяковский сам о себе», «президента университета VIII округа Парижа» профессора Клода Фриу. Одновременно в газете «Пикардийский курьер» была опубликована заметка о том, что «прибывшие в Амьен по приглашению Ассоциации Франция — СССР советские граждане Борис Ефимов и Гунар Кирке посетят обе выставки в Доме культуры и примут участие в дебатах, руководимых Клодом Фриу». Далее газета высказывала мнение, что воспоминания Ефимова и Кирке, «живых свидетелей советской жизни — той, которой жил Маяковский, и той, которую он предсказывал», также представят большой интерес.

Прочтя эту информацию, я, признаться, не без тревоги стал ду-

мать о предстоящих дебатах. Переводчика с русского в Амьене не было, и мне, видимо, предстояло положиться только на свои скромные познания во французском языке и карманный русско-французский словарик. Что касается Кирке, то он оставался невозмутимо спокоен: в год смерти Маяковского ему исполнилось четыре года и он, естественно, не мог делиться воспоминаниями о поэте.

Придя вечером в Дом культуры, мы застали там некоторое беспокойство: Клод Фриу задержался в Париже и не было уверенности в том, что он поспеет к началу вечера. Решили, что в этом случае собрание открою я рассказом о встречах с Маяковским. Но Фриу появился вместе с супругой. Профессор оказался молодым, лысеющим, огненно-рыжим здоровяком в ярко-красной водолазке. Нас познакомили. Откровенно говоря, я ожидал, что «профессор-маяковсковед» проявит бóльший интерес к человеку, который был лично знаком с предметом его литературных трудов, но обижаться не стал.

Небольшая, чрезвычайно уютная аудитория была заполнена до отказа, главным образом молодежью. Я смотрел на французских юношей и девушек со странным чувством. Чем-то напомнили они мне московских комсомольцев и рабфаковцев, жадно внимавших Маяковскому тогда, в 30-м году, и я не мог внутренне не подивиться удивительной общности столь разных поколений, порожденной творчеством поэта, обаянием его могучей личности.

Мы с Фриу сели за стол президиума. Морис Дюмон представил меня собравшимся.

— Дорогие друзья! — сказал я. — Я — ровесник века. Мне было четырнадцать лет, когда началась первая мировая война, и я ее хорошо помню. В год Великой Октябрьской революции я уже был вполне сознательным юношей, а в годы гражданской войны и в последующие, двадцатые, — зрелым, взрослым человеком, принимавшим участие в общественной жизни. И естественно, отлично помню все события той романтической эпохи и, в частности, активнейшую, неутомимую деятельность Маяковского.

Я кратко рассказал об огромной популярности поэта, о том, как блестяще оправдалось его гордое предвидение — стоять в веках рядом с любимейшим поэтом России Пушкиным, вплоть до того, что они действительно стали рядом не только на книжных полках, но и в центре Москвы бронзовыми памятниками на соседних площадях, носящих их славные имена.

Вспомнил я и поистине эпическое прощание с поэтом в тех самых залах, где он открывал свою юбилейную выставку, рассказывал, как десятки тысяч москвичей провожали его в последний путь.

Меня слушали внимательно и, пожалуй, чуть-чуть удивленно: наверно, молодым французам представлялся чем-то диковинным человек, который видел и слышал легендарного Маяковского. Да и сам я в этот момент стал казаться себе каким-то древним ископаемым.

После меня стремительно заговорил Клод Фриу. Надо отдать ему должное — это был подлинный водопад красноречия. Речь его бурлила рекой, обдавала слушателей каскадом эрудиции, названиями, именами, датами, цитатами. Конечно, не все, что он говорил, до меня доходило, но основную тенденцию я, как мне казалось, уловил — восхищение бунтарской молодостью Маяковского, «желтой кофтой», ниспровержением старой классики, «пощечиной общественному вкусу», футуристическим «эпатированием» обывателя и т. п. Гораздо менее одобрительно Фриу отнесся к зрелому Маяковскому, автору поэм о Ленине, «Хорошо!», «Во весь голос», высказав мнение, что раннего, подлинно революционного Маяковского превратили в Советском Союзе в «поэта для детских хрестоматий».

Это мне не понравилось. Я решил возразить «маяковсковеду», за-

ранее примирясь с тем, что меня сотрут в порошок жернова его красноречия.

— Простите, — сказал я, — но я не могу согласиться с мнением профессора Фриу, что Маяковский стал в Советском Союзе «поэтом для детей». Уверяю вас, что к поэзии Маяковского ежедневно и ежечасно обращаются миллионы совершенно взрослых людей, находя в ней неиссякаемый источник образов, сравнений и крылатых слов для точного и эмоционального выражения своих чувств и мыслей. Отдельные чеканные строки Маяковского вошли не только в учебники и хрестоматии, но и в быт, в повседневный язык народа.

Когда мы хотим проникновенно и емко сказать о советском патриотизме, то непременно вспоминаем: «Читайте, завидуйте, я — гражданин Советского Союза». Если нам нужно кратко и возвышенно выразить мысль о сопричастности художника к свершениям народа, мы не находим лучшей формулы, чем: «Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей Республики!» или: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...» Количество крылатых выражений, перешедших из поэзии Маяковского в жизнь, неисчислимо. Это — и патетическое «Сочтемся славою, ведь мы свои же люди! Пускай нам общим памятником будет построенный в веках социализм!», и грустное «Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова...», и пронзительное «...Становясь на горло собственной песне», и задорное «Светить и никаких гвоздей!..», и задумчивое «Я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва», и бесконечное множество других. У Маяковского есть прекрасные умные стихи для детей, которые они действительно выучивают в школах наизусть, но это поэт для взрослых, господин профессор! Для взрослых!

После моей реплики Фриу снова взял слово и еще долго, красиво разглагольствовал, но я уже не вникал в его речи. А в голове вертелось опять-таки из Маяковского: «Профессор, снимите очки-велосипед! Я сам расскажу о времени и о себе...»

На другое утро Калле и Дюмон провожали нас к поезду Лилль — Париж, а еще часа через три к нам в отель метеором влетела неутомимая мадам Элен. Мы совершаем с ней прелестнейшую прощальную автопрогулку по Парижу — и по старым, давно знакомым кварталам, и по новым, возникшим в последние годы районам столицы. Самый впечатляющий из них — Дефанс — сгусток ультрасовременных архитектурных сталагмитов, причудливо вырастающих из земли многоэтажных башен, самых неожиданных форм — и геометрически правильных, и пирамидально-ступенчатых, и асимметрично закругленных, и всяких прочих. Они построены в основном из металла и стекла — дымчатого, розоватого, голубовато-сиреневатого, зеркального. Наездившись вдосталь, обедаем под открытым небом на площади Вогезов старейшего парижского квартала Марэ, полностью сохранившего свой средневековый облик, потом долго гуляем по освещенному миллионами огней вечернему Парижу.

Над Триумфальной аркой два гигантских луча прожекторов скрещены в виде буквы «V», обозначающей слово «Victoire» (победа). Сегодня, 18 июня — день исторического выступления генерала де Голля по радио в 1940 году с призывом к сопротивлению гитлеровской оккупации.

Эти воспоминания о выставке Маяковского в Амьене мне хочется закончить рассказом о последней по счету ее «инаугурации» — праздничном открытии этой, ставшей уже легендарной, экспозиции в Москве, в залах Государственного музея В.В.Маяковского, представляющего собой, по сути дела, великолепную архитектурную оправу из мрамора, металла, стекла и полированного дерева, обрамляющую крохотную «комна-

ту-лодочку», в которой Маяковский жил и работал начиная с 1919-го по последний день своей жизни.

Пригласительный билет на это открытие, состоявшееся 18 апреля 1980 года, был остроумно оформлен в виде записки, подобной тем, которые поэт щедро раздавал комсомольцам и студентам для бесплатного входа на свои вечера. На продолговатом листке бумаги начертано размашистым энергичным почерком: «Пропустить Вл.Маяковский».

После торжественного заседания в конференц-зале музея почетное право разрезать красную ленточку, преграждавшую доступ в ярко освещенные, нарядные выставочные залы, было предоставлено сразу трем из присутствующих здесь немногочисленных современников Маяковского — Валентину Катаеву, Николаю Соколову (Кукрыниксы) и мне.

Испания-77

Мадрид. Барселона. Гранада. Севилья. Кордова. Толедо.

Читаю этот список, и верится с трудом, что скоро я собственными глазами увижу эти города. Ведь одно только перечисление их красивых, звенящих, чеканных названий вызывает ощущение чего-то яркого, романтичного, удивительного.

В составе туристической группы художников и искусствоведов мне предстоит, наконец, побывать в Испании. Я говорю: наконец предстоит, потому что желание воочию увидеть Испанию всегда жило глубоко в душе каждого из людей моего поколения — современников мужественной и неравной борьбы испанского народа против отечественных и иностранных фашистов. Мы сохранили в душе чувства горячей солидарности с отстаивавшей свое существование Испанской республикой, помнили героические и трагические эпизоды этой войны.

Вот почему стремление посетить Испанию было неразрывно связано не только с огромным интересом к ее всемирно прославленным памятникам истории, культуры и искусства, к бессмертным художественным творениям, созданным великими ее мастерами, но и с желанием своими глазами увидеть Университетский городок, Карабанчель, толедский Алькасар, Каса дель Кампо и разные другие места, упоминания о которых так волновали нас сорок лет назад.

Я, конечно, понимал и заранее примирился с тем, что поездка по сегодняшней Испании будет чисто туристической, в рамках программы фирмы «Мелия», которая нас обслуживала. Так оно и было: знакомство со страной оказалось коротким, стремительным и в полном смысле слова беглым, ибо совершалось буквально на бегу, в том неумолимом туристическом темпе, когда счет времени идет на часы и минуты. И все же мы увидели много замечательного, прекрасного, незабываемого, так как, к счастью, то самое время, которое так мучительно ползет, когда его слишком много, становится спасительно емким, насыщенным и до предела уплотненным, когда его слишком мало.

Бесспорно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Я добавил бы к этому, что еще лучше хоть раз увидеть то, о чем до того сто раз слышал или читал.

А об Испании любой из нас слышал и читал не сто, а, фигурально говоря, сто тысяч раз... Десятки красочных образов — литературных, художественных, исторических — теснятся в нашем воображении, когда мы произносим слово «Испания».

Это ощущение обостряется в немалой мере еще и тем, что в течение тридцати лет со времени установления фашистской диктатуры Испания стала для советских людей запретной страной, замкнутой железной решеткой франкизма. Только в конце шестидесятых годов первые группы деяте-

лей культуры и туристов из Советской страны получили доступ в Испанию, и понадобилось еще несколько лет, чтобы в их число был допущен карикатурист, который, как и Гильрэй (вспомним Амьенский мирный договор), «осмеливался высмеивать» главу государства.

Итак, Испания 1977 года.

Первые шаги по испанской земле мы делаем в мадридском аэропорту Баррахос, откуда нас везут на ночевку в отель «Прага» на окраине города, а утром, с того же самого Баррахоса, но с аэровокзала внутренних линий, затейливо украшенного красивыми абстрактными фресками и огромной картой мира эпохи расцвета испанской империи, мы улетаем в Барселону, так и не увидев толком Мадрида. Но так и задуман наш туристический маршрут. В самолет «Боинг» авиакомпании «Иберия» мы входим не как обычно сбоку, а с тыла. Самолет переполнен, и нас не без труда рассаживают энергичные стюардессы в высоких касках, как у английских полисменов.

Отель «Ориенте» в центре города на знаменитом бульваре Рамблас. «Ориенте»... После маленькой заминки «запоминающее устройство» подсказывает мне из «Испанского дневника» Михаила Кольцова: «...С трудом продвигаясь в сплошной толчее, среди молодежи с винтовками, женщин с цветами в волосах и обнаженными саблями в руках, стариков с революционными лентами через плечо, среди песен, оркестров и воплей газетчиков, мимо свалки со стрельбой у входа в кино, мимо уличных митингов и торжественного шествия рабочей милиции... я наконец подошел к отелю «Ориенте» на Рамблас де лос Флорес» *.

И дальше та же запись от 8 августа 1936 года: «Комната балконом выходит на Рамблас. Это все равно, что жить на улице... В широкой раме раскрытых дверей в ожидании утренней свежести, фосфоресцируя, плавилась революционная человеческая стихия. Толпа не уходила, она оставалась на улице круглые сутки, слушала громкоговорители и спорила. Время от времени пели хором под аккордеон или стреляли» **.

И вот, через сорок два года, я попадаю в этот самый «Ориенте», на этом самом Рамблас... Правда, окна моего скромненького номера не выходят на бульвар, да и сегодняшняя Барселона мало напоминает Барселону той поры — взвинченно-радостную, торжествующую, упоенно переживающую и празднующую триумф народа, одолевшего в кровопролитных уличных боях реакционную военщину. Но и сегодня огромный красивый город кипит, бурлит, переливается тысячами красок, звуков, голосов. На бульваре Рамблас, конечно, никто сегодня не стреляет, но шума и гама предостаточно. Публика оживленно толпится возле бесконечной вереницы выстроившихся вдоль бульвара киосков с цветами, газетами, книгами, журналами, диковинными птицами, черепахами, обезьянами, сувенирами, игрушками, сластями, фруктами, экзотическими растениями, прохладительными напитками, мороженым, всевозможной кулинарией, антикварными раритетами — всего не перечислишь...

Рамблас отлого спускается к гавани и упирается в овальную площадь с памятником Колумбу. Тут же, у самого берега, на почетном месте стоит точное воспроизведение исторической каравеллы Колумба «Санта-Мария».

Мы едем осматривать широко известный туристический объект, расположенный на большом холме — так называемый «Пуэбло эспаньоло», построенный к Национальной выставке 1929 года. Это, так сказать, вся Испания в миниатюре: типичные образцы архитектуры, убранства, пред-

* *Михаил Кольцов.* Избранные произведения, т. 3, с. 256

** Там же, с. 257

метов быта и народных ремесел — все, что может характеризовать национальное своеобразие различных провинций Испании, построено и заботливо собрано на пространстве в несколько сот квадратных метров. Это изумительно! Пройдя, например, по крохотной улочке с домиками, узорными балконами и зарешеченными окошечками старой Кастилии, вы через несколько шагов попадаете в такую же крохотную Андалузию с прелестными двориками, где стены сверху донизу увешаны горшками с благоухающими цветами. Потом на вашем пути возникает Каталония, Арагон, Гали-

104. Герб города Мадрида. 1978



сия, Страна басков — все области Испании с присущим каждой из них стилем и очарованием гостеприимно принимают вас под сень своих нарядных аркад, колоннад и крытых переходов, соединяясь одна с другой прелестными лестницами-переулочками и лестницами-галереями.

Совершая маршрут по нарядным улицам Барселоны, наш автобус дважды специально задерживается у домов, еще в начале века построенных знаменитым барселонским архитектором Антонио Гауди, чтобы дать нам возможность подивиться неуемной фантазии прославленного зодчего.



105. Мадрид. Площадь Испании. Памятник Сервантесу. 1978

А немного погодя мы подъезжаем к строящемуся по его проекту собору Святого семейства, сооружение которого началось пятьдесят лет назад и запланировано к завершению еще через пятьдесят лет. Определить стиль этого удивительного сооружения я лично не берусь. Готов утверждать только одно — это не классика, не готика, не барокко, не мавританский стиль, не модерн и вообще ни один из известных мне архитектурных стилей, а нечто в предельной степени причудливое и прихотливое. В основу собора взят все-таки готический силуэт, но затем архитектор как бы размыл или расплавил гигантским паяльником четкие, острые, резкие грани

готических форм и придал им странный вид оплывших свечей, мягких, текучих, струящихся.

Мягкий, так называемый барселонский камень, послуживший материалом для собора, дал возможность создать орнаменты в форме огромных ветвей и листьев, которые, сплетаясь, капризно и асимметрично разбегаются по всему фасаду.

Мы разглядываем собор, а гид между тем пытается втолковать нам символическую арифметику строительного замысла храма: оказывается, три фасада собора должны напомнить верующим о трех моментах жизни Христа — рождении, смерти и воскресении из мертвых, а двенадцать башен — о двенадцати апостолах.

— И Иуду тоже? — пошутил кто-то.

— Да, — строго ответил гид, — он тоже был апостолом.

Вся эта богословская премудрость быстро выветривается из головы, когда мы приезжаем на улицу Монкада, узкую, тенистую и, несмотря на летнюю жару, приятно прохладную. Здесь, в одном из горделивых, мрачноватых снаружи особняков, которые некогда занимали самые знатные патрицианские фамилии города, ныне разместился музей Пабло Пикассо. Этот факт сам по себе красноречиво свидетельствует о знаменательных переменах в политическом климате Испании: пришло время, когда стало невозможно и нелепо игнорировать имя всемирно прославленного испанского художника-коммуниста, непримиримого противника франкистского режима.

Неиссякаемый поток посетителей, главным образом молодежи, не спеша течет из зала в зал, с одного этажа на другой. Зрители серьезно и вдумчиво знакомятся с произведениями, богато представляющими здесь этапы художественной биографии Пикассо, его сложного, многообразного и противоречивого творчества. Здесь можно воочию увидеть, как начинался Пикассо, — его ученические и студенческие работы, абсолютно безупречные, с академической точки зрения, рисунки античных статуй и обнаженной натуры, сделанные 14-летним Пабло, учащимся Барселонской школы изящных искусств. Далее показаны произведения последующих — «голубого», «розового», «кубистического», «негритянского» периодов, графические серии на темы «Дон Кихота», боя быков и многое, многое другое. Бесчисленные картины, этюды, рисунки с трудом вмещаются в рамки экспозиции и как бы переливаются через ее край, давая представление о громадном размахе неистового многолетнего труда Пикассо, о его не всегда постижимых с первого взгляда, вдохновенных и беспокойных творческих исканиях, о могучей и страстной самоотдаче великого художника.

Отсутствует здесь главное и, пожалуй, самое знаменитое произведение Пикассо — «Герника», хотя, как нам сказали в музее, уже приобретено соседнее здание специально для экспозиции одной-единственной этой картины. Стоит, пожалуй, вспомнить здесь драматическую историю «Герники».

Как известно, республиканское правительство Испании летом 1936 года заказало художнику, жившему тогда в Париже, картину для испанского павильона Всемирной выставки, которая должна была состояться через год. Выбор сюжета предоставлялся на усмотрение автора. Интересно, что одновременно с этим прибывший в Париж уполномоченный правительства Республики художник Хосе Ренау сообщил Пикассо о назначении его директором и хранителем мадридского Прадо.

Прошло несколько месяцев. На фронтах Испании полыхала ожесточенная борьба против фашистских мятежников, нагло и открыто поддерживаемых итало-германскими интервентами. В мае 1937 года гитлеровские бомбардировщики варварским налетом среди бела дня разрушили древний город басков Гернику, уничтожив тысячи мирных жителей. Это злодеяние фашистов, заставившее содрогнуться весь мир, потрясло Пикассо. В каком-то неистовом творческом порыве он взялся за кисти, и буквально в не-

сколько недель появилось его полотно, пронизанное гневом, болью, протестом, каким-то сверхчеловеческим, яростным осуждением фашистского варварства.

Дальнейшая судьба картины известна: в 1939 году она была вывезена в Америку и «временно» вошла в экспозицию нью-йоркского Музея современного искусства, где перед ней останавливались в глубоком волнении сотни тысяч людей.

Прошло три десятилетия, и случилось нечто курьезное: диктатор Франко, который сажал людей в тюрьму за одно упоминание имени крамольного художника-коммуниста, предпринял нахальный демарш с требованием «вернуть» ему знаменитое полотно как заказанное испанским государством и юридически ему принадлежащее.

Встревоженный Пикассо, которому было уже далеко за 80, немедленно составил специальное завещание, касающееся «Герники», гласившее, что картина должна быть передана Испании, когда в стране будут восстановлены демократические порядки и общественные свободы.

Это время как будто настало, но шедевр пока остается в Америке. Нью-йоркский музей, пользуясь всевозможными юридическими и казуистическими уловками, не спешит расставаться с картиной, приносящей, кстати сказать, немалый доход. Но в самой Испании уже разгорелся ожесточенный спор между музеями и городами, претендующими на владение «Герникой». Этот спор, как мне представляется, звучит, примерно, так:

— Нет ни малейших сомнений, что картина должна присоединиться к уже существующей великолепной выставке Пикассо в Барселоне, родном городе мастера, где он учился и начинал свой творческий путь.

— Все это, может быть, и верно. Но, во-первых, барселонский музей целиком посвящен молодым годам Пикассо и его творчеству более ранних периодов. Полотно 1937 года не было бы органично связано со всей экспозицией. Во-вторых, и это еще более важно, есть ли в Испании более почетное и славное место для картины Пикассо, чем Прадо, где он занял бы достойное место рядом с другими великими испанцами — Веласкесом и Гойей! Не забудьте к тому же, что Пикассо был официально назначен директором Прадо и символически являлся его хранителем в годы гражданской войны. Нет, только Прадо!

— Одну минуту. Позвольте вам напомнить, что коллекция Прадо хронологически завершается XIX веком и даже символическому директору музея не к лицу нарушать эту традиционную цельность.

— Не беспокойтесь за традиции. Нынешний директор Прадо Хосе Андраде готов сделать для «Герники» исключение и сообщает, что для нее будет оборудовано специальное отдельное помещение, не нарушающее цельности собрания.

— А разве не более логично и, между прочим, не менее достойно поместить «Гернику» в мадридский Музей современного искусства? Именно там настоящее место для «Герники», всей своей сущностью принадлежащей к нашему времени. Можно ли отрицать, что Пикассо — это выразитель идей и чувств XX века? Некоторые даже утверждают, что в «Гернике» можно усмотреть предвидение ядерной войны!

— Господа! Есть предложение, которое должно примирить всех: «Герника» должна принадлежать Гернике! Наш древний город заново отстроен, возродился из руин и будет справедливо по всем человеческим и божеским законам, что именно сюда миллионы людей будут приезжать, чтобы лицезреть «Гернику», рожденную трагедией нашего многострадального города.

— Сентиментальная ерунда. Картина гениального испанца должна находиться в столице его родины. Прадо и только Прадо!

— Музей современного искусства! Он тоже, между прочим, находится в столице родины Пикассо.

— Барселона!

Трудно предсказать, как разрешится этот спор, но это спор между *испанцами*, касающийся картины испанского художника. В любом случае работа Пикассо «вернется» на испанскую землю, на которой она еще ни разу не была. И это будет триумфом справедливости, добра и разума. Триумфом, увы, уже посмертным, коммуниста и патриота Пикассо *.

Вечером, неподалеку от отеля «Ориенте», там, где Рамблас упирается в площадь Колумба, я наблюдаю нечто среднее между религиозной процессией, митингом и карнавальным шествием. Участники этого мероприятия держат в руках церковные свечи, букеты цветов, венки с лентами, хором выкрикивают какие-то лозунги, недоступные моему пониманию. Подойдя поближе, я выясняю, что всем этим действием управляет священник, сидящий за рулем маленького белого автомобиля. В левой его руке портативный микрофон, правая ловко управляет рулем и одновременно переводит рычаг скоростей. Машина еле-еле движется, священник подносит микрофон к губам и тихим приятным баритоном запевает «Аве Мария». Толпа дружно подхватывает. Я возвращаюсь домой мимо стоящих буквально через каждые десять шагов полицейских с автоматами на изготовку. Интересно знать, кого и от кого они охраняют?

На другой день мы посещаем еще один музей, тоже испанского художника и тоже всемирно известного. Но какой разительный контраст, какая непроходимая пропасть между идеями, мировоззрениями, принципами! Какое молчаливое, но непримиримое столкновение жизненных, творческих и гражданских позиций двух художников.

Когда нам предложили внести в программу за счет других мероприятий осмотр музея Сальвадора Дали, мы, после некоторого раздумья, согласились. Шумная, скандально-сенсационная деятельность этого апостола сюрреализма бесспорно является крупным и любопытным явлением современного буржуазного искусства и несет вместе с тем черты беззастенчивого и циничного бизнеса. Дали нисколько не скрывает, что его бог — деньги. Что касается программы его искусства, то сам художник сформулировал ее как «параноидально-критический метод». Великолепно владея живописной техникой, Дали создал на протяжении десятилетий неимоверное количество фантасмагорических, гигантских по размеру полотен, на которых иллюзорно выписаны бредовые, абсурдные, непостижимые для здравого смысла сюжеты. Это сделало Дали немеркнущей звездой буржуазного художественного рынка. Тщетно было бы искать в этих претенциозных работах здоровое жизнеутверждающее начало, светлые мотивы человечности, разума, добра. Сюрреализм Дали ставит себе совсем другие задачи, довольно напыщенно, хотя не совсем внятно сформулированные самим художником: «Спонтанный метод иррационального знания, основанный на критической интерпретации ассоциаций с явлениями бреда». О политических симпатиях маститого сюрреалиста достаточно сказать, что, согласно его писаниям, он был «очарован «величием нацизма» и сюрреалистической фигурой Гитлера», не меньше обожал «непобедимого каудильо» Франко.

*
В настоящее время «Герника» находится в Мадриде, в музее Прадо *(Ред.)*

И вот воскресным утром мы выехали из Барселоны по магистрали, ведущей прямо на север к испано-французской границе, и часа через два прибыли в симпатичный провинциальный городок Фигуерас, где семьдесят пять лет назад родился «гений сюрреализма», скромно заявивший на вернисаже одной из своих выставок, что «во все времена истории человечества мир живописи не знал ничего подобного его творчеству». Решив, видимо, осчастливить свой родной город, Дали купил местный театр и превратил его в «Театр-Музей» своей персоны. Здание «Teatro-Museo» сразу же огорошило нас своим фасадом, щедро украшенным безголовыми манекенами из магазинов готового платья и предметами санитарно-технического оборудования. Открытия музея уже дожидалась длиннющая очередь посетителей и среди них множество детей, которые, как я потом убедился, получали в «Театро-Мусео» особое и искреннее удовольствие, носясь по залам и со смехом разглядывая выставленные здесь диковины.

И неудивительно — здесь не столько произведений живописи и графики, сколько курьезных экспонатов, которые заняли бы достойное место в любой кунсткамере, паноптикуме или увеселительном парке аттракционов.

Вот, например, овальный зал, в центре которого я вижу нечто вроде диванчика с блестящей ярко-пунцовой обивкой. На некотором расстоянии от диванчика висят пышные драпировки из рыжевато-золотистых веревок. Между драпировками симметрично расположены два сильно увеличенных кинокадра беспредметного содержания. Для того чтобы понять, что это все означает, надо включиться в очередь, подняться по специальной лестнице и взглянуть сверху с лестничной площадки. Тогда окажется, что диванчик — это накрашенные женские губы, рыжие веревки — прическа, фотокадры — сильно подведенные глаза, а все вместе — портрет знаменитой американской кинозвезды Мэрилин Монро.

Дальше — больше. Вы входите в зал, оснащенный сложными оптическими приборами, где к вашим услугам целый ассортимент оригинальных зрительных фокусов. У одного аппарата ритмически сменяются портреты самого Сальвадора Дали с лихо подкрученными позолоченными усиками, а также его супруги; у другого телеэкрана вы можете полюбоваться тем, как из картины Веласкеса «Менины» вырастает уставленный банками кока-колы стол, за которым играют в карты известные американские космонавты. Время от времени сам великий Диего де Сильва Веласкес отделяется от искони занятого им места у мольберта и оказывается у стола среди космонавтов. Правда, в карточной игре он участия не принимает.

Чувствуя, что я уже перестаю чему бы то ни было удивляться, вхожу во внутренний дворик «музея», где некогда, видимо, находился зрительный зал театра. Здесь тоже, как и на фасаде здания, щедро использована в качестве декоративного оформления сантехника: наверху, под самым небом, по всей окружности дворика прикреплены белые фаянсовые умывальники. В центре дворика — большой, довольно потрепанный черный автомобиль устаревшей марки, за рулем которого сидит розовощекий манекен-блондин в соломенной шляпе-канотье. Из-под заднего сидения внутри автомобиля непрерывно бьет фонтанчик воды, образующий вокруг колес небольшой прудик, а на крыше машины установлена фигура чудовищно толстой, похожей на индийскую богиню обнаженной женщины с золотыми украшениями на различных частях тела.

Мы, конечно, успели познакомиться далеко не со всеми «произведениями», которые «гениальный сюрреалист» предлагает вниманию зрителей, но, к сожалению, надо было торопиться в Барселону: согласно программе через несколько часов мы должны были отбыть самолетом в Гранаду.

Так и не постигнув всей глубины провозглашенной Сальвадором Дали идеи о «спонтанном методе иррационального знания с явлениями бреда», мы расстались с «Театро-Мусео».

Расстояния здесь не бог весть какие: всего тридцать минут лёта — и мы садимся в аэропорту легендарной Гранады, которую мы много, много лет привыкли называть Гренадой в полном соответствии со знаменитым стихотворением Михаила Светлова.

Аэровокзал Гранады миниатюрный, изящный, утопающий в цветах. Однако техника обслуживания довольно примитивна: носильщики снимают с ручных тележек привезенные из самолета чемоданы и с грохотом швыряют их на прилавок.

А где же романтика? Мы видим абсолютно современный город с довольно однообразными, преимущественно восьмиэтажными домами и пока что не находим никаких признаков средневековой старины. Зато вечером мы вознаграждены чудесным зрелищем. Сегодня в Гранаде религиозный праздник «Тела Христова», хотя церковного в нем ничего нет, — это самый настоящий народный карнавал. Веселый, шумный, задорный, красочный, с песнями, танцами, массовым гуляньем. Город щедро иллюминирован, поперек улиц протянуты гирлянды разноцветных лампочек. Молодежь поет, галдит, задорно перекликается между собой. Все кафушки и забегаловки переполнены. По мостовой среди машин не спеша движутся всадники на нарядно убранных лошадях. На некоторых сидят по двое, парочками, а на одной лошади я вижу даже женщину с ребенком. Но самое красивое и трогательное — это юные девочки в старинных национальных нарядах: пышных платьях до пят, с оборками и воланами, с кружевными мантильями и высокими узорными гребнями в прическах. Особенно очаровательны в этих костюмах крохи 3—5 лет. Есть просто писаные красотки со смуглыми мордашками и сверкающими черными глазками, достойные кисти Мурильо или Гойи...

На другой день — посещение прославленной Альгамбры, от самого названия которой веет романтическим Востоком, мавританским изощренным искусством. Она не обманывает ожиданий, оправдывает свою устоявшуюся репутацию чего-то волшебного, сказочного. Поднявшись в гору, попадаем через узкие крепостные ворота (автобус еле-еле впритирку проползает) на территорию этого огромного комплекса дворцов и павильонов, где обитали грозные и воинственные арабские халифы, завоевавшие в свое время всю Испанию. Теперь это, естественно, доходнейший туристический объект. Однако первое здание на нашем пути внутри Альгамбры ничего общего с мавританским стилем не имеет. Это тяжелый и торжественный, строгий по архитектурным формам дворец, представляющий собой копию палаццо Питти во Флоренции. После реконкисты — отвоевания испанских земель у мавров — этот дворец был встроен в Альгамбру Карлом V. Огромный внутренний двор, окруженный двухъярусной галереей, используется теперь как сценическая площадка для всевозможных музыкальных и театральных спектаклей.

Зато дальше, когда мы входим в великолепные строения, где обитали халифы, султаны, эмиры, евнухи и одалиски, там уже полностью господствует чистейший мавританский стиль, который, к сожалению, упорно ассоциируется с банями...

Больше всего потрясает изумительная, тончайшая, сложная золотая, каменная и деревянная резьба, покрывающая изречениями из Корана, замысловатыми и вычурными восточными орнаментами снизу доверху все стены и потолки дворцовых помещений — тронного зала, личных покоев султана, наглухо изолированного от внешнего мира гарема. Только в одной из комнат последнего мы видим два окна, выходящих в сад. Их, как говорится, в порядке исключения разрешил прорубить один из султанов, уступив слезным просьбам любимой жены.

Уже слегка обалдев от этого фантастического изобилия украшений и изысков, мы совсем бегло скользим взглядом по знаменитому «Львиному дворику», так хорошо известному по бесчисленным репродукциям, по роскошной мраморной бане халифа с галерейкой, где во время омовений играл ансамбль слепых музыкантов, наскоро знакомимся с очаровательным маленьким дворцом «Хенералифе» («Райский сад»), где халифы, как нам сообщил гид, «отдыхали от дел и от жен».

Все эти удивительные строения окружает поистине райский парк с раскидистыми пальмами, бесчисленными фонтанами, клумбами экзотических цветов, апельсиновыми деревьями, разными прочими чудесами ботаники.

Автобусом едем в Севилью. Примерно шесть часов в пути через маленькие живописные городки с изящными белыми домиками. И повсюду характерные для юга ставни, ставни, ставни.

Севилья встречает неприветливо. Моросит скучный дождь. К отелю «Фернандо III», проехав по довольно неказистым грязноватым улицам, подъезжаем с узенького переулочка. Новых домов, не в пример Гранаде, почти не видно. После обеда-ужина в диком шуме и гвалте ресторанного зала решил выйти погулять по вечерней Севилье в полной уверенности, что переулок, в котором стоит «Фернандо III», через два-три квартала выведет меня на какую-нибудь широкую оживленную авениду, сверкающую огнями реклам и нарядных витрин. Но не тут-то было: я оказался в лабиринте кривых, почти безлюдных улочек, самых настоящих трущоб. Стало страшновато, и я решил вернуться в отель, но окончательно заблудился в темных переулках, изредка освещаемых только фарами бешено проносящихся машин, от которых я, чертыхаясь, прижимаюсь к стенам мрачных обшарпанных домов. С огромным облегчением я увидел, наконец, светящуюся вывеску «Фернандо»...

Зато на другой день с утра я увидел прославленный город во всей его красе. Севилья предстала перед нами своими широкими нарядными улицами и бульварами, залитая солнцем, ослепительно белая, яркая, горячая, вся в узорных чугунных решетках и оградах, стопроцентно испанская, — именно такая, какой она представала в нашем воображении, как только произносилось это музыкальное слово — Севилья!..

Главная достопримечательность и притягательный центр города — севильский кафедральный собор со своей роскошной, надменно-величественной башней — Хиральдой, некогда грандиозным мусульманским минаретом. Под величественными сводами собора царит столпотворение вавилонское. Толпы молящихся прослоены яростно пробивающимися сквозь их толщу туристическими группами и школьными экскурсиями. Здесь даже целая воинская часть. Шеренги солдат с автоматами, но с обнаженными головами выстроились перед позолоченной мадонной. Несколько позже мы видим их выходящими из собора в походном строю, уже в кепи, под гром оркестра. Один из притворов собора отведен под картинную галерею с прекрасными полотнами Эль Греко, Мурильо, Сурбарана, других первоклассных мастеров. Напротив собора, на площади Триумфа, расположен королевский дворец Алькасар, построенный еще мавританскими властителями Севильи. Надо сказать, что он нисколько не уступает сказочной Альгамбре в пышности, изяществе и богатстве отделки. Победители-христиане были так восхищены красотой и великолепием дворца, что оставили его целым и невредимым, сделав резиденцией испанских королей.

Во время поездки по Севилье нам, естественно, была показана и историческая табачная фабрика, где в свое время учинила скандал некая цыганка по имени Кармен, что в конечном счете привело к созданию рас-

сказа П. Мериме и одноименной оперы композитором Бизе. Должен попутно признаться, не без сожаления, что увидеть тесно связанную с этим гениальным музыкальным произведением севильскую корриду нам не довелось. Не увидели мы в предместье Севильи и кабачка «Лилас-Пастья», притона контрабандистов, где появляется тореадор Эскамильо (баритон) и свершилось окончательно падение злополучного бригадира Хосе (тенор)...

После Севильи — Ко́рдова, которую мы с самого детства привыкли называть Кордо́вой. Дорога туда — настоящее пекло. Вероятно, так выглядит экваториальная Африка: раскаленные солнцем белые домики маленьких, замерших в зное городков. Один из них даже прозван сковородкой.

...Как в необозримом заколдованном лесу, блуждаем мы среди бессчетных колонн и аркад кордовской чудо-мечети. Впрочем, количество их точно подсчитано — 853. А было их 1500. Такая серьезная недостача объясняется тем, что после изгнания мавров из Кордовы испанские победители, полагая, что негоже им терпеть существование мусульманской мечети, решили снести это архитектурное чудо для постройки на этом месте христианского храма. Потом, правда, они удовлетворились тем, что врубили внутрь мечети (снаружи ничего не видно) целый огромный католический соборный интерьер, для чего было расчищено необходимое место путем уничтожения нескольких сот изумительных мавританских колонн с их изящными двойными арками. Впрочем, мечеть настолько необъятна по размерам, а лабиринт ее колонн настолько необозрим, что встроенный собор остается почти незамеченным и во всяком случае нисколько не нарушает производимого мечетью впечатления. К тому же следует признать по справедливости, что соединение готики собора с мавританско-византийским стилем мечети сделано с большим вкусом и умением.

Кстати сказать, Карл V, посетив Кордову и увидев искалеченную мечеть с собором внутри, высказал не лишенное здравого смысла суждение: «То, что вы здесь построили, можно было построить в любом другом месте, а то, что вы здесь уничтожили, никто и нигде больше не построит».

Из Кордовы мы выехали автобусом и взяли курс к центру Пиренейского полуострова — к Мадриду. (Несколько забегая вперед, скажу, кстати, что, подъезжая к Мадриду, мы действительно увидели точный географический центр Испании. Он обозначен, как и положено в католической стране, статуей распятого Христа).

Путь из Кордовы в Мадрид пролегает через суровые скалистые горы Сьерра Морена и приводит к единственному перевалу, через который можно попасть из Андалузии в Новую Кастилию. В свое время это обстоятельство помогло испанцам приостановить продвижение арабских завоевателей.

Где-то по дороге рядом с нами возникает тень Дон Кихота. Еще бы! Ведь мы едем провинцией Ла Манча, родиной благородного Рыцаря Печального Образа. Мы останавливаемся, чтобы войти в живописный дворик таверны, где бывал Дон Кихот, смотрим на беленькие, словно игрушечные, ветряные мельницы, с которыми он сражался, разглядываем бесчисленные изображения бессмертного гидальго и его оруженосца, украшающие чуть ли не каждый дом и ресторанчик, заполняющие магазинчики сувениров. Мы уже больше ни на минуту не расстаемся с Дон Кихотом и Санчо Пансой и прощаемся с ними только в Мадриде, где на импозантной площади Испании, на фоне современных высотных банков и отелей, отражаясь в зеркальном пруду, они, бронзовые, продолжают свое вечное

путешествие на глазах у мраморного Сервантеса, сидящего в кресле на высоком постаменте с рукописью в руках.

Мадрид. Завершение и мажорный финал нашего путешествия по Испании. Я не стану описывать этот город, бесчисленное множество раз описанный, зарисованный, заснятый, воспетый... Да и вообще мне меньше всего хотелось бы, чтобы последовательное описание увиденного мною в Испании превратило мой рассказ в некое самодеятельное повторение туристического путеводителя. Тем более, что я в этом случае безуспешно конкурировал бы с соответствующей литературой, где все архитектурные, художественные и исторические достопримечательности гораздо более точно, подробно и достоверно описаны.

Для меня, как и для многих других советских людей, встреча с Испанией была не только встречей с ее культурой и искусством, но и встречей с драматическими событиями сорокалетней давности, с ней связанными.

Мы передвигались по древней земле Испании, по городам и городкам Каталонии, Андалузии и Кастилии, пересекая страну воздушными и автомобильными трассами с северо-востока на юго-запад и обратно. И все эти дни я не переставал думать о происходивших здесь в 1936—1939 годах событиях, непроизвольно стремился найти и разглядеть их зримые, подлинные приметы. Однако отзвуки этих событий я находил только в своих собственных мыслях и в литературных реминисценциях — слишком тяжелым и плотным пластом разнообразных мероприятий, имевших целью вытравить всякие следы мужественной борьбы испанских республиканцев, легли на страну долгие годы франкистского режима. Все, что можно было снести — снесли, в том числе и знаменитый Университетский городок; все, что можно было уничтожить — уничтожили; все, что можно было перестроить — перестроили; все, что можно было переименовать — переименовали.

Пожалуй, острее всего я ощутил это в Толедо.

«Толедо было видно издали, замок Алькасар курился на высокой горе дымом двух разбитых башен, фиолетовая лента Тахо круто опоясывала город... Пушка стреляла по Алькасару каждые три минуты, из четырех снарядов в среднем разрывался один».

Эти строки из «Испанского дневника» Михаила Кольцова. Они записаны 6 сентября 1936 года.

Подъезжая к Толедо в июне 1978 года, мы тоже издали увидели старинные, пышно орнаментированные величественные ворота, средневековые стены, башни и черепичные крыши древней столицы Испании, лиловато поблескивающие воды реки Тахо, надменный силуэт Алькасара. Конечно, никакого дыма теперь над ними не было, мощные квадратные башни стояли целехонькие. Не было слышно, естественно, и пушечных выстрелов.

Наш автобус предварительно остановился на специальной смотровой площадке у дороги, чтобы туристы могли полюбоваться неповторимо прекрасной панорамой исторического города-музея и всласть пощелкать затворами фотоаппаратов. Нельзя было, конечно, не вспомнить написанное с этого самого места известное полотно Эль Греко «Вид Толедо в грозу» с его тревожным зловещим небом, мерцающими сполохами, напряженными, беспокойно вибрирующими переливами красок. Ведь мы, художники, приехали в город, где много лет жил и творил этот удивительный мастер, предвкушали встречу с его загадочным, дерзостным и завораживающим искусством.

Но вспомнилось и другое... Глядя на залитый солнцем Толедо

и сверкающую громаду Алькасара, кто-то из нас произнес печально-знаменитое: «Над всей Испанией безоблачное небо».

Впрочем, трагическая тень событий тридцать шестого года возникла чуть раньше в автобусе, когда из уст нашего любезного гида мы услышали весьма «трогательный» рассказ о неслыханном мужестве горстки защитников осажденного превосходящими силами республиканцев Алькасара и его коменданта полковника Москардо, впоследствии произведенного в генералы и причисленного к лику национальных героев. Оказывается, свирепые республиканцы потребовали, чтобы Москардо выдал им в качестве заложника своего восемнадцатилетнего сына, который и был ими коварно расстрелян.

Я не мог скрыть своего изумления.

— Насколько я знаю, — сказал я гиду, когда мы вышли из автобуса, — дело обстояло несколько иначе. Именно засевшие в Алькасаре вооруженные до зубов офицеры и кадеты военной академии захватили заложниками несколько сот жен и детей толедских рабочих, рассчитывая, что народные дружины не станут обстреливать крепость, опасаясь за жизнь безвинных людей.

— Позвольте узнать, — сухо спросил гид, — откуда у вас такие сведения?

— Из вполне достоверного источника, — ответил я. — Дело в том, что очевидцем осады Алькасара был мой родной брат, корреспондент газеты «Правда», рассказавший об этих событиях в довольно широко известной книге «Испанский дневник».

— К сожалению, я не имел возможности с ней познакомиться.

— Разделяю ваше сожаление и думаю, что вы прочли бы ее не без интереса.

Мы не стали продолжать этот разговор и остались, как говорится, каждый при своем мнении.

Через ворота, увенчанные огромным, высеченным из камня королевским гербом, мы въезжаем между двумя мощными цилиндрическими башнями на мост через Тахо, ведущий в город. Мы в Толедо. Само неукротимое и грозное средневековье во всей своей жестокой красоте смотрит на нас из узких крутых улиц, из тесно прижавшихся друг к другу обожженных солнцем домов. Невольно вспоминаются герои «Испанской баллады» Лиона Фейхтвангера — пылкий король Альфонсо, его любимая Ракель, мудрый дон Иегуда, свирепый рыцарь де Кастро, мстительная королева Леонор. Где-то здесь, в лабиринте домов, сохранился, вероятно, и «кастильо» — дворец, сыгравший такую роковую роль в судьбе красавицы Ракель и ее отца. Однако нас больше привлекает долгожданное свидание с Эль Греко. Оно состоялось в маленькой церкви Сан Антонио де Томе, где мы встали как зачарованные перед огромной картиной «Похороны графа Оргаса». Велико чудодейство искусства! Ведь средневековый вельможа, один из толедских грандов, граф Оргас умер за двести лет до того, как на сюжет легенды, связанной с его погребением, городские власти заказали художнику-греку Доменико Теотокопули, не так давно поселившемуся в Толедо, картину для местной церкви. Мы пришли сюда через добрых четыреста лет после того, как это полотно было написано. До чего же могуче мастерство художника, если так глубоко и властно захватили нас сила и выразительность образов изображенных на холсте людей (среди них можно узнать Мигеля Сервантеса и самого Эль Греко).

К сожалению, долго стоять перед картиной не положено: сзади напирают все новые и новые орды туристов со всех концов света, в частности, нам давно наступала на пятки нетерпеливо топчущаяся на месте группа из Западной Германии. Знакомство с Эль Греко продолжается в расположенном поблизости доме-музее художника. Скромный внутренний дворик, скрипучая деревянная галерея, простая аскетическая обстановка. В небольших строгих залах богатейшее собрание картин — портретов и пей-

зажей. Есть и соединение обоих этих жанров на одном холсте: известная «Панорама Толедо с планом города». План этот держит в руках юноша, которого Эль Греко писал со своего сына Хорхе Мануэля. Не хочется уходить из дома, где рождались удивительные произведения, принесшие их творцу восторженное признание современников и оставшиеся в веках, расцениваясь ныне буквально на вес золота. Однако надо спешить к следующим по программе туристическим объектам — монументальной древней синагоге, еще раз напомнившей об «Испанской балладе», и к колоссальной махине толедского собора. Его принято сравнивать с гордым его собратом — кафедральным собором Севильи. Один из этих храмов-гигантов считается самым большим в Испании, другой — самым почитаемым. Каюсь, я запамятовал, который из них больше, а который святее. Но могу засвидетельствовать, что оба они равно потрясают масштабами, импозантностью архитектурного облика, сочетающего готический и мавританский стили. Они оба равно ошеломляют подлинно католической пышностью внутреннего убранства — великолепием золотых орнаментов и утвари, драгоценных камней, каменной радуги мозаик, фресок, росписей стен и плафонов. Вся эта немыслимая церковная роскошь, думается мне, призвана не столько радовать и вдохновлять высокой красотой искусства, сколько подавлять и устрашать верующих, вселять в их души робость и преклонение перед неизмеримым и неисчислимым богатством бога на небе и его наместников в сутанах и митрах на земле. Видимо, церкви нужно, чтобы простой человек сознавал себя в храме божием жалким, нищим, ничтожным. И вероятно, этот страх божий мешает пастве понимать, что все эти чудеса искусства, таланта, изобретательности и фантазии созданы золотыми руками мастеров и умельцев — таких же обыкновенных людей, как и они сами.

...Мы полны впечатлений, изнурены нестерпимой жарой и немного устали. Но в Толедо есть еще один туристический объект, к которому меня неудержимо тянет. И я спросил у нашего гида, попадем ли мы на площадь Сокодовер.

— Нет, мсье, — ответил он, — нашим маршрутом она не предусмотрена. Да и что там, собственно, смотреть? Площадь как площадь. К тому же наше время на исходе, минут через сорок нам пора возвращаться в Мадрид.

«Ну нет, — подумал я, — для меня это больше, чем площадь как площадь...»

И, не теряя времени, я пустился в гору по раскаленным добела крутым улочкам-лестницам мимо привычно изнывавших от зноя белых домов-крепостей с толстенными стенами и редкими зарешеченными окнами.

Беспощадно печет солнце, а я вспоминаю запись из «Испанского дневника»: «...Ночью приезжаем в Толедо. В воротах сонно проверяют бумаги — в ночное время бдительность здесь резко падает. Кромешная тьма, и когда Дамасо тушит фары, средние века тесно сжимают нас в еще накаленных жарой улицах-коридорах... Кровавое Толедо, страшное Толедо, уже ты стало, состарившись, диковиной для праздных заморских зевак, а вот опять испанцы бьются в тесных твоих стенах, опять громыхают пушки, опять мавры рвутся на выручку осажденному Алькасару. У старых камней Европы человечество в который раз спорит о свободе и рабстве, о независимости и угнетении» *.

Я успел добраться до площади Сокодовер, увидел вблизи Алькасар. Я попытался сообразить, где расположен монастырь Санта-Крус, откуда отряды народных дружинников выходили на штурм замка, где тот откос, на котором под ожесточенным огнем мятежников залегли немного-

* *Михаил Кольцов.* Избранные произведения, т. 3, с. 92

численные республиканские бойцы, и в их числе хорошо мне знакомый «мексиканский коммунист» Мигель Мартинес.

И что же? Я увидел только нарядную толпу туристов, сновавших из одного сувенирного магазина в другой, «припаркованные» у стен замка шикарные машины всевозможных марок и... огромный помпезный монумент — безвкусное нагромождение мраморных стел и пилонов с высеченными золотом текстами, в окружении которых на фоне ажурного креста умильно улыбающаяся бронзовая дама вздымала к небу обвитый лавровыми ветвями меч.

С горьким чувством стоял я на площади, где люди когда-то самоотверженно сражались, чтобы преградить путь фашистскому варварству, и где теперь, на том самом месте, воздвигнут лживый мемориал, прославляющий франкистских убийц. Глядя на него, я не мог не вспомнить сообщений тех лет из Испании о том, что когда в Толедо вошли марокканцы и иностранный легион Франко, то первое, что сделали «герои Алькасара», как именуются они на монументе, — ринулись в республиканский военный госпиталь и перебили всех раненых. В маленьких палатах их прикалывали штыками, в больших — кидали в кровати ручные гранаты.

И эти кровавые дела головорезов генерала Москардо должен увековечить «Ангел победы», как официально именуется мемориал в Толедо. Кстати сказать, ангелам необычайно повезло в монументальном искусстве франкистской Испании. Без них не обходится ни один памятник. Об одном из них мне хочется вспомнить. Где-то на пути в Мадрид мы обратили внимание на торчавшие неподалеку от дороги два сильно закопченных бетонных пилона, между которыми повисла какая-то странно искореженная металлическая конструкция, явно изображавшая ангельские крылья. На наш вопрос шофер автобуса равнодушно ответил:

— А, это? Недавно взорванный памятник Франко.

— Как... взорванный? Кем?

— Неизвестно. Никто не стал выяснять. Взорвали — и все. — И прибавил, улыбнувшись: — Другое теперь время. Да и народ теперь другой.

На эмблеме города Мадрида изображен поднявшийся на задние лапы медведь. Передние лапы он положил на ствол дерева, напоминающего гриб. По-испански оно называется «мадрония». Это весьма редкий вид дерева, говорят, что их всего два экземпляра во всей Испании.

Скульптурная фигура медведя с мадронией стоит на Пуэрта-дель-Соль — «Ворота солнца» — самой знаменитой (в который раз приходится писать это слово) площади Мадрида. Она расположена рядом с не менее знаменитой (опять!) Пласа-Майор. Но как они непохожи одна на другую! Пласа-Майор — замкнутый величественными дворцовыми зданиями прямоугольник, как бы олицетворяющий пышность и надменность пришедшего на смену средневековью «мадридского» стиля, характерного для правившей здесь в семнадцатом веке австрийской династии.

Мадридцы любят свою Пласа-Майор. Это — излюбленное место встреч, свиданий, народных гуляний и зрелищ, музыкальных и театральных выступлений. Я пересекаю ее из конца в конец по устилающему площадь каменному ковру, расчерченному четким геометрическим узором. Войдя сюда сквозь арку Толедской улицы и пройдя мимо конной статуи Филиппа III, у постамента которой резвится стайка хиппи обоего пола, я выхожу через противоположную, Сарагосскую арку и, повернув направо, попадаю на Пуэрта-дель-Соль. В отличие от замкнутой Пласа-Майор эта площадь широко распахнута и открыта всем ветрам. Через десять улиц сюда вливаются и выливаются бесконечные потоки людей и автомобилей, завихряясь в кипящем круговращении. Солнце безумствует. У меня такое ощущение, что вместе с бесчисленными автомобилями, фонтанами, цветочными клумбами и нарядными витринами люди на площади вот-вот все вспыхнут, как в огромной линзе, аккумулирующей солнечные лучи.

...Мы совершаем круговую поездку по центральным улицам и бульварам Мадрида и только теперь по-настоящему способны оценить торжественную пышность, нарядную, подчеркнуто роскошную красоту города. Каждое здание, каждое сооружение не просто стоит на своем месте, а как бы горделиво позирует, кричит о себе, требует почтительного созерцания и восхищения. Город-вельможа, город-аристократ, город-гранд. И нужно некоторое усилие, чтобы представить себе на этих улицах вооруженные рабочие отряды в комбинезонах, революционные знамена, романтическую стихию гражданской войны. Но все это здесь было! Было!

Зримо и выразительно сопоставить Испанию конца тридцатых годов и начала семидесятых было дано Роману Кармену, создавшему вместе с Константином Симоновым фильм «Гренада, Гренада, Гренада моя!», сочетавшего в себе черно-белые документальные кадры обороны Мадрида с цветными, снятыми там же Карменом тридцать лет спустя.

Большие перемены произошли в Испании. Режим Франко ушел в прошлое. Но не хотят уходить со сцены его приверженцы, все еще надеющиеся на лучшие для себя времена. Мне довелось их увидеть, когда я медленно, с наслаждением вышагивал по оживленной и тоже знаменитой Гран Виа, переименованной франкистами в честь основателя Испанской фаланги в авенида Хосе Антонио. Сейчас старое название улицы восстановлено.

То была фалангистская автодемонстрация, т. е. демонстранты не маршировали по улице, а комфортабельно ехали в роскошных открытых машинах, размахивая флагами с изображением скрещенных стрел, выкрикивая соответствующие лозунги. Их зычно приветствовала респектабельная публика, тоже с флагами, выстроившаяся вдоль тротуаров. Эта демонстрация была, оказывается, заранее разрешена властями и разрекламирована расклеенными по городу афишами. Я потом внимательно рассмотрел одну из них. На ней красовалась та же фашистская эмблема и заканчивалась она словами: «Испанцы! Мадридцы! Становитесь под национальное знамя фаланги!» В таких случаях неизменно вспоминается: «Не повернуть вспять колесо истории».

Полдня мы провели в музее Прадо, для которого мало и недели. Бессмысленно рассказывать о Прадо — о нем написаны книги, прибавить к которым что-либо существенное я не берусь. Прадо есть Прадо, Веласкес — это Веласкес, Гойя — это Гойя.

Мы посетили могилу Гойи. Она находится в маленькой изящной церкви Сан-Антонио де ла Флорида, хоры которой расписаны фресками великого мастера. Неподалеку находится и скромный дом, где жил художник. В тот же день мы успели побывать в Долине павших и в знаменитом Эскориале. Об этих местах необходимо сказать несколько слов.

Путь из Мадрида к этим местам лежит через кварталы, где в ноябре 1936 года было остановлено наступление мятежников, в частности, через памятный Университетский городок. И здесь тоже, как и в Толедо на месте героической обороны от фашистов, кощунственно воздвигнут пышный памятник — грузная и холодная «Арка Победы», придавившая площадь двумя тяжелыми лапами-пилонами.

Прославлению этой победы, обеспеченной вооруженной поддержкой итало-германских интервентов и «невмешательством» англо-французских политиканов, должна послужить и Долина павших — циклопический мемориал, воздвигнутый каторжным, мученическим трудом пленных — защитников Республики. Его подземная часть — базилика, похожая на огромную станцию метро, — битком набита изваяниями мадонн, апостолов и ангелов, мраморных, бронзовых, мозаичных и всяких прочих. Под раззоло-

ченным куполом два надгробия — генералиссимуса Франко, о котором я уже упоминал, и причисленного к лику фашистских святых, основателя фаланги Хосе Антонио.

Над скалой, в которой выдолблен туннель базилики, вымахал к небу немыслимых масштабов гранитный стопятидесятиметровый крест. Говорят, что на его поперечной перекладине могут разминуться две легковые машины. Надо отдать справедливость: трудно было более выразительно символизировать бесчеловечное мракобесие, тупую тяжеловесность и бесчеловечность фашизма, чем этим чудовищным крестом, от которого, несомненно, пришел бы в неописуемый восторг сам мрачный король-инквизитор Филипп II. Кстати, его резиденция — дворец-монастырь Эскориал — находится всего в десятке километров отсюда. Туда мы и едем.

Пусть не посетует на меня читатель, но, очутившись на испанской земле, трудно не сопоставить свои ощущения с соответствующими записями из кольцовского «Испанского дневника». Само собой разумеется, в этой книге нет и не могло быть записи, касающейся Долины павших. Но впечатления Кольцова об Эскориале мне хочется привести. Они записаны им 11 декабря 1936 года, в дни кратковременного затишья на фронтах. Фашисты остановлены под Мадридом, и корреспондент «Правды» решил посмотреть, что делается к северу от города.

«Раньше это казалось чертовски близко, и в самом деле, тридцать-сорок километров — это разве не под самым носом у столицы? Теперь, когда фронт проходит между медицинским и филологическим факультетами Мадридского университета, теперь горный сектор стал чем-то отдаленным, спокойным, второстепенным. Но, конечно, это иллюзия. Затишье на Гвадарраме — условность. Это неустойчивое равновесие. Оно может каждый день нарушиться.

Взятию Эскориала, овладению знаменитым монастырем Сан-Лоренсо в лагере испанского фашизма придают особое, мистическое значение. Изворачиваясь в объяснениях долгого стояния под Мадридом, Франко среди прочего заявил, что взятие Эскориала, величайшего религиозно-исторического центра Испании, будет политически равносильно и даже важнее взятия Мадрида. Сейчас в знак особой любви к Эскориалу Франко бомбардировал его с воздуха.

Я приближаюсь к Эскориалу со смущением, как школьник к экзаменационному столу. Сколько глубокомысленных сентенций и формул произнесено здесь за сотни лет путешествующими литераторами, сколько упреков по адресу Филиппа II, сколько издевательств над его сооружением, сколько уничтожающих характеристик громоздкого каменного ящика...

Но когда за поворотом дороги величественно, в могучей и вовсе не мрачной торжественности раскрывается исполинский гранитный амфитеатр, окруженный стеной стальных стен, и у их подножия, из тех же скал высеченный, безупречно простой гранитный дорический четырехугольник, о двух тысячах шестистах окнах — сразу падает и забывается вся эстетическая шелуха случайных психологических обобщений. Эскориал действительно красив и правдив в своей идее и выполнении: крепость-монастырь, дворец-канцелярия большой, сильной католической колониальной империи XVI века, ее апогея и начала упадка» *.

Я полностью согласен с кольцовской характеристикой. На меня тоже произвел огромное впечатление облик дворца-монастыря-крепости. Неожиданностью оказалось только то, что название «Эскориал», звучащее так торжественно и созвучно таким словам, как «хорал», «портал», «кар-

*
Михаил Кольцов. Избранные произведения, т. 3, с. 120

динал», происходит, оказывается, от простого и обыденного испанского слова «эскория», что значит по-русски... «щебенка».

Неловко повторять факты, известные из любого путеводителя, но трудно отказать себе в удовольствии упомянуть о том, что собственными глазами увидел то, о чем так много и многими написано. Это прежде всего знаменитая усыпальница испанских королей начиная от Карла V, где похоронен также и Филипп II, строитель Эскориала. Спускаясь по красивой мраморной лестнице, я приготовился увидеть огромный и торжественный пантеон и был, признаться, несколько разочарован, увидев сравнительно небольшой круглый зал, где в четыре яруса один над другим, аккуратно и в чинном порядке установлены мраморные гробы с именами усопших монархов. Эта четырехэтажная постройка почему-то не создавала необходимого благолепия и, каюсь, даже показалась мне похожей на какую-то роскошную камеру хранения.

Интересно было посмотреть и на личные покои угрюмого короля-мракобеса, подчеркнуто аскетические и даже (по королевским масштабам) скромные. Это было, очевидно, полностью в характере «августейшего» ханжи, сказавшего про Эскориал: «Я строю дворец для бога и бедную келью для себя».

Такой фарисейский стиль несколько нарушается прекрасным полотном Иеронима Босха «Сад наслаждений». Немного даже странно, что оно пришлось по вкусу коронованному тюремщику. Гораздо более понятно обилие на стенах географических карт с обозначением европейских и заморских владений Испанской империи.

Здесь же находится портшез — кресло-носилки, в которых парализованного Филиппа шесть дней несли из Мадрида в Эскориал.

...Возвращаемся в Мадрид. Сегодня последний день и вечер в Испании. Какой, в сущности, ничтожный срок — десять дней, а как много увидено. Много? Но ведь это до смешного мало по сравнению с тем, что осталось за пределами нашего путешествия! Писатели, художники, корреспонденты газет живут здесь неделями, месяцами, годами и не в состоянии охватить все, что несет в себе жизнь Испании, ее многовековая история, культура, искусство.

Любое из испытанных нами впечатлений — было ли оно произведено исторической достопримечательностью, бессмертным творением художника или простонародной забегаловкой, длившееся считанные минуты или в лучшем случае часы, — заслуживало и требовало того, чтобы еще и еще раз к нему вернуться, вдуматься, пережить. Но вращение туристического калейдоскопа необратимо. Явление возникло, на короткий срок предстало перед вашими глазами, заинтересовало, восхитило, захватило или озадачило и... ушло. Никакие заклинания типа «Мгновение, остановись — ты прекрасно!» не в состоянии задержать железное колесо программы путешествия.

Но факт остается фактом: я был в Испании, я видел ее.

Прощай, Испания! А может быть, до свидания? Если вдруг «сработает» монета, предусмотрительно брошенная через левое плечо в сухой колодец дома великого Эль Греко.

Вместо послесловия

Ровесник века... Это звучит красиво. Но надо сказать, что пока человек молод, это красивое определение редко к нему применяется, да и его самого мало трогает. В самом деле, кому придет в голову называть ровесником века пятилетнего мальчика или даже пятнадцатилетнего подростка? Но по мере того как время движется вперед и век из года в год наполняется все новыми и новыми событиями, обрастает ошеломляющими научными и техническими открытиями, политическими и общественными сенсациями, громкими преступлениями и судебными процессами, взрывается войнами и революциями, по мере того как его календарь все гуще насыщается знаменательными днями и годовщинами, а на «счетчике» столетия неудержимо вращаются цифры, обозначающие десятки лет, — понятие «ровесник века» становится все более весомым и... все менее приятным для того, кто этого звания удостоен.

Кстати, именуя себя ровесником века, я, строго говоря, допускаю несколько вольное обращение с датами. А если быть точным, то XX век, о котором идет речь, наступил на три с лишним месяца позднее моего рождения. И выходит, что именно на этот, не такой уж незначительный срок я *старше* нашего века, а отнюдь не его ровесник.

Об этом грустном обстоятельстве я, между прочим, долгое время не подозревал, пока другой «ровесник» не открыл мне глаза на то, что 1900-й — это вовсе не первый год двадцатого, а последний девятнадцатого столетия. Не скрою, что открытие это не привело меня в восторг. В самом деле, «родившийся в прошлом столетии» — это звучит почти как «ископаемое»...

Впрочем, хотя старость, как известно, не радость, но и она имеет свои преимущества — она дает весьма приятное право говорить: «Я это помню... Я это видел... Я при этом присутствовал...»

Вспомним Тютчева:

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

А наш век, может быть, больше, чем любой другой, богат «роковыми» минутами, днями, годами.

Я оглядываюсь в прошлое и отчетливо вспоминаю начало века. Я вижу солдат в огромных косматых папахах и в ушах звучат странные, чуждые слова: «Мукден»... «Ляоян»... «Порт-Артур»... Это 1904 год, русско-японская война. А вот и 1905 — врассыпную бегущие по улице люди, скачущие на конях полицейские, выстрелы, крики... Мы с отцом смотрим на происходящее через окно, и пуля пробивает стекло над самой его головой. Я слышу малопонятные для меня разговоры взрослых о какой-то «конституции», которую дал царь. Это вроде и хорошо, но в то же время надо теперь бояться хулиганов и погромщиков, которые ходят по улицам «процессиями» с портретами того же царя. Мне трудно во всем этом разобраться, но детской душой овладевает черный дремучий страх. И не зря: бесчинства черносотенцев в городе, где живет наша семья, не уступают по зверству и жестокости подобным же, потрясшим всю страну, беспорядкам в Одессе и Кишиневе.

Родился я в городе-красавце Киеве, но родители мои по каким-то соображениям вскоре переехали на жительство в Белосток — бойкий, но невзрачный городок вблизи русско-германской границы. Пыльные улицы со щербатыми булыжными мостовыми, никогда не просыхающие канавы вдоль тротуаров, заменяющие отсутствующую канализацию, чахлая зелень и убого-провинциальные дома — таковы были белостокские «пейзажи». Самое значительное здание в городе — стандартный католический костел красного кирпича, угрюмо воткнувший в небо колючий готический шпиль.

Только через четырнадцать лет после своего рождения я снова очутился в Киеве, приехав туда к родственникам на летние каникулы. После захолустного Белостока Киев поразил меня своими размерами, величием, красотой. Я не уставал бродить по его улицам и площадям, любуясь архитектурными и историческими достопримечательностями и заранее огорчаясь при мысли, что лето быстро промчится и с этим великолепным городом придется расставаться. Мог ли я предвидеть, что приближаются события, которые надолго свяжут мою судьбу с городом моего рождения. А события эти уже стояли у порога.

Надо сказать, что еще со школьной скамьи я интересовался политическими событиями, любил рассматривать журналы, читать газеты и, естественно, от моего внимания не ускользнуло сообщение в киевской вечерней газете о том, что в далеком Сараеве, главном городе аннексированной Австрией сербской провинции Босния, некий гимназист с курьезной фамилией Принцип застрелил на улице посетившего Сараево австрийского престолонаследника Франца-Фердинанда. (Любопытно, кстати сказать, что спустя более полувека, в 1967 году мне довелось побывать в качестве туриста в Сараеве и стоять на том самом месте, с которого стрелял молодой патриот. В тротуаре навсегда выгравированы следы его ног. Тут же неподалеку — мемориальный музей Принципа.)

Отлично помню, как с этого сообщения из Сараева началось медленное, но неотвратимое, временами как будто затихавшее, потом снова убыстрявшееся вползание мира в катастрофу войны. Международная обстановка то как будто успокаивалась, то грозно обострялась. Один день вселял надежду на благополучный исход, но уже следующий обдавал леденящим дыханием неминучей беды. Потом снова наступало какое-то просветление и снова сгущались тяжелые тучи. Каждое утро я стремглав бежал за свежими газетами и впивался в крупные заголовки последних телеграмм.

На редкость знойным и душным был тот июль 1914 года. Нещадно жгло солнце, и, казалось, до предела были раскалены не только улицы и дома, но и страницы газет, мысли и чувства людей. Все понимали, о чем идет речь... Понимали, что миновало время локальных, двусторонних войн, таких как франко-прусская, англо-бурская, русско-японская и даже недавняя болгаро-сербо-греко-турецкая, что сейчас не может быть отдельной австро-сербской войны. Все понимали, что на весах истории колеблется вопрос о чем-то неизмеримо более страшном, апокалипсическом — о войне, в которую будут втянуты все государства Европы.

Европейская война... Об этом жутко было подумать, но все видели и ощущали: надвигается чудовищная гроза, зловещими сполохами которой удушливую атмосферу жаркого лета прорезали всевозможные дипломатические заявления, меморандумы, ноты, почти ежедневные встречи послов и министров. С каждым часом нарастал стремительный бег событий, неумолимо прибавлял обороты гигантский маховик времени. Уже никто не сомневался в роковом исходе конфликта, никто не верил в чудо.

В Германии и России объявлена всеобщая мобилизация. А 28 июля 1914 года, ровно через месяц после выстрелов в Сараеве, Австрия бомбардировкой Белграда начала войну с Сербией. 1 августа Германия объявила войну России, а 3 августа — Франции. 4 августа Англия объявила войну Германии.

Так двадцатый век не только вместе со своими ровесниками, но также и с грудными детьми, малыми ребятами, взрослыми людьми и глубокими стариками — со всем многомиллионным населением противоборствующих держав вступил в первую мировую войну, открывшую собой великий тур войн и революций.

И я, четырнадцатилетний школьник, был тому свидетель.

Четырнадцатый год...

Мы с веком еще совсем молоды — по сути дела, мальчишки, не очень задумывающиеся над своим будущим, еще не имеющие склонности оглядываться в прошлое, целиком погруженные в сегодняшний день. Река времени стремительно несет нас вперед.

Время... Какая непостижимая философская категория, то разрушающая, то исцеляющая, то благодетельная, то жестокая. Время — оно ведь не только в тиканье часов и смене календарных листков. Оно — невидимая и вместе с тем зримая среда, нас окружающая. Оно — и друг, и враг, и наставник, и судья, и врач, и могильщик. Оно — одно для всех и одновременно разное для всех. Мы неотделимы от своего времени, и в этом отношении ровесники века никакими привилегиями не пользуются. Вот почему, говоря о себе, мы рассказываем о времени. А рассказывая о времени, неизбежно говорим о себе.

Сквозь толщу прошедших десятилетий я смотрю на пройденный жизненный путь, как в перевернутый бинокль. Странное ощущение: все, что у меня, тогда молодого, да и зрелого тоже, было впереди — замыслы, надежды, планы, а также радости и успехи, неудачи и огорчения, — все, что было тогда закрыто туманной завесой будущего, все это теперь для меня, восьмидесятисемилетнего — *прошлое,* пройденное, изведанное, пережитое.

Сегодня век давно, как говорится, «разменял» свой девятый десяток. При этом скорости он не сбавляет, поспевать за ним все труднее, и ровесников у него становится все меньше.

Но что веку до своих ровесников? С ними или без них, он грохоча движется вперед, в таинственную даль, где его должен сменить Двадцать первый.

Жизнь продолжается.

Приложения

Основная литература о творчестве Б.Е.Ефимова

Борис Ефимов. [Вступительная статья *Т.Семеновой.*]
М.: Советский художник, 1953

Борис Ефимов в «Известиях». Карикатуры за полвека. [Вступительная статья лауреата Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Херлуфа Бидструпа. Текст М.Ефимова.]
М.: Известия, 1969

И.Абрамский. Ветеран советской сатиры. Творческий путь карикатуриста Б.Ефимова.
Искусство, 1971, № 1

Н.Долгоруков. Точность прицела.
Правда, 1972, 18 июля

Ю.Зарубин. К штыку приравненное перо. Творческий путь народного художника СССР Б.Ефимова.
Труд, 1972, 14 сентября

Н.Крунина. Глазами современника.
Учительская газета, 1972, 14 октября

Борис Ефимов. Альбом.
М.: Советский художник, 1976

И.Абрамский. Доктор сатирических наук.
Советская культура, 1977, 29 июля

Н.Елин. Боец сатирического фронта.
Москва, 1978, № 5

По горячим следам событий. К 50-летию газеты «Советская культура». Беседа с народным художником СССР Б.Ефимовым. [Записал В.Шварц.]
Советская культура, 1979, 2 ноября

Перо, приравненное к штыку. Беседа с народным художником СССР Б.Е.Ефимовым. [Записал Т.Дмитрук.]
Труд, 1980, 27 сентября

Борис Ефимов. Политическая сатира. Плакат. Юмористический рисунок. Книжная иллюстрация. Станковая графика. Каталог выставки.
М.: Советский художник, 1981

Опубликованные литературные работы Б.Е.Ефимова

Бор. Ефимов. 40 лет. Записки художника-сатирика.
М.:Советский художник, 1961

Б.Ефимов. Основы понимания карикатуры.
М.: Издательство Академии художеств СССР, 1961

Бор. Ефимов. Работа, воспоминания, встречи.
М.: Советский художник, 1963

Б.Ефимов. Рассказы о художниках-сатириках.
М.: Советский художник, 1963

Бор. Ефимов. Невыдуманные истории.
М.: Советский художник, 1976

Б.Ефимов. Школьникам о карикатуре и карикатуристах.
М.: Просвещение, 1976

Бор. Ефимов. Рассказы старого москвича.
М.: Московский рабочий, 1981

Список иллюстраций

55. И.Эренбург. Дружеский шарж. 1945
Бумага, тушь
56. П.Н.Крылов, Б.Е.Ефимов, Д.Лоу, Н.А.Соколов, М.В.Куприянов в Нюрнберге. 1945
Фотография
57. Геринг. 1945
Бумага, тушь, гуашь
58. Кальтенбруннер. 1945
Бумага, тушь, гуашь
59. Кейтель. 1945
Бумага, тушь
60. Штрейхер. 1945
Бумага, тушь
61. В зале заседаний Нюрнбергского процесса. На местах для прессы: В.В.Вишневский, В.М.Саянов, Кукрыниксы, Б.Е.Ефимов. 1945
Фотография
62. На нюрнбергском стадионе. Слева направо: М.В.Куприянов, Н.А.Соколов, П.Н.Крылов, В.Иванов, Б.Е.Ефимов, Л.М.Леонов, Ю.И.Яновский. 1945
Фотография
63. Двенадцатый час фашистских преступников. 1945
Бумага, тушь
64. Демьян Бедный. Дружеский шарж. 1966
Бумага, тушь
65. «Дядя Костя». Дружеский шарж. 1966
Бумага, тушь
66. В.И.Лебедев-Кумач. Дружеский шарж
Бумага, тушь
67. Роман Кармен. Дружеский шарж. 1981
Бумага, тушь
68. Роман Кармен (крайний справа) и Михаил Кольцов в Испании. 1936
Фотография
69. Константин Симонов. Дружеский шарж. 1960
Бумага, тушь
70. К.М.Симонов и Б.Е.Ефимов. 1970-е гг.
Фотография
71. К.Симонов и Д.Ортенберг. Зарисовка. 1942
Бумага, тушь
72. Михаил Кольцов. Дружеский шарж. 1977
Бумага, тушь, гуашь
73. Е.М.Ярославский, М.И.Ульянова и М.Е.Кольцов. 1926
Фотография
74. А.Барбюс и М.Е.Кольцов. 1930-е гг.
Фотография
75. На открытии мемориальной доски М.Е.Кольцова. 1972
Фотография
76. «Круизные зарисовки». 1959
Бумага, тушь, акварель
77. Вид на Акрополь. 1962
Бумага, тушь
78. У «скульптуры» в Брюссельском музее. 1959
Бумага, тушь
79. Флоренция. В Галерее Уффици. 1960
Бумага, тушь
80. На Биеннале в Венеции. 1960
Бумага, тушь

Именной указатель художников и архитекторов

Содержание

Вдали от Москвы

Приложения

Ефимов Б.Е.

Е-91 Ровесник века. Воспоминания.— М.: Советский художник, 1987 — с ил.

3 руб. 10 000 экз.

Народный художник СССР Б.Ефимов в своей книге живо и увлекательно воссоздает волнующие страницы давних лет, рассказывает о встречах с интересными людьми, о своих многочисленных поездках по зарубежным странам.

Е $\frac{4903040000\text{-}018}{084(02)\text{-}87}$ 56-87 ББК85.153(2)7

Борис Ефимович Ефимов
Ровесник века
Воспоминания
Книга

Редактор К.Г.Мискарян
Художник А.А.Кузнецов
Художественный редактор
Н.Г.Дреничева
Технический редактор
И.Г.Алексеева
Корректоры Л.В.Дегтяренко,
И.А.Шорсткина

ИБ № 2031
Сдано в набор 16.01.86
Подписано в печать 20.03.87
А08423
Формат 60×100/16
Бумага мелованная
Гарнитура шрифта
литературная
Печать высокая
Усл. п. л. 24,42. Усл. кр.-отт. 37,74
Уч.-изд. л. 28,981
Тираж 10 000. Зак. 297. Изд. № 1-325
Цена 3 руб.
Издательство
«Советский художник»
125319, Москва,
ул. Черняховского, 4а
Типография изд-ва
«Советский художник»
129327, Москва, Ленская ул., 28

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «СОВЕТСКИЙ ХУДОЖНИК»

«Среди художников» — книга статей одного из старейших советских художественных критиков В. И. Костина.

«Чувством свидетельства» пронизана эта книга. В. И. Костин — очевидец и участник культурной жизни 20-х годов, «собеседник в искусстве» таких уже ставших нашей духовной историей мастеров, как В. Фаворский, В. Татлин, Д. Штеренберг. Не кто иной, как В. И. Костин, стал первооткрывателем таланта А. Пластова — художника, чье искусство было внутренне близко искусству крупнейших современных писателей-деревенщиков — Ф. Абрамова, В. Белова. И именно В. И. Костин с сочувственным и проникновенным вниманием отнесся к поискам молодых художников 60—70-х годов.

Книга, предстающая читателю, учит его молодой, свежей восприимчивости к явлениям культуры. Учит непредвзятости взгляда и остроте суждений. О живости исследовательского темперамента В. И. Костина, о стремительности его критических реакций говорят сами названия статей последних лет, которые читатель найдет в книге («Сложность простоты», «Критиковать, а не уклоняться» и др.).

Воспоминания о прошлом, ясный взгляд на настоящее, мысль о будущем — это и пафос, и сквозная тема книги «Среди художников».

3 руб.

Москва
Советский художник
1987